

ISSN 0150-7673

НОВЫЙ МИР

5

НОВЫЙ МИР

2002

10

2002

НОВЫЙ ВЕК, НОВЫЙ МИР

БУДЬ КОНСЕРВАТОРОМ, ВЫБЕРИ СВОБОДУ

ДО КОНЦА 2002-ГО И В 2003 ГОДУ
«НОВЫЙ МИР» ПРЕДПОЛАГАЕТ ОПУБЛИКОВАТЬ:

- СЕРГЕЙ АВЕРИНЦЕВ. Несколько мыслей о «евразийстве»
Н. С. Трубецкого (опыт беспристрастного взгляда);
АНАТОЛИЙ АЗОЛЬСКИЙ. Глаша (повесть);
АНДРЕЙ БИТОВ. Общество охраны героев (повесть);
СЕРГЕЙ БОРОВИКОВ. В русском жанре (эссе);
ОЛЕГ БОРУШКО. Класс «А» (роман);
РАВИЛЬ БУХАРАЕВ. Гость случайный (роман-эссе);
СВЕТЛАНА ВАСИЛЕНКО. Мария из Магдалы (повесть);
АНДРЕЙ ВОЛОС. Новая повесть;
ВЛАДИМИР ГЛОЦЕР. Я помню;
ВАСИЛИЙ ГОЛОВАНОВ. Видение Азии (тывинский дневник);
ИГОРЬ ДЕДКОВ. Из дневников 1987 — 1994 годов;
БОРИС ЕКИМОВ. Рассказы и очерки;
ВАЛЕРИЙ ЗАЛОТУХА. Свечка (роман);
ОЛЬГА ИВАНОВА. Вольный посох (стихи);
ФАЗИЛЬ ИСКАНДЕР. Новые рассказы;
НИКОЛАЙ КОНОНОВ. Нежный театр (шоковый роман);
ВЛАДИМИР КРАВЧЕНКО. Вечный календарь (роман);
МИХАИЛ КУРАЕВ. Дом без адреса (повесть);
ОЛЕГ ЛАРИН. Пейзаж из криков (повесть);
ВЛАДИМИР МАКАНИН. Новые рассказы;
АЛЕКСАНДР МЕЛИХОВ. Чума (роман);
ВЛАДИМИР НОВИКОВ. Моншер (роман);
ОЛЕГ ПАВЛОВ. Чаровщина;
МАРИНА ПАЛЕЙ. Вода и пламень (рассказ);
ВИКТОР ПАНОВ. И там жили (рассказы; из наследия);
ЮРИЙ ПЕТКЕВИЧ. Заморозки (повесть);
ГРИГОРИЙ ПЕТРОВ. Перед вторым пришествием (роман);
ВАЛЕРИЙ ПОПОВ. Третье дыхание (повесть);

(См. на обороте)

ЕЛЕНА РАБИНОВИЧ. Филологические новеллы;
РУСТАМ РАХМАТУЛЛИН. Облюбование Москвы: Кузнецкий мост (эссе; продолжение);
ЕВГЕНИЙ РЕЙН. Избранник (роман);
МАРК РОЗОВСКИЙ. Театральный человек (документальное повествование);
ДИНА РУБИНА. На солнечной стороне улицы (роман); **Несколько торопливых слов любви** (новеллы);
ВЛАДИМИР САЛИМОН. Между делом (стихи);
ВАЛЕРИЙ СЕНДЕРОВ. Солидаризм — третий путь Европы? (эссе);
РОМАН СЕНЧИН. Нубук (повесть);
ОЛЬГА СЛАВНИКОВА. Период (роман);
АЛЕКСЕЙ СЛАПОВСКИЙ. Новые рассказы;
АЛЕКСЕЙ СМИРНОВ. Игры на свежем воздухе (рассказы);
АЛЕКСАНДР СОЛЖЕНИЦЫН. Угодило зёрнышко промеж двух жерновов. Очерки изгнания;
ИРИНА СТЕКОЛ. Рассказы для Анны;
ИРИНА СУРАТ. Пушкин и Мандельштам (параллели);
МИХАИЛ ТАРКОВСКИЙ. «Отдай мое» (повесть);
АЛЕКСАНДР ТИТОВ. Прощание с гармонистом (роман);
ЛЮДМИЛА УЛИЦКАЯ. Сансаныч (повесть);
АНТОН УТКИН. Новый роман;
ТАТЬЯНА ЧЕРЕДНИЧЕНКО. Праздничность (эссе);
СЕРГЕЙ ШАРГУНОВ. Откос (повесть);
ЕВГЕНИЙ ШКЛОВСКИЙ. Питомник (рассказы);
АЛЕКСАНДР ЯКОВЛЕВ. Домашние люди (современная история);

а также стихи **ТАТЬЯНЫ БЕК, СВЕТЛАНЫ КЕКОВОЙ, БАХЫТА КЕНЖЕЕВА, ГРИГОРИЯ КРУЖКОВА, ЮРИЯ КУБЛАНОВСКОГО, АЛЕКСАНДРА КУШНЕРА, ВЛАДИМИРА ЛЕОНОВИЧА, СЕМЕНА ЛИПКИНА, ИННЫ ЛИСНЯНСКОЙ, ЛАРИСЫ МИЛЛЕР, АНАТОЛИЯ НАЙМАНА, ОЛЕСИ НИКОЛАЕВОЙ, ОЛЬГИ ПОСТНИКОВОЙ, ОЛЕГА ЧУХОНЦЕВА;** статьи, очерки, эссе **ВЛАДИМИРА ГУБАЙЛОВСКОГО, НИКИТЫ ЕЛИСЕЕВА, ЮРИЯ КАГРАМАНОВА, ТАТЬЯНЫ КАСАТКИНОЙ, АЛЛЫ МАРЧЕНКО, ВАЛЕНТИНА НЕПОМНЯЩЕГО, МАРИИ РЕМИЗОВОЙ, ДМИТРИЯ ШЕВАРОВА** и других авторов.

NEW!

Частные лица и организации, находящиеся в любой точке земного шара за пределами Российской Федерации и стран СНГ, могут подписаться на журнал «НОВЫЙ МИР» без посредников, круглый год, с любого месяца, на любой срок и на любое количество экземпляров.

СПОСОБ ЗАКАЗА: по факсу, по электронной почте или по Заявке (см. ниже).

СПОСОБ ОПЛАТЫ: 100 % предоплаты на счет ЗАО «Редакция журнала „Новый мир“» № 40702840938040101095 в Московском банке Сбербанка г. Москвы, Российская Федерация, Тверское отделение 7982, корп. счет 30301840638000603804.

Tverskoe OSB 7982 MB SBERBANK PF, Moscow, Russia, ACC. 30301840638000603804, ACC. Beneficiary: 40702840938040101095.

Заявка принимается к исполнению с момента поступления денег на счет редакции. О возможности купить номера журнала за прошлые годы можно узнать в редакции.

СТОИМОСТЬ одного экземпляра в 2002 и в 2003 годах: \$ 10,

СТОИМОСТЬ годового комплекта: \$ 120.

ЗАО «Редакция журнала „Новый мир“» обязуется: отправлять заказчикам журналы в экспортном исполнении (белой обложке) по почте бандеролью в течение 5 дней с момента выхода тиража за счет редакции, обменивать бракованные экземпляры или повторно высылать не полученные заказчиком экземпляры за счет редакции, немедленно информировать заказчиков о всех затрагивающих их изменениях (объем журнала, периодичность, цена и проч.).

С момента передачи оплаченного тиража журнала на Московский почтамт обязательства продавца считаются выполненными и право собственности переходит к подписчику.

Адрес редакции: Россия, 127994, ГСП-4, Москва, К-6,
Малый Путинковский переулок, 1/2, Редакция журнала «Новый мир».
Телефон/факс: (095) 200-08-29, (095) 209-62-13.
E-mail: novy-mir@mtu-net.ru

Заявка на подписку на журнал «НОВЫЙ МИР»

(вырезать или ксерокопировать Заявку,
заполнить и отправить в редакцию по почте или по факсу либо
отправить все требуемые в Заявке сведения по факсу или по электронной почте)

Я (фамилия, имя или название организации) _____

прошу подписать меня на ежемесячный журнал «Новый мир»

с _____ (месяц, год) на _____ месяцев.

Количество экземпляров _____

Стоимость заказа _____ (число месяцев x число экземпляров x \$ 10).

Дата оплаты (Заявка заполняется и отправляется в редакцию после оплаты) _____

Контактный телефон (факс, e-mail) _____

Адрес для отправки журнала (почтовый индекс, страна, город, улица, дом, имя и фамилия получателя) _____

Подпись заказчика и дата заполнения Заявки _____

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!

Подписной индекс «Нового мира» — 70636 в зеленом Объединенном каталоге «Подписка — 2003». Спрашивайте этот каталог во всех отделениях связи. Каталогная стоимость подписки на первое полугодие 2003 года — 414 рублей плюс стоимость доставки.

Те из вас, кто имеет возможность приходить за журналом в редакцию «Нового мира», могут оформить *льготную* подписку по адресу: Малый Путинковский переулок, 1/2 (м. «Пушкинская», «Чеховская», «Тверская»), в понедельник, вторник, среду, четверг с 10 до 17 часов. Для членов творческих союзов, преподавателей высших и средних учебных заведений, студентов вузов, постоянных подписчиков, пенсионеров и инвалидов предусмотрены дополнительные льготы.

В редакции можно приобрести отдельные номера «Нового мира». Журналы выдаются подписчикам в понедельник, вторник, среду, четверг с 10 до 18 часов. (Справки по тел. 200-08-29.)

Спрашивайте наш журнал в московских книжных магазинах «Ad Marginem» (1-й Новокузнецкий переулок, 5/7), «Библио-глобус» (Мясницкая, 6), «Гилея» (Большая Садовая, 4), «Графоман» (1-й Крутицкий переулок, 3), «Летний сад» (Большая Никитская, 46), «Мир печати» (2-я Тверская-Ямская, 54), «Эйдос» (Татарская, 5, стр. 2).

Распространением журнала «Новый мир» за рубежом занимаются: германская фирма «Кубон унд Загнер» (Kubon & Sagner. D-80328 München Germany. Tel. (089) 54-218-130. Telex: 5216711 kusa d. Fax (089) 54-218-218; Электронная почта: postmaster@kubon-sagner.de Адрес в Сети: <http://www.kubon-sagner.de/ksinfo>)

американская фирма «Ист Вью Пабликейшенз» (East View Publications, Inc. 3020 Harbor Lane North Minneapolis, MN 55447 USA. Tel. (763) 550-0961. Fax (763) 559-2931. В Москве тел. (095) 318-09-37, факс (095) 318-08-81).

Уважаемые зарубежные подписчики!

Экземпляры журнала, предназначенные для распространения за пределами России и стран СНГ,

выходят в обложке белого цвета с надписью «Novy Mir».

Приобретая «Новый мир» в голубой обложке, вы отдаете свои деньги фирмам, не связанным официальным контрактом с журналом, что наносит редакции финансовый ущерб.

Вы очень поможете «Новому миру», оформляя подписку через наших официальных распространителей (см. стр. 4) или через редакцию журнала (см. стр. 3).

СОДЕРЖАНИЕ

АЛЕКСАНДР КУШНЕР — Сквозь ночь... Стихи	7
БОРИС ЕКИМОВ — Рассказы	14
ЕВГЕНИЙ КАРАСЕВ — Знобкая память, стихи	34
ИРИНА ПОЛЯНСКАЯ — Горизонт событий, роман. Окончание	38
ЛЮДМИЛА АБАЕВА — Сны и птицы, стихи	107
ЕВГЕНИЙ РЕЙН — Призрак среди руин. Повествование в рассказах	110
ЮРИЙ КАЗАРИН — Без нажима, стихи	131

ВРЕМЕНА И НРАВЫ

МАКСИМ КРОНГАУЗ — Язык мой — враг мой?	135
--	-----

ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА

ВЛ. НОВИКОВ — Алексия: десять лет спустя	142
--	-----

По ходу текста

МАРИЯ РЕМИЗОВА — Гексоген + пиар = осетрина	153
---	-----

РЕЦЕНЗИИ. ОБЗОРЫ

Инна Булкина. И это все о нем	158
Владимир Губайловский. Виноградная косточка	162
Павел Руднев. Юрский в борьбе с собой	166
Елена Невзглядова. Себестоимость стиля	169
Татьяна Касаткина. Человек с молоточком	174

КНИЖНАЯ ПОЛКА АНДРЕЯ ВАСИЛЕВСКОГО	177
КИНООБОЗРЕНИЕ ИГОРЯ МАНЦОВА	182

(См. на обороте)

СОДЕРЖАНИЕ (окончание)

CD-ОБОЗРЕНИЕ МИХАИЛА БУТОВА	193
WWW-ОБОЗРЕНИЕ СЕРГЕЯ КОСТЫРКО	198

ИЗ РЕДАКЦИОННОЙ ПОЧТЫ

Г. ДРУЖИН — Перечитывая «Хаджи-Мурата»: Чечня, горцы, пограничье	205
ЮЛИЯ УШАКОВА — Последний человек...	210

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЕ ЛИСТКИ

Книги (составитель Сергей Костырко)	214
Периодика (составители Андрей Василевский, Павел Крючков)	217
SUMMARY	240

ПОЗДРАВЛЯЕМ НАШЕГО АВТОРА
ОЛЕСЮ НИКОЛАЕВУ
С ПРИСУЖДЕНИЕМ ЕЙ
ЛИТЕРАТУРНОЙ ПРЕМИИ ИМЕНИ БОРИСА ПАСТЕРНАКА!

ПОЗДРАВЛЯЕМ НАШЕГО АВТОРА
АЛЕКСЕЯ ПУРИНА
С ПРИСУЖДЕНИЕМ ЕМУ
ПЕТЕРБУРГСКОЙ ЛИТЕРАТУРНОЙ ПРЕМИИ
«СЕВЕРНАЯ ПАЛЬМИРА»!

Издание выходит при поддержке Министерства культуры Российской Федерации и Министерства Российской Федерации по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

АЛЕКСАНДР КУШНЕР

*

СКВОЗЬ НОЧЬ...

* *
*

Посчастливилось плыть по Оке, Оке
На речном пароходе сквозь ночь, сквозь ночь,
И, представь себе, пели по всей реке
Соловьи, как в любимых стихах точь-в-точь.

Я не знал, что такое возможно, — мне
Представлялся фантазией до тех пор,
Поэтическим вымыслом, не вполне
Адекватным реальности, птичий хор.

До тех пор, но, наверное, с той поры,
Испытав потрясенье, поверил я,
Что иные, нездешние, есть миры,
Что иные, загробные, есть края.

И, сказать ли, еще из густых кустов
Ивняка, окаймлявших речной песок,
Долетали до слуха обрывки слов,
Женский смех, приглушенный мужской басок.

То есть голос мужской был, как мрак, басист,
И таинственной был женский смех, чем днем,
И, по здешнему счастью специалист,
Лучше ангелов я разбирался в нем.

А какой это был, я не помню, год,
И кого я в разлуке хотел забыть?
Назывался ли как-нибудь пароход,
«Композитором Скрябиным», может быть?

И на палубе, верно, была скамья,
И попутчики были — не помню их,
Только путь этот странный от соловья
К соловью и сверканье зарниц ночных!

Прощание с веком

Уходя, уходи, — это веку
 Было сказано, как человеку:
 Слишком сумрачен был и тяжел.
 В нишу. В справочник. В библиотеку.
 Потоптался чуть-чуть — и ушел.

Мы расстались спокойно и сухо.
 Так, как будто ни слуха ни духа
 От него нам не надо: зачем?
 Ожила прошлогодняя муха
 И летает, довольная всем.

Девятнадцатый был благосклонным
 К кабинетным мечтам полусонным
 И менял, как перчатки, мечты.
 Восемнадцатый был просвещенным,
 Верил в разум хотя бы, а ты?

Посмотри на себя, на плохого,
 Коммуниста, фашиста сплошного,
 В лучшем случае — авангардист.
 Разве мама любила такого?
 Прошлогодний, коричневый лист.

Все же мне его жаль, с его шагом
 Твердокаменным, светом и мраком.
 Разве я в нем не жил, не любил?
 Разве он не явился под знаком
 Огнедышащих версий и сил?

С Шостаковичем и Пастернаком
 И припухлостью братских могил...

В фойе

Я пришел с портфелем и сел в фойе,
 На банкетке пристроился — и молчок:
 Сладко к струнной прислушиваться струе,
 Из-под двери текущей, как сквознячок.

Но служительница недовольна мной,
 Подлетела ко мне, как осенний лист:
 Почему я уселся здесь, как больной,
 На коленях портфель, вдруг я террорист?

Пригрозила охранником сгоряча,
 Пригляделась: при галстукe я, в очках.
 Уж не нужно ли вызвать сюда врача?
 Страх и строгость светились в ее зрачках.

Мир особенно грустен на склоне дня:
 Отмирает обида, сникает честь.
 Ах, напрасно боится она меня,
 Я как раз бы оставил в нем все как есть.

Раньше так я не думал: «...и вечный бой!»
Но бездельники знают и старики,
Что все лучшее в мире само собой
Происходит стараниям вопреки.

Даже горе оставил бы, даже зло
Под расчисленным блеском ночных светил.
И к чему бы вмешательство привело?
Музыканта уж точно бы с толку сбил.

* *
*

Не спрашивай с Бога: Его в этом мире нет.
Небесное царство, небесный, нездешний свет!
Лишь отблески этого света даны земле.
Поэтому мир и лежит в основном во зле.

Поэтому зря окропляют святой водой
Стволы орудийные, детский гвардейский строй,
В приветствии дружно, по-птичьи раскрывший рты.
Большие сомненья по части святой воды.

Большие сомненья по поводу правых дел
И левых, лишь те, что нацелены за предел
Земной, а таких очень мало, имеют смысл.
В бинокль разглядеть так случается дальний мыс.

Облизанный солнцем, укутанный в пену сплошь.
А все остальное — безумие или ложь,
И ты в полумраке, и я в темноте живу.
Лишь луч что-то значит, скользнувший по рукаву.

* *
*

Английским студентам уроки
Давал я за круглым столом, —
То бурные были наскоки
На русской поэзии том.

Подбитый мундирною ватой
Иль в узкий затянутый фрак,
Что Анненский одутловатый,
Что им молодой Пастернак?

Как что? А шоссе на рассвете?
А траурные фонари?
А мелкие четки и сети,
Что требуют лезть в словари?

Все можно понять! Прислониться
К зеленой ограде густой.
Я грóзу разыгрывал в лицах
И пахнул сырой резедой.

И чуть ли не лаял собакой,
 По ельнику бьющей хвостом,
 Чтоб истинно хвоей и влагой
 Стал русской поэзии том.

.....

Английский старик через сорок
 Лет, пусть пятьдесят — шестьдесят,
 Сквозь ужас предсмертный и морок
 Направив бессмысленный взгляд,

Не жизни, — прошепчет по-русски, —
 А жаль ему, — скажет, — огня,
 И в дымке, по-лондонски тусклой,
 Быть может, увидит меня.

Поездка

Сергею Коробову.

Какая разница: Сусанино,
 Или Ковшово, иль Межно —
 Все полустерто, затуманено,
 Слепым снежком замечено,
 Загробной жизнью прикарманено,
 Уж так у нас заведено.

И я, зимой в машине едучи,
 Не узнаю знакомых мест.
 И все светильники и светочи,
 По этой местности проезд
 В стихах рисуя, все до мелочи
 Нам описали, каждый жест.

Свою тоску и удивление
 И недоверье к ямщику.
 Такие бедные селения,
 Что в самый раз оптовику
 Скупить их все — и привидение
 В одежде рабской и снегу.

Не перестроить ни угрозами,
 Ни пореформенным трудом,
 Ни продналогом и колхозами,
 Ни совещаньями потом
 Страну под снежными заносами
 С лежащим замертво кустом.

И «новый русский» в белокаменном
 Дворце за цокольной стеной
 Томится, как перед экзаменом,
 Перед равниной ледяной.
 А хорошо на Крите пламенном
 Иль на Карибах, под луной...

И я-то еду в свою Вырицу,
 Глотая жалкие слова,
 Не для того, чтоб в поле вырваться,
 А по причине воровства:
 Забрали супницу и мыльницу,
 Насос и вывезли дрова.

Зато нигде, в машине сидючи,
 Так не прильнуть к небытию.
 Шофер, — скажу, — скорее выключи
 Дурную музыку свою.
 Ах, где еще от жизни вылечен
 Я буду так, в каком краю?

* *
 *

Подъезжая к городу, видишь склады
 И железные ржавые бочки, груды
 Кирпича, видишь старые эстакады,
 Никуда не ведущие, и причуды
 Дикой архитектуры, которой рады
 Мизантропы, наверное, и зануды.

Жизнененавистники, как бы с краю
 Прилепившиеся к суете и встречам.
 В этих сумерках как я их понимаю!
 Подъезжая к городу, видишь свечи
 Тополей и над ними — воронью стаю,
 И под ними — вагон, соблазниться нечем:

Отвратительный, пульмановский, ненужный,
 Проржавевший, как если бы в нем пытали, —
 И кровавый подтек на стене наружной
 Проступил; видишь внутренности, детали
 Механизмов разобранных, рядом — душный
 Мрак депо с тепловозом в нем, как в пенале.

Царство выбитых стекол, железной стружки,
 Допотопного чудища — паровоза,
 Трансформаторы без проводов, катушки
 Из-под кабеля, брошенные колеса,
 Словно где-то шныряет гигантский Плюшкин,
 Жертва нервного Гоголя и психоза.

И становится совестно, как за мысли
 Площадные и грязное подсознание,
 Коллективные ужасы общей жизни
 И нечистые простыни и дыханье,
 К той же свалке Обводный канал причисли,
 Угловые, жилые, слепые зданья.

Не придет к нам Мессия, не беспокойся,
 Не надейся! Посланцы другой планеты,
 Прилетев, натолкнутся на эти свойства

И вполне матерьяльные их приметы
И, подальше запрятав свое геройство,
Уберутся, смертельной тоской задеты.

И не надо! Путь катятся! Дай мне руку,
Улыбнись. Я не жалеюсь, не жалею,
Что я жил, что несется Земля по кругу
Среди звезд, я в себя приходить умею,
Хочешь, вспомню стихи я про грязь и муку
И про то, что, быть может, стоит за нею?

* *
*

Кто вам сказал, что стихи я люблю? Не люблю.
А начитавшись плохих, вообще ненавижу.
Лучше стоять над обрывом, махать кораблю,
Скрыться от дождика вместе со статуей в нишу.

Как он шумел и завесой блестящей какой
Даль занавешивал, ямки в песке вырывая!
Яркий, лишенный тщеславия, вне стиховой
Длинной строки — бескорыстная радость живая.

Эй, тереби некрасивый листочек ольхи,
Прыгай по бревен неряшливо сваленной груде.
Я, признаюсь, насмотрелся на тех, кто стихи
Пишет; по-моему, лучше нормальные люди.

Можно из ста в девяноста сказать девяти
Случаях: лучше бы вы ничего не писали,
Лучше бы просто прогулки любили, дожди,
Солнце на веслах и парные кольца в спортзале.

* *
*

Считай, что я живу в Константинополе,
Куда бежать с семьёю Карамзин
Хотел, когда б цензуру вдруг ухлопали
В стране родных мерзавцев и осин.

Мы так ее пинали, ненавидели,
Была позором нашим и стыдом,
Но вот смели — и что же мы увидели?
Хлев, балаган, сортир, публичный дом.

Топорный критик с космами патлатыми,
Сосущий кровь поэзии упырь
С безумными, как у гиены, взглядами
Сует под нос свой желтый нашатырь.

И нету лжи, которую б не приняли,
И клеветы, которую б на щит
Не вознесли. Скажи, что тебе в имени
Моем? Оно тоскует и болит.

Куда вы мчитесь, Николай Михайлович,
Детей с женой в карету посадив?
На юг, тайком, без слуг, в Одессу, за полночь —
И на корабль! — взбешен, чадолюбив.

Гуляют турки, и, как изваяние,
Клубясь, стоит густой шашлычный дым...
Там, под Айя-Софией, нам свидание
Назначил он — и я увижусь с ним.

* *
*

Вот сирень. Как цвела при Советской власти,
Так цветет и сегодня, ничуть не хуже.
Но и я не делю свою жизнь на части,
Прохожу вдоль кустов, отражаясь в луже.
И когда меня спрашивают: пишу ли
По-другому и лучше ли, чем когда-то,
Не встаю на котурны, ни на ходули.
И сирень так же розова, лиловата.



БОРИС ЕКИМОВ

*

РАССКАЗЫ

ДОРОГА НА КАЛАЧ

Всякий день у нас новости. А в субботу — тем более. С утра до полудня в поселке — базар; там народу словно в Китае. Со всех углов собрались, с хуторов съехались. Нарасскажут, лишь успевай слушать.

Потом — баня, парная. Здесь, уже спокойно, не торопясь, можно обсудить услышанное. И свое, и чужое, какое по телевизору.

Нынче заговорили про богатого американца, который за космос двадцать миллионов отвалил. Да не рублей, а долларов. В рублях — это вообще немислимо, чуть ли не миллиард.

По телевизору целый месяц галдели: старый американец, лысый, а выложил денежки и полетел в космос, вроде как прогуляться, на неделю, короткий отпуск. Показывали, болтался он там, потом хвалился: это, мол, самое лучшее, чего он в жизни увидал.

В парной народу немного. Дело — летнее, час еще ранний. Трудится народ на огородах, в садах. К вечеру — попрут. А теперь лишь мы — люди свободные и не любящие толкотни: Иван Линьков — старинный приятель, житель второго этажа с балконом, Петро из милиции, еще кое-кто.

Сначала о рыбе разговор: запрет, мол, а все равно ловят, полный базар сазана, сома, толстолоба, карася, а уж вяленой — вовсе море. Поговорили о рыбе. Вспомнили про американца.

— Гляди, куда стали на отдых ездить. Аж в космос! Тесно уже на земле. — Это Иван Линьков, он огорода не имеет, глядит телевизор и все знает. — Раньше про Крым мечтали. Потом стали про Кипр... Анталия-монталия... Хургада-мургада... Про Канары галдят.

— Багамы еще... — подсказали ему.

— Это еще где?

— Какие-то острова. Далеко.

— Ну и кто там был? Из наших?

— Может, кто и был. Кто у нас богатые?

— Гаишники да начальство.

— Да у кого магазины.

— Нынче богатством хвалиться нельзя. А то придут в масках и обчичекают.

— У кого есть что чичекают.

— А ты все беднишься. Как-никак при большой звезде. Да еще в Чечне три месяца просидел. Вот бы и маханул на Канары. Все жмешься.

— Пошли они, твой Канары... Мне предлагали, после командировки, в Сочи. Бесплатно. Я не поехал. Чего там делать? На пляже лежать, как тюлень.

— А ты на него похожий.

— Ты, может, еще на кого похожий, почудней. Да я молчу. А вместо Сочей уехал я к Рубежному, палаточку поставил... Милое дело.

— А комарь?

— Он — в займище. А я на той стороне, возле балочки, чтобы ветерок тянул. Вот это отдых, я понимаю. А то — Канары, Канары... Лезь в самолет, лети куда-то на край света. А там такая же вода, как у нас. Лишь соленая. Да толкотня, один на одном. Да рыба не ловится. А на Рубежном и уха будет, и жареха, и сам себе — пан.

Нашлись несогласные:

— Если уж отпуск да на целую неделю, то надо не в Рубежный, а повыше...

— На Картули. В августе каждый год ездим. Замечательно!

— Это через Евлампиевский, там через речку запруда.

— Размыло давно твою запруду. Бродом теперь, за поворотом речки, где старый сад. Едем, ребят берем. Палатка. Рыбалим — с утра, на зорьке. Милое дело... На бугре — бахчи: дынки, арбузы. На той стороне, в займище, ежевика, грибы. Тихочко и покойничко. Все — под рукой, в твоей воле.

— Правильно. А то мы ездили... Моя загалдела: здоровье, здоровье... детвора. Поехали. В Краснодарском крае шкурят на каждом шагу: не туда свернул, не туда въехал. А уж на месте и вовсе: сюда — не шагни, сюда — не плыви, сюда — не гляди. Воруют — по-черному. Не знаешь, куда и спрятать деньги эти. Я уж их в воздухоочиститель запихал. И не спал, караулил. Там — не поправка, там последнего здоровья лишишься.

— На Картулях, слава богу, ни прятать, ни хорониться не надо. Все — твое...

— В сентябре надо ездить. Шиповник пойдет, боярка, кислятка.

— В сентябре — школа. А ребятам хочется. Весь год ждут: когда да когда...

— А мы на озера ездим, — вздохнул кто-то. — К Некрасихе, через пески, краем пробьешься. Благодать...

— Черти вас несут на Некрасиху. Пробьемся, через пески... Садись на лисапет — и на Мужичье. Карасики — в ладошку, а до чего сладкие! Никаких ваших судаков и сазанов не надо. Сидишь как в раю: камыши, лебеди плавают, чаечки вьются.

— И комари по кулаку.

Разговоры пошли один другого завлекательней. Про американца забыли и про деньги его.

Такие беседы всегда по душе. Слушаешь, свое вспоминаешь. Тоже — близкое. Округа Набатовского хутора, Голубинские пески возле Дона.

Когда-то, по молодости, разговоры о прелестях отдыха в родных местах мне казались не очень убедительными: «Ни на какой Крым не променяю, никакие Кавказы не нужны...» Тогда думалось: нигде не был, ничего не видел, вот и гонор, похожий на тот, что, дескать, коньяк — это гадость, он клопами воняет, а самогон — одно удовольствие. Хороший коньяк и поныне в наших краях не водится. Дороговат он для нас, коли хороший. А вот что до прочего...

В предбаннике, в раздевалке, всерьез забурило: «А вот на Скитах... На Харлане... У нас на Плесистове... На Ластушенском...»

Побрел я потихонечку в парную. Пока здесь шумят, там — простор. А что до споров... За немалую теперь уже жизнь довелось мне бывать и отдыхать в разных концах земли. Только что до Австралии не добрался, уж больно далеко. На теплых морях да океанах бывал и на холодных побережьях. Высокие горы, тропические леса, жаркие пустыни, древние города, шумные столицы, тихие и чистенькие американские да европейские городки и деревушки — все это хулить, конечно, грех. Приятно было гостить, а теперь вспоминать.

Но если подумать, в чужих далеких краях: Америка, Африка, Азия; или в своих, но тоже неблизких: Байкал, Дальний Восток, северные края да южные, — что в них особенного, которое бы помнилось и ныне?

Кордильеры, домик в горах, скамейка под деревом, тихий вечер, гуси летят... Морские ли, океанские воды: мерный, баюкающий рокот волны; набегают, рушится у ног; простор воды, неба, земли; зелень, синева, покой, чистый воздух.

Нынче — долгое лето. Вроде и можно куда-нибудь махнуть, но не хочется. Вернее, хочется, но не в края далекие. Лучше — к себе, в Задонье. Поедем в августе, поставим палатку на займищной стороне, в лесу. Будет славно...

Посидел я в парной, веничком помахал и снова — в предбанник. А там — крик да ор. Шумят мои мужики.

Иван Линьков жилистую шею вытянул и свое прет:

— Он — дурак, этот американец! Ты понял?! Он — гольный дурак, без подмеса! Потому что деньги кидать нужно в дело. А чтобы тебя, за твои же кровные, захвали в железную бочку и ба-бах! Полетел! Ничего не вижу, ничего не слышу! То ли долетишь, то ли тебе капец! Долетел, слава богу! В штанах мокро. А куда прилетел?! — У Ивана глаза на лоб лезли, он старался, чтобы все понял его правоту. — Ну куда он прилетел?! За свои миллиарды! В рай Господний?! Конура железная! Сидят один на другом и через раз дышат какой-то гадостью. И чего сладкого?! Ну выглянул в окошко... А чего увидел? Темень да звезды. Их и с земли видать. Чего еще в этой камере? Болтайся да моли Господа, чтобы назад возвратил. Космонавты туда за большие деньги летают, за зарплату. Вроде как люди на Север едут. Заработать! На жизнь! А этот дурак еще и приплатил, чтобы его туда захвали. Да еще хвалится! Чокнутый, точно! Червяки в голове!

— Ты гляди сам не чокнись, — посмеялись над Иваном. — Иди охолонись. От тебя дым идет.

— Охолонусь. А потом попарюсь, — пообещал Иван, помахивая дубовым веником. — А этому американцу никакой пар не поможет. Дурак, он дурак и есть, вместе с долларами.

На том все и кончилось. Парились, отдыхали и снова в парную шли. Беседовали — об ином. Неделя долгая. Новостей много, тем более — в субботу, после базара.

Нынче, из города перебравшись, начал я свое летование не в самом Калаче, в райцентре, а на отшибе — в селении вовсе малом и тихом, на берегу просторной воды.

День первый, второй да третий. После городской жизни не сразу обвыкаешься, словно не веришь, что все это явь: тишина, покой, зелень, вода — рядом. Рано утром проснешься, бредешь потихоньку к воде, окунуться.

Раннее лето, лишь начало его. Шиповник цветет розовым. Старые акации, высоченные, чуть не до неба, вздымают над землей пахучие облака сладкого цвета. Солнце поднялось. Деревья гудят от пчел.

Тишина. Протяжная песнь иволги. Перекатистая трель черноголовой славки. Скворчиный гвалт на дуплистом тополе. Дыханье близкой воды. Прозрачная склянь ее, песчаное дно, утренняя свежесть. Выйдешь из воды — и чувствуешь души и тела восторг. А потом — покой, солнышко греет, птицы поют, синее просторная вода; бредешь себе по светлой песчаной дорожке к утреннему чаю.

Почему-то вспомнился разговор в парной. Про американца, деньги его и полет. И сразу же — давнее, но похожее на сегодняшний день: Америка, маленький городок в окрестностях Филадельфии, счастливое утреннее пробуждение в уютной гостинице тамошней школы. Проснешься — птицы поют. Весна. Месяц май. Цветущие вишни. Огромная зеленая поляна, а посередине — семь раскидистых могучих дубов. Идешь — словно плывешь в зелени, цветенье, голубизне и солнце.

Зачем надо платить двадцать миллионов и улететь из этого цветущего рая в далекую нежить, где пустота и лед, где даже дышать нельзя и дале-

ко-далеко от тебя теплая, дорогая Земля, до которой еще надо добраться нелегкой дорогой через холод и тьму?

Моя нынешняя дорога самая дальняя — лишь восемь километров от поселка, где живу, до Калача. Каждый день ее меряю. По асфальтовой трассе ходит автобус. Четыре рубля заплатил — и катишь: деревья, столбы мелькают. Толком не разберешь.

Людам, на работу спешащим да вовсе старым, им выбора нет. А мне сам Бог велел пешком ходить по песчаной белой дороге, прибитой дождями или обсохшей.

Восемь километров. Немногим более часа ходьбы. Но кажется, что гораздо быстрее. Торопишься миновать поселок, дома его.

Околица. И сразу невольный вздох облегченья ли, радости. Такой неохватный простор открывается, земной и небесный, которому лишь одно имя — Божий мир.

Песчаная дорога в зеленых берегах — славный путь. Просторная степь раскинулась широко, зеленеет, колышется разнотравьем: серебрится ковылем, желтеет пахучим цмином, золотится тысячелистником, тешит глаз пенистыми полянами фиолетовой и розовой чины, радуется нежным молочаем, гвоздиками, яркими цветами придорожного чертополоха, лисохвостом, аржанцом — все растет, все зреет и дышит сладостью цвета и сока.

Отцветают одни травы, им на смену — другие: сиреневый терпкий чабёр, кустистый, в розовых цветах железняк, лазурные озера бессмертника, синие фонарики батога — все это рядом: запах, зелень и цвет. А дальше — приречные луга, разлои, старицы, озера. Близкое Мужичье озеро в надежной камышовой защите. Кудрявое лесистое займище. В прогалах его донские воды синют ли, серебрятся, смотря по погоде. А дальше вздымаются могучие холмы Задонья. Просторные долины открываются к Дону. Людское жильё. В устье Петипской балки — станица Пятиизбянская, старинное казачье гнездо. По течению выше, на входе к Дону Грушевой балки, лепится Кумовский хутор. Задонские холмы, приглядно зеленея, белея меловыми обрывами, огромным коромыслом тянутся, за курганом курган, уходя вдаль и вдаль вместе с рекою.

А над землей раскинулся простор вовсе немеренный. Громады белых, солнцем пронизанных облаков плывут и плывут, перемежая свет и тень. В Задонье над холмами тянутся синие тучи, волоча за собой косые полосы дождя. А в стороне западной густеет фиолетовая тьма. Там погромыхивает.

Степная дорога — белая песчаная нить меж землю и небом. Жаворонки поют и поют. Молчаливый коршун кружит и кружит. Упругий ветер несет навстречу запах травы, листвы, речной и озерной воды, дождевых капель.

В голове и в душе — ничего суетного. Светлые спокойные мысли о нынешнем, и о завтрашнем, и даже о том, чего уже не воротишь.

Будто и не торопишься, просто идешь и идешь; но вот уже тополевая роща шумит — конец пути. Жалко: шел бы и шел. Но впереди еще есть время: долгий нынешний и завтрашний день и тот, что впереди, если будем жить. И в каждом из них — простая радость: дорога на Калач, по которой можно идти ранним розовым утром, в жаркий полдень или ночью. В ночи песчаная дорога светит и отражается в небе серебряным Млечным Путем, сближаясь, а в дальней дали сливаясь с ним.

Восемь километров на автобусе, по асфальту, за четыре рубля. Прогромыхаешь, что-то промелькнет за окном, но ничего не увидишь. За рулем, на машине, — и вовсе: лишь черная лента асфальта перед глазами — и все.

Вчерашним утром спозаранку шел я привычной дорогой и вдруг услышал тонкий серебряный звон. Сразу угадал: лебеди... Поднял голову: совсем низко, косым клином, неторопливо летят белые птицы. Видно, ночевали на Мужичьем озере, в густых камышах, а теперь подались на кормежку, на мелкие теплые воды, куда-нибудь к Кривой Музге. Один, два,

три, четыре... Двадцать два лебедя. Провожал их взглядом, затаив дыханье. Алая утренняя заря поднималась высоко, птицы уходили в нее, алея и розовея пером и превращаясь в чудную сказку ли, волшебный сон. Но это — не сон. С хрустальным звоном, мягкими крыльями не разбивая, а лишь раздвигая утренний розовый воздух, улетали птицы, чтобы вечером вернуться вновь привычной дорогой. Самой близкой и самой красивой, похожей на мою песчаную степную дорогу, ведущую на Калач.

ПАСХАЛЬНЫЙ РАССКАЗ СО ВЗРЫВОМ

Нынешний год весна — ранняя, но холодная. Ветер дует то северный, то восточный, по ночам — зябко. Настоящего тепла еще нет. Но все равно — весна.

Я приехал в поселок из города, на житье летнее, в самую пору: вишни цветут, распускаются груши, розовеют бутоны яблонь. По земле, по зеленой траве — одуванчики, словно цыплята, желтенькие. Скворцы заливаются, горлицы стонут. Золотое время. До Пасхи осталась неделя. И потому на кладбище люди прибирают могилки родных, украшают к празднику: свежей краской оградку ли, крест, скамеечку выкрасят; желтым песочком посыпят; чем-то украсят — вот и кладбище будто зацвело по-весеннему.

Скоро праздник, пойдут на могилки покойников поминать.

Вот и я хочу помянуть: рассказать про Гришиного батяню, который полгода назад, я считаю, геройски взорвался на гранате и спас семью.

Про него ведь никто не расскажет. Совсем недавно, тоже наш землячок, отставной полковник, прямо на кладбище, спяну ли, сдуру, всего лишь стрельнул из пистолета в жену свою, ранил ее. И сразу всей России известен: в «Комсомолке», в газете, на первой странице — огромный портрет, на второй — объяснение: как стрелял и зачем.

В Германии какой-то мальчишка своих школьных учителей да товарищей перестрелял. У того и вовсе теперь мировая известность.

А вот Гришин батяня недотянул. Во-первых, обычный пьющий слесарь-водопроводчик ли, сантехник в крохотном поселке. Совсем не полковник. А во-вторых, никого не угробил, даже напротив, хотя намерения были весьма серьезные: «Я вас всех, в бога мать!!» А получилось — спас, как говорится, ценой собственной жизни. Геройски, я считаю, погиб. И страна об этом не знает. Вот если бы он грохнул всех, как вначале хотел: «В бога мать!» Неделю назад я про такого читал. Огромная статья в «Литературной газете». Тоже — человек пьющий. «В бога мать!..» И казнил своих близких: сына застрелил и жену.

У Гришиного батяни вышло по-другому.

Давайте я расскажу по порядку. Про Гришу и про отца его.

В прошлом году я приехал в поселок поздно, в конце мая, уже цвела акация, было зелено и тепло. Всякий день поутру я ходил купаться, а вечерами долго сидел на причале, возле воды. Ночами ловился крупный лещ, по килограмму и больше. Утром на причале ребятишки да старики дергали красноперку, плотву. А вечером сходились и съезжались люди серьезные. У них спиннинги, катушки, прикормка — все для дела. И ловили за ночь по пять-шесть лещей, а кто и больше.

Народу на причале собиралось довольно много. Взрослые леща добывают, мальчишки — бычков и всякую мелочь.

Я не ловил. Я лишь сидел на чугунном, за день нагретом кнехте, радуясь просторным воде и небу да развлекаясь рыбачьей суетой. Люди приходили одни и те же, здешние, и я к ним понемногу привык, особенно к завсегдатаям, стал узнавать их, здороваясь и порой беседуя.

Погода случалась всякая. Бывали тишь и покой, и тогда, особенно вечером, народу собиралось множество: порыбачить, просто отдохнуть. Но случалось и другое: ветер, волна. Людей немного. Лишь завзятые рыбаки.

Среди них — мальчик лет десяти ли, двенадцати, по имени Гриша. Черноглазый, приятный на лицо, но не больно ухоженный: заношенные спортивные брюки, рубашонка, худенький, бледноватый. Он проводил у воды, на причале, чуть не круглые сутки. По утрам немудреною удочкой ловил всякую мелочь. Приятели-сверстники относились к нему очень уважительно, часто призывая на помощь:

— Гриша, у тебя свинца нет на грузило?

— Гриша, привяжи крючок...

Гриша да Гриша... Он никому не отказывал: и грузило, и поплавок в своей сумке найдет, и крючок поможет привязать узлом-«восьмеркой», а вовсе малым ребятам установит нужную глубину для верхоплавки, для бычка — кому что желательно.

Вечерами, во взрослой компании, Гришина подмога, конечно, никому была не нужна. И он словно замороженный сидел возле своих удочек, неприметный в сумеречной густеющей тьме. По всему было видно, что этого мальчишку дома не больно и ждут.

Скоро углядел я и Гришиного отца, батяней он себя называл. Обычный пьющий мужичок, тут с первого взгляда все ясно: черноликий, в потрепанной одежке. Но из шепутных: разговорчивый, суетной. Бегает, мельтешит от одного рыбака к другому. И сына не забывает: подскочит к нему, даже присядет рядом:

— Ловишь, Гриша?.. А глубина? А насадка? Твой батяня тоже ловил. — Это он о себе повествует. — И спиннинг хороший был, кто-то упер. Твой батяня ловил. И будет ловить. В город поеду, куплю катушки и тогда... Мы с тобой, сынок...

На долгие речи у Гришиного батяни времени нет.

К одному, к другому подсел. Не столько на воду да поплавки глядит, сколько ищет обычной поживы. У серьезных рыбаков, из тех, что приходили на всю ночь, у них имелся запас, «на случай», чтобы не озябнуть. Но не для Гришиного батяни. А он все равно стрекочет — попытка не пытка, к одному рыбаку да к другому пристроится. Но в конце концов удаляется, не забыв напоследок о сыне:

— Ты долго-то не будь... Мамка заругает.

Мальчик обычно молчит, сторожа свои снасти.

Однажды был зябкий и ветреный вечер. Народу на причале — немного, лишь люди взрослые. Из детворы один только Гриша пристроился, скорчившись в ненадежной затишке, под выступом причального съезда, и сидел там. В обычной своей рубашонке, без головного убора. Откуда ни возьмись объявился батяня. Пострекотал возле одного да другого. Углядел сына.

— Рыбалишь, сынок... — И обычное: — Ты долго-то не будь.

А уже, считай, ночь на дворе. И было подался прочь с неудобного, ветреного причала, но лишь в последний миг, сообразив, снял пиджачок, накрыл им сына, наказав:

— В чулане потом повесишь. Я утром заберу.

— А ты сам не замерзнешь?

— Да я чего... — передернул батяня плечами.

— Он найдет, чем согреться... — сказал кто-то из рыбаков.

— Это уж точно... — хохотнул батяня, торопясь в поселок.

В дневную пору я видел батяню то там, то здесь: с какими-то железками — значит, при деле; у магазина, где торговали дешевым разливным пивом; в сени деревьев, в веселой компании таких же, как он.

Всегда говорлив, всегда, как говорится, «выпимши», энергичен: «Счас, счас... Заделаем... Нет вопросов...» — чего-то обещает и тут же куда-то мчится развинченной легкой походочкой. Кепочка — чуть набекрень, за-тасканный пиджачок, рубашечка в клетку, разношенные сандалии на босу

ногу. Днем — в поселке, вечером появится порой на причале. С одним да другим перекинется словом, покурит. Ко мне подходил, толкуя о леще да жерехе, но в глазах наивная детская надежда: «Может, здесь повезет...» Не везло. И он уходил со вздохом, напоследок не забыв наказать своему Грише:

— Долго не будь, сынок... Мамка заругает.

Говорливый мужичок, сыплет обычными шуточками: «Мы работы не боимся... Лучшая рыба — это колбаса...»

Тараторит, машет руками, а глаза не больно веселые, куда-то все в сторону глядят. Дело понятное: побейся-ка целый день, на питье добывая, а вечером — выволочка от жены, пусть и привычная, но от этого не легче. Пьяницам, им тоже не позавидуешь. Не сахарная у них жизнь.

Может, оттого порой и куражатся. И чаще всего кураж дурной. «Не уважаешь?» Значит — ножик ли, ружье, а нынче и автомат... Что попадет под руку. Режь да стреляй, коли «не уважают».

Это покойный мой дедушка, Алексей Васильевич, был иным. Иногда выпьет рюмку-другую, приходит домой под хмельком, веселый и заявляет с порога: «Дорогие мои детки! Хотите меня бейте, а хотите убейте, но я выпил и буду вам на гармошке играть».

— А мы радуемся, — вспоминает моя мать. — Он на гармошке играет, а мы все поем и пляшем. Праздник...

Нынче чаще всего пьют не рюмочку-другую, и «веселье» для домашних нелегкое.

Вот и наш землячок-полковник: «Не уважаете. Будем стрелять...» Прославился.

Про подвиг Гришиного батяни никто не узнал. А ведь тоже был пьяный. Крепко поругались в семье. Все на него: жена, дочка и сын. И тот же хмельной кураж: «Не уважаете... Буду казнить...» А под рукою не что-нибудь, а боевая граната.

Наверняка он просто хотел попугать. Шумливую свою жену и дочку, которая тоже голос начала поднимать. Конечно, хотел их как следует пугнуть. Не переорешь ведь баб...

И конечно, все — дело случая. Допекли... А когда допекут, в сердцах чего не наделаешь. Вот и батяня наш в этой домашней ссоре вскипел, взбеленился, тем более дурной хмель в голове.

— В бога мать! С такой жизнью! Всех вас... — Ухватил эту злосчастную гранату и, выдернув чеку, кинул посреди комнатки. В бешенстве, в ярости, хмельной человек.

Но все же мне думается, что чеку он выдернул случайно ли, ненароком. Но ничего уже было нельзя изменить.

Граната упала на пол. Вокруг нее в тесной комнате — четверо: жена, дочь, сын Гриша и он, батяня. И всего несколько секунд времени между вырванной чекой и взрывом.

Батяне с лихвой хватило этих секунд, чтобы отрезветь, все понять и сделать последний шаг. «Он побелел как стена», — потом вспомнит жена. Батяня успел, кинулся на пол, упав на гранату. Тут же рвануло. От взрыва даже деревянный пол в комнате проломило. А уж про батяню чего и говорить. Он умер мгновенно, весь взрыв и металл приняв на себя. Никого не тронуло: ни детей, ни жену.

Вот и вся история про Гришиного батяню. Конец.

Нынче могилки на кладбище прибирают, скоро Пасха. Станет совсем тепло; зацветет акация; начнет ловиться крупный лещ; на причале по вечерам, особенно в погожие дни, народу много, взрослые и ребяташки. Гриша будет сидеть, с удочкой ли, с закидушкой.

Спасибо тебе, батек. Ты в жизни, конечно, покуролесил. Крови родным попортил. Но вот ушел по-хорошему, по-людски, никого с собой не забрав. Пусть живут.

ПЕРЕД ПРАЗДНИКОМ

Нынешняя зима словно подарок: снегопады, метели, легкий мороз. Давно такой зимы не было. И так рано пришла. В середине ноября, когда уезжал я из Волгограда на поезде, было тепло, а утром в купе проснулся — за окном зима, белое Подмосковье: поля, перелески, людские селенья — все в снегу.

Жил я, как всегда, в Переделкине, двадцать минут от города, а иной мир: старые березы, вековые сосны, покой, тишина, да еще снег валит и валит. Живи и радуйся.

А вот радости как раз было мало. Нынешний год приехал я в Москву не просто развеяться, но с болезнью, надеясь и не надеясь на докторов столичных, до которых еще достучись.

Рано утром впотьмах поднимался я и брел к электричке, ехал в битком набитом вагоне. Потом — слякотный перрон, под ногами — жижа. Городские зимние угрюмые сумерки. Людской поток несет тебя ко входу в метро. Там давка: в дверях, у турникетов, у эскалаторов, в подземных переходах. В желтом электрическом свете течет и течет молчаливая людская река.

А наверху, на московских улицах, тоже несладко. Под ногами — наледь нечищенных тротуаров или снежная каша пополам с солью.

Потом — больничные коридоры, очереди, долгое время ожидания. Один кабинет да другой. «Ждите, ждите... Вы не один... Ожидайте... Может быть, завтра, а может, на той неделе... Видите, сколько народу?..» Чего тут ответишь, лишь вздохнешь: нет, не стоит хворать, а уж в нынешние времена — тем более.

К вечеру наглядишься, наслушаешься, устанешь, еле бредешь.

Снова — метро, его подземелья. Господи, какая сила загоняет нас в эти угрюмые норы... Выберешься оттуда, вздохнешь и спешишь к электричке, в ее вечернюю толкотню, Бога моля, чтобы не отменили.

Так и текла моя московская жизнь: за днем — день, за неделей — другая. Затемно встанешь, затемно к дому прибьешься. Ничему не рад, даже зиме и снегу.

Уже пошел декабрь, спеша к новому году, а у меня — песня прежняя, и чем длинней она, тем тоскливей.

Однажды вечером мне повезло вдвойне: электричку не отменили и вагон оказался не больно набитым. Уселся, газету развернул для порядка. Хотя чего там вычитывать: убили, взорвали, ограбили, да еще склоки, кто больше украл. Но по привычке достал газету ли, детектив и вроде укрылся: не трогай меня. Вечерний поезд, усталые люди. Зима, теснота, из тамбура дует и дымом несет, кто-то ворчит, а кто-то уже ругается.

Газету я вынул, глаза прикрыл, но задремать не успел: застрекотали рядом молоденькие девушки. Слава богу, что обходились без убогого «блин», «короче», «прикольно». Обычная девичья болтовня: лекции, практика, зачеты — словом, учеба. Потом Новый год вспомнили, ведь он и впрямь недалеко.

— Подарки пора покупать... — сказала одна из них. — А чего дарить? И все дорого.

— Ты еще подарки не приготовила?! — ужаснулась другая девчушка. — Когда же ты успеешь?! Ведь всем надо!

— А ты?..

— Ой, у меня почти все готово... Маме я еще осенью, когда в Кимрах была, купила домашние тапочки на войлоке, старичок продавал. Ручная работа, недорого. У мамочки ноги болят от резины... А там — войлок. Они, конечно, грубоватые, но я их облагородила: обшила голубенькой каймой, а тесьмой сделала цветочек. Получилось — картинка. Ой, как мама обрадуется! — Голос ее прозвенел такой радостью, словно ей самой подарили что-то очень хорошее.

Я голову поднял, взглянул: обычная молоденькая девушка. Сняла шапочку, светлые волосы рассыпались по плечам. Лицо живое, милое.

— А дедушке я прямо в этой электричке купила, — продолжался рассказ. — Он у нас такой смешной. Он любит читать о преступниках. Сам такой добрый, а читает про преступления и ворчит: «При советской власти такого не было, не было...» Я ему купила целых два тома, в электричке продавали недорого, всего за двадцать рублей. «Преступления века» называется. Он будет такой довольный, так обрадуется! — прозвенел в вагоне счастливый девичий голос и смех. — А бабушке... Мы завтра будем на практике, там рядом хороший магазин для диабетиков. Я уже все разглядела. Бабушка болеет, а ей тоже хочется вкусенького. Я ей конфет возьму и печенья для диабетиков. Красивый пакет. Как маленькой! Она так будет рада!

И снова — счастливый смех. Лицо девушки светилось радостью, глаза сияли — такая была довольная.

— А папе... У нас такой папа хороший, работающий. Он минуты не посидит... И я ему подарю...

Не только я и соседи, но, кажется, уже весь вагон слушал счастливую повесть девушки о новогодних подарках. Опустились на колени раскрытые книги, развернутые листы газет. Наверное, у всех, как и у меня, отступило, забылось дневное, несладкое, а просыпалось иное: ведь и вправду Новый год близок, скоро уеду, а никому не купил московских подарков, даже в магазины не заглядывал. Вроде не до того. А ведь все равно — Новый год.

Ах, как вовремя Бог послал вагонного торговца, каких нынче милиция гоняет! Торговец поставил объемистую сумку и запел:

— Вашему вниманию предлагается! Женские и мужские носовые платки! Салфетки с новогодней символикой...

Он и песню свою не успел допеть, а к нему уже потянулись:

— Дайте поглядеть...

— А сколько стоит?

Торговля пошла на удивление бойко. Женские носовые платки покупали, пестренькие, с ажурной каймой... Чем не подарок? И мужские — поостроже, но приглядные. Салфетки с Дедом Морозом и елками шли на расхват. Сумка торговца на глазах опустела.

— Ну и вагон! — радовался продавец. — Молодцы! И правильно! Товар хороший! Я плохим не торгую! Завтра еще привезу.

А тем временем электричка уже спешила к моей станции. Здесь выходит много народу, новый район. Собирались, прятали так и не прочитанные книги, газеты, поднимались к выходу, проходя с улыбкой мимо девушек, глядели, угадывая: какая из них? А молодая женщина, что сидела напротив, через проход, на прощанье сказала:

— Спасибо тебе, милая.

Девушка не поняла, о чем речь, улыбнулась недоуменно: за что, мол...

И в самом деле — за что?

Я вышел из вагона, торопиться не стал, пропуская спешащих. Им еще на автобус, к Боровскому шоссе, в новый район, а мой путь — недолгий, пешочком, два шага, считай, осталось. Дорога славная: березы да сосны сторожат тропинку; не больно холодно, а на душе, на сердце и вовсе тепло. Спасибо той девочке, которую унесла электричка. А в помощь ей — малиновый чистый закат над черными елями, бормочущая во тьме речушка под гибким деревянным мостком, говор вдали, детский смех и, конечно, надежда. Так что шагай, человек...

ОХОТА НА ХОЗЯИНА

Городской внук свалился словно вешний снег на голову: в час предвечерний гавкнул и разом завизжал виновато дворовый пес Тришка. Старая Катерина в окошко глянула — и обомлела. А внук был уже на пороге.

— Мое дитё... — охнула Катерина. — Ты откель взялось? Либо пешки шел от станицы?.. А может, от самого города?

— Я — поездом, а потом — попуткой, а потом трактор подвез, а потом — пешком... — докладывал внук.

— Страсть Господня! — схватилась за голову бабка. — Ночь на дворе, а дитё по степи блукает. И мать отпустила? Либо она умом рухнула? Или ты сам убер не спросясь?

Заступился, как всегда, дед:

— Какая беда... Прошелся, провеялся на молодых ногах. Я, бывалоча...

— Это все — бывалоча! — отрезала жена. — А ныне — и волки, и люди хуже волков. Тем более дитё городское. В тепле ему не сиделось... Без спросу убер?

— Мама разрешила. И мы же договаривались, — оправдывался мальчик, поднимая на деда глаза, — в ноябре, на каникулах, когда судак пойдет...

— А он и вправду идет, — подтвердил дед. — Могу похвалиться.

— Погоди... — пыталась остановить мужиков старая Катерина. — Годное дитё, замерзло... С судачками с твоими...

Но мальчик был уже во дворе и мчался к дощатому ларю, где обычно хранилась свежепойманная рыба. Он крышку откинул и охнул: два судака, и не какая-нибудь мелочь вроде подсулков и «карандашей», а настоящие судаки, могучие, полосатые, в жестком панцире чешуи. Мальчик потрогал одну и другую рыбину — не сон ли? — и недоверчиво спросил у деда:

— На блесну? Не сеткой?

— Какая сетка, блесна, — подтвердил дед. — У Красного створа. Завтра с тобой попытаем. В две руки. Может, повезет.

Мальчик на рыбу глядел и переводил глаза на деда, поверить не мог.

— Правда? И я поймаю, на удочку?

— Попытаем, — усмехнулся дед. — Погода не подведет, можешь поймать.

Смеркалось. В глубине ларя, на дне его, лежали большие молчаливые рыбы. В сумеречной полутьме закрома мальчику они казались огромными, спящими и могли уплыть.

— Нагляделся? Пошли в хату, — поеживаясь, сказал дед.

Пасмурный вечер наливался тьмой, дышал стьлой осенней сыростью.

А в хате под низкой уютной крышей горело яркое электричество, парили разогретые щи, шкворчала на сковороде жареная картошка и охала сердобольная бабушка Катя.

— Не намерзся?.. Побег?.. Обувка либо насквозь промокла? Ноги залубенели?.. Как же ты добралось, мое дитё?

Дорога на хутор и впрямь была неблизкой: пригородным поездом три часа, потом автобусом ли, попуткой до центральной усадьбы колхоза, а уж оттуда — как повезет: ненадежный проселок, особенно в непогоду, тем более осенью. Можно и пешком все двенадцать верст отшагать.

Мальчик был ростом и статью не больно великий: одиннадцатый годик пошел, а дитя дитём.

— И как тебя мать отпустила? И как ты добрался? Сидел бы и сидел в городе...

— Каникулы... — оправдывался мальчик. — Мы же с дедом договаривались судака ловить в ноябре. Я же никогда его не ловил, бабаня! — так искренне и сердечно произнес мальчик, что старая женщина сразу все поняла, приголубила внука:

— Рыбачок ты мой, рыбачок...

Родная дочь в семейной жизни была не очень счастлива; мальчонка рос, считай, без отца.

— Ладно, добрался — и слава богу, — постановил дед. — Давайте вечерять.

Кухонный стол был просторен. На нем уместилось пахучее хлебово и жарковье, молочное да овощная солка: помидоры, огурчики, хрустящая, еще не окисшая капуста с оранжевым морковным крошечком.

Мальчик ел в охотку, наголодав в долгом дневном походе, не успевал говорить:

— Я такие щи люблю, чтобы красные... А у нас кончился томат... Я картошку люблю, чтобы хрустела... Я сметану люблю мазать на булочку. Но она — дорогая. А каймак вовсе не купишь... Знаешь, сколько стоит каймак на Центральном рынке? Пятьдесят. Маленькая баночка. А творог — шестьдесят или семьдесят килограмм. Поняла?! — пугал он городскими ценами бабушку. А потом деда: — Ты знаешь, сколько стоит судак? Шестьдесят за кило. А без костей, филе, — восемьдесят и сто. Его лишь крутые берут, богатые. Понял?

Ужин тянулся долго: еда, расспросы да разговоры. Потом чаевничали, тоже с беседой. Как-никак с лета не виделись. По теплomu времени внук гостил на хуторе часто, подолгу. Привыкали к нему. А отвыкать труднее. Тем более, что старики жили одни. По нынешним меркам, стариками их называть было вроде и грех: шестьдесят годков с небольшим. Хозяйка еще видом приглядная, пусть и морщины, и проседь, но далеко не старуха. Хозяин телом тушист и силен: мешок с мукой ли, сахаром не покряхтывая несет. А все равно — не молоденькие. И просит душа родного тепла.

Но ужин ужином, беседы беседами, а главное — завтрашняя рыбалка, к ней надо готовиться. Принесли из кладовки просторную брезентовую суму, в которой снасти хранились, на полхаты разложив удочки со сторожками да катушками, мотки лёсок, шнуров, литые свинцовые грузила, простежкие и фасонистые блёсна. Всякая снасть должна быть наготове.

Хозяйка со стола прибирала и пела обычное:

— Поедут они хвост морозить. Летом надо рыбалить, по-теплому, а не зимой. Тама — ветер, волна... — пугала ли, пугалась ли она. — Не дай бог, перевернетесь. Ты уж гляди за ним, — наказывала она мужу, — чтобы по лодке не сигал.

— Привяжу к скамейке, — отмахивался супруг. — А то он не рыбалил.

— То — летом, а ныне — зима, вода холоднучая. Взрослые перетонули, милиционеры, — вспомнила она.

— Пить надо меньше, — ответил старик.

— Где утонули, когда? — спросил мальчик.

— На Картулях, — объяснил дед. — Ловили судака. Да не ловили, а губили, били током. Городские менты. Там зимовальные ямы. Кто-то подсказал. Они их и чистили. Сейчас же нет законов, чего хочешь твори. Тем более менты. И утонули ночью. Пьяные. Лодка перевернулась — и шабаш.

— Савушка сказал, что их водяной утянул, хозяин, — добавила бабка. — Мол, озлился, что рыбу губят, и утопил.

— Это все брехни, — постановил супруг. — Сом человека не утянет.

— Еще как утянет. Девчонущкой была, у нас утягивал мальчика маленького. А козла утопил сом, помнишь, в устье, на Малом Набатове. Утопил, а не смог заглотнуть и подох. Так и нашли их.

Старик был непреклонен:

— Утку, гуся — это я сам видал. Собаку, пусть даже козу... А человека, тем более взрослого, не возьмет сом. Даю сто процентов гарантию.

— Савушка лучше знает, — на своем стояла супруга. — Водяной хозяин в Дону живет, возле хутора, старый сом, ему сто лет. Он кого хочешь утянет.

Древний хуторской бобьль Савушка, сам похожий на лешего ли, водяного, чуть не круглый год проводил на Дону, на озерах и старицах, понемногу рыбачил, грибы собирал, ягоды, по слухам, знался с нечистой силой, какая прятается от людских глаз в займищных буреломах, глухих заводях.

— Савушка твой... — отмахнулся дед. — У него в башке — тараканы.

— Это у вас — тараканы, а не у Савушки, — не сдавалась супруга. — Сколь рыбы губят. На Ремнево... Разве хорошо? Бомбу кинули.

— Какую бомбу? Настоящую, с самолета? — встрепенулся внук.

— Взрывпакеты, — разъяснил дед. — Городские какие-то приезжали.

— Погубили сколь рыбы, — охала бабушка. — Там завсегда серушка, это еще девчонкой помню. Всем хватало. И голубяне едут, и бузиновские едут, из города едут. Зимой и летом. А теперь доумились, все сгубили. Правду Савушка говорит. Такого и в голодные годы не было, чтобы рыбу губить. Удочкой, вершей, бредешком, нитяная сетчонка. А ныне... страсть божия: сетями обставились, неводами цедают, током бьют, взрывают... Савушка голымую правду гутарит: «Не жадайте, не губите...»

Мальчик знал старого Савушку, побаиваясь его, когда приходилось встречаться за хутором, возле речки. Среди вербовой да тополевой чащобы сгорбленный бородатый старичок появлялся неожиданно, пальцем грозил: «Много не лови. Не губи рыбу...» — и также вдруг исчезал, словно и впрямь колдун. Но сейчас вспоминать об этих встречах было легко и вовсе не страшно. В теплом доме, под ярким светом, среди радужного разноцветья блёсен, мормышек, поплавок, переливчатых каучуковых рыбок, катушек, лёсок, источающих запах речной воды, рыбьей слизи, чешуи, конечно же, не могло быть страха, но грезилось, не могло не грезиться доброе лето.

Глухая протока. Низкие своды вербовых ветвей. Близкие берега — в непролазных зарослях куги да чакана. Лодка еле ползет, пробираясь в плавучей зелени. Здесь водится потаенная рыба линь. Удочкой ее не возьмешь. Малая сетчонка не тонет. Приходится лезть в воду, протаптывать, пробивать до дна подводные глухие дебри, чтобы сетчонка встала стеной возле камыша, в подножьях, в корнях которого кормится линь. А назавтра снова пробивались туда же, уходя от света в зеленую полутьму. Обмирало сердце, когда, увидев затонувший или колыхавшийся поплавок, дед говорил: «Там кто-то живет...» Говорил негромко, словно боялся спугнуть. И мальчик повторял за ним, а иногда успевал первым увидеть и сказать: «Там кто-то живет...» Поднимали сетку, и объявлялся — в золотистом мягком сиянии — губатенький линь, увесистый, как и положено драгоценному слитку.

Ловить красноперку в просторной заводи, на чистоплесе... Мальчик любил такие слова: «На чистоплесе. Верхоплавом идет». Или развести руками: «Отказала рыба... Молчит...»

Пусть «молчит», пусть «отказала», потому что ушла на глубину, к непогоде. Мальчик любил не улов, не добычу, но просто рыбалку: речную волю, разговоры да байки про хитрых щук, которые уходят даже из лодки; про озерных карасей, которым нипочем летняя сушь и безводье; про времена былые, о них вспоминала даже бабушка: «Какая была стерлядка, красивая, на солнушке аж горит... А потом — пропала. Покойник папа последние годы ее и не брал. Попадетса, он поглядит на нее и отпустит: иди гуляй, родная». Вспоминали могучих осетров, севрюг да белуг, о которых нынче забыли. А в прежние времена приходили на становье к деду Харлану, тот говорил: «Выбирай...» На урезах, на привязи гуляли у берега, в светлой воде сказочные рыбы в золотистых шеломах да бляхах, словно витязи подводного царства.

Прошлого не вернуть. Но и теперь вокруг и рядом — вода, свежая зелень, ветер, шелест листвы, солнечное тепло, голоса птиц и молчание рыб, которые, конечно же, где-то совсем близко. И невеликий старичок с длинными волосами, в бороде, он вовсе не страшен, то появляясь, то исчезая в солнечном свете и в зеленых сумерках чащи. То появляясь, то исчезая...

— Да он уже спит... — негромко сказала бабушка. — Намучилось дитё... Рыбачок ты мой, рыбачок, — подняла она легкое тело и унесла на кровать, в который раз сетуя: — И как он добрался-то, Господи... — И попеняла дочери: — Отпустила, легкая душа, и сердце не болит. Так, сею-вею...

— Упросил, наверное, — вздохнул дед. — Хочетса. Он большую рыбу сроду не ловил. Он и малую-то не очень... А тут судак, сколь говорено...

— Ты уж подмогни ему, — попросила жена. — Нехай дитё порадует-ся... Такой уж худенький, в чем душа... Вроде и не болеет.

— Растет...

— Может, и так... Но другие вон — гладыри, а наш — кашельй.

Говорили о внуке, о дочери, о городском их, не больно ладном житье. А мальчик крепко спал, легко перейдя из благодатной яви в счастливый сон, где теплое лето, зелень и цвет просторного луга, прохладная сень деревьев, прозрачная вода, в которой медленно плывут и плывут нарядные красноперки, серебристая плотва, золотые лини, полосатые судаки, иные, неведомые рыбы.

Мальчик проснулся так же легко, как и заснул. Открыл глаза, словно и не было долгой ночи: лампочка светит, дед за столом сидит, шкворчит на печи, испуская сладкий дух, жареная картошка.

— Я уж будить тебя хотел. Поднимайся. Позавтракаем — и вперед.

Мальчика ветром из кровати выдуло.

— Не торопись, — сказал ему дед. — Успеем. Как следует подзакусим. Время позволяет.

Время и впрямь позволяло. Позавтракали, чаю напились, тепло оделись и лишь тогда вышли в ночь.

Было темно и звездно. Дворовая грязь была схвачена холодным утренником. На дворовом столе и скамейках смутно белел иней.

— Минус два, — объявил дед, чиркнув спичкой у градусника. — Значит, давление поднялось, малек ушел вниз, а судак — за ним. Там мы его и возьмем.

— Возьмете, — провожала их хозяйка, — хворобу на свою голову. Померзнете на сухарь, а он потом школу будет пропускать. Побудьте чуток и ворочайтесь.

Шагали к лодке, к Дону, через спящий хутор, мимо темных домов. Даже собаки еще спали, не лаяли. Далеко вдали, за Доном и лесистым займищем, чуть брезжило, белело. Прихваченная морозом земля глухо отзывалась шагам. Деревянная лодка, скамейки ее были покрыты белым ворсистым инеем. Дед сгреб хрусткое снегово рукавицей, постелил на корму мешок, сказал внуку: «Садись». И поплыли.

Помаленьку светлело. Над лесом разгоралась заря, ясная, алая, отсвечивая розовым на редких облаках, на тихой воде. Весла и ход лодки разбивали розовую гладь, оставляя за кормой алую переливчатую зыбь. В желтых береговых камышах сонно прокрякала утка и смолкла. На придонских холмах, в займищном голом лесу, на просторной воде — предзимнее оцепененье. Нигде ни движенья, ни звука. Даже рыба на воде не играет.

Переплыли Дон наискось, на течение. Подступил берег левый — лесистый, песчаный, с обрывистыми подмывами, с буреломом. Всякий год полая вода валит прибрежные тополя и вербы, выворачивая и оставляя надолго мешанину корней и ветвей.

У старика свои места, привычные и проверенные за долгие сроки.

— Здесь, под берегом, — глубь, — негромко объяснил он. — Три тони. От осокоря до дуба. Потом от обрыва до закоска. И третий — до красного створа. Нынче холод, малек ушел на глубь, там потеплее. Судак — за ним.

Короткие, для зимнего лова, удочки налажены с вечера: катушка, сторожок, блесна. Узкий лепесток свиного сала — на крючок, туда же парочку рдяных навозных червей.

Дед, резко угребаясь, поднял лодку к началу первой тони, бросил весла и пустил блесну вниз.

— Давай, — сказал он внуку. — Ты на окуня зимой рыбалил, так же самое: положил на дно, приподнял. Снова положил, снова поднял. Не спеши, попридержи наверху. А то он не догонит.

Мальчик опустил блесну, проводив ее взглядом, пока не скрылась бель и алость наживы в темной прозелени глубины. Катушка разматывалась,

леска долго шла внатяг, а потом ослабла. Это было дно. Наука лова и впрямь не больно хитрая: подними блесну, опусти, снова подними, опять опусти.

— Он и со дна берет, — рассказывал дед. — И с подъема, ударом. Иной раз проверяет ли, любопытничает, трется. А то хвостом лупанет — вроде глушит.

Мальчик, казалось, не слышал слов, замороженно поднимая и опуская снасть. Он будто не слышал, но видел через глубокую толщу и тьму, как подходит к наживе большая рыба. Песчаное дно. Тяжелая блесна с грузом ложатся на грунт, а потом поднимаются, вздымая легкое облачко мути. Но ясно видится белый лепесток сала, алые живые черви, оловянный отсвет блесны. Большая рыба, и впрямь любопытствуя, проходит рядом, задевая наживу, а потом бьет хвостом.

Дернулась рука, почуяв удар... Но рыба лишь играла. Картина виденья исчезла, когда дед быстро-быстро стал выбирать леску, и вот, уже взмыв из воды, упал в лодку большой полосатый судак, глухо колотясь тугим узким телом по решетчатому настилу.

— Не сепети, приехали, — остудил его дед, вынимая блесну и бросая рыбу в носовую часть. — Один — ноль... — улыбнулся он внуку.

Но мальчик его не слышал. Он лихорадочно начал выбирать леску, бросая ее под ноги, он чуял натяг и понимал, что там рыба, но поверил в удачу лишь потом, когда судак уже бился в лодке, путая леску, а мальчик не мог его ухватить, пока дед не помог. И вот уже пойманный судак стучит-колотится в носовой части. А мальчик еще не верил, хотя видел мощное стальное тулово рыбы, большую голову, зубастую пасть, но все это — словно короткий обморок.

Леска, брошенная на дно лодки, спуталась. Старик поучал:

— Ты поднимаешь рыбу, леску на корму клади, кругами, а не кидай под ноги. — И похвалил: — Хорошего судачка поднял. Килограмма на полтора. А бабка не верила.

Мальчик и сам не верил. И прежде чем продолжить лов, он шагнул в нос лодки, потрогал, а потом взвесил в руках свою добычу, тяжелую и еще живую.

Второго судака мальчик поймал сразу же, лишь опустив блесну, и снова в горячке толком ничего не понял: натяг, лихорадочное выбиравание лески. И вот уже в лодке широко разевает зубастую пасть и раздувает жабры большая рыба с нежно-белым подбрюшьем.

— Даешь! — восхитился дед. — Два — один. Мне надо упереться.

Третьего судака мальчик вытаскивал почти спокойно, зная, что поднимет рыбу. А вытащив, углядел: судак зацепился снизу, крючком в брюхо, под верхний плавник.

— Смотри, — показал он деду.

— Это он интересничал, а ты подсек. Бывает...

Они прошли по течению три тони, до Красного створа — судоходного знака на берегу.

— Неплохое начало... — оценил дед. — Пять штук. Я вчера за день столько не взял.

Он развернул лодку и стал подниматься вверх, к упавшему осокорю, к началу охоты.

Утлая лодочка — скорее челнок — вышла из береговой тени и пошла им навстречу. В ней сидел, легко угребаясь одним лишь лопатистым веслом, Савушка — древний хуторской старик, заросший сивым волосом, с длинной бородой.

— Здорово живешь, — поприветствовал его дед.

— Рыбалите? — спросил Савушка.

— Начинаем.

Челнок медленно прошел рядом; Савушка сказал:

— На уху поймаете — и будет. Не жадайте. Вон хозяин глядит, — и указал перстом на берег. — Все видит.

И словно подтверждая, большая темноперая птица что-то проклекотала, устраиваясь на маковке высоченного дуба.

— Нам много надо, — посмеялся дед. — Город будем кормить. И на зиму, в запас.

Савушка лишь головой покачал, ничего не ответив. Кургузая его лодчонка ушла по течению.

А мальчик и дед, поднявшись к приметному дереву, снова принялись блеснить. И уже на первой тоне подняли двух судаков и большую щуку.

Нехитрая наука: положил блесну на дно — приподнял, снова положил — поднял и подержал на весу, поддразнивая судака. Мальчик уже не глядел на леску и воду, чья рукой движенье блесны. Положить на дно — поднять; положить — поднять и подержать недолго. Удар! Подсечка... И вот уже через толщу воды, упруго сопротивляясь чужой воле, идет рыба.

У деда с каждой удачей разгорался азарт.

— Полюбопытничал, а не взял... — досадовал он и тут же брался за весла. — А мы еще разок проверим эту ямку, пройдем. — Поднимаясь вверх по течению, он снова опускал снасть, пытая удачу. — Вот так! — торжествовал он, поднимая рыбу. — Я говорил, не уйдет. Нынче наш день!

У мальчика, напротив, интерес к ловле, тоже от рыбы к рыбе, словно пропадал. Первая, вторая, третья... эти были открытием ли, победой. Огромные судаки. О таких он даже не мечтал. А они — вот. Подергал блесной, зацепил и поднял. Снова подергал — и опять леска внатяг, режет воду. Сначала все вроде в беспамятстве: дыханье перехватывает, руки дрожат. А потом стало скучно.

— Точно угадали... — горячился дед. — Я угадал: давление высокое, малек — в ямах, и судак за ним табунится. И никого, слава богу, — оглядывал он пустую реку. — Ни голубинских, ни песковатских. Он всю неделю молчал, вот никто и не едет. Ныне наш вакан...

Проклекотала с высокого дерева темноперая птица. Мальчик поднял голову, спросил:

— Это кто?

— Орел-белохвост. Рыбку любит.

— Может, и правда хватит? — спросил мальчик. — Вон сколько поймали.

— Да ты что?! — даже опешил дед. — Рыба идет. Две недели не было жору. Да мы ныне огрузимся, если так будет брать. И в город с собой наберешь, и насолим. Лишь бы не отказала. А Савушка, он глупой, чего слушать. Вот он! Есть! Иди сюда... — быстро выбирал он леску. — Иди сюда, дурачок... Не дурачок, а цельный дурак, — проговорил дед уважительно и взял лежащий наготове подсачек, осторожно подвел его и поднял в лодку увесистого судака.

Большая птица, еще раз проклекотав, захлопала крыльями, дед услышал ее, поднял голову, спросил:

— Либо завидки берут? Лови, а не кукарекай.

А мальчику стало скучно. Разве это рыбалка?.. Опустил — дернул, опустил — дернул. Зацепил, вытащил — снова опускай и дергай. Цепляй за пузо.

Пустая холодная река, голые деревья займища, лишь на дубах ржавая жестяная листва шумит; понемногу начинается ветер. В небе — стылое солнце. На том берегу, где хутор, — высокие холмы, белые меловые обрывы. В пологом распадке, меж холмов, — тоже лес, тополевый. За ним — хутор. Там бабушка пирожки с пасленом печет. Мальчику захотелось туда, на хутор, в теплую хату.

Он любил реку, воды ее, рыбалку, просиживая летней порой на лодке ли, на берегу часы и часы. «Рыбачок ты мой...» — говорила бабушка. Но то было вовсе иное.

В городском быту даже маленькому человеку порой не хватает места среди кирпичных стен, людской толчеи, потока машин с их властным гулом и мощным неостановимым ходом. Что земля... Даже городское далекое небо закрывают и делят меж собой высокие этажи строений.

На хуторе, особенно у воды, на воде, мальчик чуял себя таким же свободным, как ветер ли, дерево, малая птица. Всем хватало земли, воды, солнца, неба и воли.

В тихой заводи скользили по зеркальной воде долгоногие водомерки, словно фигуристы на льду; серебристый малек наплывал целой стаей; порой в эту светлую стайку врывался черный горбатый окунек; и мальва удирала — веером, на бреющем, словно летучие рыбы. Нарядная носатая птичка зимородок присаживалась на низкую, возле воды, ветку, временами ныряя, ловя ту же серебристую мальву. Выплывал из камышей утиный выводок с мамой-кряквой. Медленно, угребаясь короткими лапами, проплывала водяная черепаха. Неторопливые цапли, замерев, подолгу стояли, сторожа тишину.

Зелень деревьев, щебет птиц, легкий ветер в вершинах. Поплавок на воде дернется и замрет. Что там, в неведомом подводном царстве?

Можно было долго сидеть у реки. Одному или с ребяташками. Слушать рыбацкие байки. Купаться в теплой воде. А потом вернуться домой, сказав: «Не клюет...» Или принести невеликий кукан плотвичек, ласкириков, красноперок.

Мальчик любил такую рыбалку. А нынешняя — все по-иному: опустить на дно — приподнять, опустить — приподнять. Сплыть до Красного створа и угрестись наверх. И снова плыть... Опустил блесну, поднял... Удар, подсечка — вытаскивай судака.

Мальчику было скучно, добыча не радовала. Он вздыхал, ежился, словно озяб. Но дед ничего не видел, не слышал, распаленный удачной охотой. «Вот и еще один! Иди сюда!» Для него было главным — не потерять везенья. Добыча — рядом, он чуял ее через темную воду. Он видел пологое корыто фарватера, поперечные гряды и ямы. И даже силуэты ли, тени судаков. Не глядя на берег, он бросал весла точно за поваленным осоком, низал на крючок лепесток свежего сала и парочку толстых, лоснящихся жиром и багровой кровью червей. Старик даже причмокивал, опуская в воду такую аппетитную наживу. «А вот и еще один, — радовался он. — Хороший! Ловить надо, ловить...»

Мальчику было скучно. Он не хотел вновь и вновь цеплять этих больших красивых рыб, превращая их в мертвое мясо, чтобы потом все это жарить, варить, солить. Живые ему были нужнее. Малахитовая спинка, нежно-жемчужное брюшко, плавники... Как прекрасна была эта рыба в воде, одним лишь движением хвоста набирая скорость! И как беспомощна здесь, в плену...

Лодку с борта на борт качало. Пришел низовой ветер, как всегда внезапный, словно с разгона. Загудели на берегу деревья.

Грузило и блесна на удочке старика легли на дно мягко. Приподнять, придержать, чтобы рыба учуяла, углядела и могла взять щедрую наживу. И снова — на дно, и снова легким движением вверх. И еще раз. А левой рукой подгрести веслом, удерживая лодку носом на волну.

Кто-то тронул ли, шевельнул наживу. Невольно, а скорее наитьем старик сделал подсечку и почувал тяжелый зацеп. Теплое дерево ли, коряга — мертвая тяжесть, без упора, какой бывает, когда берется даже крупная, но рыба.

— Цепя... — досадливо произнес старик, еще раз потянув, уже без надежды. — Надо отбойник...

Но там, глубоко под водой, вдруг что-то шевельнулось, и леска разом ослабла. Старик быстро поднял снасть и охнул: на крючке вместо белого ломтика сала и червей висел кусок серого рыбьего мяса.

— Сом, — сказал старик, показывая внуку вырванный шмат. — Вот это сомяра, — понизил он голос, вспоминая мертвую тяжесть на леске.

Он кинул под ноги слабую снасть и начал лихорадочно выбрасывать из холщовой сумки одно, другое и третье, досадуя: «Неужели не взял...», а потом обрадовался: «Есть!» Это был могучий, на капроновой бечеве снаряд с тяжелым крючковым тройником на конце.

— Он не ушел... — шепотом сказал старик. — Он лишь шевельнулся.

Мальчик взял в руку блесну с клоком серого сомовьего мяса и черной шкуры, поморщился — ведь живая плоть — и сказал:

— Он уплыл. Ему больно. Да и зачем он нам?..

— Он здесь, — сказал старик. — В этой яме. Не уйдет. С места не сдвинется. Это его бучило, хата его. Мы его возьмем.

Он говорил быстро, с задохом, чуял, как сердце колотится и перехватывает дух: такая скотиньяка... Он рыбачил всю жизнь, он понимал, до сих пор чуя в руках тяжесть добычи.

По Дону катила, за валом вал, высокая разгонная волна, просвечивая насквозь стилой зеленью и белея кружевом гребней. Гудело безлистое займище. Ветер шел порывами, холодом обжигая лицо. Старик сбросил шапку, ветер заиграл седыми космами. Но старику жарко. Он греб и греб, поднимаясь и целя выше обычного.

— Сейчас мы его приманим, — говорил он. — Сейчас мы ему приготовим.

Он вытряхнул из банки червей и выбрал из живого копошащегося клубка самых жирных и толстых, самых красных, словно пылающих жаром червяков. Он их не нанизывал на крючки, а просто накалывал одного за другим. И вот уже в руке его словно расцвел алый живой цветок.

— Он увидит... Он почует... — сквозь зубы цедил старик. — Он возьмет.

Старик опустил снасть в волны. Живая нажива уходила вглубь, алея и шевелясь. Старик шумно вдохнул и замер, воздуху набрав, словно уходя под воду, вослед наживе, в глубь и в стынь.

Мальчик, свои снасти оставив, тоже замер, дыхание затаив. Лодка сплывала по течению, на встречном ветру; парусило и било волной. Старик подгробал левым веслом; рука правая привычно опускала снасть, чуя дно, и медленно поднимала ее. А потом снова — вниз и вверх.

Миновали плес.

— Молчит, — огорчаясь, сказал старик.

— Он ушел, — сказал мальчик и повторил убедительней: — Он, конечно, ушел. Ему больно. Кусок мяса выдрать. Конечно, больно. Он ушел. И он нам вовсе не нужен. Мы и так много рыбы поймали. Вон сколько... Погляди! А он пусть живет здесь.

— Нет, не ушел, — твердо говорил старик. — Мы его поймем. — И снова начинал грести, поднимаясь вверх по течению.

— Он ушел, — убеждал мальчик. — И нам он не нужен. Ты столько рыбы никогда не ловил. Зачем еще... Хватит!

— Нет. Ты ничего не понимаешь. Мы поймем его.

Старик нанизывал все новых и новых червей; иных давил, чтобы пахучий сок пошел по воде, дразня и приманивая могучего зверя.

«Его тут нет, он ушел», — теперь уже про себя повторял и повторял мальчик, не желая ловить эту огромную рыбу. Но старший спутник его снова и снова греб, поднимаясь вверх по течению, насаживал новых червей и опускал ко дну тяжелую снасть.

Белохвостый орлан поднялся и стал кружить над водой, над рекой, над лодкой, словно разглядывал суету человечью.

Еще раз поплыли. Старик был рыбаком опытным, но азартным. Теперешняя снасть — крепкая витая бечева чуть не в полсотни метров дли-

ною — заканчивалась железным зацепом, который защелкивался намертво на носовом, тоже железном, кольце. Нынче подвела горячка.

Глубоко внизу, возле самого дна, в тиши просторной зимовальной ямы, стоял, подремывая, огромный могучий сом. Порою едва заметно он шевелил лопатистыми плавниками, длинные нитяные усы поигрывали, словно жили отдельно. Сом вовсе не был голоден, но пахучий пук навозных червей он учуял и взял его ленивым засосом, а потом послушно, словно теленок, все в той же дреме стал подниматься, влекомый невеликой, но силой.

Старик почувял, когда рыба взяла наживу. На подсечку она никак не ответила, тяжело, но поддалась и стала подниматься вверх. Старик был готов ее попустить на длинный урез, ожидая рывка. А его не было. Медленно, но послушно тяжелая рыба все ближе подходила, поднимаясь из речной глубины. «Либо карша?.. — вслух подумал старик. — Тяжеленная, а молчит...» Он встал возле борта, с трудом уже перехватывая бечеву за пядь пядь. Лопнула возле большого пальца дубенелая кожа, выступила кровь. Но боли старик не успел почувять.

Вода возле борта расступилась, открывая огромную, чуть не в лодку величиной, черную глубину сомовьей башки с маленькими круглыми глазками. Голова показалась лишь на короткий миг, но людям он запомнился долгим. Старик и мальчик навсегда сохранили в памяти лоснящуюся кожу, облепленную пиявками ли, водяными червями. И осмысленный, словно удивленный взгляд.

Вода сомкнулась, голова исчезла. Сокрушительным ударом сомовьего могучего плеса-хвоста старика вышибло из лодки. Захваченный петлею бечевочного уреза, он, словно легкий поплавок, глубоко нырнул раз и другой, и мощным потягом его потащило прочь от лодки и близкого берега.

Зеленый пенистый вал накрыл лодку с захлестом, сразу почти вполборта. Всплыли решетчатые слани, рыбы в носовой части, еще живые, забились, почувяв свободу.

Мальчик, сбитый с кормы ударом, но оставшийся в лодке, поднялся и закричал:

— Дед, дед! Ты где! Де-еда!

Ухватив большие для него весла, он стал подворачивать лодку, чтобы ее совсем не залило.

— Дед! Де-ед! Де-еда-а! — истошно кричал он.

Ответом ему стал орлиный клекот. Закрыли солнце огромные крылья. Мальчик вскинул голову: могучая птица упала в лодку, тут же взмыв из нее с рыбиной в когтях и роняя в волну добычу. И снова гневный клекот, тень крыльев. Желтые злые глаза, кривой клюв. И еще одна рыба в когтях.

— Я понял!! — закричал мальчик. — Я отдам, я отдам рыбу! — Кинув весла, он стал выбрасывать из носового отсека пойманную им и дедом рыбу. Он выбрасывал ее в близкие волны и кричал: — Я отдам! Я все отдам!!

Могучая птица кружила низко, словно назирая.

Мальчик торопился, спешил, рая и раздирая в кровь руки зубчатыми пилами спинных плавников. Наконец он распрямылся и выдохнул с криком:

— Все! Я отдал! Я все отдал!!

Он, стоя, тяжелыми веслами, с трудом поднимая их, неловко угребаясь, все же разворачивался на волну и кричал: «Дед! Де-ед!! Де-еда-а!!», пытаясь что-то увидеть в пляшущих волнах.

Он увидел его. Старик, подгребаясь руками, медленно плыл на спине, переваливаясь на гребнях волн и пропадая из виду... Остановившаяся и поднимаемая из воды голову, чтобы углядеть берег ли, лодку.

— Дед! Де-еда-а!

Старик его не слышал. Он наглотался воды, едва не задохнувшись, и начинал намокать. Тянули вниз стылостью схваченные, непослушные ноги в высоких валенках и калошах, которые сбросить нельзя. Но куртка еще не напиталась водой.

Старик уже отходил от испуга, он знал, что до берега может добраться, если не будет судорог и если... Самое страшное, с бечевочной петлей, позади. Но более смерти, поднимая голову и оглядываясь насколько мог, он боялся увидеть в волнах перевернутую или пустую лодку. Тогда уже все ни к чему и не нужно спасенья.

— Дед! Де-ед! Де-ед-а-а!! — тонко кричал мальчик, перекрывая истощенным радостным визгом гул воды и ветра и подгребаясь все ближе и ближе к старику.

Потом он буксиром тянул его к берегу. Забраться в лодку, залитую водой, тем более в тяжелой мокрой одежде, — это вовсе затопить ее. Старик уцепился за корму. «Греби, не спеши...» — говорил он внуку.

Мальчик, как и прежде стоя под волной и ветром, неловко греб и глядел на старика, боясь, что тот снова пропадет, теперь уже насовсем.

На веслах, под ветер, с волной попутной к недалекому берегу они добрались. Старик трудно, но все же встал, почуяв ногами дно, и сразу начал вычерпывать лодку.

— Может, костер? — спросил мальчик.

— Нечем, — ответил дед, — и незачем... Ноги промочил? Застудишь. Помогай черпать, надо скорее.

Старик спешил. Но не мог не увидеть пустоту носового отсека.

— А рыба где? — спросил он.

— Я отдал ее, — ответил мальчик.

— Кому отдал?

— Он велел отдать... Чтобы тебя отпустили... Я все отдал... Он был здесь... Мы его обидели, забрали много рыбы. А он тебя забрал... Хотел утопить... Я все отдал.

Старик ничего не понял в бессвязных, горячечных словах мальчика и принялся скорее вычерпывать воду. Нужно было быстрее уплыть, добраться к теплу, к дому. Он видел, что с внуком что-то неладное; сам же он начал замерзать. Все же не май месяц, а стылый ноябрь: ледяная вода и ветер.

Домой они добрались кое-как. Хозяйка, их увидев, вначале слова сказать не могла. Потом началось обычное женское — слезы, упреки: «Я говорила... Моё сердце как чуяло...»

Но слава богу, в доме пылала печь, горячей воды хватало и уменья, чтобы отогреть дорогих своих мужичков горчицей, малиной, перцовой водкой, теплой сухой одежкой, словами, бабьими умелыми руками и женским сердцем.

О том, что случилось на Дону, старик рассказал лишь ночью, когда мальчик спал. Про исчезнувшую рыбу поведал с недоумением.

— Он испугался, — объяснила жена. — Тут и я бы с ума сошла, а он — дитё. Слава богу, все кончилось хорошо. Только бы не заболел. А ты его не пытай про эту рыбу, не надо и гутарить об этом. Пускай забудет, вроде приснилось...

Старик, соглашаясь, кивнул головой, но все же досадовал: такая привалила удача, никогда не ловил судака так много. И сома, конечно, можно было взять, если бы рядом — подмога. Пусть помотал бы сом, но никуда не делся, крепко сидел. Помучить его, а потом вывести к берегу, на отмель. А сом был могучий. Наверно, именно тот самый Хозяин, про которого не только выживший из ума Савушка галдит, но прежде рассказывали памятливые хуторские старые люди — Исай Калмыков да Евлампий Силкин. Такого сома заарканить — всей жизни удача. Потом целый век бы рассказывали, как поймал старик самого Хозяина. Такое помнится долго, порой и небылью обрasta.

Старик с вечера долго ворочался, не мог уснуть, тяжело вздыхал, вспоминая и горько жалея. Другого такого случая уже не будет. Удача приходит редко, оттого и зовется — вакан. А второго вакану не жди, его не бывает. В конце концов он заснул, но во сне опять видел ту же огромную

рыбу — старого сома. Видел рядом: на громадной плоской башке — усы, два длинных черных и еще четыре малых, внизу; желтые глаза; изъеденная временем черная шкура. Сом стоял близко, но не взять его. Старик просыпался, что-то болело — от огорченья ли, от прошедшего дня.

А внук его сладко посапывал и порою во сне смеялся. Негромко, но явственно. Чуткая бабушка даже поднялась, свет зажгла, поглядела. И впрямь чему-то смеется во сне. Хорошо так, с улыбкой. Слава богу, значит, снится хорошее.

Внуку снилось и вправду хорошее — ему виделся мир без конца и края: земля и земля, огромное небо, вода, зелень деревьев и трав. Он летал в воздухе, то совсем низко, стремительно, вместе с ласточками, а потом взмывал к облакам, неспешно паря рядом с могучими орлами, которые были рады ему. Из солнечного зенита так хорошо нырнуть в зеленые купы верб, тополей, на гибких ветвях качаясь с голосистыми иволгами да вяхирями-голубями.

Потом так же легко он вонзался в прозрачную склянь воды, играясь среди серебристой плотвы, нарядных красноперок, окуней и в сумрачную глубину уходя навестить золотистых линей, тяжелых сазанов. И снова — наверх, к небу и солнцу, и — бегом быстрыми ногами, по мягкой земле, тоже легко и счастливо, все быстрее и быстрее, потому что идут навстречу ему дорогие люди: мама, бабушка, дед... Они еще далеко, не разобрать лица. Но у мальчика быстрые ноги и руки словно крылья. Он так быстро бежит и смеется, радуясь встрече.



ЕВГЕНИЙ КАРАСЕВ



ЗНОБКАЯ ПАМЯТЬ

Июльский лед

Облака, облака, облака —
гряда снеговая плывет.
Их отражает река,
будто идет ледоход.
Тают, мельчаться в шугу.
И вот уже чист небосвод.
Откуда же на берегу
взаправдашний искрится лед?
А может, из знобкой памяти
пробились окольной путиной
и облаков снежных замети,
и эти июльские льдины?
...Под солнцем, точно слюда,
блестит среди лета река.
Я трогаю сколы льда,
приплывшие издалека.

Притягательное окно

Я, выжимая из себя воду,
 ровно из половой тряпки,
одолеваю за этажом этаж.
Вот так бывшие сатрапы
заставляли сердягу переть
 тюремный багаж.
Я ташу его и до сих пор,
как бурлаки в песне.
Сдают дыхалка, мотор.
И с каждым днем все тяжелей лестница.
На верхней площадке окно
с видом дымящегося мегаполиса.
Оно меня тянет давно,
как ветер умчавшегося поезда.

Секрет мистификации

Чем отличается черный пиар демократических медиа
от коммунистического искусства дурачить народ?
Первые покрывают золото медью,
вторые — наоборот.

Огонь в печи

Кажется, трудности все позади —
 дрова в печи весело потрескивают.
 Но что-то смущает — так к радости
 почти пройденного пути
 примешивается тревога оставшегося отрезка.
 И это не осклизлые, сложенные из жердей
 мостики,
 дышащие под ногами, как ребра
 исхудалой коняги.
 Не следственных протоколов
 плотно исписанные листки.
 И даже не особо строгий лагерь.
 Волнует какая-то ускользающая материя,
 которую не сыщешь в лабораториях,
 в высоколобой полемике, —
 не найденная еще или потерянная?!
 ...Я ворошу в печи поскучневшие поленья.

Кровь

Я обитал далеко от литературных салонов —
 колючка, вышки, охрана.
 И если знал про царя Соломона,
 то ни на полушку —
 о строителях его Храма.
 В вышеупомянутых гостиных впервые и услышал
 о пресловутых каменщиках:
 заносчивы, коварны, приютились под чужой кровлей.
 Их можно встретить в больших городах
 и в захолустном Каменске.
 И опознать по крови.
 Я тоже имею отношение к библейскому государю,
 хоть полжизни числился карманником.
 И, бывает, слышу:
 — Посмотри на свою харю! —
 Тарашу гляделки — ничего криминального.
 Но ревнителю чистоты породы продолжают
 тюкать мое имя:
 в нем от отца иноплеменная кровь течет!
 А то, что от матери — русская,
 ими
 эта повседневная жижа никогда не ценилась
 и не бралась в расчет.

Квота

Я хочу, чтобы имя Россия,
 из могучего ставшее модным,
 дважды в жизни произносили:
 раз — в стихах,
 и второй — под огнем пулеметным.

Опробованное

Нам не поможет вернувшаяся вера —
 золото тянут уже из Гохрана.
 Видно, собирать камни мы можем
 только в карьерах.
 И под охраной.

Изгой

И. О.

Водка в России
 не просто стоимость.
 Она показатель силы,
 мера молодецкого достоинства.
 Белая головка — на первом месте.
 Бабы — похвальба после выпитого.
 Пьяного примут как крестника,
 трезвого как чужака вытурят.
 Притягательное зелье — и грелка,
 и лекарство,
 которое можно и икрой закусить,
 и занюхать коркой.
 Говорят, даже христианством
 Русь обязана горькой.
 ...А мы с тобой пьем капли,
 соблюдаем диету.
 Это все равно, что канули
 в пресловутую Лету.

Стебли отавы

Моей бабушке Авдотье Ивановне.

Речка с течением плавным
 в земном, неустанном труде.
 Жесткие стебли отавы
 впритык подступают к воде.
 Выцветший, жидкий орешник.
 А на другом берегу
 деревня с шестью скворешен —
 былинка в бездольном стогу.
 Я все это видел когда-то.
 Мне кажется, помню и дом.
 С драночной крышей покатой.
 Но были причал и паром...
 Ищу я следы переправы —
 отметин не видно нигде.
 ...Жесткие стебли отавы
 впритык подступают к воде.



ИРИНА ПОЛЯНСКАЯ

*

ГОРИЗОНТ СОБЫТИЙ

Роман

6

ВЕСЕЛЫЙ ГЕРОЙ. Сквозь накрахмаленные гардины солнечные узоры медленно переползают с пола на стену, и яркие, веселые блики, подтаяв в верхнем углу застекленной фотографии, передвигаются к краю квадратного зеркала, из которого начинает бить свет. В зеркале отражается кусок двора, втиснутый в проем между гардинами: сквозь путаницу заснеженных ветвей виден угол сарая, крытого толем, отдаленный ствол березы с новым скворечником, взлохмаченное ветром облачко и лапа огородного пугала, одетого по-летнему — в тельняшку и заснеженную кепку с козырьком.

Пугало зовут Странник Тихон. Анатолий палец о палец не ударил в своем огороде, свалив все на плечи жены, зато пугало воздвиг, как памятник своему детству, ушедшему под воду, дав ему имя реального странника Тихона — юродивого, обходившего окрестные мOLOGские деревни ровно до тех рубежей, до которых, как выяснилось позже, они оказались затопленными. Уж сколько раз Феб объехал Землю на своей колеснице, а Тихон все так же крепко стоит на месте, его с одного рывка не вытащить: ивовые его ноги пустили корни и сплелись с корневой системой сада, поэтому по весне Тихон пускает свежие побеги, медленно превращаясь из чучела человека в живое дерево.

На тахте, покрытой темно-зеленым куском бархата, полулежат три девушки, три подруги. У каждой свой особенный тип красоты. У Нади — продолговатое лицо с высокими скулами, прямые серые глаза, резко очерченные тонкие губы и длинные русые волосы. У Линды глаза миндалевидные, зеленые, большой рот, чуть тяжеловатый подбородок и грива смоляных волос. У Аси — круглое лицо и копна темно-рыжих волос с медным отливом. Девушки сознают, что на них приятно смотреть, одна чем-то дополняет другую, может, именно это и скрепляет союз разных душ... Девочками они дружили парами. Сначала пару составляли Надя и Ася, потом с Асей подружилась дочка главврача санатория Линда, и Надя не отвергла ее, хотя Линда всегда казалась ей пресной... Повзрослев, они стали повсюду ходить вместе, три красотки.

В комнате сидят Анатолий, Костя и Герман. Анатолий шутит, задирает девушек, жестикулирует. Если б сейчас в дом вошла жена Шура, он не изменил бы своей развязной позы, находясь под охраной посторонних людей. Альбинос Костя со светлыми, чуть навывкате глазами серьезен и немного печален, ему не нравится Надино поведение. На Германа никто не смотрит, он здесь самый младший.

Девушки перекидываются подушками, вплетают пряди волос в одну общую косу... Русые блестящие пряди перемешиваются с медно-рыжими и

смоляными, одна девушка выглядывает из-под руки другой, третья накрывает обеих своей черной гривой... «Какие ж вы все красивые, девчата, — говорит Анатолий. — Кость, правда, они у нас красавицы?..» — «Не у нас, а у самих себя», — сдержанно поправляет Костя. Надя бросает на него быстрый взгляд и, отчего-то помрачнев, ложится плашмя на диван. «Пап, — ленивым голосом говорит она, — покажи-ка нам свое сокровище». — «А ну тебя», — добродушно отнекивается Анатолий. «Нет-нет! — капризно отвечает Надя. — Сказано — тащи его сюда!» — «Да разве девчатам это интересно?» — как бы сомневается Анатолий.

Солнце подползло к двум детским фотоснимкам Нади и Германа на стене: Надя, набычившись, с большим бантом и книгой в руках, сидит в беседке Петровского парка, на второй — крошка Герман крутит ручку маминой мясорубки...

Анатолий приносит общую тетрадь. «Это стихи одной дамы, смертельно влюбившейся в моего папку», — объясняет Надя Косте. «Мы просто дружили, — немного чопорно поправляет ее Анатолий. — Хороший человек. Интересный. Она свои сны записывала стихами».

Солнечный луч добрался до картинки с самолетом первого северного летчика Нагурского. Эту картинку Герману подарил Костя, который хочет стать летчиком. Нагурский стоит под крылом самолета. Он в солнцезащитных очках-«консервах», забытых лейтенантом Брусиловым. В августе 1914 года Нагурский выполнил пять полетов вблизи северо-западного побережья Новой Земли, но Брусиловскую экспедицию ему найти не удалось, как позже и Нансену. Громоздкий древний летательный аппарат, не то что самолеты Молокова и Ляпидевского...

«Ну, я читаю, — метнув взгляд в сторону Кости, объявляет Линда. — Начинается так: сон 23-й. „Связного разговора не выходит, можно только произносить слова... Я: невозможно, невозможно, я вам рада, нет, нисколько. Мох, скамейка, коридоры, светит месяц неустанно... Он: ничего тут не попишешь, невозможно — так не надо, надо что-нибудь другое, что не будет невозможно. Чайник, крепкая заварка, занавеска на окошке, карта древней Атлантиды или что-то в этом роде. Месяц дремлет над окошком, слышен звон дороги дальней. Сонатина Куперена или что-то в этом роде”». — «Что за ерунда», — сказал Костя. «Не скажи, — насмешливо возражает Ася. — Что-то в этом есть. Ваша знакомая была весьма образованна, Анатолий Петрович». Анатолий в ответ развел руками. «Просто ритмически организованный поток сознания. Узор из слов!» — важно произносит он. «Да, как на вашей малахитовой шкатулке», — говорит Линда. «Она уже не наша», — вдруг поправляет Герман. «Да, папа ее обменял вот на эти самые сны», — ядовито говорит Надя. «Да что ты? — Линда удивлена. — И Александра Петровна позволила?» — «Александра Петровна об этом знать не знает», — отвечает Надя. «Ой! — Линда всякое событие из Надиной жизни принимает близко к сердцу. — Александра Петровна так дорожила этой вещью! Что будет, когда она узнает!» — «Что будет — и в самом специфическом сне не приснится», — безжалостно изрекает Надя. Отец выдавливает из себя усмешку: «Ладно, прорвемся...» Линда с сомнением качает головой. «Читать дальше?» — «Я ухожу», — говорит Костя и подымается на ноги. Надя встрепенулась: «Сиди!» — «Кто ты такая, чтобы мне приказывать?.. Гера, дай мне пройти». — «Герка, не пускай его!» Герман молча подвигается, и Костя уходит.

«Сновидение является освобождением духа от гнета внешней природы», — голосом, в котором звенит злость, произносит Надя. Ася слегка улыбается. «Каково же его скрытое содержание?» — «Скрытое содержание таково: дураки не только тянутся к свету, как подсолнухи, они иногда забиваются в неприметные углы, прячутся в коридорах редакций». — «А ты — умная», — совсем упавшим голосом говорит отец. «Надежда светится соломинкой в закуте...» — ласково пропела Линда. Надя насильственно

смеется. «Это откуда?» — «Верлен. Читать дальше?» — «Читай», — командует Надя. *«Вечер жизни, утро казни, Вий с тяжелыми веками. Поезд мчит-ся к Салехарду или дальше, непонятно. В круге света меркнет книга, слов не разобрать глазами. От того, что видит сердце, впору нам совсем ослепнуть. Ночь с тяжелыми веками. В небе птицы обмирают. Поскорей пришло бы утро, даже если утро казни».* Солнечный узор подполз к свадебному портрету Анатолия и Шуры, лиц не стало видно — одно сияние в стекле. *«Все поют и рвутся волны к высоте навстречу грому. Буря, скоро грянет буря!»*

Сколько Герман помнит соседа Юрку Дикого, тот совершенно не меняется, не стареет — те же впалые щеки, острый быстрый кадык, заносчивый, с безуминкой взгляд, пушистые усы, как у Нансена, покатый лоб и темно-русые волосы, собранные сзади резинкой, как у отца Владислава. Улыбка у Юрки простодушная и вместе с тем хищная. Людям трудно с ним разговаривать из-за громового его голоса. Скажешь ему слово, а Юрка в ответ басыт, как с амвона, отменяя напрочь всяческую приватность беседы, привлекающая внимание прохожих. Это голос хозяина положения, человека, который всем нужен. Без него ни баньку сложить на земельном участке за Белой Россошью, ни дом построить. Калитвинцев Юрка не любит, их сюда прислало из разных концов страны Четвертое управление, на которое Юрка, как он говорит, не работник. Такое странное противоречие — на московских комсомольцев, строящих себе дачки под Цыганками и Рузаевкой, — работник, а на Четвертое управление — не работник. Но это только на словах — работать приходится, чтобы подсобить деньги «на пещеру».

Дачный поселок вырос на глазах Германа. Юрку всегда было слышно издалека — где он есть. «Боже, Царя храни» или «Наливались эскадроны кумачом в последний раз», — распевал Юрка, балансируя на верхнем угле недостроенного сруба или ползая на четвереньках с молотком по крыше. Хозяйки будущих дач приносили ему обед. Герману, как старательному помощнику Юрки, еще и мороженое. Юрка жадно ел, а оставшуюся еду заворачивал в газетку и совал в карман. Сначала от маленького Германа толку было мало, только под ногами путался, потом он стал подносить Юрке то молоток, то рубанок, потом, встав на верхнюю ступеньку стремянки, держал на ладони гвозди, оттаскивал к роще выкорчеванные комли, помогал настилать полы. А там и молоточком заработал помаленьку. Одним словом, помощник.

Иногда они уходили «потрудиться для Господа», как говорил неверующий Юрка, — бросали недостроенный дом и, несмотря на увещевания хозяина, шли в Корсаково к отцу Владиславу — обшивать вагонкой домик причта или обновлять рамы в высоких узких окнах храма. Юрка орал вслед проезжающим машинам: *«Сии на колесницах, и сии на конех, мы же во имя Господа Бога нашего призовем».* Машины ответно гудели.

По воскресеньям в храм приходил Анатолий. Исповедовался, причащался, выходил из церкви и тут же вытаскивал из сумки разрезанную французскую булку-«франзольку», с маслом и докторской колбасой. Герман провожал отца до Рузаевки. Дорогой Анатолий пересказывал Герману свою исповедь, свободный от грехов, которые малой кладью перетаскивал от воскресенья к воскресенью и сбрасывал на коврик к ногам отца Владислава. Простодушно делился с Германом, в каких грехах он нынче исповедовался: *в невнимательной молитве, во вкушении сыра в пяток по забвению, в неправдо-глаголении, в празднословии, в осуждении ближних, в лености, прекословии, унынии, гордыни, гортанобесии, в немилостивом отношении к животным* (выгнал с грядок соседскую кошку)... На него как будто вдохновение нисходило, с таким подъемом отец говорил Герману о своих грехах.

Герман хмурился, ему отчего-то был неприятен довольный вид отца, и в то же время было жалко его, как лейтенанта Брусилова, забывшего при-

хватить в экспедицию такую важную вещь, как солнцезащитные очки. Анатолий гордо шествовал в торжественном сиянии летнего дня, и знакомая природа приветствовала его, но на самом деле он ничего не видел, не туда шагал.

Герман думал об отце Владиславе: зачем тот соглашается выслушивать такую исповедь? Разве не знает, что самый скверный поступок не сравнится по тяжести с тайными соображениями, убивающими все доброе... Зло глубже человека, вот в чем дело, иначе Герман не думал бы с такой настойчивостью, что для того, чтобы в доме у них воцарился мир, необходима смерть одного человека: отца, матери или его собственная... Как можно сказать отцу Владиславу, что ему приходит в голову такая мысль и что он не знает — только ли это мысль или уже желание... А какие мысли приходят в голову отцу, когда он стоит с опущенной головой перед крестом и Евангелием у иконы «Взыскание погибших»?.. Думает, какой он примерный христианин, а сам трясется, как бы у него в редакции не прознали о том, что он ходит в церковь.

Отец оборачивается и крестится на кресты Михаила Архангела: Господи, помилуй, Господи, помилуй!.. Да, помилуй, Господи, и прости не только за *рассеянную молитву* и *гортанобесие*, но за невяное убийство, за ночную татбу, за изощренное издевательство над ближним, за тонкое лукавство, за все злые и добрые тоже дела, ведь мало ли что!.. Настоящие грехи, если их выговорить до конца, выскрести из гортани, подымутся выше головы, выше колокольни, а *гортанобесию* ангелы улыбаются, как детской шалости.

Любите, прощайте, терпите друг друга, и остальное приложится вам... Как любить? Как прощать? Как терпеть ближнего своего, когда ближний сам ничего терпеть не желает?.. К колокольне ведет окантованная железом низкая дверца. Высокие стертые ступени выводят на площадку с двумя дверями. Одна в крохотную каморку, где хранится облачение. Другая открывается в восьмигранный шатер, где в арках в два ряда висят колокола, над которыми еще крохотные оконца — «слухи». К деревянным перилам прикреплены веревки от языков с педалями. Язык самого большого колокола, отлитого при Алексее Михайловиче в Москве на заводе у Поганого пруда при реке Неглинной, прикреплен к ножной педали. Кажется, извлечь звон из этих древних махин может лишь человек богатырского телосложения, а дьякон Михаил щуплый, но шустрый, перебрасывает свое легкое тело вдоль перил с такой стремительностью, что невозможно уследить, который из колоколов приводится в движение и звук за звуком отсылает время за рубежи шестнадцатого века, когда малым ударением началась вечерня, великим — утренняя, а ночью стража перекликалась с башен и колоколен: «Славен город Москва!» Дьякон бодро подпевает колоколам, хотя голоса его не слышно, «*Трисолнечного Божества предстоятелю светлейший Михаиле...*» и «*Идеже осеняет благодать твоя, Архангеле...*». Сейчас Михаил с Юркой месят известь внизу, распевая псалмы: Юрка басом и чисто, а дьякон дискантом и фальшиво.

Герман должен был любить Юрку. Одинокого пещерного человека с громовым голосом, который девять месяцев в году тюкает топориком и ворочает бревна, а три месяца проводит под землей, как Прозерпина, вооружившись картами-схемами пропастей с крутыми откосами и уступами, глинистыми отмелями, влажными и мягкими, на которых отпечатываются следы спелеологов, подземными реками, каменными карнизами, темными коридорами, деревьями из кристаллов гипса, помеченными крестиками на глубине трехсот метров...

Юрка продувает резиновую трубку, которая подает ацетилен в горелку с рефлектором. Герман склоняется над контурной картой. Задание по географии. Лыдина треснула, и трещина продолжает расширяться. Он сосре-

Но область низких температур, через которые прошла трещина Людовика, долгое время представляла собой территорию, практически свободную от истории, несмотря на походы казаков для сбора ясака, появление в этих краях промышленников, экспедицию Дежнева и Беринга, отряд Семёна Моторы, корабли Кука, Врангеля и Матюшкина, ледокол «Таймыр» и крейсер «Главком Уборевич».

Что касается родины Германа, она находится в дрейфе между съездом победителей и съездом разоблачителей, носится туда-сюда по волнам, как попавший в дрейф «Челюскин» среди подвижных белых полей, оторвавшихся от припая льдин, проталин, водяных заберегов, мелко битого льда, торосящихся массивов, айсбергов, выбеленных полярной тоской. История челюскинцев, написанная белым по белому, так и осталась бы непрочитанной, если бы не усталость населения земли, обитающего в широтах от моря Росса до Маточкина Шара, огромного поля, которое хоть раз в пятилетку следовало бы оставить под паром, дать ему отдышаться от всходов одних грез, чтобы посеять другую мечту. Взоры населения обратились на север, где сверкали многолетние голубые льды и загадочные птицы — розовые чайки — откладывали на них свои белые яйца невзирая на дрейф. Взоры всего мира обратились на эту свободную от истории территорию, в которую забредали то англичане, то итальянцы, то французы. Но отдельные набегии на льды Роберта Пири или Нобиле, которого спасали всем миром, пока имели отношение к географии. Зато русские почуяли во льдах нерасраченный исторический потенциал, свежее игровое поле, замечательный плацдарм, с которого удобно было дать бой всему миру, тем более что он не имел постоянных координат и отчетливого направления дрейфа...

«Где она, я спрашиваю?» — взлетел голос матери. «Это я взял», — сказал Герман. Герман заранее придумал историю о том, как он взял да и потерял шкатулку. «Врет он все, — подавшись вперед, вмешалась Надя. — Это я взяла шкатулку показать девчонкам. Вынесла на улицу и где-то забыла».

За твердым алмазным взглядом Нади проскользнул взор ее отца, синий, ничего не выражающий взгляд, бескрайняя плоская синева, от которой сходили с ума матросы Колумба в десяти милях от берега.

Шура тут же метнулась в сени, и через мгновение дети услышали в каюте отца ее высокий, рвущийся голос. Передернув плечом, Надя подцепила пальцем первую попавшуюся книгу.

Голоса за стеной звучат все громче и настойчивей. Отец сначала отпирается, голос мамы становится выше. Она требует назвать ему имя. Кому он отдал шкатулку, добренький за ее счет!.. Память о ее умершей матери! «Это не память о твоей матери! — восклицает отец. — Ты забрала эту шкатулку у умирающей девочки!» — «Не твое дело, откуда у меня шкатулка! Это моя вещь! Говори, куда ты ее дел!»

Имя Оли Бедоевой еще не названо. Бедная мать еще рассчитывает получить шкатулку обратно. Призрачно и отрешенно звучат скрипки, интонирующие мотив Грааля. «Где она!» Среди Олиных снов, там ее место... Сфинкс и часы на львиных лапах суть блики оборачивающегося вокруг темной ночи сна. Весь этот бакстовский рай на самом деле выведенного яйца не стоит, он создан игрой зрения в коре головного мозга. «Когда ты это сделала?! Куда она уехала?! Адрес ее у тебя есть?!» Адрес — оловянная планета с гипсовыми конструкциями, туман над Ла-Маншем. Мелочь — забыл солнцезащитные очки-«консервы», и весь видимый мир сорвался с петель, команда, ослепленная полярным солнцем и снегом, положив друг другу руки на плечи, побрела в направлении трещины. Лунатики наоборот, с глазами, из которых выпал краеугольный алмаз зрения.

Герман нагнал Надю в поселке, молча нахлобучил на нее свою шапку. Надя сорвала шапку с головы. Они пошли рядом. Надя спросила: «Закурить у тебя есть?» Герман достал из кармана полушубка папиросы. Но спичек у него не оказалось. «С-сбегать в магазин?» — «Да ладно».

Герман присел над размокшей колеей с жемчужными искрами, по которой медленно полз ручеек, и пустил в него папиросный коробок. Вода вяло подхватила его. Некоторое время коробок плыл впереди них. Застрял. Течение воды дальше осложнилось размокшим снегом.

Солнце заходило. Вершины берез еще по-весеннему сияли, и с высоких стволов стекал розовый свет. Небо делалось все бледнее, солнечный диск посверкивал меж стволов сосен, пока совсем не исчез за ними. Надя и Герман вошли в лес по протоптанной в снегу талой тропинке. «Закончу школу — уеду насовсем в Москву», — сказала Надя. «Я в Москву не поеду», — ответил Герман. «Как не поедешь? Учиться-то надо». — «Обойдусь. Устроюсь где-нибудь на С-севере. На метеостанции, например. Помощником аэролога». — «Ты хотел вроде плавать...» — «Меня в мореходку не возьмут. Я заикаюсь. А ты-то кем решила стать?» — «Чайкой», — беспечно отвечает Надя.

В лесу чисто и ровно лежал влажный, зернистый, выложенный жемчужной искрой снег, усыпанный сосновыми иглами и сухими ольховыми ключиками. На нем еще можно было разглядеть следы птиц. Чем больше прибывала тень, тем прозрачнее становился воздух над застывшими вершинами сосен. Оглянувшись на поселок, Надя увидела лишь горящие сквозь деревья разноцветные огни.

«Расскажи, как ты жила на плавучем острове». — «Так я ж рассказывала. Хорошо было одной. Историю двигают одиночки, а не массы. Правильно учит Эльвира Евгеньевна — леопарды и гиены правят миром, а не собакоголовые обезьяны». — «У с-собакоголовых тоже есть аппетит». — «И у комаров есть. Только комариная история, если она существует, маленькая, а львиная — большая».

«Юрка хочет быть один, чтобы ни за кого не отвечать», — невпопад произнес Герман. «Он за себя отвечает». — «За себя легко отвечать». — «Не скажи».

Совсем стемнело, когда они подошли к мосту через овраг.

«Не пойду я дальше. Это тебе хочется пойти к Тамаре, чтобы помириться с Костей». — «Хорошо, пошли обратно». — «Обратно — куда?» — «В поселок. Можно посидеть у Линды». — «Иди к с-своей Линде, а я пойду к отцу Владиславу. Он меня з-звал чай с-с медом попить». — «Когда он тебя звал! Это еще летом было». — «Ну и что».

Надя посмотрела на тропинку, ведущую к реке.

«Через реку не перейти, — сказала она. — Лед слабый». — «Тамара же переходит». — «Нет, она уже ходит кругом». — «Она до С-сорока мучеников ходит через реку, хотя она тяжелая, а мы легкие». — «Никакие мы не легкие».

7

РОЖОК ПОЧТАЛЬОНА. Пока немцы, американцы и французы возились с воздушными шарами, яхтами, дирижаблями, осваивая северные широты, в Могилеве подрастал мальчик, сын врача-хирурга, которому суждено было положить конец этой любительской игре. Когда подросток стал приват-доцентом Киевского университета. В юности Отто Юльевич составил список книг, которые ему следовало прочитать, — для того, чтобы это сделать, ему пришлось бы прожить тысячу лет. Произшла революция, он вступил в партию большевиков, стал комиссаром, работал в Наркомпросе, Наркомфине, возглавил издание БСЭ, преподавал в МГУ, занимался математикой, географией, астрономией, путешествовал по Памиру.

Тут скончался его сосед по Кремлю — Ленин, после чего учеными стала горячо обсуждаться проблема вечного холода в связи с проблемой сохранения для вечности тела вождя. Шмидт принимал участие в обсуждениях.

Судя по вычеркнутым из списка книгам, к тому времени Шмидт оставалось всего 250 лет жизни. Он уже дважды возглавлял северные экспедиции — на ледоколе «Седов», когда организовал самую северную в мире полярную станцию, и на ледоколе «Сибиряков», утвердившем советский приоритет в прохождении Северного морского пути за одну навигацию. Правда, в пути у «Сибирякова» сломался винт, и через Берингов пролив пришлось идти на парусах. Именно эта поломка винта навела Шмидта на мысль, что в смету будущего необходимо заложить подвиг и заодно основать большевистскую республику во льдах.

...Еще не оформлены документы на приобретение у датской судостроительной фирмы парохода, а «Челюскин» уже готов к плаванию. Судно должно преодолеть труднопроходимый из-за льдов пролив Лонга, но оно совершенно не приспособлено к одиночному плаванию во льдах. У него редкие и слабые шпангоуты и не слишком надежные крепления в носовой части... Пока идут переговоры с датчанами, Сталин обдумывает свой доклад на Семнадцатом съезде партии. «Правду» он читает от корки до корки, подчеркивая красным карандашом отдельные материалы, например коллективный рапорт башкирских нефтяников о том, что пятилетка закончена ими в два с половиной года, или что на Магнитострое родилась хозрасчетная бригада экскаваторщиков, побившая мировой рекорд погрузки машин. «Правда» излагает правдивые факты, хотя что такое правда, словцо с большим смыслооборотом, имеющее в словаре Срезневского 22 значения: *истина, справедливость, правота, честность, обещание, заповедь, правило, договор* и так далее. Наконец судно куплено, приведено в Мурманск, загружено всем необходимым и с экспедицией на борту отправлено в открытое море. Ледокол «Красин» должен подстраховать «Челюскин» во льдах. На борту «Челюскина» к тому же находится самолет «Ш-2» с летчиком Бабушкиным.

При первой же встрече со льдом в Карском море судно получает повреждение в носовой части, а затем, преодолев сплошные шторма в море Лаптевых, — новые повреждения в Восточно-Сибирском море. «Челюскин» вмерз в лед в октябре на подходе к Колючинской губе, после чего начался его многодневный дрейф.

Все море было забито льдом. Погода ухудшалась с каждым часом. Небо потемнело, море покрылось белыми барашками, все вокруг затянула густая пелена тумана. «Челюскин» со льдами несло по Полярному морю, льды наносили корпусу судна все новые повреждения...

Начался Семнадцатый съезд. Три четверти его участников с запрокинутыми лицами, стирая в кровь ладони аплодисментами, переходящими в овации, тихо дрейфовали в небытие. После доклада Сталина Горький простудился и слег, а Киров почему-то не упомянул о полете трех героев в стратосферу. Между тем они поднимались все выше и выше — Павел Федосеенко, Андрей Васенко и Илья Усыскин.

Земля была накрыта сплошным облачным покровом, и у метеорологов настроение было тревожное. Киров сидел на съезде, поглядывая на часы, и, несмотря на нарастающую тревогу, испытывал щемящую зависть к трем стратонавтам, которые в это время прошли облачность и оказались в дивном голубом мире, усталанном сияющими облаками. Земля сквозь шум помех их кое-как слышала: рядом с радистом плечом к плечу сидел журналист Михаил Кольцов и стремительным почерком записывал в блокнот, что высота «Осоавиахима-1» по альтиметру составляет 22 000 метров и на

такую высоту не поднимался еще ни один смертный... После этого связь с шаром прервалась.

На высоте 22 километра «Осоавиахим», нагретый яростными солнечными лучами, дрейфует около получаса, а потом начинает медленно опускаться вниз. Андрей Васенко в каком-то ликующем забытьи делает записи в бортовом журнале: «16.0... Солнце ярко светит в гондолу. Красота не за...» — ...незамутимая? ...незабвенная? — накатывала на гондолу, повисшую между небом и землей, начинающую медленно погружаться в доисторическую клубящуюся влагу, а потом в сорвавшийся с резьбы резкий, прозрачный воздух, где уже не было ни чистого блеска солнца, ни свободы. И когда сердца их коснулись земли, они перестали биться. Незакатная?..

Восьмиметровый вал торосистого льда обрушился на «Челюскин». За ним — другой, третий... Пароход стало ломать, вода заливала машинное отделение. Экспедиция в аварийном порядке с вещами высаживалась на лед. Мела пурга, ревел шквальный ветер. Над погибающим пароходом сгустились свинцовые сумерки. Пока люди ошеломленно смотрели, как он медленно уходит под воду, радист Кренкель в наскоро поставленной брезентовой палатке при свете фонаря «летучая мышь» оледеневшими пальцами отстукал радиограмму: *«13 февраля 15 часов 30 минут в 155 милях от мыса Северный и в 144 милях от мыса Уэлена „Челюскин“ затонул, раздавленный сжатием льдов».*

Эфир как будто взбесился. Вызванный из дали частой дрожью ключа под пальцами Кнебея, буквально слившегося со своей радиостанцией (таким его изобразил художник Ф. Решетников), и других радистов, сотканный из прозрачных ледяных игл, торосов, несяков и прочего материала, на горизонте Летучим Голландцем раскинулся призрачный Кремль со своими теремами-палатами, часовнями-аппаратными, и глубоко в небе просияли рубиновые звезды. Освещенный полярным сиянием, он возник словно предсказанная когда-то Николаем Шиллингом земля в районе Шпицбергена, чтобы вместо поврежденного льдами «Красина» провести по «чистой воде» в историю, распаханную под пар съездом победителей, самую красивую советскую легенду.

Весь мир как замороженный прислушивается к морзянке, проходящей по двум воздушным мостам. «Вон с ключа!» — пищит команда в наушниках радиолобителей, эфирных болтунов из Квебека, Сан-Франциско, Мельбурна, Стокгольма, Токио. Мир поражен мощью спасательного предприятия, на которое, кажется, направлены все силы шестой части земли, — как две огромные льдины, плывут навстречу друг другу Кремль и льдина Шмидта, и расстояние между ними неуклонно сокращается.

Наконец в дело вступают летчики, прокладывающие курс по рубиновым звездам к «аэродромам» на льдине Шмидта. Ляпидевский начинает эвакуировать челюскинцев. Из центральных районов страны прилетают Каманин, Молоков, преодолев Анадырский хребет, на аэродром Северного приземляется Водопьянов, а на аэродром Ванкарем «шаврушка» Бабушкина, заштопанная на льдине. Через Берлин, Лондон, Нью-Йорк и Канаду, совершив почти кругосветное путешествие, спешат Ушаков, Леваневский и Слепнев. Крылья самолетов обледенели, машины теряют скорость, вентиляционные люки затыкнул лед, мотор дает перебои, но Леваневский сажает самолет на фюзеляж на прибрежный лед в пятидесяти километрах от Ванкарема. В это время эвакуация челюскинцев идет полным ходом. Шмидта вывозят в Аляску. Он проходит лечение в госпитале Сан-Франциско, после чего, как победитель, вместе с Ушаковым путешествует по американской земле, восторженно встречаемый повсюду — в Белом доме его принимает Рузвельт.

Пока Отто Юльевич торжественно проходит по Америке, мгновенно разбираются декорации, исчезает построенный на льду ванкаремской лагуны аэродром, разъезжаются по своим стойбищам якуты-каюры, закрывается промежуточная база на мысе Сердце-Камень, исчезает в сполохах полярного сияния голубой Кремль, в координатах 68 градусов 22 минуты северной широты и 173 градуса 9 минут западной долготы подтаивает и уменьшается вдвое прославленная льдина — и тут-то в бухту Амбарчик прибывает ни в каких сводках не упоминавшееся, никакой морзянкой не охваченное судно «Джурма», зимовавшее во льдах совсем неподалеку от челюскинцев, и его тихое вороватое явление и есть та самая *биллингва*, то есть параллельный текст, с помощью которого может быть прочитана и понята до конца история большевистской республики во льдах, ибо теперь становится ясно, почему советское правительство упорно отказывалось принять помощь иностранных держав. В задраенных трюмах «Джурмы» находилось 1200 заключенных, которые, пока мир с напряженным интересом следил за челюскинцами, все до единого погибли от холода и голода.

Это был могучий марш-бросок сказки, которой лед обеспечит сохранность на века. Ее создатели крепко верили в то, что, пока она будет покориться во льдах, валовая продукция отраслей промышленности и сельского хозяйства обгонит и перегонит всех на свете и голубой Кремль с рубиновыми звездами будет стоять повсюду: на сопках Маньчжурии, на холмах Грузии, по диким степям Забайкалья, на пыльных тропинках далеких планет, но более всего во льдах.

...Май зеленый, май кудрявый, листья на деревьях только проклевываются, ветви залиты упругим солнечным блеском, и трепет весны объят все вокруг. Суета в деревенских дворах и на дачных участках, куда высыпала вся Калитва. Пахнет юной травой, свежевспаханной землей, на огородах мелькают лопаты, стелется дым от тлеющих костров, на которых догорает прошлогодняя ботва и жухлая листва плодовых деревьев с куколками вредителей сада и огорода, в разверстые грядки ложатся семена и клубни.

Завидев на улице Тамару в бледно-розовом платочке и выношенном мужском пиджаке, с почтовой сумкой на боку, калитвинцы подходят к калиткам и перепачканными землей и известью руками принимают от нее письма, «Сельскую жизнь» или «Труд», а взамен вручают ей тетрадные листочки с именами усопших: завтра панихида по павшим в Великую Отечественную войнам, а в храм Михаила Архангела мало кто собирается, надо успеть воспользоваться погожими деньками и вскопать огород. Таким образом, Тамара переносит почву с этого света на тот, двойной почталыон. В ее сумке поток запоздавших первомайских приветов встречается со свитком имен усопших, написанных крупным почерком, чтобы отец Владислав разобрал своими старыми глазами каждое имя и душа могла бы откликнуться, как умытый пионер на утренней линейке. Безмолвный рой нетерпеливых душ, означенных в бумажных списках отца Владислава, встанет над царскими воротами, на которых писаны Благовещение Пресвятой Богородицы и четыре Евангелиста. По одну руку от царских врат образ Спасителя и Михаил Архангел, по другую — «Взыскание погибших»...

В один из майских дней Тамара принесла Шуре письмо от дочери. Распечатав конверт, Шура прочла: «Дорогие родители! Я к вам ни за что не приеду. Буду жить с бабушкой всегда. К свиньям вашу школу. Так и знайте. Ваша дочь Надя».

Письмо было написано крупным почерком ребенка, только-только научившегося писать, без единой помарки, и оно повергло Шуру в смятение. Она и без того испытывала чувство вины перед дочерью, которую когда-то очень любила, но появление Германа отодвинуло старшего ребенка на второй план: мальчик родился недоношенным, слабым, до года не держал

головку, задыхался от приступов удушья, требуя постоянного ухода, но был спокойным, добрым и послушным. В четыре года Шура уже без опаски оставляла его дома одного. Он самостоятельно ходил к соседу Юрке Дикому, в живом уголке кормил кроликов морковкой. Надя, в отличие от Германа, была трудным ребенком, чуть что — заходилась отчаянным криком, пугала взрослых приступами немотивированной ярости, сдерживая со стола скатерть вместе с тарелками, а однажды, ревнуя маленького Германа к родителям, попыталась облить его кипятком. Этот случай и сыграл решающую роль в отправке маленькой Нади на Волгу к бабушке Пане... Сын никогда не огорчал Шуру: охотно подметал полы, помогал полоть и поливать грядки. Их семейные уютные вечера проходили за чтением любимой книги «Два капитана», прослушиванием пластинок с литературно-музыкальными инсценировками. Весной они вместе лепили из теста «журавлики»... Шура успокаивала себя тем, что слова семилетней дочери не следует принимать всерьез.

За месяц до начала школьных занятий Анатолий поехал за Надей. Шура каждый день выходила встречать их на остановку к автобусу.

Надя и Анатолий приехали из города на такси. Шура увидела в окно, как из остановившейся у калитки машины вышла стройная крепкая загорелая девочка с тугими косичками и, аккуратно оправив на себе платье, вошла во двор...

Шура выскочила на крыльцо. Надя встретила мать летучей мимолетной улыбкой. Улыбнулась — и тут же напустила на себя серьезный вид. Глаза ее смотрели приветливо. «Здравствуй, мамочка». Приблизившись к растерявшейся Шуре, она приподнялась на цыпочки, подставила лоб и, дождавшись поцелуя, сама церемонно клюнула маму в щеку. «Как же ты выросла!» — воскликнула Шура. На крыльцо вышел Герман. Надя и ему улыбнулась своей мимолетной улыбкой.

Дочь медленно прошла по дому; задержалась перед обеденным столом, тронула рукой клеенку, провела пальцем по дверному косяку с карандашными метками растущего Германа, окинула беглым взглядом абажуры, сшитые из почтовых открыток, деревянный средневековый замок с подъемными мостами и башенками, изготовленный для Германа Юркой Диким. В детской комнате узнала выглядывающий из-под кровати горшок, доставшийся Герману по наследству, и слегка, как старому знакомому, поддала ему ногой. Увидев из окна огородного Странника Тихона, углубилась в его созерцание. «Давайте садиться за стол», — веселым голосом предложила Шура. Надя не оборачиваясь сказала: «Спасибо, я еще не голодная».

Вечером Шура читала детям про маленького Оливера Твиста, и дети, сидя рядышком на тахте, замороженно смотрели на нее одинаковыми серыми глазами. Прочитав, как Оливер распрощался с бедным Диком, Шура искоса глянула на дочь: та шмыгнула носом. И Шура удовлетворенно дочитала про одинокие страдания Дика.

Прошел день, второй, третий. Надя собирала в саду начинающие падать яблоки, помогала мыть посуду, ходила за хлебом. За считанные дни перезнакомилась с доброй половиной жителей поселка и всем понравилась. Шура недоверчивым оком все поглядывала на дочь: в каком потайном кармане эта приветливая малышка прячет «к свиньям»?.. И тревожно посматривала в окно, пока Надя с Германом во дворе играли в «ножички». Но мало-помалу безмятежность дочери передавалась и ей.

Первого сентября она наряжала Надю в школу.

Купили красивую форму, белый фартук с оборками. Надя распустила волосы по плечам, вплела бант в тонкую косицу на макушке. Анатолий поставил дочь на табурет и сфотографировал ее с новеньким портфелем.

Налюбовавшись дочкой, Шура отвела ее в школу. А в десять часов, когда учителя вывели свои классы на торжественную линейку, она с ужасом обнаружила, что Нади среди первоклашек нет. Не было и Германа, который теперь повсюду ходил за Надей хвостиком...

Пробравшись окраинными улочками от школы к дому, Надя вошла в сарай, вытряхнула там из портфеля букварь, пенал и тетради, сунула в него заранее припрятанные в поленище две теплые кофты, свою и Германа, сняла белый фартук, белый бант с головы, бросила все это в садовую тележку и, взяв брата за руку, вывела его за калитку.

Они вошли в остановившийся автобус. Герман с любопытством поглядывал на сестру, но ни о чем, пока они ехали в райпоселок, не спрашивал. Выйдя из автобуса, Надя объяснила брату, что они едут в Москву. «А как же...» — начал было Герман, но Надя суровым тоном прервала его: «Ты что, дрейфишь?» Герман ответил: «Нет». — «Молодчина», — похвалила его Надя. «Никакой я не молодчина, — упрямо проговорил Герман, — а мама ждет тебя на линейке». — «Ну да, — покладисто согласилась Надя, — хотя чего я не видела на этой паршивой линейке? А тут — Москва!.. Мама сама в детстве тоже ужасно самостоятельной была, мне папка рассказывал... И вообще — могу я говорить с тобой как со взрослым человеком?» — «Ну?» — не очень уверенно отозвался Герман. «Так вот. Мы убежим, как Оливер. К свиньям эту школу», — сказала Надя, подняв руку. Через минуту возле них притормозил проезжавший мимо «Москвич». «Что вам, дети?» — спросила сидевшая за рулем женщина в тренировочном костюме. Надя жалобным голосом объяснила ей, что они ехали с родителями в поезде, на остановке незаметно вышли с братом, чтоб купить себе мороженое, и тут поезд тронулся. «А куда вам надо?» — «В Москву, на „Речной вокзал“», — ответила Надя. «Мы высадим вас в центре у метро. Доберетесь до дома сами?» — «Доберемся...» — «Надо же, какие самостоятельные», — одобрил мужчина. «Нас специально так воспитали», — степенно объяснила Надя.

В метро Надя с минуту соображает, как им прошмыгнуть мимо дежурной бабули. «Мама, мама, подожди!» — вдруг завопила она. Герман вскинулся, ища глазами маму, но Надя уже тащила его мимо стеклянной будки: «Там наша мама, мы отстали, пустите нас!» Втолкнула Германа на эскалатор и сказала: «Смотри под ноги». Внизу объяснила, что им нужно доехать до станции «Речной вокзал». «Зачем нам туда?» — «Мы поплывем к моей бабушке, — объяснила Надя. — То есть и к твоей тоже. Она тебя тоже ждет. Ты был совсем маленьким, когда тебя привозили к нам в гости. Она старенькая и добрая, она ждет нас, я обещала ей, что мы с тобой навестим ее. Навестим бабулю — и сразу домой!» — «Как же мы без с-спросу?» — «А Оливер кого спрашивал, когда убегал в Лондон?.. Так это же — Лондон, он далеко, а нам всего ничего плыть на пароходе». — «На каком пароходе?» — «У меня все пароходы знакомые. И баржи тоже. И самоходки. Я всех знаю на Волге. Волга лучше всего на свете. Лузга по сравнению с нею мутный ручей». — «Не мутный», — вдруг насупился Герман. «Мутный, мутный, — отрезала Надя, — увидишь Волгу — поймешь».

Большой белый двухпалубник «Спартак» стоял у причала, и на него по мостику входили люди. «Вы с кем?» — спросил у Нади матрос. «Мы к нашему дедушке, доктору Лазарю Леонидовичу», — ответила Надя. Они поднялись по крутой лесенке на верхнюю палубу. Глаза у Нади радостно блеснули. Завидев спасательную шлюпку, Надя подошла к ней, посмотрела по сторонам, приподняла край брезента и спрятала под ним портфель. «Здесь будем ночевать», — объяснила она.

Они продвигались по старинному пароходу, любясь благородной отделкой стен, дубовой обшивкой, паркетом, золочеными ручками распахну-

тых кают, утопая по щиколотку в мягких коврах, которыми был убран коридор. На спасательных кругах было написано «СПАРТАК». «Этот пароход раньше назывался „Великая княжна Татиана Николаевна“», — объясняла Надя. «Какая княжна?» — спросил Герман. «А-а, — беззаботно откликнулась сестра, — которую Стенька Разин кинул в набежавшую волну!» Опять ложь. «Та была персиянкой, — немного подумав, упрямо ответил Герман. — У нас дома есть эта пластинка». Надя сдавила пальцы Германа. «Княжну взорвали вместе с царем. Степан Халтурин таскал во дворец динамит и складывал его под подушку. В тот день слуги накрывали на стол. Великая княжна и принцесса Татиана Николаевна ставила на стол серебряную вазу с гиацинтами, когда прогремел взрыв...» Герман заглянул Наде в лицо. «Она недолго мучилась», — сочла нужным добавить Надя. Ложь, все ложь! Герман вырвал свою руку.

Спустившись на нижнюю палубу, они заглянули в машинное отделение. Сквозь металлическую сетку ограждения хорошо было видно, как ходят валы, сочленения тяг, бегают штоки, колеблются шатуны, вертятся колена валов, а под ними мечутся невидимые поршни в цилиндрах, нагоняя пар... Судно готово к отплытию, уже и склянки прорбили семь часов, и канаты отмотали от кнехтов. Широкие плицы пароходного колеса одна за другой забили по воде. Стальные лопасти, длинные рычаги... «Это рычаги Моргана, — авторитетно заметила Надя. — Они входят в воду как нож!» Никем не замеченные, они проскользнули в темный коридор. Железная дверца вела в черную квадратную комнату, где вырисовывался квадрат люка. Под ним рычаги Моргана перемальвают воду, режут острыми ножами тело персидской княжны. Надя опять потянула Германа наверх, на капитанскую палубу. И сразу стало много света, много голубой прекрасной воды, речного простора и солнечного ветра. Герман ухватился за круглую рукоять лебедки, так похожую на штурвал... Поверх пальцев Германа легла прохладная тень руки Татианы Николаевны. Другую руку его направлял Саня Григорьев. Ветер овевал волосы. Рычаги Моргана вошли в воду как нож. Горло обложили пузырьки счастливого ледяного воздуха. Впереди — речная синь, закатное солнце стелется по воде. Надя и Герман как тени проскальзывают мимо рычагов Моргана, взявшись за руки, — и вдруг оказываются в светлой каюте с полуспущенными планками жалюзи...

Большой бородач с седой гривой волос, которую раздувал вентилятор, в рубашке с закатанными рукавами на огромных руках сидел за столом и читал газету. Он обернулся, когда Надя открыла дверь, и посмотрел на нее поверх очков. «Ты откуда взялась, Надюха?» Протянул Наде толстую короткую руку. «Мы тут с родителями, дядя Ланя, — сказала Надя, расплывшись в счастливой улыбке. — Они во втором классе. К бабушке плывем. А это мой брат Герман». — «Чаю хотите?» — «С пирожными, если можно». — «Сейчас посмотрю, есть ли в буфете». Когда доктор вышел, Надя жарко зашептала Герману: «Видишь, какой он большой и неуклюжий? Это потому, что у него по колено ноги деревянные. Мясные отрезало винтом самоходки». Доктор вернулся с тарелкой, на которой покоились три мятых песочных корзиночки. Герман со страхом смотрел на доктора. Тот легко приподнял его и усадил поближе к окну. Надя одно за другим съела два пирожных. «Бутерброд хочешь?» — «Да ну, у родителей их там полно, бутербродов этих». — «Герман, ты почему не ешь?» — спросил доктор. Надя прыснула. «Я ему сказала, что у вас ноги деревянные, вот он и переживает». — «Тебя порют каждый день или только по субботам, Надежда?» — «И по субботам не порют», — с набитым ртом пробурчала Надя.

На север, на север, домой!.. В час ночи покажется Дмитров, в 4.50 — Большая Волга, в 7.05 — Кимры, в 15.35 — Углич, в 22.30 — Переборы, в час ночи — Рыбинск... Время свернется в кольцо. Ночь перебежит его по диаметру. Голубеют дебаркадеры, синеют заливы и бухты, гладь которых

покрывают белые яхты. На островках мелькают зеленые и красные огни — указывают путь домой. Вот и голубоватое здание пристани Икша...

Надя стояла на носу парохода, застыв как акротерий — кипарисовая богиня, за спиной которой древние суда пускались в рискованные плавания по морям и океанам. Богиня с лебединой шеей и распахнутыми во мрак глазами кормила черной грудью гигантского младенца, покачивающегося на зыбких руках нереид, передававших судно от одной моряцкой звезды к другой. Суда с акротериями давным-давно пошли ко дну всем списком лебединым, жернова Моргана перемололи их на жемчужные брызги, летящие Наде в лицо. А древние созвездия, как переполненную плодами ветвь, пригнуло к берегу: красные звезды, ограненные в бакенах, ограждали мель у правого берега, белые — указывали на подводные препятствия у левого. Но идея непреклонной неподвижности акротерии, к которой было приковано внимание волны, ожила в гигантских коридорах шлюзов с осклизлыми стенами, на стрелках, разделяющих судоходный канал и рукав, ведущий к насосной станции, на башнях гидроузлов... Вот цементная девушка держит над головой яхту, как блюдо с виноградом. Вот скульптуры строителей, напрягших мышцы для последнего трудового усилия. Вот цементные спортсмены играют в цементный мяч, застывший в воздухе, как шар на реях сигнальных мачт. Вот группы пограничников охраняют башню с огромным узким окном. Мраморные, чугунные, гипсовые акротерии стиснули реку со всех сторон, и она напрягает свои мышцы-волны для последнего рывка, стремясь поскорее проскользнуть мимо ленивой речки Медведицы и Белого городка, мимо Калязинской подтопленной колокольни, которая еще долго будет стоять в русле и волновать сердца всех, проплывающих по великой реке... Кромка леса по правому берегу тянется до угличского шлюза, а дальше — при ярком солнце — покажутся усыпанные золотыми звездами синие купола церкви Димитрия «на крови»... Потом Мышкин, где за арками железобетонного моста виден дебаркадер пристани Волга-Рыбинское море!

Река тянет Надю на север, на родину, тянет, как железная богатырская цепь, некогда проложенная по дну Волги, звенья которой гремят в глубинах реки, как колокола затопленных соборов. Этот звон отдается в кончиках ее пальцев. Она слилась с корпусом корабля, как кипарисовая богиня, ей казалось, что это она тянет на себя реку, как невод, с верховиком, хилком, Всехсвятским маяком, гидроузлами, дамбами, монументом матери-Волги — прекрасной акротерией, из складок которой вылетает буревестник, черной молнии подобный... Между тем, таща на себя этот неподъемный, полный неподвижных звезд невод, она ощущала в своей руке холодную руку брата.

...Княжну Татиану Николаевну взорвали, но она недолго мучилась, снисходительно объясняет брату Надя. Персиянка лежала на дне, и сквозь белые ее косточки проплывала стая плотвичек. Сестра всей душой рвалась вперед, а брат всем сердцем тянулся назад, к перепуганной матери, обеспокоенному отцу. Он чувствовал, что *разрывные силы, превращающие звезды в черные дыры, протянуты через все чрево парохода с его системой поперечных и продольных креплений, что рычаги Моргана перемальвают воду с обратным течением, что вообще география начинает бредить, двух- и трехэтажные реки текут сразу во многих направлениях, на месте низин вспучиваются холмы, ужасные цементные скульптуры делают обманные ходы, как гигантские шахматные фигуры, перескакивая с башни на стрелку, и бедная воровка Нэнси тащила маленького Оливера сквозь рычаги Моргана под арку моста, в тихую страшную воду.*

И уже лежа на дне спасательной шлюпки, укутанный пламенем, сквозь шум воды Герман слышал отчаянный шепот Нэнси, вцепившейся в его

руку: «Очнись, тебе говорят! Нам надо добраться до бабушки, и там сколько хочешь болеей!» Ответить Герман не мог, потому что загустевший воздух едва проходил в грудь. Нэнси отошла, и Герман почувствовал, что его поднимают и куда-то несут под бешеный шум волн, обтекающих судно. Он сделал над собой усилие, чтобы очнуться, и увидел склонившееся над ним лицо доктора Лазаря Леонидовича, который что-то сердито говорил рыдающей за его спиной Нэнси, но в горло Германа была вставлена медицинская трубка, и он не мог заступиться за сестру...

Шура и представить себе не могла, что она когда-нибудь попадет в полную зависимость от мужа, хитроумного Одиссея, скитающегося по волнам своего воображения, где он только что-то и значил, представлял собою некую величину, реальность которой удостоверял в какой-то степени его журналистский блокнот, старенький фотоаппарат «ФЭД» и сны одной старой девушки, выменянные им на малахитовую шкатулку... Его голос, постоянно звучавший то в доме, то в саду, теперь успокаивал ее, отвлекал от *мухи*, которая уворачивалась от частого гребня, просачиваясь сквозь пластмассовые зубья, и наполняла своим жужжанием воздух. Как только вредное насекомое подбиралось ближе к уху, через которое снова хотело проникнуть в мозг, Анатолий в саду во все горло затягивал песнь торжествующей любви: «На горе стоит корова, никто замуж не берет!..» И под это пение жужжание *мухи* делалось тише, она снова зарывалась в волосы, и Шура отчетливо слышала успокаивающий голос мужа, визжание пилы, бодрый стук молотка: Анатолий разбирает крыльцо и пристраивал к дому веранду.

Только сейчас выяснилось, как много талантов скрывал Анатолий: он умел быстро развести цемент, неторопливо и точно работал топориком, из-под рубанка у него кудрявилась ровная тонкая стружка, гвоздь входил в дерево с двух ударов по самую шляпку. Он пристроил к дому просторную веранду, какой нет ни у кого в деревне, соорудил для жены кресло-качалку, и теперь Шура знай себе покачивается туда-сюда и наблюдает, как Анатолий сколачивает козлятник. Он объяснил ей, что коза — самое лучшее средство против *мухи*: когда он, Анатолий, будет уезжать в редакционные командировки, а Надя уходить в школу, возле Шуры всегда будет находиться животное, и *муха* ничего не сможет ей сделать. «Ты не представляешь, какая от козы польза, — кричал из глубины двора Анатолий, — молоко — это раз! Пух — это два! Шерсть — это три! Козье молоко — раз — очень полезно против всех форм склероза, тем более какого-то там *рассеянного*, если хорошо створаживается — два — из него можно приготовить сыр и масло! Правильно я рассуждаю, мамочка? Ну скажи мне что-нибудь!» — «Вдруг навстречу мой хороший, мой любимый крокодил. Он с Тотошей и Кокочей по аллее проходил», — надув губы, как будто читала маленьким детям, отвечала Шура.

Надя, вернувшись из школы, активно включалась в работу. Обмазывала солому глиняным раствором, обшивала соломенными матами вытяжную трубу в козлятнике, копала по указке отца канавки в земляном полу для стока жижи, белила стены, мыла полы в доме, готовила обед и все это делала быстро и молча, не проявляя признаков усталости. Когда становилось прохладно, отправляла маму в дом и, чтобы отогнать *муху*, ставила пластинку. Людей мама не всегда узнавала, поэтому папа сделал на калитке хорошую задвижку — пусть все идут себе мимо, — но музыку она помнила: «Это каприччио на прощание с горячо любимым братом», а когда двойная fuga в конце варьировала тему почтового рожка, объявляющего отъезд, Шура дудела в кулак...

Иногда приходило письмо, написанное Надиным почерком. Анатолий прочитывал его вслух. Шура привыкла к чтению писем, и когда письма

долго не было, беспокоилась, кричала Тамаре с крыльца, нет ли письма. И письмо приходило наутро. Шура знала, что с чтением не надо торопиться, нужно дождаться вечера, когда Анатолий освободится и прочитает письмо. Весь день держала конверт в одной руке, не узнавая почерка Нади, а гребень — в другой. Когда Анатолий наконец прочитывал письмо, он отдавал его Шуре, а она клала его на то место в серванте, где прежде стояла малахитовая шкатулка — поверх тетради снов. Писем уже скопилось целая стопка, но Шура не помнила, что одно почти дословно повторяет другое: «Здравствуйте, мама, папа и Надя! Я живу на Севере на метеостанции. У нас все время пурга. Когда запускают аэрологический шар, не видно ни зги. Мне приходится снимать показания с приборов. Для этого не надо заканчивать институт. Когда стихнет метель, приеду к вам, а пока самолеты все отменяют и отменяют. Ваш сын и брат Герман».

«Поди ж ты, — каждый раз удивлялась Шура, — я-то думала, что Герман умер во время блокады. А он все-таки жив». — «И тебе того же желает», — переглянувшись с Надей, бодро отвечал Анатолий.

Постепенно Анатолий расширил хозяйство. Вырыл погреб между клубничником и картошкой. У веранды посадил дикий виноград, который сразу же ударился в рост. Оказалось, он и в дровах знал толк, и в электричестве разбирался, и козу выбрал молочную. Шура привязалась к Званке. Сама чистила козу жесткой щеткой, обрезала отросшие копытца, выходила к санаторию пасти ее и следила за тем, чтобы она не пила воды из лужи. Только доить было непросто: Званка то и дело ложилась на пол или вставала ногами в кастрюлю.

До поздней ночи в окнах их дома горел свет. Юрка Дикой выходил покурить на свежий воздух и, облокотившись о забор, видел между раздвинутыми пестрыми занавесками в соседнем окне мирную картину: Надя сидит на диване с вязаньем и покачивает ногой, как зыбку с младенцем, кресло-качалку, в которой сидит Шура с мраморным лицом и монотонно расчесывает гребнем седые пряди, а на приступке устроился Анатолий и читает вслух какое-то письмо... И ангелы скорби стояли над ними.

8

ВОЗДУШНОЕ ТЕЛО. Где-то там, в далеких мирах, происходит вспышка и дает толчок событиям. Рассеянные в воздухе зерна трагического пускаются в рост, на них упал животворящий луч случая. Алексей Николаевич повстречался Ларисе в парковой аллее. Рука его уже поплыла к краю шляпы, как вдруг, скомкав учтивый жест, он схватил Ларису за локоть: «Вы уже слышали про детей? Какая ужасная гибель!» Да, ужасная смерть: автобус вместе с детьми сорвался в пропасть на Военно-Грузинской дороге, все дети погибли...

Лариса молча смотрела на него. О детях сказали в утренних новостях, она ахнула, представив лица родителей, обращенные к репродукторам, но тут явился Нил с тройкой за экзамен по литературе, и Лариса забыла про детей, когда вошла эта огромная тройка, унесшая серебряную медаль... Говорила тебе, прочитай эту книжку, я не помню, почему Тоня покинула Павку. Но Нил не стал читать, и Павка Корчагин унес медаль, мстительно насвистывая на ходу, заслонив собою погибших детей и лица их родителей... Порыв Алексея Николаевича обрадовал Ларису, значит, есть еще души, способные страдать по чужому и далекому поводу.

Так они стояли в июньской аллее, расслаивающейся под лучами заходящего солнца на тихие, торжественные тени с мимолетными, блистающими сквозь крону деревьев солнечными пятнами, и на неявный зов любви слетались тени погибших детей, как обрывки долетающей из окна

мелодии, и в этом была не только моральная, но и акустическая неточность, едва заметная слуху трещинка в гармонической конструкции, в которую вклинилась эмоция, как сорное семя, чтобы расщепить краску, приглушить звук — и вот уже в проломы мелодии хлещут трагические образы погибших детей, их тени неприкаянно, как водоросли, покачиваются в ритме скомканного разговора, и поверх них наплывает любовь...

Наконец они разошлись. Лариса пошла в одну сторону, Алексей Николаевич — в другую, тени погибших детей, положив руки на плечи друг другу, как слепые, побрели в третью... Лариса думает об Алексее Николаевиче, о том, почему свою дочку приводит в музыкальную школу всегда он, тогда как маму Танечки она никогда не видела. Лариса улыбается, вспомнив, что он носит на пальце массивный перстень, но тут же одергивает себя — Моцарт тоже носил кольцо на пальце, которое публика принимала за талисман, придающий его пальцам особую ловкость.

Вечером Нил застаёт мать у раскрытого настежь окна: о медали, которую унес на гимнастерке Павка, и помину нет. Она разглядывает едва заметные синяки возле локтевого сустава, и блаженная улыбка бродит по ее лицу.

Время от времени Нил достает с антресолей небольшую коробку с письмами своего отца, о котором ему мало что известно, и перечитывает их, подписанные буквой «В», пытаясь по ним реконструировать ответные письма матери. Со стороны матери, как он может догадываться, слова летели вслепую, наугад, подверженные минутному настроению и капризу; отец же кладет слова одно в одно, как пули, выпущенные из одного ствола с точно выбранной позиции — стороннего наблюдателя, друга, советчика. Это сознательно вычисленный, исходя из данных о характере корреспондентки, маневр, с поправкой на ветер в ее голове (о котором он упоминает с показным добродушием). Маска друга и советчика скрывает лицо, и без того затененное разлукой, но не сердце. Ровные строки с сильным наклоном влево текут, как река с севера на юг, в них плещутся безобидные, казалось бы, темы: картинки солдатских будней, похожий на kota старшина-хохол, рассуждающий на философские темы, поездка в Архангельск за продуктами для дивизиона; но внимательный читатель видит под этой показной безмятежностью дымящуюся лаву — в ней сгорают ровные буквы, и товарищ старшина тоже... Поднесенные к глазам, эти строки могут опалить своим жаром. В ее распоряжении: дача под Мичуринском, куда пригласила отдохнуть подруга, города Калининской области, по которым она концертирует вместе со студентами консерватории, походы по Подмосковию, катера, электрички, автобусы, телеги, — все средства передвижения к ее услугам, и они уводят маму от почтового ящика, к которому пытается привязать ее отец... В его распоряжении солдатская тумбочка, караульная вышка, полированный приклад автомата, к которому приложен вырванный из тетради листок. Из своего далека он набрасывает на возлюбленную тонкие сети, дает мелкие поручения, выполнение которых требует времени, дает советы по методу пальцевой техники, ныне забытому, почерпнутому им из книг, при которой запястье должно быть гибким, движение руки идти в крайнем случае от локтевого сустава, но уж никак не от плеча, как играют сейчас... Не от плеча! Не от плеча, это вульгарно, взывает он, и становится ясно, что речь снова идет о ее свободе, на которую у него свои виды. И каждая его мелкая придирка проецируется в большие, неприятные ей обобщения. Между тем она старательно выполняет его просьбы: переписывает пьесу Штрауса, в которой тот цитирует Куперена Великого, достает томик Верлена... Но что касается пальцевой техники, это вопрос принципиальный — с тех пор как правой руке поручили мелодию, она доминирует, в этом принцип романтического пианизма, в жертву которому приносится чистота и логика звучания: преувеличенные темпы, шумная виртуозность требуют силы всей руки, сосредото-

ченной в плечевых мышцах... В этом упрямстве матери угадывается желание сохранить свою территорию, возделанную энциклопедистами, отстоять романтизм, иначе говоря... И когда отец восстает против шумовых эффектов, обывательской игры на контрастах, он имеет в виду не определенную исполнительскую технику, а тип мышления, спекулирующий на восприятии толпы. Он настаивает на тонкой камерности чувств, исповедующихся разуму, она подкрепляет свою позицию ссылкой на полифоничность бытия, имея в виду симфоническую (программную) картину жизни. Небольшая неразбериха в терминах, размытость отсылок и неточное цитирование интересующих их обоих трудов Рамо и Генделя запутывают маршруты, по которым следуют слова, письма начинают приходить с опозданием, ответа нет и нет, они не хотят понимать друг друга, не хотят переходить к универсальному языку пола, и когда отец возвращается в Москву, постепенно выясняется, что им не о чем говорить, и они спустя некоторое время расстанутся врагами.

Ситуация *возможного мира*, схваченная фотографом, как форель из ручья голыми руками, неизбежно наносит удар *модельному множеству*, которое не поддается учету, уходящему в дурную зеркальную бесконечность. Щелчок затвора кладет конец бесконечному конвейеру фрагментов, *возможный мир* отсекает от океана образов часть волны, после чего остальные не востребуемые модели идут ко дну. (Подобным образом формируется история человечества.) Спусковой механизм фотоаппарата опрокидывает *модельное множество* в небытие, недоступное для воображения, он переворачивает доску, и игра летит в пропасть после первого же хода. Инерция человеческого зрения с его неисчерпаемой творческой энергией восстанавливает сбитые кегли фигур, и игра продолжается в границах *возможного мира*, сочетая его с другими мирами, также «возможными», существующими частично на бумаге, частично в предположении.

Тут, конечно, против Алексея Николаевича сыграл свет. Он видит буквальную сторону явления. Он полагает, что свет — это поток фотонов, а вот как играет форель в этом потоке, не видит. Но у Нила свет не бывает нейтральным, он заряжен страстью. Нил мягко стелет соломку, скрывая капкан, дает невысокий передний свет, устанавливает перекальную лампу в полутора метрах от модели, еще две такие же сзади нее для освещения фона.

Только крупный план, и чем крупнее, тем лучше, чтобы мать могла как следует разглядеть своего очередного поклонника, только крупная дичь ловится переходным кольцом номер один, а юркая мелочь, чешуйчатая маска, обеспечивающая кровообращение видимостей, уйдет в нейтральные воды *модельного множества*. Свет правдив и притягивает к себе реальность, как магнит железные опилки.

Церемония знакомства открывается классическим запевом, букетом белых махровых астр. Любовь — замкнутая система, странный цикл, в котором обращаются одни и те же вещи, цветы, стихи, природа, музыка, письма, снимки, кольца, талисманы, вместе с тем это ее подсобное хозяйство, подножный корм, разноцветные покровы... Цветы являются первыми.

Мать радуется букету больше, чем следовало бы, ведь мало ли какое чувство дергает за лепестки эти цветочные головки... Вот уже маленький белый сад колышется посреди стола, среди блюд, приготовленных для сегодняшнего застолья... Почти свадебный стол. Алексей Николаевич, гордый тем, что он так ловко открыл шампанское, забывает о том, что он должен играть роль в какой-то степени отца Нила...

Пока Лариса хлопочет о сладких блюдах, Нил уводит его в свою комнату и демонстрирует ему любимые снимки из серии «кипящий чайник». Зачем так много чайников, осторожно интересуется Алексей Николаевич...

Альбрехта Дюрера тоже спрашивали, почему он рисует подушки, одни смятые подушки, отвечает Нил... Алексей Николаевич показывает кивком, что удовлетворен ответом. Он не помнит ни одной работы Дюрера, зато рад, когда речь заходит о «Мастере и Маргарите», романе, еще не прочитанном Нилом... Вернувшись за стол, они уже болтают как ровесники. Алексей Николаевич раздумал становиться отцом, мать опечаленно смотрит из-за букета цветов. Мальчики с увлечением беседуют о парашютном спорте, на счету Алексея Николаевича четырнадцать прыжков, мать и слова вставить не может, она понимает, что тут ведется вечная игра двоих против третьего, ей ничего не остается, как улыбаться им обоим...

Объектив запечатлел эту материнскую улыбку. Ни на минуту не теряя нить беседы, Нил щелкает затвором, оборачивая фотоаппарат то к матери, то к Алексею Николаевичу, точно пытается их связать друг с другом, уже расколотых его лукавым помыслом. Алексей Николаевич не вникает в смысл новой расстановки сил за столом, он чувствует себя в центре внимания... Колдовской свет насквозь пробивает позу и Алексея Николаевича, и матери. Объектив устанавливает идентичность данных индивидуумов *модельному множеству*, затмевая *возможный мир*, свет проникает в потаенные уголки души и пророчествует... Разглядывая пару дней спустя получившиеся снимки, Лариса чувствует, что ее поражение подступает к ней, как прилив, и ей следует срочно открыть шлюзы, подыскать *воздушное тело*, чтобы его и унесло в открытое море множественности, но не ее, не ее.

Проходит месяц-другой... Из постепенно отлаженного графика телефонных звонков и встреч, зеркально соотнесенных с рабочими и домашними обязанностями Алексея Николаевича, из пары бутылок можайского молока для его дочери, дамских часиков, взятых им из ремонта и второпях сунутых в накладной карман, лекарства, полученного по рецепту, внутри предметов, для которых Ларисин дом является перевалочным пунктом, постепенно формируется пустое пространство, невидимое тело птицы, отлучившейся от гнезда, так называемое *воздушное тело*, контуры которого можно определить по вышеперечисленным дискретным точкам, как большое созвездие по далеким неподвижным огням.

В начальный период любви предметы многозначительно перебрасываются смыслами, как на старых фотографиях, где партию пространства исполняет стена или размалеванный задник, когда делались огромные выдержки, но по мере развития техники отношений изобразительная плоскость подается вглубь, левая ее сторона, определенная Кандинским как *даль*, и правая — *дом*, то и дело меняются местами или обмениваются уровнями, как капсулы песочных часов. Границы происходящих в *доме* и *дали* событий делаются все более прозрачными, и тут предметы начинают настаивать на своей принадлежности *дали*, обрастают аккуратной стилистической плотью — словно чувствуют, что узкое место, горловина песочной колбы, уже ими пройдена, — и они пробуждаются от дремы, плодят себе подобных, кишат, как микробы под микроскопом, старательно обтекая выжженную серной кислотой изложницу — *воздушное тело*.

Первоначально фигуру умолчания, назовем ее условно — «предлагаемые обстоятельства» или более конструктивно — «жена Алексея Николаевича», главное лицо композиции, окружают предметы на мягких лапах, бутылки-квитанции-рецепты, носовые платки, слипшиеся эклеры... Линии, создающие *воздушное тело*, волновались, пока шла диффузия светотени, и это волнообразное, колеблющееся, как пламя свечи, движение означало, что *тело* дышит.

Но вот все определилось. Установилось равновесие между *домом* и *далью*, любовью и долгом, — то, что было наитием и трепетом бабочки, залетевшей в форточку, заматерело в форме, полупьяное шатание по окру-

ге отлилось в привычный маршрут, и пришло время вплотную заняться воздушным телом, его сюжетом, долгое время казавшимся поэтическим вымыслом... Из-за милой березовой рощи вылетел свежий засадный полк вещей, новых смыслов. Сперва — имя, упавшее, как сокол с неба, на собственную тень, на воздушное тело: «предлагаемые обстоятельства» носят имя Марины... Произнесенное вслух имя соперницы выбивает из рук Ларисы пальму первенства. Две чаши весов вдруг пришли в равновесие — мир Ларисы и мир Марины... Как мелкие гирьки аналитических весов, на которых взвешивают шепоть порошка, в чашу Марины полетели новые вещицы — прочитанная ею книга, добытые ею билеты в «Современник»... как будто *дом* Марины дал течь, и она потихоньку перетаскивает шмоточки в *даль*, чтобы свить на территории далекой соперницы новое гнездышко. Она не прилагает к этому никаких усилий, просто включился механизм строительства *дома* в *дали*; словно прибором выносит на берег *дали* новые и новые предметы и сведения, в мимолетном разговоре, в мысленной перебежке из *дома* в *даль* обозначаются вкусы Марины: она любит Прибалтику, она не любит Хемингуэя, она любит коккер-спаниелей, она не любит духи «Красная Москва».

После того как названо имя далекой домашней Марины, из Алексея Николаевича, как из подвергнутого пытке и уставшего молчать лазутчика, посыпались остальные имена... Он, будто Гулливер, связанный позой горестного одиночества, пробуждается и начинает инстинктивно расчищать пространство для дальнейших шагов в сторону *дали*, а на самом деле — *дома*. Каждое названное им имя закрепляется в Ларисином доме на правах фантома, пока неподвижного, как статуя, только названного по имени... Тесть пьет только боржомом; теща выращивает на даче махровые гладиолусы.

Первоначальный набросок уточняется, «внутренние силы» гонят волну в направлении *воздушного тела*, которое, получив имя, интересы и родственные связи, все же осталось неопознанным, хотя ясно, что оно обладает недюжинной волей, не даром дочку в музыкальную школу всегда приводит Алексей Николаевич... В своем отсутствии Марина активнее, чем присутствующий на занятиях Алексей Николаевич. Марина требует, чтобы муж постригся. Лариса ничего не требует: *но страшно мне — изменишь облик Ты*. Ларисе чудится, что пряди тонких, послушных волос, разбросанных на полу в парикмахерской, — это привет от Марины, адресованный лично ей через остриженную голову глупого Алексея Николаевича... Марина слегка предостерегает ее, именно слегка, в прямых угрозах она явно не заинтересована, ибо Лариса отлично понимает, что может скрываться за бесконечными ночными дежурствами болезненной Марины, на которые сетует Алексей Николаевич... Лариса хочет выяснить, справедливо ли ее подозрения, — просто так, она не собирается воспользоваться результатом, просто интересно. Она выуживает из кармана Алексея Николаевича ключи от его квартиры, и ему поневоле приходится поднимать среди ночи дочку, чтобы она отперла дверь, что становится известным опять не ночевавшей дома Марине... В ближайшие выходные перепуганный расспросами жены Алексей Николаевич едет на дачу — отработать непонятно где забытые ключи... Вскоре Марина обнаруживает ключи, подброшенные Ларисой в портфель ее мужа, и Алексей Николаевич не может ответить на вопрос, откуда они там взялись, когда вчера их в портфеле не было, а сегодня — вот они, позванивают перед его глупым носом. Марина не сердится, ей, честное слово, смешно, но чтобы Лариса знала, что она о ней знает, она отбирает у Алексея Николаевича зарплату целиком, лишая соперницу привычного букета цветов и бутылки сухого вина... *Воздушное тело* оживает, наполняется тонким очарованием пронизательной, умной женственности, и Лариса, раскусившая ситуацию (Алексей Николаевич принижал роль жены в своей жизни и ничего не говорил о ее уме), движимая иронией,

делает очередной ход, — теперь она, таинственная незнакомка, хочет представиться Марине, открыть свое инкогнито... Она опять забирает ключи (история с потерей и нахождением ключей кажется простодушному Алексею Николаевичу колдовством), но спустя несколько дней кладет их в карман шубки его дочери. Это можно расценить как вызов, а можно — как приглашение к знакомству. Как она понимает Марину, та не то чтобы обыскивает карманы своих домашних, просто считает себя вправе быть в курсе мелкой жизни вещей в доме, чтобы строить по ним семейные прогнозы; Марина так внимательна, что дочка не успеет чихнуть, а мама уже стоит перед нею с ложкой микстуры от кашля, доскональное вхождение Марины в эти бытовые мелочи — это одновременно и ее личное алиби, и сбор улик на членов семьи... Примерно такой видит ее Лариса. И она не ошибается: чем точнее заштриховывает она *воздушное тело*, тем дальше откатывается захламленный фон, чтобы дать добро «новой вещности», оживающей буквально на глазах женской фигуре... Они с Мариной вдвоем изгоняют Алексея Николаевича из кадра, как чересчур громоздкий объект, вторгшийся в грациозную воздушную композицию. Алексей Николаевич не подозревает об этой тонкой, полной блеска и иронии женской игре, и когда Марина, верно разгадав жест соперницы, впервые сама приводит дочку на урок по сольфеджио, обе женщины дружелюбно беседуют об успехах, которые делает добросовестная девочка, после чего Лариса открывает телефон подушкой, как темной тряпкой клетку с болтливой канарейкой, а Нил, то и дело ночующий у Ларисиною друга детства Ворлена, окончательно водворяется в доме.

Однажды, спустившись с Надей в метро, Нил шагнул с платформы в раскрывшуюся перед ними дверь вагона, а Надя, неожиданно вырвав свою руку из его руки, вскочила в соседний вагон. Двери захлопнулись, и поезд тронулся. Надя плюхнулась на сиденье, а Нил остался стоять, их разделяло двойное стекло. Они ехали к Наталии Гордеевне — Надиной старенькой тете Тале, которая учила Нила музыке... Улыбающаяся Надя, зажата между старцем в панаме и полной дамой, на коленях у которой покоилась птичья клетка с рыжим котом, подавала Нилу энергичные знаки, приглашая его перейти на следующей остановке в ее вагон, а Нил, не желая уступать, показывал ей глазами, чтобы она перебежала к нему.

Надо было на что-то решаться, чтобы маленькая безмолвная стычка не увенчалась ссорой. Между тем Надя отвернулась к коту, который яростно грыз ее палец, а она морщилась, но не отнимала его, через кота укрощая Нила... Нил раздраженно отвел взгляд, а когда снова посмотрел в сторону Нади, у него упало сердце: Надино место теперь занимала древняя старуха...

На оплывшем как воск лице было нарисовано карандашом, тушью и губной помадой лицо поменьше, которое старая ведьма пыталась выдать за свое. Но, будучи подслеповатой, она рисовала лицо по контурам тридцатилетней давности. Зловещий грим, предназначенный для дальнотойной сценической оптики, под взглядом фотографа Нила отходил, как заморозка, расплываясь в складках подернутой склеротической сеткой кожи... Только орлиный нос старухи торчал из-под шляпки бодро, как крепость на вершине горы, недоступная старости.

Нил бежал вагон паническим взглядом — Нади не было в нем, а между тем поезд не останавливался. Не могла же она состариться за единственный взмах его ресниц. Тут он вдруг все понял...

Подобно зловещему облаку, Надю скрыло от него отражение старой дамы, сидящей в вагоне позади Нила. Нил слегка наклонил голову: увидел знакомые черты, оплавленные старостью, лицо на подкладке лица с двумя профилями... Под теплой кожей Нади, гладкой, как вода, зреют тихие зерна старости разывая упругую атласную мечту о самой себе. Небрежной

линией, летучим следом, стремительным почерком иллюзия набрасывала истину, которая снова оказывалась иллюзорной...

Незаметно меняя позу, Нил монтировал девушку со старухой, настоящий момент с ретроспекцией, дарованной ему оптическим обманом, перед ним проходил целый конвейер образов — видоизменяющихся в зависимости от ракурса старуходевиц. Вагон менял угол движения, и маска слетала с лица, как пыльная птица, и снова спаривалась с лицом, прозябала на нем узором морщин, и Надя не знала, какому отростку своего тела передоверить опасным тромбом циркулирующую по кровеносной системе гибрида душу, драпируясь в отражение старухи, как в плотный занавес...

Наталия Гордеевна, тетя Таля, завуч музыкальной школы, где работает Лариса, преодолевает новое время силой своего презрения. Наталия Гордеевна могла судить о нем по музыке. Музыка, как растревоженный муравейник, становилась все более рыхлой и доступной для проникновения в нее модуляций с навязчивым иностранным акцентом, хромающей гармонией и распоясавшимся диссонансом, все потащилось куда-то вбок, вкривь и вкось, в сторону эха... Черный диск вращал вместе с задумчивым голосом Монтана венгерские и новочеркасские события, скрипела своими раздвоенными, как змеиное жало, перьями литература, один державный гимн по утрам, как голосистый золотой петушок на спице, удерживал в своем горле горошину исторического времени... Все серьезное сделалось добычей легкой музыки. Из полей уносится печаль. Из души уходит прочь тревога...

Песне ты не скажешь «до свиданья», гремит с избирательных участков, требующих Талиного голоса, предлагая взамен спокойную старость... И хотя у Наталии Гордеевны на руках медицинская справка, освобождающая ее от присяги, песня не прощается с тобой... Ходит и ходит пожилая инспекторша с урной для индивидуального голосования в руках, поднимается распухшими ногами на четвертый этаж, звонит в дверь, пока не пробьет двенадцать часов ночи. Сын Тали — Валентин Карнаухов — в этот миг пролетает над матерью в сверхзвуковом лайнере, следующем из Дели в Стокгольм, прижимая к себе кофры с драгоценной фотоаппаратурой. Каждый раз, когда звонит настойчивый звонок, Наталия Гордеевна бесшумно подлетает к глазку, чтобы не пропустить своего ученика Нила, Ларисино-го сына, который очень похож на ее собственного сына Валентина... У него такая же прекрасная рука, легко берущая децимы, но сквозь его игру уже поблескивает зловещий и беспринципный механический предмет со шторкой и вставным стеклянным глазом надзирателя, косящим в вечность, гм... «Когда Бог нисходит на его длинные пальцы...» — писал о Шопене Делакруа. «Делакруа был незаконным сыном Талейрана», — иронически обрывает Наталию Гордеевну Нил. Ну и что! Он был художником, понимающим музыку, а это не так часто встречается!.. Нил больше не возражает. Он никогда не спорит с человеком, горячо отстаивающим свое мнение. «Его пианиссимо столь нежно, что для достижения мощнейших эффектов крещендо ему не требуется мускульная сила виртуоза современной школы, и он достигает чудес нюансировки при помощи педали и своего неповторимого легато», — вспоминал Филч, ученик Шопена. «Как с его нежным пианиссимо совмещается аляповатая и громоздкая фигура Жорж Санд?» — недоумевает Нил. Отвратительна эта его манера обличать человека в деликатной форме вопроса... Таля умеет сражаться только в открытом поле, всякие недомолвки, экивоки и намеки противны ее природе, ее рыцарские цвета — черный и белый. «Лист не может быть невинным пианистом спокойных граждан и безмятежных добряков... Когда он садится за фортепиано, тогда руки его бьют с особенным безумием по костяшкам клавиш, и тут звучит перед нами пустыня, наполненная небесно-высокими мыслями...» — писал Гейне. «Лист под конец жизни ушел в монастырь», — рассеянно отклика-

ется Нил. Бесцветный голос. Откуда такой голос? Лариса, хоть и существо без каких-либо гражданских доблестей, но честно следующая голосу собственной природы, может, потому ее ученики и берут призовые места на конкурсе имени Кабалевского...

Через полчаса снова слышна державная поступь несущей свою тяжелую ношу инспекторши, отдающаяся эхом в коридоре по *ту* сторону двери, а по *эту* — еле слышные крадущиеся шаги старой Наталии Гордеевны... Таля смотрит в глазок. Перед нею все то же навязчивое изображение взмыленной пожилой инспекторши, в мольбе простирающей к ней урну для голосования с прахом посланных в никуда голосов. Женщина укоризненно смотрит ей прямо в глаз, подтаивая по окоему глазка, вглядывается в выпукло-вогнутое стекло, расположенное на одной оси с мозгом, зрачком и сердцем... Огромный зрачок беспомощного государства видит Таля, уткнувшийся в ее глаз. Ноги у обеих устали, но у инспекторши больше. Она звонит, кричит, стучит, прильнув глазом к мутному стеклу, за которым где-то во мгле и тине аквариума плавает старая, задыхающаяся от сердцебиения рыба, верная прошлогоднему снегу. Жалобно скулит под дверью инспекторша, с нее же спросят Талин голос. *Одинокий голос человека*, включенный в проскрипционные списки. На дворе ночь. Нил и Надя уже не придут. Пустить бы усталую тетку, спеть вдвоем колыбельную над урной с прахом, поплакать о былом. Но как пустишь, если теперь каждый четвертый реабилитант.

9

ПОЛЯ СУЩЕСТВОВАНИЯ. Человеку с идеальным слухом — таким, как у Ворлена, — которого требует интонировка клавирина, хорошо ведомо, насколько под напором мелодии, обслуживающей человеческие страсти, сдала свои позиции наша барабанная перепонка, позволившая втянуть себя в тонкий, лишшающий звучание чистоты эффект *vibrato*, раскачивающий звук чуть ли не на полтона... Расплодившаяся мелодия заглушила чистую полифонию, слух сделался «толстым», как воловий язык, но клавирина чист от подозрений в плавающем звуке, говорит студентам Ворлен. С помощью клавирина мы можем осмыслить историю музыки в воздушной перспективе, в ведении которой находятся истинные цвета и тона предметов, в том числе и небесный стиль *blaue Blume*, ставший символом романтизма, когда старый, строгий контрапункт стал умирать, редела полифоническая сеть, исполнители утрачивали навык *legato* — неперемное условие абсолютного туше, создающее плавную мелодическую линию, мелодия автоматически отошла к руке, играющей в верхнем регистре, и когда молодой Бетховен исполнил на органе *последовательность с несколькими параллельными квинтами* вопреки правилам контрапункта, он, по сути, открыл новую тему, эстетизирующую страдание, — основным условием патетики сделались пылкость и напор, музыка заговорила пылким языком Руссо и вызвала обвал французской революции, во времена которой народ сжег почти все имевшиеся в стране клавирины, с некоторой печалью в голосе заканчивает свою лекцию Ворлен...

Вообразить себе аутентичный процесс клавириностроения невозможно. Можно только гадать о невероятной прозрачности звука инструмента, созданного при свечах. Акустическое пространство, увы, чутко реагирует и на великие географические открытия, и на технические новшества, и на изменения в лингвистике. Клавирины строились в стороне от ведущихся споров о гелиоцентрической системе, в стороне от книгопечатания и Крестьянских войн, но эти и другие события не могли не оказать влияния на колебание звучащей струны, они как будто входили в ее состав. Чтобы представить себе ситуацию рождения клавирина, недостаточно будет заме-

нить электрическую лампочку свечой, циркулярную пилу и механический рубанок — ручными и убрать чугунную раму, благодаря которой инструмент не требует частой настройки. Невесомое время осело на самом звуке, и никто не может поручиться за то, что тон камертона ля 415, по которому настраивают клавишины, имеет ту же частоту колебаний, что и во времена Баха.

Тем не менее строительство клавишина — одно из самых благородных дел на земле. Оно начинается со свалки, по которой бродит Ворлен вместе со своим юным другом Нилом...

Свалка — это листопад чудо-дерева, шагающий по ней человек заряжается романтической энергией образа, подымающегося как дух над общим метаязыком свалки, который находится в состоянии брожения и чем-то похож на эсперанто, на нем, того и гляди, скоро заговорят народы, переплетенные общей обложкой земной коры с названием «род человеческий», как у Эдварда Стейхена, приехавшего в Москву с фотовыставкой, на которой побывал Нил, — по мысли, как отмечено было в каталоге, прогрессивной, гуманистической...

Не исключено, что именно на этой городской свалке расплылись выброшенные когда-то матерью в мусор фотографии отца Нила — известного фотокорреспондента Валентина Карнаухова, прогрессивного тоже гуманиста, принимавшего участие в освещении поездки Никиты Сергеевича в Америку, обладателя *синего квадратного* жетона, дававшего право сопровождать высокому гостю по всей стране и бесплатно пользоваться всеми видами транспорта. Остальные корреспонденты располагались на крышах небоскребов, взбирались на силосные башни, прятались во рву перед балконом Блэйр-хауса, где остановился коммунист номер один, слившись с травой, ожидали его появления на крыльце в утренней пижаме, чтобы поднести к его рту микрофон. За главой нашего государства могучей тенью шли атомный ледокол «Ленин» и ракета, оставившая наш выпел на Луне, тогда как американский «Юпитер», призванный вывести на орбиту очередной спутник, не взлетел — в «Авангарде» не сработало зажигание. И все это шумное время ушло в слой коллоидного серебра вместе с канделябрами, веерами, пыточными орудиями...

Ворлен рыщет по свалке в рыжих болотных сапогах, с палкой в руках, на конце которой крюк.

Над свалкой, говорит он, витает замечательный музыкальный сюжет с оперившейся еще формой, чудные модуляции переходят из дерева в дерево: из тополя — в корпус клавишина, из сосны и ели особого распила — в деку, из черного плотного дерева — в доску, в которую вставляют *колки*, из бука — в *мосты* и *планки* к деке, через которые будут протянуты струны, из груши, отшлифованной до зеркальности, — в *прыгунки*, из мягкой липы — в *клавиши*, из остролиста — в *язычки*. Ворлен подтаскивает к краю свалки старые дверные откосы и половые доски, щелкает по ним пальцами: «Сухость, Нил Валентинович, и выдержанность для хорошего дерева так же важны, как необходимы они для великого произведения искусства».

Под их ногами пружинит адекватный сегодняшнему дню слой с отлаженной пластикой ассоциаций, ноуменологическим пафосом, ориентирующим фотографа на самые банальные приемы, — метафоры, испускающие из себя лучи готовых образов, слишком жирны и радиоактивны, навязчив тон настроения, которому нельзя отдаваться, нельзя идти на поводу отчаявшихся вещей, даже если они нелепыми изломами, выпрастыванием углов, беспомощно развешившейся ветошью вопиют об этом. Нагруженный оконными наличниками, Ворлен большими шагами пересекает свалку и идет к грузовику. Деловито бросает наличники за борт грузовика и сует Нилу в руку несколько крупных купюр, не считая. «За что?» — «Бери, бери», — отвечает рассеянно.

В мастерской во Втором Волконском стоит, дожидаясь покупателя, целый табунок клавесинов в разной степени готовности и один маленький спинет, на котором играет Ворлен. У одних инструментов собран корпус, у других готово дно, клавиатура и дека с мостами и пружинами (такие уже можно красить), третьи стоят с отлаженными струнами из красной меди — в басах, из желтой меди — в основном регистре и из железа — в сопрановом голосе (весь клавесинный мир выписывает струны с родины вёрджинела — Англии, Ворлен тоже), в четвертые уже вставлена фурнитура, точные винты с необычной резьбой, колки, иголки из стали. Один инструмент кажется готовым, но играть на нем нельзя — пластмассовые перышки будут рвать струну: тут начинается самая важная часть работы Ворлена, кропотливая, как у реставратора...

Крохотным ножичком он подрезает пластмассовые язычки, чтобы они могли защищать струны мягко и вместе с тем жестко, сохраняя баланс между природными возможностями клавесина и туше. Каждое перышко надо подделать под струны и клавиши, чтобы 64 ноты всех пяти октав от *фа* до *фа* удовлетворяли необычайно тонкий слух Ворлена. Это называется интонировкой.

У Ворлена много знакомых — музыкантов, студентов консерватории и Гнесинки, любителей, перезнакомившихся между собой в магазине «Мелодия» или «Ноты», художников, расписывающих крышки его инструментов, мастеров-краснодеревщиков, с которыми он обменивается материалом, токарей, изготавливающих для него фурнитуру. Когда он идет по Герцена, продвигаясь от дома к мастерской, ему то и дело приходится приподнимать парусиновую кепку летом или ворсистую шапочку с козырьком зимой, что он делает стремительно-лаконичным жестом, чтобы не позволить встречному заговорить, не дать опуститься всем этим праздным консерваторским птахам, поклевывающим здесь и там, на козырек его кепки. Этот жест плотно слит с твердой и решительной походкой Ворлена.

Все дело в его слухе, который он бережет, как гитарист свои ногти, содержит в образцовой чистоте, чтобы его не расшатали призвуки, размножающиеся в засоренной городской акустике. У остального человечества, так называемой публики, ушей много: одними оно слушает радио, другими — чистильщика обуви, третьими — Пёрселла, четвертыми — тайный «Голос Америки», пятыми, вмонтированными в патрон электрической лампочки или лепнину на стене, — что говорят граждане на своих кухнях. Возникает поразительный эффект согласованности слуха, более согласованный со злобой дня, чем образцовый хор имени Пятницкого.

Ворлен имеет дело с точными, выверенными до микрона предметами, именно потому он не любит делать лишних движений. Когда Нил возникает на пороге его квартиры с большим рюкзаком на плече, набитым личными вещами, он отрывается от верстака и, не выказывая никаких признаков раздражения, молча разогревает ему ужин. Ворлен понимает, что Нила в очередной раз вытеснила с жилплощади ураганная любовь матери — подробности его не интересуют. Он только отмечает про себя, что на дворе глубокая осень, ртутный столбик вот-вот соскользнет в минусовые пределы, а Лариса не удосужилась проследить, чтобы сын переобулся в теплые ботинки... Ворлену проще всучить парню деньги и отправить в обувной магазин. Ряд действий, которые он вынужден произвести с появлением Нила, например отменить по телефону назначенное свидание, он не считает лишними. Вряд ли он принесит жертву Нилу — скорее пользуется им как предлогом, чтобы корректно дать отставку влюбленной в него девушке, «играющей Шопена». Шопенистки почему-то преследуют его, очевидно, в его внешности есть что-то «убойно-романтическое», как говорит он Нилу, посмеиваясь сквозь редкие усы. Те девушки, которым удается обосноваться у Ворлена в квартире, начинают наводить домашний уют.

Девушки варят борщи, пекут пироги, вяжут носки — словом, пытаются взять свое на своей женской территории, раз уж они не Маргарита Лонг и не Мария Юдина... Ворлен, чтобы не делать лишних движений, ест борщ, который всегда хуже того, что он готовит сам, и вообще держится со своими возлюбленными подчеркнуто дружески, внимательно вникает в их лепет, если только речь не идет о музыке, прислушивается к советам, что почитать, ходит с ними в «Иллюзион», на Патриаршьи пруды кататься на коньках.

Лариса тоже не любит лишних движений, погружаясь в очередной роман, на который указывает ряд признаков... Даже дверь не закрывает в свою комнату, когда ей звонит возлюбленный. Но если цветы, которые она покупает себе сначала сама, начинают торчать не только в вазах, но и в кружках, бутылках, флаконах, Нил понимает, что пора отправляться к Ворлену.

Валентин Карнаухов, сын тети Тали, не любит лишних движений до такой степени, что, пролетая над родной страной по пути из Нью-Йорка в Пекин с посадкой в Москве, не всегда сообщает матери о своем пребывании в столице, зато аккуратно отправляет ей из разных точек земного шара открытки с изображением пирамид или Ниагарского водопада, иногда присовокупляя к ним свои фотографии, ушедшие в технический брак: зажмурившийся Громыко, жадно кусающий тропический плод Полянский, завязывающий шнурки ботинок Кеннеди...

Высоко летает Валентин, реактивные самолеты окрылили политику, сблизили материки и культуры, большая высота создает иллюзию прозрачности границ и калейдоскопичности событий, которые вплотную прикинули к фотокамере быстрого реагирования, будто нарочно позируя ей. Цемент еще не застыл на Берлинской стене, как к ней вдруг с двух сторон подошли американские и советские танки, но, поскольку наши танки грохотали громче (через радиосуилители!), оглушенные американцы, заробев, убрались восвояси... Пространство сокращалось ритмично, как сердце. Уже и «третий мир» вращается вокруг Страны Советов, как каменное кольцо вокруг Сатурна, самолеты и фотоаппараты шьют дружбу на вырост, братство на века... Что же касается Валентина, он хочет иметь много места под солнцем, больше, чем того требует процесс съемки. Снимки его походят на новенькую, еще не распечатанную банкнотом колоду, в которой каждая карта не похожа на соседнюю и по-настоящему проявится позже...

Эти три человека, не любящие делать лишних движений, знакомы с давних времен. И однажды Ларисе, не желавшей давать прямой ответ Нилу о его отце, пришлось кое-что рассказать об их отношениях...

«...Вот тогда-то мы и понадобились — старики, женщины и дети, — многие мужчины ушли на фронт, как мой папа, другие работали на производстве, третьи сидели, как отец Ворлена, настоящий, кстати, коммунист-ленинец, бывший сотрудник Наркоминдела, он и сыну дал имя по новым большевистским святцам, которое расшифровывалось как Вождь Октябрьской революции Ленин... Ворлен. Когда родителей Ворлена забрали, мама взяла его к нам и привела нас обоих — меня, четырнадцатилетнюю, и его, тринадцатилетнего, на свое производство...»

Мать Ларисы устроила их на фабрику беловых товаров, где им раз в неделю выдавали талон на пол-литра бульона и талоны УДП — усиленного дополнительного питания, по которым они получали кашу и клей из картофельной муки. Время, которое Ворлен и Лариса проводили на фабрике, сблизало их, несмотря на то что часто они не имели возможности обменяться и парой фраз. Но по пути с работы они всякий раз ссорились

и приходили домой надутыми. Мать Ларисы шепотом говорила дочери: «Не заводи его, мальчик так много пережил!» — и Лариса невольно поеживалась, видя усмешку Ворлена, который как будто считывал с губ ее матери сочувственный шепот.

Тем не менее, когда Лариса садилась за инструмент Наталии Гордеевны, Ворлен устраивался на подоконнике и барабанил пальцами на оконном стекле пьесы, которые она разучивала.

Когда являлся сын тети Тали — Валентин Карнаухов, занятия приостанавливались. Валентин заканчивал музыкальную школу при консерватории, но музыка на самом деле привлекала его мало, с помощью отцовских друзей-фотографов он постигал тайны фотографического дела...

Криво усмехаясь, Ворлен разыгрывал на оконном стекле брошенный Ларисой пассаж, представляя фразировку мелодии, но краем уха слушал витийствование Валентина, предлагавшего матери обучать ее по системе Черни, методом накладывания на руки всякой всячины, чтобы фиксировать неподвижность кисти... Самый неприятный враг игры на фортепиано, говорил он, проходясь пальцами от голого Ларисиного предплечья до локтя, — это локоть и предплечье... Лариса вытягивалась, бледнела. Все беды от натянутого локтя, который боится отойти от корпуса, тогда как локоть только руль, поворачивающий музыку куда нужно. В десятом такте не надо снимать педаль, здесь две быстро сменяющие друг друга гармонии. Что касается трели, ее надо играть с точным осознанием составляющих звуков... «Это зависит от эпохи, к которой принадлежит композитор», — уточняла Наталия Гордеевна.

За блокнотом, разбухшим от номеров телефонов, скрыт услужливый осьминог, запускающий щупальца в гнезда квартир и присутственных мест и вращающий сцепившиеся друг с другом цифры, как карусель. С помощью набора определенных цифр на диске можно наткнуться на союз борьбы за возрождение троцкизма и на содружество борцов за права крымских татар, набрать Смелость, Мысль, Образ, Глубину и Пражскую весну, свободу Буковскому и взбунтовавшийся эсминец «Сторожевой»... Стоит только поглубже копнуть телефонный диск.

Из мастерской Ворлена то и дело названивает по телефону бывший питерский студент-биолог, а ныне московский дворник Сережа Батаганов. Все кому-то звонит и звонит, бойко кося глазом в свою телефонную книжку, называет какие-то адреса, куда следует отнести посылки для Мордвинова, к которому на той неделе отправится Лена... Мордвинов, в конце концов догадывается Ворлен, — это лагерь в Мордовии, а Лена — это просто какая-то Лена...

У этой публики на все готов ответ, голыми руками ее не ухватишь, она успевает и там и здесь, впрочем, Ворлену на это глубоко наплевать. Он от души забавляется, краем уха прислушиваясь к таинственным телефонным разговорам Сережи, бывшего студента, изгнанного из университета за политику, и меланхолически листает Сен-Симона. Ворлен питает странную слабость к юным недоумкам. Время от времени он вклинивается в телефонные переговоры Сережи и зачитывает ему вслух отрывок из Сен-Симона, например, о госпоже де Шеврез, которая катит с Людовиком-Солнце в карете и страстно желает облегчиться, а сказать об этом королю конечно же не смеет... Забавно комментирует прочитанное Ворлен, что речь идет о той самой таинственной де Шеврез, нежной и обворожительной возлюбленной Арамиса, прекрасной интриганке и наперснице Анны Австрийской. А король ничего не замечает, знай себе потчует де Шеврез жареными в тесте фазанами. Карета катит без остановки, герцогиня вздыхает и ерзает...

Вот в чем суть, друг мой студент, бесцветным и монотонным голосом продолжает Ворлен, вот так природа лишает нас ореола романтизма и не

позволяет удариться в высокоумие, мешая донести свой образ борца с существующим режимом Людовика Четырнадцатого неповрежденным. Вот и пафос Фронды поколеблен из-за того, что прелестной герцогине понадобилось в нужник... Ворлен вновь углубляется в Сен-Симона, а Сережа свистящим шепотом продолжает давать инструкции.

Институт Сербского, психиатрическая экспертиза, укрутка... Плохо знаете историю, господа, думает Ворлен. Всегда кто-то страдает в большой стране Российской. Придворные интриганы Тишайшего царя Алексея Михайловича с помощью *укрутки* избавились от избранной им невесты Евфимии Всеволожской, дочери простого касимовского помещика. Готовя девицу к свадьбе, они специально до того туго укрутили ей волосы, что перед началом венчания с ней случился обморок, после чего девушку признали негодной на роль царицы, и Алексей Михайлович женился на другой...

Кто бы мог тогда подумать, что благодаря *укрутке* история России потечет по совершенно другому руслу. Если бы Евфимия стала царицей и прожила много лет, не было бы ни Феодора, родившегося от Милославской, который казнил Аввакума, ни родившегося от Нарышкиной Петра Великого. Петр же разгромил тех самых шведов, у которых прятался писатель Котошихин, оставивший записки о царствовании Тишайшего, — именно у шведов, казнивших Котошихина за убийство в пьяной драке, и находится скелет одного из первых русских писателей, долгое время по завету служивший учебным пособием для шведских студентов... Скелет историка, оставившего бесценное сообщение о касимовской девице, которая, если бы не укрутка, воспрепятствовала бы появлению на свет Петра, и Карл Двенадцатый не был бы разбит под Полтавой. Таким образом, русский скелет таки свел счеты со шведами, поведав им, что их король еще долго мог бы одерживать победы, если бы не укрутка царевой невесты. *Кости сухия* засвидетельствовали, что с этой страной, в которой и такая ерунда, как неумелая прическа невесты, может изменить историю, шутки плохи.

Тема дипломной работы Линды — университетской подруги Нади — великий роман Гюстава Флобера «Мадам Бовари».

Линда и сама хотела бы стать фразой Флобера, емкой и благородной, сухой, как осенний звук клавиатура, мотивом, написанным в «небесном стиле», вырвавшимся из оков старого контрапункта и парящим над коммерческим романтизмом Шатобриана и Жорж Санд. Она страстно нуждается во Флобере, безжалостно кромсающем разлив придаточных предложений, он суровыми ножницами выстригал бы из ее атласного синтаксиса арлекинов и мальвин. Но как Линда себя ни контролирует, она никак не может сделаться фразой Флобера, ибо ее торопливая, жадная, опережающая речь — это попытка засвидетельствовать миру свою благонадежность. Свою чужеродную картовость, иностранное звучание фамилии, свой склонный ко всяческому парадоксам ум и широкую начитанность ничем другим не искупить, кроме как широкомасштабной, превышающей дозволенные приличием пределы откровенностью взалхлеб, явкой с повинной по первому требованию, манифестацией личной благорасположенности ко всем, ко всему. Линда готова платить по всем счетам, за этногерметизм и этнокоррупцию некоторых своих соплеменников, за их голошение и подозрительность к чужакам, за их вызывающее поведение, делающее остальных, кто не входит в стаю, заложниками межэтнического раздражения, недружелюбия, ненависти. Линда готова положить все свои тайны на алтарь лояльности, лишь бы помочь человеку сделать известное усилие над собой, чтоб отделить агнец от козлищ, бурьян от фиалок, солнце от тени, но беда в том, что своих тайн у нее нет как нет, ни одно событие не может зацепиться за ее сердце, ни один пренебрежительный жест в ее адрес не оседает в желчном пузыре, и Линда может расплачиваться за все хорошее лишь чужими тайнами. Она искренне любит своих подруг, но и

Надя и Ася знают, что хоть Линда и искренне предана им, особенно Наде, доверить ей секрет — это значит сделать ошибку. Иногда девушки используют ее болтливость, когда до сведения общих друзей надо донести заведомую дезу. Так, Надя сказала Линде под большим секретом от Нила, что штатный поклонник Линды, скромнейший Гена из Хабаровска, за Линдиной спиной строит ей куры... Линде и в голову не пришло ревновать, но Нил спустя пару дней грубо захлопнул дверь перед носом Гены, и Линда осталась без пары, а Нил помирился с Надей, с которой был в ссоре. Приходилось все прощать Линде, во-первых, потому, что она хорошая, а во-вторых, чтобы не прослыть известно кем, кем любому нормальному человеку прослыть никак не хочется.

Девушки учились на одном факультете и жили вместе в комнате общежития. Ася несла на себе хозяйственные заботы, и благодаря ей в комнате поддерживался порядок. Она же добросовестно вела конспекты. Линда писала за подруг рефераты. Одна Надя ничего не делала, но она считалась центром маленькой компании, и от нее никто ничего не требовал. Лингвистика ее не интересовала. Она выборочно посещала некоторые лекции на историческом факультете (пока спустя год окончательно не перешла на него). Линда всегда была убеждена, что Надя со временем как-то ярко проявит себя, она буквально жила этой идеей будущего величия Нади. Ее не смущало, что в чтении Нади не проглядывалось никакой системы. Сегодня — мемуары декабристов, завтра — «История Флоренции» Макиавелли, послезавтра — сборник документов «Поход русской армии против Наполеона в 1813-м году и освобождение Германии», затем «История пророков и царей» Ат-Табари... Напротив, в безалаберной небрежности, с которой Надя открывала двери в разные времена и страны, Линда видела скрытую логику, тайный замысел, который когда-нибудь осуществится в деяниях подруги.

Но Надя всегда казалась ей воплощением здравого смысла, только не земленного, бытового, как у Аси, а высокого и вдохновенного. Один Ворлен с его пронизательным умом, снисходивший до общения с молодежью, чувствовал в поведении Нади что-то не совсем обычное, но он больше интересовался рыжеволосой Асей, и предпочтение, всякий раз выказываемое им, так сильно оскорбляло Линду, что она с трудом переносила этого самоделькина. Линда яростным шепотом рассказывала Наде о том, как она ненавидит, ненавидит Ворлена, этого циника, который дурно влияет на ее Нила...

Зато Нил оказался благодарным слушателем. Нил вытягивал у нее подробности Надиного прошлого и горячо уверял, что хочет только понять, как ему следует вести себя с Надей, чтобы привязать ее к себе, потому что никто не сумеет по-настоящему оценить Надю так, как он. Линда развесила уши и рассказала ему про давнего поклонника Нади — Костю.

Но даже после этого Нил не выдал себя: когда Костя приезжал из своей Балашихи, где он учился летать, Нил простосердечно беседовал с ним о прыжках с парашютом, предполагая, что из-под купола парашюта можно делать замечательные фотоснимки, и попросил Костю взять с собой в полет его фотоаппарат, чтобы отщелкать несколько пробных кадров. Костя предложил Нилу прыгнуть с парашютом самому. Нил сказал, что пусть сначала за него прыгнет его фотокамера, а он потом посмотрит снимки и решит, стоит ли ему самому рисковать... Костя возразил, что если речь идет о том, стоит рисковать самому или не стоит, то тогда, конечно, не стоит. Нил и это проглотил, хотя сказано было это в присутствии Нади...

В тот день, когда Лариса Валентиновна получила направление на операцию, ей один за другим позвонили два человека, и каждый телефонный разговор словно подвел итог разным периодам ее жизни.

Первым позвонил Валентин Карнаухов и сказал: «Я тут добрался до

ящика, в котором отец хранил свой архив... Скажи, мама тебе на хранение ничего не отдавала?» — «Твоя мама подарила мне перед смертью золотые часы, — сказала Лариса. — Вернуть?» — «Не говори ерунды. Я спрашиваю об отцовских снимках». — «У тебя не осталось портрета твоего отца?» — удивилась Лариса. «Я имею в виду его работы... Старые фотографии вождей и прочее», — напряженным голосом сказал Валентин. «Ничего такого у меня нет». До Ларисы донесся вздох разочарования. «Жаль». — «А куда они могли деться?» — вежливо спросила Лариса. «Боюсь, что мама все сожгла. Такая непонятная старческая выходка. В ящике я нашел урну с пеплом. И больше ничего». — «Так, может, это урна с пеплом твоего отца?» — «Пепел пахнет сгоревшими пленками, а мой отец, как тебе хорошо известно, похоронен в земле на Новодевичьем, — сердито сказал Валентин. — Мама мне как-то грозила, что, если я не приеду и не заберу у нее отцовский архив, она его уничтожит». — «Но у тебя все не было времени это сделать», — продолжила Лариса. «Что за дурацкая история! — воскликнул Валентин. — Сжечь уникальные снимки, да им цены нет!.. Ты мне правду сказала, что ничего не знаешь?» — «Моему сыну и мне твое наследство ни к чему». — «До свидания», — в сердцах сказал Валентин.

Потом позвонил сын. «Послушай, я хочу тебя сегодня наконец познакомиться с моей невестой, — сказал он. — Ты уж встреть нас на уровне... Или тебе не до этого?» — «Я давно хочу познакомиться с Шуриной дочкой», — сухо возразила Лариса.

И смертный узелок собрать не дадут... Лариса Валентиновна выключила телефон и пошла прилечь в комнату Нила.

Со стен на нее смотрела Надя. Прежние подружки Нила — Катя и Вероника — на всех снимках улыбались. Надя смотрит прямо в объектив, упрямая. У Кати был деланно-невинный взгляд. У Вероники растерянный. Она очень любила Нила, а он все подшучивал над нею, что она не умеет за себя постоять. Катя давно вышла замуж, а Вероника окончила курсы японского языка. Всюду Надя. Доит козу, загорает на пляже, читает... Бедный Нил, на кого я тебя оставляю. Бедный Валентин, бедная Таля спалила снимки, которыми всю жизнь дорожила. Тени минувшей жизни зарылись в пепел. Тем больше будет солнца, сказал бы Ворлен. Бедный Ворлен. Бедный Нил с вечно запачканными проявителем ногтями. Думает, нашел, во что вложить душу. В азотнокислое серебро. А во что еще ее вкладывать? И где она? Как у животных — в крови?.. В печени?.. В легких?.. Анализ крови показал низкий гемоглобин, врачи заподозрили онкологию. Раковые клетки потихоньку прибирают душу через кровь, печень, легкие, а она все топорщится в груди неприкаянными углами... И никаких запасных глубин, веры в загробную жизнь. Все плоско, жизнь, смерть, все сверху — как нервная система у каких-то моллюсков. Где она — в нервной системе?.. В теплом пепле, из которого небрезгливые пальцы работника крематория извлекут оплавленные золотые коронки?.. Во что ее надо было вкладывать?.. Миниатюрная душа, вложенная в будущий пепел этого тела, как в ножны, в обрамлении тысяч вещей этого мира, которые, как женихи Пенелопы, вращаются вокруг пустоты. Как ясные звезды — литий, бериллий, водород и гелий, — вращающиеся вокруг метагалактического центра, то и дело срывающиеся с круга полей существования тел, уносясь за горизонт событий.

МАРШРУТ КЛЕО. Ася хорошо понимала, что телефонные разговоры с матерью, которые она вечерами вела из спальни, укрывшись в ней от мужа и Марины Матвеевны, дают наиболее полное представление о ее жизни заинтересованному слушателю: здесь так важно было буквально

все — интонации, паузы, собственные, на пониженных тонах, комментарии, — она научилась говорить в мертвую или гудящую короткими гудками трубку, таким образом вводя подслушивающую свекровь в курс своих дел, например стараясь разжалобить ее своим дурным самочувствием на почве тяжело протекающей беременности, направить в выгодную для себя сторону поток сведений об их жизни с Аркашей и о своем отношении ко многим вещам.

Когда разговор с матерью затягивался, Аркаша заглядывал в комнату и раздраженно стучал пальцами по циферблату наручных часов, но Ася отмахивалась от него: если она сейчас начнет закруглять разговор, мать обидится. Так уж у них заведено, что трубку первой кладет мама. Ей скучно, страшно, одиноко находиться дома одной с утра до вечера, вот она и припадает к телефону при малейшей возможности. Но Ася знала: вот-вот пробьет час X — и все волшебным образом поменяется: дверь комнаты Марины Матвеевны мягко прикроется, а потом до Аси, прежде чем трубка брякнет о рычаг, донесутся из мембраны и одновременно из соседней комнаты голоса героев «мыльного» сериала. Мать смотрит каждую серию по два раза — утром и вечером.

...Ирена влюбилась в Карлоса, не зная, что он сын Хермана, но ее вынудили выйти замуж за Хермана, потому что он был богат, а поскольку Ирена была немая...

Как солнце, воздух и вода, нам необходимы слезы, пусть инсценированные, как паралич Карлоса, циркулирующие по телекабелю, словно по водопроводной трубе, от Останкинской башни в роли водонапорной и до запотевшей от слез телеантенны... Должно же быть у всех нас что-то общее в этой жизни, кроме смерти и общественного транспорта, политической платформы и экономической программы, зиждущейся на слезах мексиканки Ирены, от которых зависит процветание в России субтропиков, хрустящего на губах райского наслаждения, стойкого, удивительного вкуса. По кабелю циркулируют слезы Ирены и телебашня в Риге, митинг в Алма-Ате, демонстрация в Грузии, голодающий доктор Хайдер... Пятое колесо делает тысячу оборотов в 600 секунд, беспорядки в Китае, вооруженные столкновения в Сухуми, Дубоссарах, Осетии, Нельсон Мандела вышел из тюрьмы, режиссер комсомольского театра — из КПСС, — но чу!..

Аркаша сердито хлопает дверью в свою комнату. Иногда Асе удается спихнуть ему телефонную трубку с голосом матери, и он, кося глазом в футбол, время от времени терпеливо подает реплики, обмахиваясь трубкой как веером. У мужа Ася учится искусству переключения и релаксации, каждый день подолгу сидит в позе кучера, тренируя дыхание, прислушиваясь к тихому пению у себя в груди, поэтому, когда Марина Матвеевна, запеленав в павлово-посадский платок кошку Сюру, катает животное в старой коляске по коридору и говорит, вытянув губы в трубочку: «А вот и мы с моим котиком, с моим слядким!..», Ася спокойно усмехается и гладит изнывающую от отвращения к собственной жизни кошку...

«...Романтическая музыка не способна выразить себя так, как старинная, в строго очерченных границах рефрена и куплета. Утонченный вкус удерживает старинную музыку от воинственного многозвучия. Композиторы восемнадцатого века не надоедали миру своими страданиями и неистовыми страстями. Музыка также не должна ранить ухо силой звучания. Гайдн повторял своим музыкантам: пиано, пиано!.. Деятнадцатый век привнес в музыку излишний шум, конфликты и тот липкий лиризм, который на меня навевает скуку. И вообще мне хочется в ярости кататься по полу, когда я думаю о том, какой музыка была до романтиков...»

Эту тираду Ворлен произносит самым благодушным тоном, но Надя поняла насмешку. «Ерунда, — сердито молвила она, — пианист, хорошо владеющий собой и пальцами, может сыграть Шумана без всякого мутного лиризма». — «Я сказал — липкого. — Ворлен качнул головой. — Это тебе Нил сообщил — про Шумана и пальцы? Конечно, Нил. А ему об этом рассказала Наталия Гордеевна. Она прочила Нилу как пианисту большое будущее, и все потому, что он мог взять дециму... Вот я на большее, чем октава, не посягаю, и мне этого вполне хватает». — «Ты ревнуешь, что ли?» — «Нисколько я тебя не ревную. Просто хочу, чтобы ты поняла как человек все-таки не совсем глупый: все эти страсти высосаны из пальца». — «Мы говорим о музыке?» — усомнилась Надя. «О ней самой... В шестьдесят четвертом году я слушал одного замечательного итальянского пианиста, который перед началом концерта перестраивал инструмент и играл Шопена таким ураганным звуком, точно в него вселился дух молодого Листа. Я слушал и думал: что это он так ярится над клавишами?.. И решил справиться о его биографии. Так вот, у этого пианиста был брат-близнец, который умер в детстве, и он отдувался, скорее всего, за себя и за умершего брата...» Ворлен умолк. «И что?» — безразлично спросила Надя. «А то, что нельзя всю жизнь заниматься разрыванием могил, моя дорогая. Дело, конечно, твое. Но я беспокоюсь о тебе и о Ниле». — «Нил тебе никто. И я люблю не его, а тебя». — «Это романтизм чистой воды, — сердито отозвался Ворлен. — Я вам обоим в отцы гожусь». — «Я люблю тебя и своего брата. Но он далеко на севере на метеостанции, а ты близко». Ворлен покачал головой. «Боюсь, что Нил женился на сумасшедшей».

Здорова ли она?.. На бывшей улице Горького сквозь телефонные будки просвечивали люди, укрывшиеся от внезапно грянувшего дождя. Мужья-изменники, спрятавшись в будках, набирали на своих карманных «Сименсах» и «Эриксонах» номера домашних телефонов и предупреждали жен, что задержатся на работе. Небо затянула измена, телефонная будка, давшая пристанище человеку с мобильником, темнела человеческой фигурой. Таксофоны не работали, порвалась связь времен. Игра в испорченный телефон с матерью: о чем ни спросишь, отвечает невпопад: «Рауль Глабер из аббатства Ключи писал в своей хронике, что в округе Макона был такой голод, что голоса людей становились тонкими, как крик слабых птиц». Слабый крик слабых птиц, еле-еле таскающих крылья, о том, чтобы взлететь — нечего и думать. Невозможно угадать, на каком предмете приземлится следующая мысль мамы, подобная слабому крику птиц. *Он спит, накрывшись рекой с головою, чтобы ничего не видеть, ничего не слышать, не понимать, и сны, как рыбы с безразличными мордами, сквозят сквозь разум.* Под ложем реки гниют телефонные кабели с голосами, способными разбудить и мертвого. *Все усталые реки когда-нибудь впадают в море, и за это мы благодарим небеса.* Их светящиеся в лунном свете тела то здесь, то там схвачены мостами. Зимой реки промерзают до самого дна, рыбы с безразличными физиономиями прижимаются к грунту и жадно тянутся к полыньям и промоинам, вдыхая кислород.

Надя легко взбегает на свой пятый этаж — лифт не работает, что-то с кабелем. Вставляет ключ в замок, но коса находит на камень. Нил заперся изнутри на фиксатор и не желает впускать ее. Надя звонит в дверь. «Кто там?» — «Коза пришла, — миролюбиво кричит Надя, — молока принесла». — «Оставьте на пороге». Пожав плечами, Надя выкладывает из сумки два пакета молока. Половик грязный, не то что при Ларисе Валентиновне. Надя сбегает вниз и не оглядываясь идет прочь под проливным дождем.

Нил смотрит из окна, как она уходит. Прошли те времена, когда он не выдерживал и срывался следом за нею, смешил соседей. Надя минует дом, где живут Аркаша и Ася. Могла бы у Аси пересидеть дождь или хотя бы

взять зонт... Время прошло и перенесло Нила на другой берег, где гром не гремит и дождь не капает, хотя Надя опять неизвестно где прослониалась полночи и сейчас, мокрая, непричесанная, явится в школу, а потом Аркаша расскажет Нилу, что она в учительской кашляла, как на последней стадии чахотки, и коллеги, глядя на нее, мокрую и непричесанную, переглядывались и пожимали плечами...

Дом инвалидов, в который окончательно переселился Асин папа Саша, удрученный теснотой в доме и раздорами с женой, размещался в бывшем монастыре на берегу Лузги, в десяти километрах от Калитвы. Он работал электриком в соседнем санатории, Асина мама — фельдшером, но однажды Юрка Дикой уговорил его во время отпуска помочь ему оборудовать скотный двор и птичник... Поработав месяц в доме инвалидов, папа Саша взял в санатории расчет и устроился воспитателем к инвалидам с двадцатипроцентной надбавкой к зарплате, на которую он особенно упирал, отстаивая перед женой свое решение. С тех пор дома его только и видели. Асе было в то время четыре года, и папа Саша часто забирал ее из детского сада, объясняя, что, пока мама ездит по району с чемоданчиком лекарств в машине с красным крестом, дочь будет рядом с ним: кормят отлично, воздух прекрасный, купание превосходное, воспитатели — замечательные, все энтузиасты, и в лесу полным-полно ягод, грибов и орехов.

Когда отец с дочерью являлись домой на субботу-воскресенье, мать и в самом деле убеждалась, что монастырское житье девочке на пользу: Ася поздоровела, прибавила в весе, разругалась и повеселела. Матери и в голову прийти не могло, что в монастыре зимой бывает холодно, отец врал, что там паровое отопление, он только еще хлопотал о его устройстве, объезжая строительные организации с тремя наиболее представительными дураками, которых прихватывал с собой в эти вояжи.

Этими представителями от более чем полусотни идиотов, постоянно проживающих в доме инвалидов, были шестнадцатилетняя Глаша-Даша, пятнадцатилетний Вовчик и восемнадцатилетний Леня. Долговязая Глаша-Даша заведовала у отца живым уголком, где жили беспризорные кошки и собаки. Наезжающие с проверками члены разных комиссий иногда находили, что надо бы ее перевести в интернат для умственно отсталых детей, чтобы девочка хоть чему-то научилась, но когда Глаше-Даше приходилось слышать это, она утрачивала свое благонравие, нервно подергивала уголки по-деревенски повязанной косынки и, грозно размахивая острым кулачком, гундосила: «Глаша никуда не пойдет! Глаша дрессирует собак для цирка!»

Вовчик представлял собою тип хитрого идиота. Это был рослый белокурый красавец с почти осмысленным выражением юношеского лица, которое портил лишь открытый рот с вожжей слюны. От прежней его профессии — они с матерью просили милостыню в электричках — у него осталась бумажная иконка, которую Вовчик повсюду носил с собой. Если Вовчик видел, что разговор папы Саши с очередным начальником не клеится, он вынимал иконку, гневно мычал и, размашисто крестясь, тыкал пальцем в нее, поднося к носу начальника, после чего папа Саша, изобразив смущение на лице, выпроваживал Вовчика из кабинета.

Большой неуклюжий Леня почти не умел разговаривать, выражая свои эмоции в тихих, отрывистых, стыдливых восклицаниях. Его обветренное лицо с приплюснутым носом выказывало кротость и доверчивость. Входя в комнату, он аккуратно снимал ботинки и ставил их в сторону, выравнивая носки, чтоб они были на одной линии, а шнурки выкладывал так, чтоб они лежали строго металлическими концами вперед... Стоило кому-то нечаянно нарушить симметрию ботинок, Леня раздражался тихими, возмущенными возгласами и долго не мог успокоиться. В остальном же был тих

и добр, так что когда другие идиоты отбирали у него положенное на десерт яблоко, то он отдавал им и сливы, стараясь делать это незаметно от воспитателя... Леню папа Саша первым научил писать, и азбуку он постиг исключительно из послушания, лишь бы с ним говорили тихим и добрым голосом. Шума Леня не переносил. Когда папе Саше удалось выцыганить в санатории черно-белый телевизор, с Леней все намучились: если в телевизоре шло военное кино, гремел пулемет или бабахала бомба, Леня так возбуждался, что в припадке разрывал на себе всю одежду.

Эту скорбную умом троицу отец прихватывал в свои поездки. Трое его подопечных представляли собою что-то вроде выездного театра, в котором артисты раз и навсегда распределили свои роли, и каждое действующее лицо действовало на начальников по-своему, что было особенно важно в деле выбивания фановых труб или новых умывальников.

По вечерам папа Саша усаживался в кресло в комнате для игр и, нацепив очки, читал вслух сгрудившимся вокруг него идиотам рассказы писателя Чехова. Ася играла на потертом ковре в дочки-матери, возилась с куклами, наряжая их во все самосшитое, усаживала разодетых пупсов в коляску и отправлялась через всю комнату в гости к Глаше-Даше в ее кукольный уголок, объезжая игрушечной коляской разлегшихся на ковре, словно богатыри после сечи, задумчивых дураков. Собираясь на жительство в монастырь, папа Саша захватил с собою из дома двенадцать зеленых томов собрания сочинений своего любимого Антона Чехова.

Зачем понадобилось папе Саше читать дочери и дремлющим на полу олигофренам, даунам и имбецилам про всех этих старорежимных типов, зародившихся в конце XIX века в грязной провинциальной колониальной лавке: землемеров, скотопромышленников, хористок, зоологов, антрепренеров, сапожников, перевозчиков, объездчиков, извозчиков со скособоченными физиономиями, пропахших псиной, столярным клеем, прачечной, зачем ей вся эта дикая полурусская окраина, несусветная периферия жизни, из которой живому человеку выбраться так трудно, почти невозможно?.. Может, папа Саша читал ей все это впрок в расчете на детскую впечатлительность, надеясь привить дочери сострадание к бедным и обездоленным, к угнетенным и больным, в тайной надежде, что, когда пробьет его час (у него было больное сердце), дочь сменит его на посту добровольного попечителя идиотов... Добрых людей ведь не так уж много. К такому грустному выводу пришел папа Саша во время своих вояжей по городским управам, аптекоуправлениям и строительным организациям. Равнодушие к нуждам больных детей надрывало его больное сердце и вместе с тем породило в нем безумную надежду на гуся Иван Иваныча, что он рано или поздно поступится окунутым в воду клювом в сердце его дочери, и она не оставит в беде ни сумасшедшего Андрея Ефимыча, ни обезумевшего от горя доктора Кириллова, потому что папе Саше не на кого больше рассчитывать, кроме как на дряхлую слабосильную кобылку, которая вывезет на себе наиболее незащищенные слои России, да еще на дедушку Константина Макаровича, чей адрес, увы, неизвестен.

Он знал, что жена скоро заберет у него Асю, которой уже пора идти в школу, и торопился установить между дочкой и Антоном Павловичем нерушимую связь, так что оказавшаяся наконец за школьной партией Ася пережила настоящее потрясение, узнав от подружек, что кроме писателя Чехова есть еще очень хороший писатель Носов и Агния тоже Барто, которые, правда, ни словом не обмолвились про *несчастных кляч и умирающих гусей*...

Нагрянув однажды к дочери и мужу в монастырь, мать пришла в такой ужас от увиденного, что схватила отчаянно сопротивляющуюся Асю и силой увезла домой. С тех пор Ася все реже заглядывала к отцу в гости. А вскоре пошла в школу. Лето она теперь проводила в пионерском лагере или у новых друзей, ездила вместе с матерью в Московский зоопарк и

планетарий. А когда неугомонный отец упокоился наконец на маленьком монастырском кладбище с поросшими изумрудным мхом могильными плитами и зеленый Чехов вернулся домой, Ася долго не решалась взять его в руки, чтобы из книг, как засушенные цветы, не выпали *умирающие гуси и слабосильные клячи... и страшная луна, и тюрьма, и гвозди на заборе, и далекий пламень костопального завода. И сумасшедший Мойсейка с выпрошенными в городе копеечками.*

Нил не видел Ворлена три года, только перезванивались. В мастерской было пусто: посередине стоял спинет, на котором старший товарищ, кивком указав Нилу на кресло с львиными головами, наигрывал пьеску. На столике возле спинета стоял букет искусственных цветов, усеянный желтыми лимонницами. «Узнаешь?» — не прерывая игры, спросил Ворлен. «„Каприччио на отъезд возлюбленного брата“, — сказал Нил. — Зачем звал?» — «Я позвал тебя затем, чтобы сообщить о своем отъезде». — «Вот как? — произнес Нил. — Куда же?» — «Женился я, — вздохнул Ворлен. — Добрых полвека собирался и в конце концов женился на одной из своих юных учениц». — «Вот как», — повторил Нил, лениво шевельнувшись в кресле. «Я женился на иностранке, проживающей в Кёльне, — с заметным удовольствием в голосе сказал Ворлен. — Там находится крупный европейский музей музыкальных инструментов, с которым я состоял в переписке. Мне обещают в нем место консультанта по щипковым». — «Брак, я полагаю, фиктивный?» — «Девушка и правда юна, — согласился Ворлен. — Но не без способностей. Крупные костистые руки. Я помогал ей разбираться с аппликатурой». — «Ты что, на родине мало, что ли, зарабатываешь?» — «При чем тут деньги? — слегка удивился Ворлен. — Дело не в них. Я просто хочу до конца своих дней сохранить здоровое чувство нормы, которое здесь подвергается большим перегрузкам. Это очень тонкое рабочее чувство, и сохранение его требует слишком больших затрат. Наверное, старым стал, уже не успеваю за сегодняшним темпом жизни».

Нил поднялся с места. «Ну, желаю тебе счастливого пути. Надеюсь, что напишешь, когда устроишься на месте. Извини, мне пора». — «Погоди-погоди. — Ворлен настойчивым жестом заставил Нила снова сесть в кресло. — Я тебя не для трогательного прощания позвал. — Он снял с крышки спинета конверт и перебрал его Нилу. — Это мое, так сказать, завещание. Ты являешься наследником всех моих готовых инструментов, которые я уже перевез к Сережке. Он, конечно, и без завещания поможет их продать, но бумага не помешает. Здесь же и адреса покупателей».

Нил задумчиво вынул из конверта бумагу и, разворачивая ее, спросил: «Ты был последним у моей мамы в больнице. О чем вы говорили?» Ворлен деланно усмехнулся. «Тебе это надо?» Нил не ответил. «Ни о чем не говорили. Она предложила мне партию в шахматы. Мы молча сыграли, и я ушел». — «Кто выиграл?» — «Кажется, я», — недовольным тоном отозвался Ворлен. «Здорово она тебя умыла, — сказал Нил. — Ты к ней, значит, с цветами и выражением сочувствия на лице, а она тебе — партию в шахматы. Очень похоже на маму». Нил развернул бумагу.

Дарственная на инструменты была написана почерком, показавшимся ему чем-то похожим на почерк солдата, маминоного корреспондента времен ее юности. Накануне он как раз перебирал старые мамины бумаги. Нил сложил документ, сунул его в карман рубашки и пошел прочь. Уже взявшись за ручку двери, неуверенно обернулся. «Так ты мой отец, что ли?» — «А ты не знал?» — удивился Ворлен. «Нет. Я думал, что мой отец Валентин. У меня же отчество Валентинович». — «Твоей матери никогда не нравилось мое имя», — обиженно объяснил Ворлен. «Да уж. Вождь Октябрьской революции Ленин. Хорош бы я был, Нил Ворленович, — заметил Нил. — Ну отец так отец». Нил с сухим смешком прикрыл за собой дверь.

По субботам, когда Асина мать забирает к себе внучку Ксению и в Асиной жизни образуется двухдневный просвет, свободный от многочасовых телефонных разговоров, тогда к ним с Аркашей на вечерний пирог сходятся друзья и коллеги по школе: сумрачный Слава-астроном, верткий Филипп-обществовед и подруга Надя, преподающая в школе историю. Мужчины когда-то вместе занимались спортом и теперь зарабатывают основные деньги в «Трудовых резервах», где Аркаша ведет секцию айкидо, Слава — карате, а Филипп работает массажистом. Они могли бы перестать учительствовать, но у каждого свои причины для того, чтобы оставаться в школе. Аркаше-физруку, которого любит весь педколлектив во главе с директором (сачком и тайным пьяницей), нравится его роль миротворца между грызущимися за учебные часы преподавателями. Он здесь в своей стихии. Те, кому оказывает покровительство молодая, но очень деловая завуч, осторожно подсиживающая директора, интригуют против директора и компании пожилых педагогов, но поскольку расписание составляет именно завуч, то старики ластятся к Аркаше, имеющему на нее влияние, но во власти директора снять с молодых преподавателей несуществующую продленку или фиктивное классное руководство, поэтому молодежь тоже дружит с Аркашей, распивающим с директором в кабинете тет-а-тет. Без него они все давно сожрали бы друг друга, добродушно объясняет Аркаша жене, а уж Надю, не примыкающую ни к каким группировкам, — в первую очередь... И в РОНО его любят, предлагают даже директорство во вновь выстроенной школе, но Аркаша говорит, что сроднился со своим коллективом.

Слава занимается с учениками карате; кто не может платить — ходят бесплатно. Это боевое искусство направлено на то, чтобы обезвредить противника любым способом, вплоть до убийства, теоретически, конечно, тогда как приемы айкидо призваны только обеспечивать надежную защиту от ударов. Когда-то на Окинаве учили бить с корпуса, современный же удар идет от бедра и пятки, чтобы рука не напрягалась. Главное — правильный замах, а не сила. На Аркашины приемы *таси ведза* Слава отвечает *гьянку тзуки*, но зато против Аркашиного *сувари-вадзе* с колен его любимое *пуките* в солнечное сплетение не проходит — Аркаша успевает перехватить его *сихо паче* захватом запястья.

Филипп преподает обществоведение и москвоведение. У этого плотного мускулистого юноши высокий тенор, в пылу полемики срывающийся на дискант. Он бесплатно массирует Аркашу и Славу. Перед Славой Филипп слегка заискивает. Слава видит Филиппа насквозь и говорит, что если к власти придут наконец правильные люди, то Филя немедленно образумится и забудет про свой европоцентризм, тогда как над другом Аркашей, которому слишком полюбилась позиция «над схваткой», придется поработать. Надю Слава и Филипп в грош не ставят, будь их воля, они бы давно выгнали ее из школы за ее высокомерие и малахольные выходки, но за Надиной спиной стоит Аркаша, которому это было бы по барабану, если б за его спиной не стояла Ася, — а с Асей Аркаша предпочитает не спорить.

Ася стоит спиной к просцениуму, жарит котлеты и тихо радуется, что ушла из школы, где столько пустого и мертвого приходилось навьючивать на хрупкие плечи детей, поскольку кто их учит?.. — многоуважаемые шкапы, страшные гвозди на заборе, вбитые в социальную нишу по шляпку, костопальные заводы, которых не стронуть с места, как ложе царя Одиссея. Аркаша как-то заметил: школа спасает детей от улицы, удерживает их, чтобы они не разнесли этот мир в клочья. Параграфы учебников помогают дотянуть детишек до осеннего или весеннего призыва... Если школа — благо, почему мы не умеем общаться друг с другом? Откуда эта чеховщина-чертовщина, что никто никого не понимает, мат в школьной курилке (официально отведенной в школе — и для школьников!), где дети только

и имеют возможность отдышаться (с дымом в гортани) от программы жизни?.. Аркаша радостно соглашается: конечно, учителя в своем большинстве недоумки, держащиеся за школу из страха безработицы, — но именно они в силу общего страха перед будущим и удерживают детей от того, чтобы они не разнесли этот мир в клочья, следят за тем, чтобы детки на уроках сидели кукушками в часах, а не парили в воздухе орлами и куропатками, и в награду за неподвижность отпускают их кукарекать в курилку. Наше будущее, накурившись до тошноты, чтобы перебить тошнотворный привкус уроков, матерится, плюет на пол, разбивает лампочки в подъездах... Современная школа — это мера пресечения, продолжает разглагольствовать Аркаша, хотя Феб уже столько раз перекувыркнулся вокруг Земли, что пора бы и о душе подумать... Но Ася его давно не слушает. *Парки бабье лепетанье*. Как только Надя выдерживает? Впрочем, скоро педагоги ее сожрут за то, что она не спит, не ест с коллективом, что может позволить себе прихватить к уроку кусок перемены, чего не может позволить себе ни Аркаша с его брусьями, ни Слава с его звездами, ни тем более Филя с его мировой историей микрорайона Котловка — Теплый Стан, и дети в это время сидят на удивление тихо, а потом еще минуты три ведут себя в курилке, как бы это выразиться, — *благонамеренно*.

Обратившись спиной к коллективу, Ася жарит котлеты. Самое прекрасное в женщине — это ее спина, одобрительно замечает Слава. С той поры, как он впервые заметил это, Феб объехал Землю тысячи раз, и на каждом витке его колесницы Слава обращает благосклонное внимание на Асину спину... Правильно, подхватывает Филя, ум в женщине — это нонсенс, это — неэротично, *добрый Филя дует в дуду* тоже на каждом витке колесницы... Это шпилька в адрес умной Нади. Линда, которая иногда появляется проездом из Хабаровска в Калитву со своими двумя детьми, тоже неэротична, хотя более эротична, чем Надя, потому что по крайней мере старается подлаживаться под трех болтунов, *«патетическое трио»* композитора Глинки... Впрочем, там, в Хабаровске, Линда совершенно обрусела, Слава даже заметил как-то, что куличи она печет лучше, чем его рязанская жена Ира, у которой тоже хватает ума показывать этой троице спину, когда приятели сходятся дома у Славы. Но, между прочим, неэротичная Надя им всем нужна как воздух. Если они переругаются из-за своих взглядов на будущее России, то все равно потом помируются на почве ушедшей из-за стола Нади и ее (с сожалением признаваемой) неэротичности. Они будут говорить о ней, пока гусь Иван Иванович, то есть Филя, не уронит клюв в тарелку с недоеденными котлетами. О ней или о Линде, которая хоть и поддакивает друзьям, а все равно еврейка, нарочно печет куличи, чтобы понравиться русским, даже когда приезжает летом, после Пасхи. Правда, Линду можно похвалить, что она, отвалившись от своего Флобера, сидит клушею с двумя детьми дома, тогда как у Славы — один ребенок, у Аркаши — тоже, у Нади ни одного, она не хочет заниматься своим прямым делом.

И Ася не хочет заниматься прямым делом, жутко устает от Ксени, от ее капризов и недетской пронизательности... Например, Ася читает девочке «Каштанку» из зеленого многотомника папы Саши, а дочь обрывает ее на полуслове: «Зачем ты читаешь таким жалостным голосом?» Ася и правда слегка подвывала, чтобы растрогать Ксению. Опоздала она с гусем Иван Ивановичем. Это в три года Ксеню трогали умирающие гуси и потерявшиеся шавки, когда Ася еще не могла спихивать ее бабке, а теперь Ксения просекла весь гусиный механизм: маме жалко Иван Ивановича, а родную дочь не жалко отправлять к бабке, отрывать от любимой подружки, как Ксения ни умоляет маму хоть на Новый год оставить ее с Катей, та железной рукой сажает ее в автобус, чтобы не путалась в праздники под ногами. Так что Ксене гуся ни капли не жалко, как ни завывает мамочка про его клюв и распростертые крылья, ей жалко себя, хоть бабка перед ней и вытанцовывает, как Каштанка на манеже.

В знаменитой картине французского режиссера Аньес Варда «Клео от пяти до семи» рассказывается о женщине, которая вдруг узнала, что неизлечимо больна. Зритель оказывается свидетелем ее поступков и передвижений по улицам города в течение первых двух часов после того, как она услышала диагноз, ему интересно поведение Клео. Минута экранного времени равна минуте времени реального. Режиссер показывает маршрут Клео, который — согласно контракту — и его собственность тоже. Камера скользит по асфальту, вывеске бистро, телефонной кабине, Вандомской колонне. Все, что попадает в поле зрения Клео, озарено предчувствием смерти. Неорганизованный кадр, в котором мелькает полголовы, покачивание, переброска камеры или оптики создают впечатление репортажа, ведущегося с места события. Именно благодаря этой маленькой хитрости зритель начинает сопереживать Клео, вместе с тем сохраняя для себя самое драгоценное — принцип невмешательства.

Репортаж — новость одной строкой, хотя она может укладываться в несколько видеорулонов. События плавно текут на волне аналоговой или магнитной пленки — пройдя через монтаж, они отчасти утрачивают реальность, потому что уже диагностируются как прошлое, в котором невозможно вмешаться. Можно только смотреть: две женщины и пятеро мужчин в скафандрах идут гуськом к стоящей поодаль громаде, очертаниями похожей на жертвенную пирамиду ацтеков. Закованные в космические латы рыцари неба; те, что пониже, — женщины. Одна из них учительница географии, командированная в космос, чтобы провести на орбите школьный телеурок. Они проходят мимо камеры, фиксирующей кадр. Теперь камера в течение часа снимает неподвижный корабль, ожидая момента, когда под ним начнет вскипать реактивное топливо... Началось! В окружающем ракету воздухе образуются разрывы, ракета по прямой уходит в неподвижное синее небо, унося за собой струю плотного огня... И когда между ракетой и линией горизонта образуется едва заметный угол, камера — в этот момент ей передается человеческое — вздрагивает: вспышка!.. Еще одна кипящая пламенем вспышка!.. Колокол огня в тысячные доли секунды обливает контуры исчезающего в нем корабля, и из него падают обломки...

Теперь мы знаем: Клео обречена. В свете будущей вспышки на фоне неподвижного синего неба все предшествующие ей кадры окрашиваются фатальным светом, оператор снимает замедленное шествие космонавтов, одетых в саркофаги, прощальные улыбки, одинаковый плавный взмах рук, исчезновение в чреве корабля, прозрачный мост между небом и землей, который вдруг медленно провисает и рушится в бескрайнюю воздушную могилу, как комета Галлея, явившаяся на тридцатое по счету свидание с человечеством, сгусток замерзшего газа и космической пыли. Комета — плохая примета, стоит ей появиться в небе, как летописцы бросаются очинивать перья впрок, стоит ей появиться, как жди землетрясений, нашествия половцев, междоусобиц, династических переворотов, моровых поветрий...

...Что предвещала комета Галлея, какие еще события покачивались на волне кинопленки, отслеживающей маршрут Клео, с каждым шагом которой болезнь все больше расплзалась по лимфатическим узлам, тканям и органам? Какие бы ни случились катаклизмы, мы вынуждены сохранять принцип невмешательства. В пленку невозможно задним числом вживить реакторную установку с усовершенствованной системой защиты, чтобы сделать ее нечувствительной к отдельным поломкам оборудования на 4-м энергоблоке. Дозиметристы делают замер уровня радиации, он маленький, ну просто смешной. Маленькие фигурки на крыше энергоблока в марлевых повязках и подбитых свинцом фартуках лопатами сбрасывают на землю никому не мешающие куски радиоактивного графита. *Но человека человек послал к анчару властным взглядом...* Камера может приблизиться к человеку вплотную, заглянуть через его плечо, но не может проследить, как

пожарные спускаются с крыши в воздушную могилу, которая с каждым шагом разверзается под их ногами — как рак в легких Клео. Выбрасываемые при сгорании топлива газы создали вокруг Земли особый парниковый эффект, поэтому в стране вышел приказ, основанный, вероятно, на омонимическом казусе: сносить частные теплицы. В Волгоградской области, развязавшей вторую сталинградскую битву с теплицами, исчезли помидоры, но парниковый эффект остался, вот почему советские локаторы не смогли запеленговать самолет предприимчивого Матиаса Руста... То здесь, то там люди, несмотря на подкрадывающиеся к городам танки, стали выходить на площадь с требованием *изменить маршрут Клео...*

В студии, где записывается клип с участием Клео, солнце в который раз подымалось с запада, птицы махали крылом, река текла вспять, все это делалось для того, чтобы Клео наконец смогла изменить свой маршрут. Образовывались все новые и новые государства, а из проломов государственных границ хлынули беженцы...

Зима 1992 года выдалась снежной. Белым снегом засыпало фальшивые авизо, чемоданы с компроматом, офисы с компьютерами, русские батальоны из Пскова и Рязани, переброшенные в Таджикистан, Абхазию и Приднестровье. Открылись секунд-хэнды, повсюду городились стены, позже их разбрала весна, которая в 1992 году выдалась необыкновенно теплой, и из проломов растаявших стен хлынули нищие...

...Что было в них удивительно, они никак не хотели становиться прошлым, в отличие, например, от прошлогоднего путча. Нищие продемонстрировали миру небывалую способность обживать настоящее. Двор Чудес захватил все важнейшие стратегические объекты: дороги, подземные переходы, станции метро, подходы к магазинам, бомбоубежища, канализационные люки, и вот с этим явлением ничего не могли поделать средства массовой идентификации, потому что большинство населения идентифицировало себя с хорошо организованной могучей партией нищих. Чем чаще в газетах писали, что попрошайки страшно наживаются на нашем бедном народе, тем больше монет народ бросал в подставленные шапки с иконками... Народ мог дрогнуть, когда телевизор показывал заказные убийства и обстрел Белого дома, но от нищих своих он не отступился... Народ — и бедный, и богатый — знал, что если он бросит своих нищих на произвол судьбы, перестанет верить в их деревянные ноги, скрипучие протезы, гноящиеся раны, *гвоздичные язвы*, камуфляжную форму с подвернутым рукавом и штаниной, не протянет им свою добрую руку, то ему самое место не на земле, а в усыпальнице фараонов, древних как мир пирамидах ГКО и «Хопёр-Инвест», которые он воздвиг своим рабским трудом, и в захватанном руками секунд-хэнде...

Ни искажающая оптика, ни дрожащее изображение, ни резкие ракурсы не смогут убедить зрителя, что речь идет о настоящем, тем более — о будущем. Хотя понятно: время не пощадит Клео. На последних витках кассеты ее ждет вспышка, из-под которой посыпятся обломки. Но пока она идет маршрутом, размноженным в копиях, изученным до травинки, не может отступить от него ни на полшага, потому что ее конвоирует по бокам вполне состоявшееся прошлое... Кстати, механизм сохранения того или иного объекта Временем еще не слишком хорошо изучен. В Помпеях, например, под крышей портика археологи нашли скелет голубки, высиживавшей птенцов в гнезде два тысячелетия тому назад. Маленький скелет сохранился лучше, чем храм Юпитера в древнем Риме, Вавельские головы в польском замке или погасшая звезда в Крабовидной туманности.

11

ВРЕМЯ И ГОРОД. Когда полностью реабилитировали Николая Ивановича Бухарина, Анатолия неудержимо потянуло на улицу, к людям. Казалось бы, что общего между ним и бывшим участником показательного процесса, ведь Николай Иванович в своем завещании, опубликованном в «Огоньке», не отказал в его пользу ни шиша, но Анатолий с бутербродами в сумке сел в электричку и ехал в Москву получать то, что ему причиталось по завещанию Бухарина.

То здесь, то там разворачивались митинги, и крохотный пяточок земли в Лужниках или возле памятника Юрию Долгорукому должен был заполниться штатной фигурой пенсионера Анатолия Лузгина в разношенных башмаках, с потертым ремешком фотоаппарата через плечо. Стояние на площадях, имевшее место почти во всех городах и весях, установило между людьми такое же равенство, как осень меж деревьев; с человека легкой осенней листвой слетал возраст, образование, рабочий стаж, заслуги и регалии, и даже ораторы, пользуясь импровизированной трибуной, не возмущали этого равенства. Они трогательно, по-человечески зависели от каждого в толпе, в том числе и от Анатолия. Нигде он не был нужен, из родной деревни его выкатили волны водохранилища, из родной семьи презрение жены вытеснило в крохотную конурку, в родном коллективе справляли дружеские пирушки без него, но здесь — здесь он нужен, сюда его зывают голоса со знакомыми интонациями, как на ярмарку в Мологе, они любят его, хотят его, полагаются на него как на разумного человека, спрашивают даже его совета.

Повсюду говорили правду. И на Красной площади, и на спуске к Москве-реке, и перед Лужниками, и у памятника Маяковскому; от правды кружилась голова, тогда как от бывшей неправды она не кружилась. Старики со своей бывшей неправдой старились на митингах, бледнели, хватались за сердце, убывали на «скорой помощи», погребались в Кремлевской стене. Не столько правда боролась с кривдой, сколько молодые со стариками, заевшими их молодость, так что она в конце концов стала не совсем молодой, но все же моложе стариков... Анатолий и во сне продолжал протестовать, разоблачать, советовать, усталые ноги не знали покоя — одинокий и растерянный стоял на брусчатке Красной площади, ожидая то ли появления бояр на Красном крыльце, то ли толпы, спущенной сверху хитрым приказом самозванца, предавшего забвению наследственную болезнь маленького царевича... Во сне из-за Василия Блаженного вспучивалась толпа, и с Москвы-реки навстречу ей неслась другая толпа. Толпы сходились стенка на стенку, посередине Анатолий растерянно вертел головой. И сверху, с колокольни Ивана Великого, кто-то орал в мегафон: *«Ты должен сделать свой выбор! Ты должен сделать свой выбор!»*

Кариес огнем проносится по зубам, Нил делает картинку: малютка зуб с соской, но один больной корень уже перебинтован, и вот он ковыляет, опираясь на костыль, по дорожке из трехслойной пасты, которую выдавливают из тубика гномы с улыбками кинозвезд. Здесь должны сработать, с одной стороны, соска и костыль и трехцветные колпачки гномов-санкюлотов, примкнувших к разноцветной кишке, — с другой. Психологический расчет. Суповой набор. Боттичеллиевская Венера свергает с себя раковину с амурами и зефиритами и облачается в костюм, который можно приобрести в салоне «Афродита». Сандро ныне вообще ходкий товар, личико Симонетты Веспуччи с задумчивой невинностью и облаком волос олицетворяет всеобщую мечту об омолаживающем креме и уничтожении перхоти. Любая пестрая картинка изготавливается с помощью кнопки «ножницы» на стан-

дартной панели компьютера — особо ходовой кнопки, мечты Агафьи Тихоновны, комплектующей по своему вкусу идеального жениха.

Заказчик, как правило, говорит: сделай нам то, чего у других нет, но чтобы было видно, что это мы. А кто вы есть? По документам ничего не понять. Есть разрешение на полиграфические услуги и на подметание улиц, на производство сахара и на подводное снаряжение, на закупку у французов автомобилей и у чехов богемского хрусталя... Так автомобили или сахар? Или водолаз, залегший на дно? Можно Симонетту Веспуччи посадить в «рено» — так, чтобы от ее коленей цвета раковины мужчины немели. Все могут ножницы. Они срежут с неба Сириус и достанут из-под земли алмазы, извлекут из груди сердце и из подсознания лучшие мечты человечества, выпуклые — как мышцы Ивана Поддубного, яркие — как мордовский сарафан, соблазнительные — как Леда и лебедь...

Работодателю важно попасть в мэрию на выставку «лучшие фирмы года», на которую Нил тоже вхож со своими вездесущими ножницами — благодаря бывшему студенту-дворнику Сергею Батаганову, сумевшему сделать головокружительную карьеру в лабиринтах сегодняшнего дня; губернаторы и директора заводов роются в кучах буклетов, скользят глазами по стендам, и мышцы Поддубного или боярин с лебедем перетекают в подсознание, гипнотизируя простаков... Озеленение, мытье фасадов, уборка зданий, установка сигнализаций, английские газоны вкупе с канадскими мини-тракторами... Главное — выбрать точку съемки. В О-ский пивоваренный завод и войти страшно — грязи по колено, горы мусора, — но красивая картинка красиво изображает завод. Ни тебе канонической перспективы, ни «дома», ни «дали»... Жирный народ — вещи. Тощий народ, пополаны — художники. Это игра такая для своих, жонглирование крупным планом, огненными звездами, и расчлененка — голова Симонетты, погребенная в шампуне, бело-розовые руки — в лаке для ногтей, раковина — на блюде с устрицами во льду, амуры и зефиры тоже распроданы по одиночке за кольцевую дорогу в маленькие отели.

Покончив с заказом, Нил слоняется по Москве в поисках объектов, способных привести его в состояние благостного экстаза. Нила волнует цвет, форма, фактура пространства, проблема Вечного Города, съемка вне классических пристрелянных точек, объектов для почитания, каталогизирующих меток, в которых отражен период экономической катастрофы, вне познавательного-репрезентативных установок.

Серия называется «Время и Город», любимый ракурс — вид сверху. На крышу попасть становится все труднее, пустующие чердаки осваиваются и сдаются в аренду. Но если ты все-таки успел взобраться на крышу ЦУМа, бронзовые кони Феба, вознесенные над порталом Большого театра, начинают менять свое местоположение, пропорции, характер пластики, обретая текучесть форм и способность растворяться в соприкосновении с воздухом. Нил на длительной выдержке покачивает фотоаппарат, чтобы объекты приобрели призрачный вид. Результат проявляется обычно с третьей-четвертой пленки. Любую банальную ситуацию может озарить неожиданный луч, пробившийся сквозь облако. Стены разноэтажных домов на улице «Правды» с высоты слухового окна вечерний луч осветил так, что на снимке получился гранд-каньон — ущелье с неровными рядами окон в форме огромного шахматного коня... Руины, дворовые колодцы, помойки Нил старается превратить в объекты высокого зодчества. Много капризного, стихийного, гротескного в предрассветной Москве, очищенной от людей, и это касается не столько архитектуры, сколько истории с метафизикой... Однажды удалось сфотографировать в сумерках железнодорожный тупик с заснеженными вагонами, с маленьким костерком между шпал, у которого грелись двое путейцев. В глубоком снегу темнела цепочка следов, у костерка с вздымающимися языками пламени две согбенные фигуры, из-за

спин торчит что-то вроде штыков, полузанесенный снегом фрагмент железнодорожного полотна и щелястая стенка вагона, освещенного пламенем... Снимок так понравился Нилу, что он заключил его в рамку, хотя собственные работы ему нравились, как правило, недолго.

Все было нормально, пока действие происходило на сценической площадке, но небольшое смещение камеры нечаянно обнаружило реальность происходящего: в новостной телекартинке в толпе народа, идущего по Садовому кольцу, промелькнула вдруг дурацкая фигура Анатолия, несущего плакат с надписью «Ржев», и Надя лихорадочно стала одеваться, приговаривая: «При чем тут Ржев? Зачем ему Ржев? Он что — оставил мать дома одну?.. Совсем с ума выжил». На что Нил спокойно ответил, что Толиной Мологи давно не существует, вот он и притулился под чужим плакатом, хотя понятия не имеет, где этот Ржев находится... Надя не дослушав хлопнула дверью, а Нил остался смотреть, как жители близлежащих домов волокут к перекресткам мусорные контейнеры и пустую тару, чтобы строить баррикады.

Все голоса, витавшие в небе, спланировали вдруг в один динамик. Оставив плакат, Анатолий мелкой старческой рысью обегает новую колонну и сует в протянутые руки листовку: «Все, кто может, встаньте на защиту России! Каждый — где может и как может!» Анатолий счастлив, что несет слово, и слово это — Россия, оно покрывает заглохшую в его саду смороду, высохшую облепиху, ветшающий дом, веранду со сгнившим полом, старую Шуру, которую он в сердцах остриг, и теперь Шура до умопомрачения водит гребнем по лысой почти голове, морщась от боли... *Потому что у него нет больше сил, больше нет сил.* Откроешь дверь — за ней клубится туман. Нет больше сил. РОССИЯ. Свыше сошла на эту землю, на шесть соток, растянутые множеством меридианов, связанных в узел в математической точке Северного полюса, долгожданная свобода, *но сил нет.* Флаг он еще поднять в силах, а ворочать землю, тяжелую от родных пепелищ и отеческих гробов, не в силах... Если переведут планку прицела бэтээра на то место, где стоит Анатолий, он упадет, покрытый листовками, и голоса похвалят: *молодец.*

Но где же флаг? Где Ржев? Где Молога? Где Россия?.. И тут голоса, тайно шелестевшие на крыше мира, сгустились, как ядро кометы, и загремели во всю мощь пушками, аркебузами, кулевринами, мортирами, бомбардами!

Отгромыхав кулевринами, голоса поднялись над землей и уселись за облако переговоров. Как ни крути, завещание Бухарина указывало впрямую на ФЭДа — на его железную шинель, скроенную великим провидцем русской истории на вырост, из которой и вышли последующие события: показательные процессы, грандиозные стройки века с железнодорожными тупиками, война, блокада, великое переселение народов, х-съезды. Хотя завещание НИБ было расплывчато (он ронял на бумагу обильные слезы, сочиняя документ), двусмысленно, решено было *кинуть* ФЭДа. Анатолий тянулся на цыпочках из гущи толпы со своим «ФЭДом», мечтая как следует запечатлеть историческое событие — как железного ФЭДа будут снимать со стакана, обмотав тросами и веревками, спеленав его ими, как мумию. Он, ФЭД, еще стоял на стакане, макушка его доходила до вершины столетнего лавра, который он когда-то собственноручно посадил в садах Ватикана. Высокий лавр шелестел своими крепкими ароматными листьями, а тракторы скрежетали, вспарывая асфальт... И вот задумчивое чело ФЭДа стало клониться долу. Анатолий взвился над площадью, переводя затвор... Железное тело стало заваливаться набок и наконец со страшной силой ударилось о землю клумбы... И это падение запечатлела кодаковская пленка с отменной цветопередачей, запрошенная в допотопный дальню-

мерный фотоаппарат с музейной механикой и оптикой... Ликующие подростки взобрались на опустевший постамент и плясали на нем. Взрослые обсуждали, что бы такое устроить на месте ФЭДа: стену Плача или фонтан Слез?.. А в это время грузовик, на всякий случай петляя по ночному городу, вез ФЭДа к берегу Москвы-реки, где спустя несколько дней Анатолий, гуляющий по городу вместе со своим «ФЭДом», и обнаружил его в сквере за Центральным выставочным залом. Железный ФЭД лежал, уткнувшись лицом в травяную подстилку, и перегной слоями снимал с него посмертную маску...

По капиллярам трав он спускался все глубже и глубже в землю, увлажненную снегопадом, усыпанную листопадом, запустив в нее руки по локоть, стараясь нащупать в ней тонкие корни своего единственного дерева, благородного лавра, растущего на склоне, опоясанном виноградником, где пять столетий назад стоял Леонардо и, глядя на старую виллу Бельведер сквозь повисшую в воздухе взвесь пережигаемого на известь помощниками Браманте мрамора, писал карандашом в своей записной книжке:

И разве не видишь на высотах горах стены древних и разрушенных городов, захватываемые и сокрываемые растущей землей?

И разве не видишь, как скалистые вершины гор, живой камень, на протяжении долгого времени возрастая, поглотили прильнувшую колонну и как она, вырытая и извлеченная острым железом, запечатлела в живой скале очертания своих каннелюр?

...Пожалуй, надгробием ему могла бы послужить увеличенная в размерах чернильница (или пепельница?) — один из экспонатов ялтинского музея, та самая, насчет которой он как-то азартно промолвил, взяв ее в руки, что может сделать из нее рассказ, — сработанная из черного мрамора или зернистого гранита. Возможно, он позаимствовал эту вещь из колониальной лавки своего отца, где отпускалась всякая всячина — чай, кофе, сахар, мыло, нюхательная соль, нитки-иголки, коклюшки и среди них — внушительных размеров пепельница (чернильница?). Из этой чернильницы-пепельницы излилось на свет незадачливое, несчастное и комичное человечество: отставные генералы, урядники, титулярные советники, институтки, промотавшиеся помещики, типографщики, коллежские регистраторы, пивовары, корнеты, кучера, лакеи, фонарщики, обер-кондукторы, псаломщики, стрелочники, пирожники, рассыльные, швейцары, графы, русские, евреи, немцы, французы, буряты, венгры, маньяки с суицидным синдромом, чахоточные, параноики, красавцы и уроды... Он рассчитывал дожить до восьмидесяти лет, когда бы за строку ему платили не 10 — 12 копеек, а червонец, но смерть пришла гораздо раньше. Слишком часто ему приходилось ее описывать. Там, где писатель ставил точку, нередко оказывалась и смерть; точек было много. Пройдя через подобный плебисцит, смерть утратила зловещее лермонтовское величие, великолепный толстовский ужас, поэтическое тургеневское обаяние... Смертельное оружие горячей картошкой, выхваченной из костра, переходило из рук в руки — от Печорина к Вронскому, от Карандышева к Иванову, от Треплева к Надежде Монаховой. Револьвер не успел остыть, когда очередь дошла до дяди Вани... То ружье давало осечку, то веревка оказывалась гнилой, то поезд задерживался, то река оказывалась неглубокой; шляпу Феди Протасова быстро прибывало к берегу, и смерть, возле которой не смог бы погреть руки эльсинорский призрак в латах и развевающимся по ветру плаще, убиралась со сцены несолоно хлебавши, пристыженная.

В одном письме Чехов обронил фразу: «Денег — кот заплакал... Не знаю, как у Золя и Щедрина, а у меня угарно и холодно...» Насмешливое перо в антраценовых чернилах зацепило косвенное пророчество: именно Золя и умер от угара... Случайно зацепило. А специальные прогнозы, сделанные в расчете на возбужденных людей, которые запрягались в карету с

любимым артистом, ему не удавались: «*Через 200, 300 лет жизнь на земле будет невыразимо прекрасной, изумительной*». Поживем — увидим. Но, возможно, из-за случайного угара, из-за проданного вишневого сада, чтобы было на что удрать за границу (*слышен стук топора и бубенчики*), из-за ремарок, звучащих погребальным звоном (*музыка играет все тише и тише*), (*слышно, как храпит Сорин*), (*берет Тригорина за талию и отводит к рампе*), (*почти вплотную к зрительному залу*), кажется, что из его чернильницы, из ее исполтинской утробы, вываливаются в мир все новые и новые поколения чеховских героев и заполняют вселенную, названную им «будущим», существующую между стуком топора и бубенчиками, почти вплотную к угарной трубе.

Когда группы бывают интеллигентными — из врачей-учителей, из малоимущих слоев общества, из домов инвалидов, Ася выкладывается с большим вдохновением. Вдохновение особенно осеняет ее на последней остановке маршрута — у могилы Чехова, хотя, бывает, над Булгаковым и Собиновым с лебедем Лознгина она тоже произносит замечательные монологи... Когда же группа не нравится Асе, она ведет ее на автомате, близко к тексту, который когда-то вызубрила, а сама в это время посматривает на лица и размышляет, что привело этих людей сюда, в этот питомник смерти.

...Отец с дочкой: дочку заманил на кладбище, пообещав мороженое-пирожное. Дочка смотрит на птичек. Как они порхают с одного деревца на другое, для них повсюду жизнь, везде чик-чирик. Папа представляет, как скажет жене: мы полдня провели на Новодевичьем, ребенка было не оторвать от могилы Чехова, экскурсовод рассказывала, как в пору его детства будущий писатель иногда покупал на таганрогском рынке гуся и нес его домой кружным путем, незаметно пощипывая птицу за перья, чтобы гусь гоготал и землячки видели: Чеховы не так бедны, как кажется, гусей по воскресеньям употребляют... Тут папа громко смеется, чтобы привлечь внимание дочки. Склонившись к ее уху, поясняет ей только что поведенный Асей сюжет: гусь — это даже ежу понятно («но мы ведь не ежи», — скажет упрямая кроха), гуся дочка запомнит, про гуся и расскажет бабке, если та с пристрастием станет допытываться насчет знаменитой могилы...

...Писал на заготовленных заранее четвертушках бумаги мелким и отчетливым почерком педанта. Жена тянет мужа на юго-восток к могиле поэта-самоубийцы, потому что перехватила заинтересованный взгляд на рыжую экскурсоводшу, увы, знакомый ей взгляд, настроение испорчено, вместо того чтобы о душе подумать в таком месте, пялится на бабу... В 1888 году плыл на пароходе «Дир», который чудом избежал столкновения. Смерть ходила за ним по пятам: по пути на Сахалин чуть не утонул в реке, потом сани опрокинулись с обрыва... Купаясь в Индийском океане, едва не стал жертвой акулы. Вот была бы смерть так смерть — от акулых зубов! Смерть, выпрыгнувшая из той же чернильницы, словно чертенок из табакерки. Старик в потертом костюме, затесавшийся в элитную группу, надевает очки и с жадностью разглядывает букеты, завалившие могильную плиту: сколько денег потрачено, на эти розы рядовой пенсионер мог бы жить неделю, а то и — чем черт не шутит! — махнуть в гости к боевому другу в Тамбов: помнишь, брат, как мы гнили с тобой в болотах под Жировицами?.. Какая безумная трата! Господи помилуй!.. И цветы все какие-то хитрые, таких прежде не водилось в садах, и целлофан весь в узорах и зубчиках, рублей двадцать стоит, это два пакета молока, а если брать по семь десять, то почти три.

...Провал «Чайки», кровохарканье, Книппер... О, посмотри на них!.. Это к ним рвались (*почти вплотную к зрительному залу*) Ольга, Маша и Ирина, для них играла Вера Комиссаржевская... Они скупили все сады (*слышен стук топора*) и дворянские усадьбы (*слышен звон моби́льника*), для них Астров сажал лес, уплывающий на Запад, и сами дворянские усадьбы

(*музыка играет тише и тише*), как арабские дворцы, перелетают в Испанию, подальше от родных погостов, веерного отключения, и чемоданы компромата через Швейцарию летают туда-сюда, как стая перелетных птиц, про них в газетах пишут: «Тарарабумбия, сижу на тумбе я»... Тот, что с «Эриксоном», отошел за березу, молвил что-то тихое в телефонную трубку, и на другом конце Москвы — тарарабумбия! — взлетел в воздух «мерс», следователи заводят дело на дедушку Константина Макаровича, адрес неизвестен, старик ударился в бег, прихватив золото партии и нефтяную скважину, милиция сбилась с ног, убегая от преступников, мобильники пересвистываются соловьями-разбойниками (*слышен хрип Сорина*)... Сердце, не плачь!

...Тогда он попросил бокал шампанского, выпил его до дна, отвернулся к стене и тихо умер. И его отправили на родину в вагоне из-под устриц, что возмутило писателя, позже отравленного врачами-отравителями, который умер тоже тихо: какая пошлость! Чехов и — свежие устрицы!.. Ну и что, что устрицы, это был вагон-ледник, смерть не смогла уложить его с акулой, как планировала, — уложила с устрицами, Алексей Максимович, они и вправду, надо полагать, были свежими, свежо и остро пахли морем, пробовали небось на блюде устрицы во льду и под устрицы всё возмущались Россией, какая она прогнившая: великих почивших писателей засовывают в вагоны для устриц... Так это не у нас, а у них, в Баденвейлере, там, где не нашлось специалиста-легочника для больного русского писателя, где во исполнение преждевременной кончины его по причине отсутствия фтизиатра Антону Павловичу поставили бронзовый бюст на гранитном постаменте, который, когда началась Первая мировая война принципов, кайзер приказал переплавить на пушки. *Ружье выстрелило.*

Экскурсия окончена. Старик в потертом костюме медлит у могилы, надеясь незаметно спрятать пару букетов в сумку, чтобы потом их толкнуть в переходе. Супружеская пара уходит — она впереди, он трусит за нею. Высокая стриженная брюнетка с высоко поднятыми круглыми бровями и красивым гладким лицом подошла к Асе. Женщина (*звенящим голосом*): «А почему вы не проводили нас к могиле Ивана Бунина?» Бунина ей подавай, Ивана!.. Ася (*любезным тоном*): «Извините, мы еще не наладили связи по обмену покойниками с Сент-Женевьев-де-Буа». (*Та ничего не поняла, но надменно кивает.*)

«А что, между прочим, не такая уж фантастическая идея!..» Ася обернулась — Нил. «Ведь привозили же в Москву мощи великомученика Пантелеймона...» — «И что? — холодно произнесла Ася. — Это другое. Что ты здесь делаешь?» — «Поговорить надо, — сказал Нил, — я тут приглядел одну славную могилу: мраморный адмирал смотрит в морской бинокль. Только по курсу одни березы да тополя, зато под ними уютная скамейка... Присядем?» Сели возле адмирала.

Нил объявил: «Надя, кажется, уехала насовсем. Анатолий последнее время писал совершенно безумные письма, требуя ее возвращения. Все думаю, как мне на это смотреть. Я свободный, что ли, теперь человек или пока нет?» Ася хмуро посмотрела на него. «У тебя есть какие-то виды на свою свободу?» — «Пока никаких. Только я за ней больше не поеду». — «А от меня что ты хочешь? Я тоже за ней не поеду». — «Да уж», — неопределенно заметил Нил. Помолчали. «Ты за что-то меня не любишь, — сказал Нил. — Напрасно. Я, сколько мог, проявлял терпение и покладистость». Ася недоверчиво хмыкнула. «Разве не так?» Ася покачала головой. «Не знаю. Надя на тебя не жаловалась. Но у меня в глазах одна картина: ты вылез из палатки, подошел к Наде, дремлющей на солнце, и наступил ей обеими ногами на волосы... Она даже не вскрикнула и не открыла глаз. Ты потоптался на ее волосах, сел в машину и уехал». — «Запомнил, —

пожал плечами Нил, — когда это было?.. У нее тогда кто-то был или нет? Теперь-то ты можешь мне это сказать?» — «Она просто тебя не любила. Ей нужен был человек постарше, который бы жалел ее». — «Много ты знаешь о наших отношениях, — задетый за живое, произнес Нил. — Да, они были не совсем обычными. Надя была погружена в свое... Скажи, ее брат действительно провалился под лед?» Ася кивнула. «Откуда ты знаешь? И она, и Толя говорят, что он жив и где-то скрывается, как принц инкогнито». — «Мой отец вместе с Анатолием похоронили его на монастырском кладбище. Это было в апреле. Анатолий просил отца никому не говорить об этом, чтобы не дошло до Шуры... Чтоб не усугубить ее душевную болезнь». — «А как это произошло?» — «Не знаю. Знал только Костя, Надя ему сразу все рассказала. Но потом она даже Косте стала говорить, что Герман жив, как будто все забыла...» — «Понимаешь, Надя все время крала у меня деньги. Большие деньги... А Анатолию давала ровно столько, чтоб им хватало на жизнь к их пенсиям. На что она их тратила?.. Одевалась она всегда просто, любовников у нее последние годы быть не могло, потому что она сильно сдала... На что ей эти деньги? Кому она их отдает?» Ася поднялась на ноги. «Думаю, Надя поживет немного у родителей и вернется к тебе, хочешь ты этого или нет... А может, поедет к Линде, та зовет ее в Хабаровск». — «Скажи Наде, если все-таки увидишь ее...» — «Не увижу, — отрезала Ася. — До свидания».

Ася пошла по аллее, чувствуя утомление и досаду — больше на себя, чем на Нила. Чем она может ему помочь? Ему или Наде? Никому она помочь не может, ей самой некому пожаловаться, что у нее на руках сумасшедшая свекровь, которая изо дня в день звонит в агентства, предлагающие пенсионерам помощь в обмен на их квартиры, а когда коммерсанты приезжают, расписывает им, как все ее бросили подышать в одиночестве, сын, невестка, внучка, хотя Ася по воскресеньям забивает ей холодильник продуктами и стирает белье, а Аркаша и в ус не дует, ему только подавай вовремя котлеты, еще у нее на руках сумасшедшая мать, которая еле ползает по квартире, но находит в себе силы часами висеть на телефоне, обвиняя дочь в том, что они с зятем и внучкой бросили ее, как когда-то сумасшедший Асин отец, променявший их на своих олигофренов и даунов, чтобы проповедовать среди них Чехова, у нее на руках Ксения, которой учителя еле натягивают четверки, только чтобы угодить Аркаше, и Ксения все понимает... Страшная луна, страшные гвозди на заборе тюрьмы, и вдали (*вплотную к зрительному залу*) разгорается страшное пламя.

Ближе к большим церковным праздникам в Калитве и Белой Россоси начинают поговаривать о мосте через Лузгу между Калитвой и храмом Михаила Архангела. Зимой, когда можно пройти по льду, разговоры эти стихают. Но обычно на Сорок мучеников возобновляются снова — как бы он, мост, всех выручил, спрямил бы путь в Царство Небесное... О нем хлопочет молодой иерей Михаил, бывший дьякон, вместе с чтецом и казначеем храма Георгием. Возле Куткова, Болотников, Рузаевки, Цыганков и Корсакова грибами вырастают особняки. Если смотреть издали — торчат посреди поля, как уцелевшие после пожара печные трубы. Есть что-то страшное в этой невеселой работе маленьких молчаливых азиатов-строителей. Дом строится без песни, без шуток, без разговоров и завтраков, в чистом поле, без перекуров даже — разве такой дом устоит! — *холодными руками*, усталой душой наемника.

Отец Михаил вместе с чтецом Георгием ездят к хозяевам особняков по требам, освящают дома, машины (*«чин освящения колесницы»*), соборуют, крестят, отпевают, мечтая накопить денег на строительство моста. Усталость маленьких, высохших от тяжелого труда строителей разъедает камень, как угольная кислота. По соседству с домами нет ни одного деревца,

которое утешило бы тенью. После требы хозяева усаживают отца Михаила и чтеца Георгия за трапезу. Только за трапезой в почтенном чтеце Георгии проглядывает беззастенчивый Юрка Дикой — он не таясь заворачивает курицу в красивые салфетки, набивает карманы дорогими конфетами и ест за двоих, а отец Михаил, клонув для приличия вилкой в салат, заводит свою вечную арию про то, что храм задолжал за электричество, что недавний смерч снес часть кровли с колокольни, что надо бы подреставрировать «Взыскание погибших», обновить троичное облачение отца Владислава... Трапеза закончена, чадца подходят к отцу Михаилу под благословение и вручают Георгию как казначею свою жертву, которую отец Владислав вечером того же дня благословляет на оплату долга за электричество или ремонт в приделе святителя Николая — но не на мост. «Аминь», — и разговор о мосте окончен. Пусть старички, о которых жалостливым голосом напоминает ему Георгий, потрудятся, с Богородицей на устах как-нибудь кругом доковыляют до литургии. *Ангелы считают шаги идущих в храм Божий, за каждый шаг стирают по греху в своих хартиях.* Георгий говорит: «Может, благословите, батюшка, хор подыскать... если бы мы клиросным платили... Наши бабульки еле тянут». — «Птахи подтянут», — отвечает отец Владислав.

Надя вошла в комнату отца. После того как Анатолий разочаровался в митингах и демонстрациях, он отремонтировал свою комнатку, сделал топчан, занимающий узкое, но достаточное для его аскетических снов пространство, соорудил рабочий столик у окна, над которым повесил образа, вывезенные еще бабой Паней из обреченной к затоплению деревни, полки от пола до потолка и теперь работал над созданием архива негативов. На столе лежали свежие снимки, которые Анатолий сделал совсем недавно: «белой», «серой» и «зеленой» весны.

Надя потерялась подбородком о его седой с проплешиной затылок. Взяла в руки одну фотографию. «„Зеленую“ весну трудно снимать... — пустился в объяснения отец. — Свежая листва еще не покрылась пылью и сверкает на солнце. Видишь, как много мелких бликов. Не стоило снимать против света, потому что небо получилось „бумажным“. Посмотри вот это...» Надя поднесла к глазам снимок вишневого ветки, покрытой цветами. «Это снято ранним утром при боковом освещении, — комментировал отец. — Густые тени подчеркивают объем цветущего дерева. Красиво, правда?» — «Мне твои фотографии нравятся больше, чем Ниловы...» — «Нил! — задиристо воскликнул отец. — Нил, конечно, мастер. Но урбанист. Он снимает с интересом, а я с душой... Вот бы мне его „Хассельблад“, тогда б мы посмотрели...» — «Хочешь, я куплю тебе „Хассельблад“?» — «А на какие деньги? Ты все отдаешь Юрке на мост, а отец Владислав все не разрешает его строить...»

Шура в своей комнате коротко взвыла, потом еще и еще раз.

«Что это она?» — с тревогой спросила Надя. «Гребенку ищет, — невозмутимо ответил Анатолий. — Я ее гребенку в саду зарыл, над Званкой, потому что она голову до крови расчесывает...»

Мама сидела в кресле-качалке и скребла одной рукой голову, вынимала прядки коротких седых волос и бросала на пол. Надя взяла кресло за спинку и повернула к зеркалу. Старуха, зарытая по плечи в деревянную раму зеркала, негодуя отвернулась к окну.

Зеркало стояло, как вечно распахнутая дверь в вечную же комнату, но проживавшие в ней люди покинули обитель отражений и исчезли в путанице весенних ветвей за окном, как птицы; возможно, зал с отраженными в нем стенами, окнами, садом и зеркало были сообщающимися сосудами. Когда-то чистую гладь населяли взрослые и дети в пестрых одеждах, там когда-то сквозили ветки, застилавшие горизонт, угол сарая, часть попереч-

ной крестовины огородного Странника, который, может, и увел веселую и беспечную жизнь за угол сарая, в огороды, за пределы видимости, донашивающей старую березу со скворечником, в чуткую к каждому шагу даль — это если выйти на улицу, а здесь — застывшую, прибитую намертво к стене. Его лапа в холщовой рабочей vareжке заслоняет еле видимый над углом сарая Нептун, к которому ныне движется комета Галлея, а когда она наконец дойдет до афелия, никого из тех, кто когда-то обитал в этом зеркале, кроме окончательно превратившегося в дерево огородного Тихона, не останется в живых.

«Ты правда больше не уедешь?» — спросил отец. «Правда». Он заговорил быстро-быстро: «Вот и славно. Устроишься в школу или в мою газету, они у меня все снимки просят... Мать, слышишь? Надя будет жить с нами. Мы теперь заживем хорошо, дружно. Я тебе разных гребенок накоплю». Шура подняла свою руку, посмотрела на нее и медленно положила на голову Нади.

«Видишь, — шепотом сказал отец. — Она все поняла».

Было три часа дня, когда Надя вышла из дома. Сквозь мелкую рябь облаков пробивалось солнце, стояла необычная для апреля жара, и чувствовался тонкий аромат липы, выпустившей шелковистые нитки ключиков. На понтоне Надю нагнал свежий запах тающего снега, которым тянет с Лузги до тех пор, пока трава не ударится в рост. Не доходя до Корсакова, она свернула на тропинку, тянущуюся между берегом реки и кукурузным полем, на котором торчали сухие стебли. Быстрый блеск Лузги по правую руку пресек широкий овраг с нежно-зеленым маревом орешника.

Усталая Надя остановилась у березы, просвечивающей на солнце всеми своими листочками. Эта березка, наверное, была переселенкой с берегов далекой Надиной весны, где узкие крылья синих стрекоз дремотой обволакивают реку с наметенными в нее облаками, и с высокой метеовышки видны золотые буквы колесников и двухпалубников, почти слитых с чертой горизонта, которые она различала сверхъестественным райским зрением ребенка, терпеливо накапливающего свои впечатления, чтоб отложить их на скудное будущее... Все это было близко, под веками, и порождало в Наде безумную надежду, что когда-нибудь она разберет завалы накопленных за жизнь впечатлений и, как под слежавшимся в сундуке хламом, обнаружит не дно, а светящееся окно жилой баржи-барака с рассадой на подоконнике в звездах желтых ноготков и настурций, точный отпечаток Надиного существа, торопящегося занять свою природную форму. Тысячами нитевидных корней примулы, астры, купальницы, ириса она прикована к этому окну, сотнями канатов пароходов, намотанных на кнехты, золотыми буквами на спасательных кругах судов, лесками удочек, расписаниями движения пароходов, в которые за время ее отсутствия могла вкрасться опечатка, так что, может, придя в Майну в 8.40, «Чайковский» не сможет пришвартоваться к пристани, потому что «Дунай» вышел из Тетюшей с двухчасовым опозданием... А березку она видела как со дна реки с прозрачным течением, которое не могло отвалить от сердца камень.

Тамара-просфорница сказала: ты пиши свои грехи, внутреннее зрение восстановится, отмершие клетки глаз оживут. Хорошо, пишем: *жестокосердие, самолюбие, малодушие, сквернословие...* Искать муху. *Гордость, равнодушие к ближнему. Окамененное нечувствие, ложь, лукавство, человекоугодничество*, через запятую. *Прелюбодеяние, лицемерие, идолопоклонство*. Свеча то и дело гаснет, пока бродишь по гнилым сумеркам города, ушедшего на дно водохранилища. *Осуждение и клевета на ближнего...* Где, когда?.. Везде, всегда... Это не ответ. Зажги свечу, освети свои дни. *Гордыня и малодушие* могут погасить не то что свечу — солнце. Вспомни, как капитан

Татаринов по горло в снегу брел к полюсу, *трое отроков в печи* в пламени по горло шли к росе... *Окамененное нечувствие* — кожа чувствует, сосуды головного мозга тоже, кости ноют на погоду, десны, пальцы чувствуют, пока не разольется смерть; и тогда из-под нее вывернется *единородная моя*, и ангелы небесные, стоя начеку, тут же поднесут к ней исписанную от поля до поля хартию... Как выходить на баррикады, когда по одну сторону *многогостяжание, неправдоглаголение, клевета*, а по другую — *скверноприбытчество, лихоимство и ненависть*; завязывается древняя борьба берцовыми кеглями, сшибание городков варварскими тотемами... Может ли быть победа и правда на стороне стягов с раздутыми желчью зобами? Хоть стройся клином, хоть сажай в березняке засадный полк — поля сражений, подернутые пеплом *самолюбия* и *уныния* перед *очами души*. Перевернутые автобусы, легковушки с выбитыми стеклами, пустая тара, толченное стекло, летучий мусор, через который заключенные одной камеры перестукиваются с узниками другой — революционеры с провокаторами, провокаторы с революционерами. Имена поработителей — *зависть, тщеславие, трусость, обман и измена*.

Тело реки, извивающейся меж потемневших полей, блестело за белыми купами вишен, видимых с колокольни. С северной стороны видны были тающие в вечернем тумане дома Рузаевки и Цыганков с белыми пятнами цветущих деревьев. В *символическом* саду неподалеку от храма Михаила Архангела щелкали соловьи. Не успела Надя оглянуться на запад, как малиновая и огненная полосы заката перетекли в пунцовую, над которой гасли бледно-желтые всполохи, размытые сгущающимися сумерками. Последний свет растаял в облаках, и когда она снова бросила взгляд на землю, ее освещали лишь бледные вишни. Над горизонтом зажглись первые звезды, сияя сквозь пелену облаков... Потом они засветились на дне небесного купола. С северной стороны видна была альфа Большой Медведицы, перекинувшейся через все небо.

Измученная весенней слабостью Надя прилегла на площадку под большим колоколом. Внутри его зияла многовековая, отлитая при Тишайшем тьма, по которой проскакивали золотистые шпоры кириллицы. Чугунные била лемехами вздымали тьму времен, не давая утихнуть гулу событий, охваченных и не охваченных сводами летописей, к этому гулу истории, как расплавленное серебро в медь, примешивалось предание о людях, приходивших из леса в пропахших дымом костров одеждах и исчезающих в лесу, выкорчевывавших лес под пашни, заманивавших в его непроходимые чащи иноземцев, строивших в дремучих борах скиты, по цепочке деревьев с дуплами, в которых жили отшельники, передававших в мир пророчества и предостережения, которые мало кто брал в расчет... Стоило отпустить за собой еловые и ореховые ветви, за которыми сходилась по швам русская чаща, как история растекалась по глухим закоулкам леса, будто ее и не было, растворялась в вечных сумерках, мшистой мгле, еловой бахrome и затягивалась буреломом. Партизаны сусанинских времен копали землянки рука об руку с партизанами Дениса Давыдова и партизанами Великой Отечественной, с тайных аэродромов взлетали самолеты без опознавательных знаков и исчезали за зубцами леса. Отдельные отряды то здесь, то там прорубали просеки, как отец Владислав узником во время войны тюкал топором в Надымских болотах, пробивая дорогу от Салехарда к Игарке, идущую параллельно Севморпути, но потом история сделала новый виток, и дорога сгнила вместе с вышками и колючкой...

Тамара-просфорница идет по петляющей тропинке мимо липовой рощи, вдоль линии оплывших военных окопов, поросших крупной сухой и сладкой земляникой. Вдали блещут золотые кресты храма Михаила Архангела, до которого час пути. Начиная с Николы зимнего свет прибывает

как вода, солнце все шире распахивает ворота над горизонтом. На Сорок мучеников севастиийских выходишь из дому во тьме, а приходишь к Михаилу в радостном свете... Туман стелется над Лузгой, звезды глубже зарываются в прозрачную синь, облака над горизонтом занимают пламенным светом, свет заливает землю косыми дымчатыми потоками, на ребристых, мохнатых и стрелчатых листьях травы лежит роса. Проясняется равнина, колокола Михаила Архангела страгивают с места воздух и гулкой волной проносят его сквозь Корсаково, Болотники, Рузаевку, Цыганки и Кутково. Сосны стоят в золотистых пластинках свежей коры. Белокрылый самолет пробирается на небо. Божья коровка, разрезав платье, снялась с листа одуванчика. Вот показалось кладбище в березах...

В этот час дня дряхлый отец Владислав, со всех сторон подоткнутый подушками, поминает упокоившихся среди берез, тополей и ясеней кутковцев, рузаевцев, калитвинцев, *всех без покаяния скончавшихся и не успевших примириться с Богом и с людьми, о коих заповедовали и просили ны молитися, о коих несть кому вознести молитвы, всех верных, погребения христианского лишенных, утонувших, сгоревших, на мразе замерзших, растерзанных зверьми, вождей и воинов, за веру и отечество живот свой положивших, сестер и братьев наших zde и повсюду лежащих православных христиан.* При особой прозрачности воздуха и незлобии сердца в этот час на кладбище можно увидеть тихих ангелов скорби, залитых светом солнца, сиянием луны... Отец Владислав едва шевелит губами, но голос его уносится дальше, чем удары колокола и реактивных двигателей самолета. Его слышат поющие в небе и спящие в земле. Ангелы дозорные, стоящие на кровлях, по цепочке передают на небо имена: Анна, Алексей, Тамара, Ефим, Николай, Федор, Мария, Пелагия, Александр, Лев, Георгий, Всеволод, Екатерина, Вера, Иаков, Нина, Симеон, Ирина, Леонид, Борис, Лидия, отрок Герман...

12

СТРАНА ИЗГНАНИЯ. Этот тихий фанатик-библиофил, как все тайные безумцы, вел двойную жизнь. Основные параметры обеих его жизней как будто не пересекались, имея лишь общие контуры, как тень и отбрасываемое ею тело, но если первая его жизнь в большой степени зависела от солнца, укладываясь в сетку учебного расписания, то вторая ни от чего не зависела и ни в какие временные понятия не укладывалась, продолжалась даже во сне, вторгалась в мысли, которые он развивал перед своими студентами, и в такую минуту он зависал на кафедре, как летучая мышь, опутанная собственной тьмой, с погасшими глазами, с бледным, точно присыпанным пеплом лицом, с рукой, застывшей в сломанном кукольном жесте. Неподвижный, с глазами, закатившимися под трепещущие веки, он не слышал подавленных смешков, ехидных реплик...

Какое видение так завораживало его кровь, что можно было, не обмочив острия, дотронуться до нее иглой?.. Возможно, он видел внутренним взором первый сборник стихов Эдгара По, изданный в Бостоне в 1827 году в количестве сорока экземпляров, тоненькую книжицу в переплете с красными крапинками и желтым корешком, о которой ему стало известно из письма одного собирателя, раздобывшего уникальный томик путем сложной системы обменов. Как ни странно, все стихии и мировые катаклизмы действуют в интересах коллекционера, сужают пространство поиска, обеспечивая тому или иному изданию его уникальность. Прекрасное, и это знает всякий настоящий коллекционер, должно существовать в одном экземпляре, вобравшем в себя родовые черты эпохи, под неусыпной опекой грозящего ему полным исчезновением мирового зла.

Он любил идеограммы за огромные перегоны смыслов между одним рисунком-знаком и другим. Чем проще был знак в те времена, когда жи-

вопись и пиктограмма были неразделимы, тем больший круг понятий охватывал он, проникая в самые глухие закоулки времени. Его развлекала терпеливая очередь символов, дышащих друг другу в затылок. Например, солнце в некоторых знаковых системах означает «день», «время», «свет», «разум»; небесный свод с черточками под ним расшифровывается как существительное «темнота» и как прилагательное «черный»; нарисованная нога может передавать глагол «ходить» или «приносить», а также соответствует производной форме глагола «идуший»... Орда знаков шла вплотную за вещью, как волна, тянущаяся за лодкой, метила время как материю, прибирала к рукам пространство. Пещера Альтамира в Испании, бронзовые барельефы африканского государства Бенин, оленья кожа ацтеков, зеркала этрусков, глиняные таблички критян, бивни мамонта, покрытые знаками нсибиди, которыми до сих пор пользуются тайные герметические общества... Ко временам праотца Ноя вся земля оказалась покрытой историческими хрониками, генеалогическими списками, сигналами опасности, судебными решениями, магическими знаками, торговыми актами, религиозными ритуалами...

Безумное это было предприятие. Несмотря на кажущуюся свою невинность, знак, едва возникнув на лесной тропе в виде стрелы, указывающей направление, стал утрачивать связь с обозначающим его предметом, и мир заволочла условность. Рисунок переплавился в символ, символ — в логограмму, а там заработал звук и оказалось рукой подать до фонетизации письма.

24 буквы дали возможность сочинить сказку-историю и надиктовать на диски щитов и стены храмов литературу, которая постепенно стала использовать в своих интересах и богов, и историческую хронику. С особенным удовольствием буквы принялись выкачивать из мира человеческие чувства, о которых знак представления не имел, точно их главной задачей было вернуть мир под эгиду бесстрастного символа, а еще лучше — вновь отдать его под покровительство глухой, слепой и немой вечности.

Эпоха идеограмм, взошедших по всей земле дружно, как рожь, нравилась Владимиру Максимовичу больше всего. И вместе с тем Владимир Максимович не собирался отказываться от любви к книге. Чем лучше книга, тем больше похожа она на идеограмму — с простыми знаками добра и зла, дня и ночи.

Его восхищал своей простотой эксперимент голландца Гроота, попросившего одну маленькую девочку изобрести алфавит из 26 знаков. Малышка принесла ученому исписанный листок, в котором он, к своему изумлению, обнаружил самодельные буковки, похожие на финикийские, сирийские, критские и кипрские письмена...

Следуя примеру голландца, Владимир Максимович давал своим студентам задания сочинять слова или даже небольшие послания в виде идеограмм. На обратной стороне листка бумаги они расшифровывали свои рисунки, и те из них, которые удалось правильно разгадать Владимиру Максимовичу, он заносил в свою записную книжку. Это напоминало детскую игру в кубики. Он перерисовывал их про запас, как будто всерьез полагая, что, когда *сметутся народы, иссякнут моря, но будет шелками расшита заря*, человечество вывалится из прохудившейся цивилизации и вернется к универсальному прообразу буквы.

Солнце, звезды, луна, лодка, человеческая рука, глаз, облако, цветок, молния, дом — студенты редко нажимали на регистры современной реальности и на клавиши сложных аллегорий. След ступни означает «Бог», догадывался Владимир Максимович, переворачивал бумажку, — так и оказывалось. Вертикально нарисованный глаз расшифровывался как «плакать». Большая снежинка над затухающим костром — «разлюбить». Оконный переплет — «ждать».

...Однажды кто-то из студентов, нарисовавший вместо своей фамилии руку, бросающую в раскрытый рот семечки, изобразил довольно длинное сообщение в рамке: *крест, груша, перевернутая ветка, знамя, круг, серп и молот*. Владимир Максимович бился над рисунком несколько вечеров. Имя автора открылось быстро, едва он освежил в памяти с помощью журнала фамилии второкурсников: Лузгина Надежда. После этого азартно написал несколько листков бумаги вариантами расшифровки знаков. Наконец решился перевернуть листок. На обратной стороне было написано: «Владимир Ильич Ленин — вождь мирового пролетариата».

«Это же игра такая, — на следующий день объясняла преподавателю Надя, — вроде ребуса... Крест означает князя Владимира, крестителя Руси, второй рисунок вовсе не груша, а лампочка Ильича, реку Лену я срисовала с географической карты... Ну и прочее, понятно?» — «С большими натяжками». — «Это игра такая, — терпеливо повторила Надя, — не правда ли?» Большие глаза девушки светились насмешкой. «Неправда», — угрюмо сказал Владимир Максимович.

Он шел за девушкой, за Надеждой, след в след, задавая ей простые вопросы тем насмешливо-покровительственным тоном, который усвоил в разговорах со своими студентами; она давала простые ответы. Нет, Надей назвали ее вовсе не в честь Крупской, у нее есть брат Герман... Самые близкие и родные проживают в городе Мологе, а сама она из Ижор... Да, Александр Сергеевич бывал в их краях, именно так, подъезжая к этому населенному пункту, он ненароком взглянул на небеса, и лучезарная синь напомнила ему глаза любимой NN. Взгляд Пушкина, как мемориальная доска, украшает небесную арку над въездом в городок. Лично ей он надоел еще в школе, она любит синеглазого Есенина. «А Николая Клюева, тоже синеглазого?» — тем же тоном сказал Владимир Максимович. «Мы его еще не проходили», — вяло отозвалась Надежда. Проходной московский двор синеглазого Есенина, дремучий бор синеглазого Клюева... Под конец жизни он грезил о том, чтобы Демьян Бедный, знаменитый библиофил, купил несколько книг из его библиотеки. Бедный мог хорошо заплатить и выслать деньги в Томск, куда бедного Николая Клюева перевели из другой, еще более безнадежной ссылки. Он часто представлял себе, на что истратит эти деньги. В воображении закатывал себе лукулловы пиры. Одна книга тянула на мешок муки, другая могла доставить пятилитровый баллон меда, третья — обеспечить его одиночеством — хорошей отдельной комнатой с лежанкой, четвертая — новыми валенками, пятая — подводой сухих дров, целой подводой, он бы часто топил печку... Он постоянно вел воображаемый диалог с Бедным, торговался за старинную Библию, оставшуюся после дядюшки-самосожженца, объяснял, как трудно снять отдельную комнату, когда все избы забиты ссыльными, ночами срывался с расстеленного на полу тулупа, чтобы сказать Демьяну самое главное — если он в чем и виноват перед Родиной, то искупит, только бы дров, одиночества и мучицы, хорошо бы еще и маслица, можно послать переводом, пускай Демьян выпишет себе командировку в Томск, якобы для того, чтобы ознакомиться со знаменитой Строгановской библиотекой, которую граф подарил первому в Сибири университету, а о том, что Бедный должен встретиться в Томске с опальным поэтом Клюевым, в отчете о поездке можно не упоминать... Они встретятся на мосту через реку Томь, именно там удобней всего передать из рук в руки сверток с деньгами, поговорить им все равно не удастся из-за ледяного грохота реки, которую не перекричать голодному и ослабевшему человеку... Демьян не может не откликнуться на его зов, летящий по невидимым проводам, соединяющим сердца коллекционеров, по воде, соединяющей реки!.. Я помню, как ты, Демьян, бережно держал в руках прижизненное издание Лермонтова, которое, может, и выкрал — я сам на такое способен! — из бывшей библиотеки

цензора Никитенко. Так скрипач может определить степень виртуозности своего коллеги только по тому, как тот держит скрипку... Приезжай, Демьян, ведь ты поэт, *кого убоишься*, адрес такой: река Томь, ледоход, мост, лишь только звезды блеснут в небесах, ты легко узнаешь меня — человека-поэта в старом пальто и чунях, с кротким безумием на лице, изнемогающего под тяжестью трепещущего в страхе сердца, которое сгибает к земле, как перезревший колос, следом за ним клонится долу небо, сибирский закат, не созрев, обрушивается в безысходную ночь, доверху заставленную полками с прозрачными книгами мечтающих о дровах поэтов, пространство гулкое, как рыдание, сведенное к плачу.

...Мир, сведенный к книжным полкам, однообразным, как стенки колодца. Подростковая кровать, застланная суконным одеялом, приткнувшаяся к ним, как шлюпочка к борту океанского лайнера, на которой не разместиться любви... На этот крохотный плацдарм невозможно высадиться воительнице с ее оружием — трехстворчатым трюмо, туалетным столиком с баночками для кожи, несессером для пальцев, щетками для волос, помадой для губ. Здесь не нашлось бы места ее отражению во весь рост, повсюду стояли пыльные сосуды слов, и следовало передвигаться крайне осторожно, чтобы не расплескать написанное о чужом, про чужих. Под обложку этого дома можно было попасть только пригнувшись, уменьшившись в росте, как этот маленький человек с кукольным лицом, с академической прической Карандаша из детского журнала «Веселые картинки»...

Владимир Максимович жил в своей копилке, не замечая реального положения дел, которое было таково: здесь и ему самому, маленькому человеку, повернуться негде было, а уж двоим — тем более... Лишних тапочек у него, конечно, не нашлось. Надя топталась на полу в капроновых носках, ей пришлось, как аисту, поджать под себя ногу, когда Владимир Максимович втиснул между полками и кроватью табуретку вместо столика. Он носился туда-сюда, звякая посудой на кухне, чиркая спичками, предоставив Надю самой себе, уверенный в том, что книги ее займут. Надя уже жалела, что пришла сюда. Однообразные волны книг покачивали ее безразличный взгляд, — ну и что, что книги? Ну и что, что их много?

За окном ограда кладбища, где, отделенные друг от друга, плашмя лежали закрытые книги надгробий с золотистыми названиями в символическом саду, просторная библиотека букв, изъеденных мхом на бархатистой подкладке тлена, озерцами фотографических портретов, — просторная библиотека, уходящая корнями не в цивилизацию, а глубже, прямо в землю, как дерево. Владимир Максимович окликнул ее, и Надя легко отвернулась от окна, обращенного в смерть.

Сибирь! Сибирь! Сибирь!.. После Кургана расстояния между населенными пунктами увеличились, точно поезд влетел в разреженное пространство. В космической тьме страшно горели сибирские звезды, сияла сибирская луна, вздымая черный силуэт сибирской тайги, как оледеневшую волну. Сплетясь корнями в глубине земли, лес заряжал первобытным мраком колонны сосен, слившихся в глухую стену; когда черная громада тайги неожиданно размыкалась и поезд врвался в лунную равнину, утыканную топким кустарником, на горизонте вспыхивали огни жилищ, сложенных, возможно, из крупных бивней, черепов и бедренных костей мамонтов, с крышами из рогов северных оленей, сцепленных отростками, о которых еще не было написано ни в Лаврентьевской, ни в более поздней Ипатьевской летописи, и ничего не было известно ни во времена Чжоти, предприимчивого сына Чингисхана, ни в более позднюю эпоху князька Кучума, платившего Ивану Грозному подать в тысячу соболей... Поезд по дуге делал плавный поворот, и огни исчезали в складках воздуха, как будто их задул ветер. Через камышовую тростинку ветер выпевает дикарские звуки —

Чулым, Чаны, Чумляк, Тавриз, капиллярами трав дышат нам в затылок звериные ноздри истории. Дыхание ее разносится по всему миру, шевеля океанские водоросли и косматые звезды, занося илом и песком жилища на надпойменных террасах Оби, Ангары, Енисея, холодные степи Байкала, болотную тундру, сутулых мамонтов с закрученными сверху желтоватыми бивнями, пещерных львов, диких мускусных быков, винторогих антилоп и страусов, сквозные лабиринты цивилизации, перекрытые карстовыми пустотами — закупоренными бутылками с древними письменами, о которых когда-то давным-давно, еще в пору студенчества, Наде рассказывал Владимир Максимович...

Например, письма юкагирских девушек, которым запрещено было вслух говорить о любви... Юкагиры проживали в районе Колымы, их было так много, что пролетавшие птицы терялись в огне их очагов. Мужчины пользовались незамысловатым языком рисунков, но изобретательные девушки, чтобы выразить свои чувства, разработали сложную систему условных знаков. Крестом они обозначали *печаль*, облачком с кривой линией — *мечту*, *любовь* — знаком X, *любимого* — каракулей, смахивающей на перо. Девушки объединяли знаки в композицию, в пространственный текст, но кому он был адресован, если юкагирские юноши не владели языком подруг и в своей простоте обозначали *дождь* как купол неба со струями-линиями, *звезду* — как ночь, а *солнце* — как день? Почта откладывалась в долгий ящик, от одного письма до другого образовывались перегоны в столетия, и поэтому письма юкагинок, расшифрованные учеными уже в наши дни, до сих пор источают слабый аромат X.

Земля по-прежнему была огромна, птицы терялись в огнях электростанций, самолеты исчезали с радаров, ракеты, уклонившиеся от курса, тонули в антимирах. Надя искала место в этих пространствах, озаренных то солнцем, то луною, за свет которых не надо платить, впрочем, это не аксиома, за все приходится платить, бесплатный только сыр в мышеловке, и тот уже давно съеден — мышь идет на запах еще и потому, что ей некуда идти, куда ни кинь — заставы и заборы с трехрядной колючкой поверху, переступить границы вправе только солнце, и то потому, что рельсы, по которым оно скользит, снести невозможно, как, например, птицеферму или садовое товарищество.

Теперь Надя спрашивала себя: где, когда, в чем она ошиблась, в каких глубинах вызрел билет на этот поезд дальнего следования, перевозящий ее, как бесчувственный багаж, маркированный слабой надеждой на пригласившую ее подругу, которая обещала кров, работу и участие — словом, все то, чего Надя давно была лишена?.. Что она делала не так, как другие? В какой мере была правдивой? Почему потеряла уверенность в себе? Почему ее не понимают, как письмо юкагинок? Когда, в какой день посадила в землю зерно этого путешествия, отдававшегося в ушах страшным грохотом, как будто поезд все время несся по мосту?..

В те времена, когда училась Надя, к блокадному пайку реальной литературы стали понемногу приплюсовываться крохотные довески полуслепых ксерокопий, сборников стихотворений, которые можно было приобрести в валютном магазине «Березка», и старых изданий, сохранившихся в частных библиотеках. Владимир Максимович иногда давал понять студентам, что такого собрания книг, как у него, нет ни у кого во всей Москве, но ни с кем не делился своим хлебом, никого к нему не подпускал. В уникальность его коллекции верили и не верили. Как могла эта библиотека, в которой, как он говорил, было все, разместиться в однокомнатной квартире? Высказывались невероятные догадки. Либо его жилплощадь битком забита запретными плодами вроде Набокова, либо библиотека составлена

из каких-то удивительных раритетов, драгоценных реликвий, переплет которых украшен агатами (от бессонницы) и сапфирами (от удушья), редчайших инкунабул, появившихся на книжных аукционах в Лондоне во времена континентальной блокады...

Владимир Максимович, похожий на сутулую «букву Меркурия» (означающую астральное тело), был весьма замкнутым человеком. Своим раздраженным скрипучим голосом он втолковывал студентам лингвистические особенности языков финно-угорской группы, метался, перепачканный мелом, от доски к столам, за которыми студенты пытались листать посторонние книги. На самом же деле он был далек от всего этого — от парадигматики и оксюморонов, — на самом деле он, как хищник в засаде, выслеживал какой-нибудь раритет, находящийся пока в чужих руках, но уже сдвигаемый мощным полем электрического желания в его сторону... Правда, существовали другие любители, намеренные приобрести это же самое издание, и у них имелись к тому достаточные средства, и Владимир Максимович обдумывал, как увести их электрические желания в сторону, утопить в земле, как громоотвод топит молнию, какими книгами и сведениями о книгах пожертвовать, чтобы переключить внимание соперников. Поэтому он нервничал, бегал, всклокоченный, по аудитории, перехватывал чужие записки и, злорадно кривясь, зачитывал их вслух.

Но Надя чувствовала, что он наивен, как ребенок. Его попытки наладить контакт с противоположным полом ушли в текст, как это случилось с юкагирскими девушками. Куртка-«аляска», внезапно сменившая старое двубортное пальто, в котором Владимира Максимовича привыкло видеть не одно поколение студентов, прочитывалась Надей однозначно как кучка мха, снабженная веточкой с заточенным концом, указывающая направление, где лежит добыча. Страница журнала, усеянная «отл.» за ее письменные задания, которые прежде оценивались весьма скупко, напоминала письмо зулусок, составленное в виде ожерелья из одних красных бусинок, обозначавших неудержимую тягу любви... Как-то у Нади закончилась паста в шариковой ручке, и Владимир Максимович одолжил ей свою, с золотым пером, авторучку, — а она вспомнила, что в «почте ароко» нигерийцев позолоченное перо символизирует *жажду встречи*. И даже знак ее отсутствия на лекциях, огромный, прихватывающий две соседние клетки в курсовом журнале, корявый и раздраженный, смахивал на корейский иероглиф тоски...

И она видела, как из этих азбучных знаков внимания к ней, на которые надо было как-то реагировать, постепенно складывается адстрат, в нем встретились языки двух ареалов — и непривычное восприятие новой знаковой системы, как будто она вдруг проснулась в чужой стране, контуры которой с каждым занятием все больше определялись и уточнялись, испугало ее... Интуиция подсказывала Наде, что общий язык связывает людей куда крепче, чем память о детстве, сильнее, чем страсть, задушевной, чем родина, тем более язык-шифр, язык-код, рождающийся под небом, когда слова почти безмолвно обретаются в знаках заката, разноцветной толкучке зонтов, в тропинке под ногами, по которой они шли в тот вечер, и осенний туман, ссутулившись над деревьями, стоял рядом как свидетель.

Поезд придет на конечную станцию. Там его слегка подновят чистым бельем и свежими занавесками, смахнут со столиков и полок пыль, выметут мусор — и отправят обратно. С теми же грязными разводами на законном пейзаже, но с раскрученной в обратную сторону часовой пружиной расписания. С помощью нехитрых манипуляций пересыпается туда-сюда, как песок, само время, за которым на коротком поводке устремляется законное пространство с едва проработанной в тумане перспективой. Путешествие,

накаляющее рельсы, раздирающее в клочья воздух... На самом деле — неподвижность, отсрочка, развоплощение пассажира — в конечном пункте тебе снова подадут твою собственную личность, как пальто в гардеробе, твои цели, фобии, и ты опять воссоединишься со своим прошлым, чувствуя его как твердую почву под ногами. Со всем, что упразднило путешествие, начинается немедленное сращение. Тело, ощущая некоторую незаконность времени, обручем стянувшего пространство, огромную книгу, которую перелистывает ветер, сбрасывает с себя часовые пояса с сахаром вприкуску, мосты, пихты, лица, полуутопленные во мраке полустанки — обретения, навязанные чужой волей локомотива, как во сне.

...Высокий, крепкого сложения, довольно-таки сорокалетний человек по имени Георгий, с пепельным ежиком волос, острым хрящевидным носом и маленькими смеющимися глазами, смотрел в окно вагона и думал о том, что пространство — это дочернее предприятие времени... С помощью потока квантов, энного количества энергии, звуковых волн и других физических характеристик оно пытается совершить подмену, оттеснить время на позиции абстрактного существования. Это происходит из-за отсутствия реактивного проявителя, который смог бы выполнить посредническую функцию между зрением и невидимой материей времени, ее таинственным импульсом. Время чутко реагирует на скорость, развитую материей, дает ей отпор на уровне, доступном научному пониманию (замедляет свой ход в космической ракете), но никто сейчас не хочет заниматься столь тонкими вещами, опровергающими здравый смысл как традиционную точку отсчета эксперимента...

Словно со стороны Георгий наблюдал за тем, как они выманивают (выводят) его из самого себя — обольстительные облака, песчаные кручи, железнодорожные мосты, голоса пассажиров, слова с какой-то иной, чем на твердой почве, траекторией полета, поступающие к его слуху издалека, путем сложных и головоломных рикошетов друг с другом, стеклом, пластиком, дерматином, стуком колес. Умирный покачиванием вагона, он находился в полудреме. Час тому назад он вошел в поезд, крепко рассчитывая на это путешествие, на вымороченное, впавшее в спячку время между Курганом и Ачинском, где жили его родители.

Наконец-то ему выпала эта удача, поддержавшая его едва не пошатнувшуюся веру в себя. Когда тебе почти пятьдесят, а профессия не кормит, трудовые сбережения обратились в прах, съеденные обвальная инфляцией, связи меж людьми, озабоченными выживанием, утончились невероятно и каждый боится лишь одного — твоей просьбы о помощи и поддержке, грозящей хрупкому равновесию личного существования, прежде всего страдает чувство собственного достоинства, требующего для своего поддержания все больших усилий.

Он с немалым удивлением убеждался в том, что сантименты былого дружества, общие воспоминания, коллегиальная спайка, как и его бывшие научные заслуги, — все вдруг сделалось недействительным в условиях новейшего времени. Но чувство собственного достоинства, пожалуй, все еще имело хождение среди людей, как потертая от долгого обращения монета, и время, работавшее на понижение его устойчивого курса, ничего не могло с этим сделать.

Правда, не ясно было с критериями, в которых ныне выпестывалось это чувство достоинства. Как никогда остро вставал вопрос о приоритетах — духа над материей или материи над духом. Духовно ли хорошее английское пальто, в котором щеголял Георгий, или сугубо материально?... Отчасти оно утратило статус одежды и обрело значимость символа. Однако теперь дорогие вещи носили не так долго, как прежде, новая знаковая система, в которой пальто занимало определенную клетку, все больше

окостеневала в неподвижности, но тем подвижнее крутились в ней знаки — район проживания, марка автомашины, многократные визы, лица для детей, компьютеры, костюмы, туфли и прочее... Если вещь на тебе задерживалась, это означало, что в твоей системе жизнеобеспечения произошел сбой. Она выбалтывала об этом всем и каждому, ветшая не по дням, а по часам, как будто твое внутреннее состояние передавалось вещи... Теперь она, отрекшись от хозяина, обнажала язвившие его душу беды, предъявляла окружающим выданный с изнанки клок как ябеду, дырочку на подкладке, проплешину на меховом воротнике... Знак выражал то, что на вполне материальном языке слов невыразимо, — значит, он был духовен, но расшифровка его вызывала чисто материальные последствия: отказ дать в долг, прохладное отношение со стороны людей в новых пальто, сокращение зарплаты или даже увольнение, — следовательно, он был материален.

В свете этой новой материальности несколько иначе решался вопрос о достоинстве, прежде ходившем в тесной связке с понятием «работа». Теперь в эту простую цепочку вклинилось слово «продать» и стало главным. Продажа осуществлялась в реалиях почти натурального хозяйства, из рук в руки. Георгию заказывали кандидатскую диссертацию, он садился раскручивать заготовки, которых накопилось множество еще во времена его занятий акустикой в теперь уже закрытом институте, через месяц заказчик получал работу, а Георгий оговоренную сумму. Заодно с Георгием заказчик заказывал диссертационный совет, назначал день для защиты и спустя положенное время становился кандидатом наук.

Это была игра, в которую продолжали играть карабкающиеся вверх люди, опоздавшие в свое время с тем, что при старой системе ценностей называлось «остепенением», и теперь наперебой спешившие наверстать упущенное, чтобы как следует остепениться — с кавычками или без.

Эта деятельность угнетала Георгия, но не Георгий устанавливал правила игры, куда больше его угнетало то, что его жена-филолог осталась без работы, что у них маленькая дочь, а родителям-старикам все время задерживают пенсию... Георгия раздражало его положение научного раба, жалко было расходовать свои мозги, но он тешил себя мыслью о том, что какая-нибудь его работа не одним, так другим способом может кому-нибудь по-настоящему пригодиться, ведь они попадают в каталоги, которые пролистывают те, кому это действительно нужно. Иногда Георгий встречал своих более удачливых коллег, которым вовремя удалось закрепиться на машиностроительном заводе, где они трудились над системами наведения для боевых машин пехоты, или приборостроительном заводе, где строили «корвет» — генератор для подводных лодок. Коллеги с чистой совестью работали на обороноспособность страны и сдержанно осуждали Георгия... Георгий в ответ слабо огрызался, объясняя, что никто из них не был прижат лопатками к стене, как он, он слишком был погружен в тему, над которой работал столько лет, чтобы еще обращать внимание на сгущающиеся над ними тучи, ведь он, наивный человек, вплоть до закрытия института не верил, что это случится, не желал искать другой работы и упустил время... А теперь все места заняты, он периодически рассылает резюме туда и сюда, проходит собеседование, представляет ксерокопии своих давних работ и публикаций, в том числе за рубежом, ведет телефонные переговоры с некоторыми знакомыми в Москве, также выпускниками Бауманки, и ждет у моря погоды.

И вот наконец совсем недавно его трехлетние усилия увенчались успехом...

Книжные полки росли снизу вверх, как *ропалический стих*, в котором слово постепенно увеличивается в слоговом объеме. Словари слов — разноязычные, толковые и исторические, краткие и полные, частотные и терминологические, литературные и диалектологические, фразеологические и

идиоматические, орфоэпические и орфографические. Даль, Ушаков, Ожегов, Фасмер, Преображенский... Словари, истолковывающие значения слов, демонстрирующие их связи в языке, дающие сведения о грамматических формах слова. Далее можно видеть вереницу книг периода ветреных олимпийцев, отпочковавшихся от трудов и дней, разросшихся отдельным семейством, затянувшим, как дикий виноград, несколько полок, *колесницу Арджуны, кольцо нибелунгов, сны Навуходносора, Серебряный кодекс, Обличение и опровержение лжеименного знания, Чернорица Храбра, Историю моих бедствий, крестоносцев, вагантов, Молот ведьм, Воспоминания Казановы, Послание в Сибирь, Колодец и маятник, Преступление и наказание, век серебряный, оловянный, деревянный...* «Выше, выше!..» — как бредил умирающий Пушкин, которому мерещилось, что он карабкается куда-то вверх по книжным полкам («Прощайте, друзья!»), но смертные силы несли его вниз на перекладных по реке с замерзшим течением к Святогорскому монастырю.

Черная воронка библиотеки вращала импровизированный столик с зажженной на нем свечой у подножия книжных полок, уходящих к высоким потолкам и теряющихся во тьме, колеблемой пламенем свечи. Владимир Максимович подкладывал Наде куски торта, ломтики шоколада, жареные каштаны.

«Моя мама, — рассказывала Надя, — пережила в детстве блокаду и всю жизнь потом собирала оставшийся хлеб, подсушивала и складывала сухари в мешочки, пошитые из старых отцовских рубаш. Кухня, сени, столярная мастерская отца были заставлены этими мешками». — «А ваш папа в свою очередь не коллекционировал столярные стружки?» — кромсая ножом пробку «Алиготе», поинтересовался Владимир Максимович. Надя сердито передернула плечами. «Ну ладно, не отвечайте, я уловил вашу мысль. Не скажу, что я особенно остро переживал книжный голод. Классику их книжный станок печатал исправно, и я бы не ощущал особого недостатка в книгах, кабы не мои огромные аппетиты...» — «Говорят, — продолжала Надя, — вы никому не даете читать ваши книги». — «Никому», — с удовольствием подтвердил Владимир Максимович. Надя озадаченно помолчала. «И мне не дадите?» — наконец душным грудным голосом произнесла она. «Что вас интересует?» — «Да хотя бы вот этот сборник Клюева, вы так трогательно рассказывали об опальном поэте...»

В назначенный день Георгий вошел на территорию наполовину акционированного предприятия и зашагал по лабиринтам с матовой подсветкой, минуя кадушки с искусственными пальмами, столы с вооруженной охраной, кабинеты с бронированными дверьми. Звук его шагов углубляла какая-то хитрая акустика, подобно шептальной стене в китайском Храме Неба, превращавшей человеческое дыхание в шум прибоя. На каждом колленце лабиринта он предъявлял пропуск; охранник кивал, вежливо указывал рукой направление и снимал трубку, чтобы сообщить о передвижении Георгия другому охраннику. Георгий оказался в большой приемной Пыхалова, человека, который был ему нужен и которому он тоже был нужен для того, чтобы оказать любезность одному его знакомому московскому фиксусу, попросившему за Георгия.

Пожилая, интеллигентного вида секретарша распахнула перед ним дверь директорского кабинета. Георгий без особого чувства робости вошел, собираясь держать себя, как всегда, в границах. Руководители нового типа часто меняли поведенческие модели, за этим трудно было уследить, трудно было привыкнуть к этому, выполняя рекомендации суетившихся повсюду имиджмейкеров. Георгий был готов ко всему. Бывало, начальнички принимали его в коридоре, поигрывая ключами от машины, чтобы не подавать руки, иногда приветливо улыбаясь, обходили свои огромные

столы, чтобы поздороваться, а случалось, молча кивали и, не предлагая сесть, углублялись в резюме Георгия... И первый, и второй, и третий тип поведения выражал лишь мигание знаков и ничего более: часто те, которые не подавали руки, помогали больше (советом или приработком), чем те, которые усаживали в кресло и поили чаем. Модификация знаков в мономолекулярном слое, образовавшемся при абсорбции. Поэтому его не смутил странноватый вид молодого седого человека с глазами умершего, которому некому прикрыть веки.

Пыхалов указал взглядом Георгию на стул, экономя движения. Заговорил, и голос его зазвучал необыкновенно мягко и человечно:

— Добро пожаловать, Георгий Алексеевич.

Несколько секунд они смотрели друг другу в глаза. Взгляды, как система зеркал, отражающих замкнутые стенами глубины. Наконец в отлаженном механизме отражений произошел сбой — Пыхалов снова заговорил первым:

— Вы приняты на работу с тридцатого числа сего месяца. У вас есть время закончить свои прежние рабочие дела. — Пыхалов тонко посмотрел на Георгия. Тот в знак согласия сдержанно наклонил голову. — А знаете, — глаза директора немного потеплели, — почему я принял решение взять на это место именно вас?

«Знаю», — подумал Георгий, но вслух вежливо произнес:

— Понятия не имею.

— Не из-за того, что за вас хлопотал С. Мы тут, надо сказать, трудимся вполне автономно. Независимо от столицы. Мы сами себе столица.

— Понятно, — сказал Георгий.

— И не только из-за ваших работ по активным гидролокаторам, с которыми я ознакомился еще на последних курсах института, — продолжал Пыхалов, все более оживая в предчувствии впечатления, которое произведут на Георгия его слова.

— Почему же? — слегка усмехнулся Георгий.

— Знаменитая у вас фамилия — Жеглов, — выдал наконец директор, и непонятно было, шутит он или говорит серьезно.

— А если б она была, к примеру, Болконский, тогда не взяли бы? — спросил Георгий.

— Тогда — нет. — Глаза Пыхалова заблестели, как будто от удовольствия. Это был неподдельный блеск, и улыбка Георгия стала шире.

— Но ведь тоже кино, — сказал он.

— Нет, книга, — не согласился директор.

— Так то — тоже книга. Братьев Вайнеров.

— То кино. — Пыхалов приподнялся, протянул Георгию руку.

Они попрощались, довольные беседой.

Уходя, Георгий чувствовал, как его буквально переполняет чувство собственного достоинства. Он еле сдерживал счастье в груди. Такое счастливое счастье, что двадцатью годами раньше он бы не удержался и тут же, в директорском кабинете, встал на руки. Он наконец получил работу, о которой мечтал! К тому же ему понравился директор, тот оказался на высоте, да и Георгий не ударил в грязь лицом.

У него оставалось в запасе десять дней, и он принял решение съездить к родителям.

«Нет, я не слишком интересуюсь людьми», — сказал Владимир Максимович. Надя недоверчиво покачала головой. «Как это возможно? А я не слишком интересуюсь книгами». — «Как это возможно, если вы учитесь в нашем институте?» — «Неужели мы вам совсем-совсем не интересны?» — настаивала Надя. «Не кокетничайте со мной, — нахмурился Владимир Максимович. — Вы-то мне как раз очень интересны. Вы, кажется, инте-

ресней, чем я предполагал». — «Интересней, чем книга?» — «О людях можно прочитать в книгах. Там они гораздо реалистичнее, чем в жизни. В реальности изображение смазано, расплывчато...» — «Может, у вас слишком слабое зрение?» — «И в конце концов, книга безопасна, старый Домби или молодой Растиньяк не могут нанести мне никакого морального ущерба. Язык, на котором они беседуют со мной, мне понятен. А с вами, хотя я почему-то уверен, что вы меня понимаете, я никак не могу найти общий язык». — «Иногда люди понимают друг друга по первым буквам слов, как это описано у Толстого», — ленивым голосом произнесла Надя. Владимир Максимович кивнул. «Однако до этой знаменитой сцены в гостиной Щербатских Левин выписывал слова коньками на льду, а Кити ничего не понимала...» — «Потому что не любила его. Когда любишь, внятно все». — «Однако, обратите внимание, вы сами говорите о книгах». — «Нет, я о любви. Но когда книга присваивает жесты любви, они переходят в разряд тривиальностей, что обкрадывает мир реальных отношений. Неужели вы это не понимаете? За что вы так привязаны к словам?»

Владимир Максимович принял объяснять. Постепенно вошел в раж. Говорил тем же раздраженным и скрипучим голосом, как на учебных занятиях, глядя сквозь Надю... Писатели старательно замалчивают повседневность, вымарывают время целыми тысячелетиями вместе со всеми его муравьиными составляющими, которые человек ощущает собственной кожей. Они сгоняют послушные толпы слов для возведения пирамиды романа, не считаясь с тем, что вокруг нее на сотни верст простирается территория неоглядной жизни, протекающей совсем в ином ритме, чем кипящая на малом пятачке воображения работа. Слова переходят в образы, как строители-рабы в каменные глыбы пирамиды. Они отбрасывают огромные тени в будущее, выбирая из него реальное время — строительный материал для времени действия, которое нагнетается, как давление в котле, и грозит разнести все вокруг. К этому воображаемому действию слетаются поколения читателей, как пчелы к летку, они и поныне относят в этот улей сладкий взятку своего личного времени в надежде просочиться в ряды хозяев времени и действия.

Странно все это. Ведь если приглядеться, станет видна чрезвычайная условность этого условного авторского времени, высасывающего наше реальное время, но услужливые жертвы слетаются к нему со всех пяти континентов; писатели же стоят в стороне, потирают руки и ждут не дождутся того дня, когда условное время разнесет реальное в ключья и времени больше не будет, как сказано в Книге. Ни времени, ни букв, кроме каких-нибудь текстов кохау ронго-ронго, никем еще не расшифрованных. И это обстоятельство не может не занимать воображения мыслящего человека, такие вот дела.

Георгий курил на перроне в ожидании поезда, с любопытством наблюдая за конфликтом двух бродяжек. Они делили пустую бутылку. На заплыванном асфальтовом пятачке шла борьба за место под солнцем, делились сферы влияния в виде перронной скамейки, на которой утоляли жажду провожающие и встречающие. Их спор, как и все раздоры последних десятилетий, велся в сугубо замкнутой, сургучом опечатанной изнутри системе, откуда не было выхода в иные сферы и слои атмосферы. Оба мыслили чрезвычайно конкретно. Системы замыкались в отчетливых корпоративных границах, в которые чужим хода нет. И все-таки Георгию удалось пройти через ловушки лабиринта и попасть в другую — вряд ли для него предназначавшуюся — ячейку. Революции, о которой говорили большевики, больше не свершится, напрасно партия караулит ее с плакатами в чужих руках, потому что планета поделена на тщательно охраняемые сферы влияния, как подземный Соцгородок, куда не ступит нога человека без пропуска, и старухи в поношенных детских шубках со стариками на кос-

тылях, приватизировав вокзальную скамейку, быть может, *избрали благую часть, которая у них не отнимется*, тогда как большие заводы, фабрики, нефтяные скважины, дома отдыха и банки постоянно переходят из рук в руки, циркулируя в замкнутой системе действительных и мнимых собственников. Ясно одно: старуха с инвалидом способны объединиться лишь перед лицом общего врага, их общий враг — любитель баночного пива, к нему обращены их гневные возгласы, их всамделишная ненависть — к приверженцам иностранного пива из пестрых жестянок, которые пока в наших палестинах ни в какое дело не могут быть употреблены.

Наконец подошел поезд, и Георгий с одной легкой сумкой в руках вошел в вагон.

Владимир Максимович учился на последнем курсе университета, когда почувствовал, что книга стихийно, как мечта, овладевает им, отнимает все свободное время, общение, природу, еще немного — и, казалось, он переродится в какое-то странное существо, способное видеть только буквы. Сделав над собою огромное усилие, он выбрался из нее. Он решил, что стихию можно приручить и даже поставить ее себе, человеку, на службу. Он углубился в учебу и сделался таким добросовестным студентом, что после окончания университета легко поступил в аспирантуру, с блеском защитил диссертацию по психологической лингвистике, а потом и докторскую — уже по семиотике. Но отравленность условным книжным временем не проходила, как головокружение в разреженном горном воздухе. Оставалось одно: перестать относиться к книге как к книге и превратить ее в вещь, бороться с тайной повседневности, разлитой между строк, наращиванием повседневных событий, которыми бедна жизнь, нападая реальному ходу времени, то есть переняв у самой книги ее претензии и замашки давно живущего в кредит промотавшегося барина.

Когда-то она собирала его, теперь он будет собирателем ее. И в основу своего собирательства заложит принцип сумасшествия книги. Книга, по сути, — безумное предприятие, похожее на выход в открытое море без парусов, компаса и карты, без запрошенной в планшеты космической цели. Внутренние звезды!.. Эти внутренние звезды среди мстительной, злой, потревоженной стихии можно разглядеть только через призму угрюмого умопомешательства, волшебную, играющую зорями оптику. Тот не напишет книги, кто не видит внутренних звезд, не чует медовой струи звуков, плавного, вращательного движения падежей, сквозного свечения смыслов, кто не скажет самому себе: это безумие — писать книгу, обнимать воздух, разламывать ломтями свет, подстригать волну, как разросшийся шиповник. Это безумие — искать в душе внутренние звезды, ведущие куда угодно, только не в гавань, чувствовать, как они размножаются методом деления клетки, заполняют горизонты видениями буйно растущего лета и в то же время закрывают взгляд, как пятаки глаза усопшего. Безумие — это бритвенное лезвие под языком, ведь только в таком укромном месте можно спрятать свое оружие, чтобы пройти через шмон так называемой прямой речи.

Из радиоточки под стук колес плыли звуки оперы «Иоланта», любимого музыкального произведения матери Георгия, в прошлом руководительницы народного хора. **ОТЧЕГО ЭТО ПРЕЖДЕ НЕ ЗНАЛА НИ ТОСКИ Я, НИ ГОРЯ, НИ СЛЕЗ,** — жаловалась слепая дочь короля Прованса. Запись 1959 года. В последние годы мать как будто забросила любимые пластинки, уже не проводит вечера в уютном кресле рядом с проигрывателем, кутаясь в пуховый платок, с развернутой партитурой в руках. Постаревший отец, прежде послушно разделявший все чувства и мысли жены, бывший инженер-строитель, коммунист с полувековым стажем, вдруг втайне от них окрестился и с головой ушел в веру... Жалобы матери на задержки с выплатами пенсий, на отключения электричества, неудачи Георгия, ли-

шившегося любимой работы в институте, дороговизну жизни вызывали у него лишь кроткую улыбку. «Вскую прискорбна еси, душе моя? — ласково отвечал он. — И вскую смущаеши мя?» Слова Псалмопевца выводили мать из себя, напоминая о том, что она утратила власть над мужем, которым совсем недавно управляла, как своим хором. В прежние времена мать умело отгораживалась от отца своей музыкой и уходила, как в плавание, в глубокое кресло рядом с проигрывателем, а теперь отец, по-прежнему занимаясь домашним хозяйством, отгораживался от ее забот и от наступивших тяжелых времен святоотеческой литературой, был всегда уравновешен, всем доволен и даже счастлив. Когда мать начинала жаловаться на тягости и невзгоды, отец начинал зачитывать вслух из Книги. «Как-то раз в том декабре, в Ленинграде, под Самсоньевским мостом, куда я ходила за водой к проруби, я наткнулась на лежащую женщину с вырванным сердцем, с вывернутыми внутренностями, будто солью, присыпанными снежной крупой!..» — вдруг говорила мать. «Горе сердцу расслабленному! — с силой восклицал отец. — Ибо оно не верует и за то не будет защищено».

Нормальная безумная книга похожа на нормального писателя Мопассана, о котором в лечебнице для умалишенных справлялся сумасшедший писатель Мопассан. «Скажите, вы не видели Мопассана?» — теребил он санитаров. «Как же, как же, мы его видели, — с веселой готовностью отвечали санитары. — Разве вы не знаете — ведь он заседает в парламенте. Мопассан удит рыбу на берегу Ла-Манша. Он обсуждает проект об отмене смертной казни с президентом Северо-Американских Штатов. Писатель Мопассан занят возведением на царский престол в Москве императора Кирилла...» Спятивший писатель Мопассан задавал свой вопрос на идиотическом языке и на нем же, слегка адаптированном добрыми санитарями, получал ответ... Такова безумная книга. Она повсюду — на Ла-Манше, в России, в Соединенных Штатах, она везде, где есть тот, кто может ответить на ее безумную речь, кто не то что жизни — разума не пожалеет, доверившись автору, припав к плечу своего поводыря. Узкими вратами входят в безумную книгу, оставляя за ними все, что может помешать протиснуться в них, — войлочных верблюдов, товары, страны, эмблемы, мраморные фонтаны с застывшими нимфами, дружбу, любовь, одежду, биографию и даже собственное имя. Таким был безумный читатель Ментелли: жил, как Диоген, в дощатой конурке, ел, как птица, спал, положив под голову Плутарха... В наше время, когда природные запасы безумия истощились и слово исчерпало первородный смысл, все меньше находится сумасшедших с внутренними звездами, вбитыми под ногти, как пытка, толкователей снов, соглядатаев, высматривающих новую землю в небе, расчищающих горизонт от предметов, хранящих твердую обязательную форму.

Вы скажете, что любая книга в той или иной степени безумна, как любой огонь — пламя, хотя бы потому, что есть читатели, бредящие с ней в унисон, идущие в разверстую пасть ее фантастического времени. Да, это чистое безумие — тратить время на плоды чужого воображения. Безумные книги пишутся симпатическими чернилами и прочитываются теми, кто умеет пользоваться светом, в том числе и потусторонним, лучи которого освещают фигуру Мопассана, участвующего в дебатах об отмене смертной казни, героически сражающегося под Плевеном, и многих других Мопассанов, вызванных к жизни и обретающих реальную самостоятельность в вопросах сумасшедшего Мопассана и ответах идиотов санитаров на правах предположения, смутного обещания, в вере, надежде и любви.

Между тем тьма за окном поезда наращивала обороты, диапазон часовых поясов сужался от скорости, с которой он неся, вещество времени делалось легучим, и из его сердцевины выкатились колеса созвездий. Сумрачные ели, корабельные сосны расступились, и поезд загрохотал по

мосту через реку Томь, в береговых слоях которой среди тальника до сих пор находят черепки Сиамы и Индии, осколки синей тян-дзинской посуды, бисерные панцири с огромными аквамаринами, длинные монгольские серьги, полусгнившие куски голубцов со старообрядческих погостов, дутые цыганские браслеты... Во время переправы на лодке через разбушевавшуюся Томь едва не утонул Чехов... Добрая мачеха Сибирь во всю ширь раскапывала рельсы — несущую конструкцию для странников ночи, по обе стороны которых всплывали исторические земли бесчисленных народов и поколений — Березово, Аркагала, Вторая речка, Томск, Чита, посеребренные селеной хребты, опаловые озера, протяжные равнины, в которых теряются птицы, с такими редкими и случайными огоньками вдаль у горизонта, что казалось: там, обведенный циркулем малого света, в котором, однако, сгорает нечистая сила, стоит Хома Брут со Святой книгой в руках и дожидается рассвета. Холодное дуло тьмы вот-вот уткнется ему в висок, но буквы спасают его от безумия, сдерживают бешеный напор ночи с дальними перегонами между горящими на небе звездами.

— Мы живем в уникальное время, — сказал Георгий. — Новое рождается так торопливо и разрушается с такой поспешностью, будто жизнь смахнула с себя все упреждающие рост фазы зерна, эмбриона, причины и следствия. Рождение его покрыто мраком, дата гибели неизвестна. Теперь не нужно порывать дипломатические отношения, загонять лошадей и обмениваться нотами для того, чтобы наступила война. Взлетная полоса короче школьной спортплощадки, а ракетносители поднимаются все выше и выше. Деньги циркулируют по банкам, как ток в неисправной электропроводке — кто хочет нагреть руки, падает замертво. Киллер убивает пулей того, кого ему заказали, и тут же падает, сраженный пулей в затылок от руки того, кому он сам был заказан, а тот падает, сраженный пулей от руки сраженного пулей. Войска зачищают территорию, но из зачищенной земли, едва прошел дождь, снова встает враг. В мозг телезрителя внедряются картинки с кока-колой, чипсами, колготками, моющим средством, и замороженные люди торопятся выполнить команды, минуя реальные жажду, голод и любовь. В это время трудно читать книги. Они покидают нас. Книжные лотки пестрят отражениями киллеров, зачищающих огромную территорию читателей.

Надя слушала его, криво улыбаясь. Потом заговорила:

— Разговор о времени бессмыслен. Время — пустая игрушка с дырочкой в правом боку, медленно выпускающая воздух. Речь может идти о создании совершенно новой знаковой системы, некоей всемирной письменности, о которой мечтали лучшие умы человечества, когда одна идея неторопливо сменяла другую. Англичанин Дельгарно размышлял над искусством обозначений, имеющих универсальный характер, о «языке вне слов». Француз Декарт решил, что мысли-идеи следует выражать числами. Немец Лейбниц предложил создать цифровой алфавит. Серб Паич зашифровал многие понятия четырехзначными цифрами. Помнится, слово «книга» выражалось числом 2300. Русский самоучка Линцбах показал, что с помощью рисунка можно передать самые абстрактные идеи, взяв за основу известные всему миру знаки и символы, — чувствуете, к чему он клонит? К чему клонит цивилизация и культура?.. И время, как переполненная плодами ветка, клонится к архаической земле, к седой древности, в которой зародилось узелковое письмо и пиктограмма. Давным-давно по ту сторону нашей эпохи и Уральского хребта мне эту самую мысль высказал один маленький полубезумный человек, большой любитель редких книг... Время причин и следствий, периодов и эпох — это расстояние между чурингой, покрытой магическими знаками, и химической формулой, между сигналом, поступающим в мозг, и движением ноги. Время — это «язык вне слов», угольное ушко, через которое продернута жизнь с водяными знаками культуры, зачастую фальшивыми.

«...И напрасно вы пренебрегаете книгами современных писателей, — упрекнул Надю Владимир Максимович. — Метод соцреализма также таит в себе некоторые запасы безумия. Он похож на нервного отрока, зарывшегося по уши в подушки, чтоб не слышать кудахтанья курицы, преследуемой кухаркой с наточенным ножом. Не желает слышать и стук чеховского топорика. Тихо-безумный отрок. Через несколько лет, возмужав, он окончательно спятит, размышляя над оксюмороном „ледяной огонь”. Время возмет отрока за руку и осторожно подведет к поджидающему его безумию. И разве могут какие-то, даже самые трагические, события тягаться со временем. Оно слева направо переписет ЦЕМЕНТ, ЖУРБИНЫХ, КАВАЛERA ЗОЛОТОЙ ЗВЕЗДЫ, ДАЛЕКО ОТ МОСКВЫ. Вскроет фантастический реализм, залегший в типографской краске, и оттуда вылетит гений чтения и книгу за книгой станет читать нам снизу вверх и справа налево, как килку индейцев, имея под рукой параллельные тексты Платонова и Мандельштама. Вооруженные опытом безумия, мы узнаем, что Любовь Яровая была бесчувственной весталкой, комиссар Штокман — болтуном, сбежавшим из Любеча от деспотичного отца-раввина, две сестры, утратив третью в чеховском застольном периоде революции, маялись дурью, и так далее. Перевернутый корнями вниз и похожий на облако, просияет нам ВИШНЕВЫЙ САД, а НА ДНЕ окажутся сытые и неправедные, как завещал Господь. Триада газ-уголь-нефть растает, и мы окажемся один на один с книгами и ощутим их безумие без подкладываемой мягкой подушкой идеологии, той или этой, с ее лозунгами, облаками и туманами, ананасами в шампанском и пайком в 125 ленинградских граммов. И вот тогда из-под усталой земли проступит, как наспех схороненная жертва, наш настоящий читательский костяк.

В детстве я любил книги одного английского писателя — до смешного, я бы сказал, английского, англичанина до мозга костей, герои которого, включая инопланетян, также являлись англичанами до кончиков ногтей, сохранявшими все свои викторианские островные привычки. Влюблялись ли герои его до безумия, погибали ли под пытками в руках пленивших их мусульман, они до последнего смертного хрипа оставались стопроцентными британцами, невозмутимыми, ироничными и церемонными поклонниками королевы и пудинга. Во времена Шекспира и Стерна они были другими, но в эпоху континентальной блокады вынуждены были перейти на самообеспечение и впервые по-настоящему почувствовали себя островитянами. Глубокая изоляция, в которой они вдруг оказались, довела здравомыслие англичан до такой отметки, что, не будь они англичанами, они все бы спятили, потому что у них и весна начиналась с того, что англичанин снимал пальто.

Вы знаете, насколько огромно обаяние книги, прочитанной в детстве, оно уничтожает разницу между плохой и хорошей книгой. Время от времени, особенно когда за окном накрапывал дождик, я возвращался к книгам любимого англичанина, стараясь сквозь воскрешаемое мною детское впечатление наделить их прежним безумием. Но текст, по которому скользил мой взгляд в уютном кругу торшера, уклонялся от текста, прочитанного когда-то под одеялом, с фонариком в руке. Сохраняя тот же сюжет, тот же порядок слов, книга облетала на моих глазах, как дерево, и, когда однажды я дошел до своей любимой главы, повествующей о том, как герой рвет письма возлюбленной, прежде чем пустить пулю в висок, я не узнал его, до того он, бедняга, постарел. Безумие моего детства оказалось бесильным против английской пули, аккуратно посланной в английский висок, каминных щипцов, которыми герой перемешивал пепел брошенных в огонь писем, серебряного подноса с прилипшим к нему клочком последнего письма, ковра, в который впиталась аккуратная струйка крови.

Я спросил себя: неужели это действительно та самая книга? Да, все так, — ее зовут Эвелина, его — Уилфрид, у нее маленькая китайская собачка, а он — член Лондонского Роксберского клуба, сказочный богач и ипохондрик, владелец дивного дома, в котором каждая комната представляет отдельную страну... Но где же мой озноб и жар, где дрожь, в которую повергал меня клочок письма Эвелины со словом „невозможно...“; адресованным трупу с тонкой стружкой крови из виска, ведь они присутствовали именно в этом месте, между слов, как знаки препинания, и „невозможно...“ сжимало мое сердце болезненной нежностью, как слова „кровь“ и „Эвелина“. Человеческий опыт или читательская практика оказались сильнее детских чар. Неужели все дело в опыте и воспитанном вкусе?.. И тут я вспомнил причину, из-за которой рассеялось обаяние любимой мною книги».

— Моя мама тоже коренная ленинградка, — рассказывал Георгий. — Когда началась война, ей было семь лет. В блокаду ее родители умерли, а маму забрали в детский дом. Но до того, как это произошло, вся семья ужасно страдала от голода, и мама спасалась тем, что играла с малахитовой шкатулкой. Это была необыкновенная вещица... Мама никогда мне не рассказывала о блокаде, но зато с ранних лет эта шкатулка из бирюзового малахита стоит перед моими глазами так отчетливо, что я, кажется, могу ее изобразить... Мама подробно описывала мне эту вещь, спасшую ей жизнь: в центре ее стояла роза, изображенная на поверхности крышки, в лепестках которой, если немного повернуть шкатулку, всплывали разные забавные фигурки, выложенные из кусочков малахита уральским мастером: заяц, крокодил, олень, куница, ястреб, русалка, расчесывающая гриву волос... И сквозь эти изображения прорастали ветви деревьев, по которым бродили меланхолические лучи солнца. Этот призрачный лес, похожий на бакстовский эдем, был насыщен меланхолией, привитой культурой, но не жизнью. Мама смотрела на меланхолическую шкатулку так долго, пока ей не начинало казаться, что она способна перевоплотиться в распускающуюся ей навстречу розу, свернувшись клубочком, как Дюймовочка, по соседству с уральским зайцем или куницей... Это был первый уровень проникновения. А когда ее забрали в детский дом, забрезжила весна, показалось забытое солнце, однажды вечером на закате мама увидела, как роза, русалка и деревья расступились перед ее взглядом, и со дна малахитового пространства всплыли другие образы: часы на звериных лапах, сфинкс, паук, ткущий паутину, меч, веер и хрустальная чаша. Но теперь мама знала, что под этим слоем паутины в неведомой глубине таится ключевой образ Розы и что он откроется ей не раньше, чем того захочет солнце... Когда ее вместе с другими детьми повезли по Дороге жизни, мама продолжала думать о неведомом, сокрытом в малахитовых глубинах, завернув свое сокровище в платок, и задумалась так глубоко, что очнулась только в могиле. Она лежала поверх других умерших детей, и когда шевельнула рукой, ее заметили и вытащили из ямы... Но узелок со шкатулкой, который она прижимала к себе, остался в могиле. Уже много позже, когда мама выросла, закончила школу, поступила в консерваторию, где участвовала в студенческих викторинах и увлекалась разгадыванием кроссвордов, в один из дней она вдруг догадалась, что было ключом к зашифрованной пиктограмме, изображенной на малахитовой шкатулке: з е м л я... Потом мама вышла замуж и связала крючком салфетку, точно такую, на какой в ее ленинградском доме когда-то стояла эта шкатулка. Теперь салфетка лежит в гостиной на серванте; когда мама вытирает с него пыль, она всякий раз делает руками такое движение, как будто поднимает что-то с салфетки и переносит на другое место — какой-то невидимый, имеющий квадратную форму предмет. Других странностей за ней не водится, мама хорошо ориентируется в мире вещей, даже слишком хорошо, на взгляд моего отца...

Свеча на столике догорала, оплывая медлительными стеариновыми бо-
родами. За окном комнаты стемнело, и уже появились звезды. Вино было
выпито, торт доеден, и Надя незаметно посматривала на часы. Чем даль-
ше, тем больше ею овладевало тоскливое, почти паническое чувство, кото-
рое накатывало на нее всякий раз, когда она, собираясь удариться в лег-
кий флирт, недооценивала чувства другого человека, который неизвестно с
чего вдруг раскрывался перед нею весь, рассчитывая беззащитной искрен-
ностью и любовью вызвать ее ответное чувство... Речь Владимира Макси-
мовича лилась легко и радостно, у него даже изменился голос, и он сам
сделался почти красив...

«Так отчего я вдруг разлюбил книги моего англичанина? Дело в том, что
в молодости мне в руки попались его воспоминания, посвященные матери,
которую он горячо любил. Она умирала от лейкемии в особняке сына, рас-
положенном на знаменитой Бейкер-стрит. На столике у ее изголовья рядом
с микстурами лежала корректура его нового романа. Мать, стараясь и в тяж-
кой болезни не изменять себе, вычитывала корректуру романа, как это
бывало и прежде. Смерть делала очередной ход, отсекая от нее общество
подруг, театр, любимый садик, — и она тут же совершала свой ответный
ход, отыскивая закравшуюся в текст сына ошибку или опечатку... Смерть
разговаривала с ней нежно и вкрадчиво, внушая всеми доступными ей сред-
ствами, чтобы женщина отказалась от высокоумной игры на равных, но та,
преодолевая слабость и тошноту, продолжала читать, читать слова... Как-то
случайно она обмолвилась сыну, что его роман, видимо под влиянием ее
болезни, претерпел странную метаморфозу... И она произнесла эту фразу раз-
драженным, разочарованным тоном, видимо, смерть в эту минуту напомнила
ей о себе приступом боли. Но тут же, преодолев свою слабость, мать писа-
теля засмеялась, заметив, что становится капризной, как беременная, и
сыну понравилась ее стойкость... Между тем это была очень важная об-
молвка. Развенчание книги не входило в специальные планы смерти, слиш-
ком серьезной для того, чтобы всерьез заниматься словами, но ее свет —
свет потусторонней жизни, пробившийся сквозь текст, гасил безупречный
порядок слов, он мог выявить в книге только бред, безумие, полное отсут-
ствие здравого смысла, вопль, плач, стон и скрежет зубовой, — но их-то
там и в помине не было... Новый ход смерти, повлекший за собой смену
оптики, напоминал обратившуюся вспять трагедию Шекспира — бабочка
безумия превращалась в последнем акте в здравомыслящую гусеницу, и
Офелия собиралась замуж за Гильденстерна.

Итак, произведение сына, которое любовь матери наделяла несуществую-
щим безумием, не устояло перед очередным ходом смерти. Но вспомним —
женщина была англичанкой, и все свои открытия она должна была стоичес-
ки преодолевать, как письма Эвелины... Мать продолжала скрывать от сына
и окружающих свою боль, боролась со страшными ночными видениями,
насылаемыми на нее книгой, совсем перестала спать, но утром снова при-
водила себя в порядок и принимала навещающих ее знакомых. Смерти
были неприятны ее светские манеры, но ни боль, ни пролежни, ни крова-
вая рвота не могли справиться с упрямой англичанкой. К тому же сын был
начеку: внутренние уступки смерти со стороны матери им безжалостно от-
метались, в будущих воспоминаниях, уже обдумываемых им, должен был
доминировать мотив мужества и сохранения достоинства, запечатленный в
вышивке, которой она занималась в перерывах между чтением корректуры,
и в составлении икебан; букет, составленный матерью накануне смерти, был
положен в ее гроб, как награда за хорошее поведение...

Эти воспоминания, написанные той же рукой, что описала отчаяние
Уилфрида над обрывками писем Эвелины, развеяли чары моей любимой
книги, может, той самой, корректуру которой вычитывала умирающая
мать писателя. Автор, ставящий мужество впереди смерти, по сути, мало-

душничают. Мужество — это глубоко интимная вещь, которую „невозможно“, „невозможно“ запечатлеть в предметах зрительного ряда, в корридах и окопах, в охоте на льва и отказе от возлюбленной, его „невозможно“ запросто навязать своим героям. Жизнь — порванное в клочья и сожженное в пламени слово „невозможно“, без всяких там каминных щипцов и серебряных подносов».

Что-то скорбное и триумфальное было в этих сумерках. На востоке настаивалась синева, силуэт леса вдали, казалось, был обведен серебряными зигзагами, над ним под музыку «Иоланты» проступали страстно горящие звезды. Солнце скрылось из глаз, пока поезд грохотал по мосту через реку Томь между ссылкой и каторгой, Великой Китайской стеной и Северным Ледовитым океаном, тайгой и тундрой, одним тысячелетием и другим, но шафранная полоса, за которой оно исчезло, долго стояла над горизонтом, алея, багровея, пока не растворилась в дымке ночи, в вечной разлуке, мчащейся, как тень самолета, через огромную землю.

В последний раз Надя увидела Владимира Максимовича в дни проходящей в Москве Олимпиады-80.

Казалось, все оркестры шестой части суши собрались на срочно выстроенных стадионах, чтобы дать заключительный концерт. Последний воздух своих легких трубы вкладывали в звуки последнего бала; как истощенные кочегары, подбрасывающие последний уголь в топку, работали клавишники. Барабанщики выбивали из натянутого пластика сумасшедшие ритмы грядущего, которое, согласно обещаниям одного из вождей, как раз в эти дни прибывало, как волна. Гобои, валторны, альты прорастали сквозь воздух, разрушая железный занавес звуковыми волнами, как войско Иисуса Навина стены Иерихона. Флейты надували связки воздушных шаров, летевших над городом. Воздухом, очищенным от провинции, оркестранты накачивали свою музыку в дни грандиозной манифестации бицепсов и юной стати, наполненных, как паруса ветром, имперской мелодикой... Она всегда сочеталась с войной и спортом, с отлаженным механизмом совокупного тела государства. Она рвалась из открытых форточек, развевалась, как флаги.

Это была очередная столичная акция, направленная против Вышнего Волочка и Челябинска, Урюпинска и Новосибирска, Читы и Нальчика, Алма-Аты и Йошкар-Олы, против Калуги, Калинина, Воронежа, Тамбова, Иванова, Рыбинска, Мологи. Чтобы очистить акустическое пространство от помех и глушилок, пожирающих свободный голос Би-би-си, от Москвы отсеки набегающую волну провинции, давно ходившей вокруг нее кругами народной ярости, — чтобы на всем протяжении пространства, от устья трубы до барабанной перепонки, беспрепятственно гнать волну радости и счастья, радости, что этих, с рюкзаками и сумками на колесиках, озабоченных и унылых, наконец-то не стало видно на ладонях больших голубых площадей, что их, напротив, заменили веселыми, дружелюбными, бодрыми иностранцами, знать не ведающими о том, что ради них для тех, с сумками, установили санитарный кордон, держат их в карантине, в осаде, натуральном хозяйстве, бортничестве и собирании грибов, тогда как здесь музыка обходит дозором кольцевую дорогу, заглушая вой ветра языческих времен.

Прилавки магазинов покрылись невиданными прежде россыпями продуктов — сыров, колбас, консервов, джемов, и Надежда ходила со своим женихом по этим магазинам, будто перенесенным вместе с иностранными гостями по воздуху, как дворцы в арабских сказках. И она, и ее жених, и другие жители столицы понимали, что это дело временное, и тащили в

свои дома все, что можно было унести в руках, чтобы встретить во всеоружии прорыв блокады. Гремела музыка в саду таким невыразимым громом, но притупившийся от сытости слух выделял из нее одну личную эмоцию, и Надежда тыкала пальчиком в паштеты и джемы, сыры и колбасы, когда вдруг в магазин вошел Владимир Максимович...

С видом совы, очнувшейся от сна, он смотрел на преобразившийся прилавок. Похоже, Владимир Максимович не знал ни об Олимпиаде, ни о смерти Высоцкого, за которой в тот день стояла большая очередь на Таганской площади. Он то изумленно смотрел на витрину, то близоруко озирался на посетителей, не решаясь задать вопрос: что случилось, отчего такое обвальное изобилие? что за чудеса в природе?.. В его сознании покупка продуктов тесно переплелась с толканием в очереди, она была связана с едой так крепко, как принятие пищи со слюноотделением... Владимир Максимович размышлял: следует ли приобретать еду в таких условиях, игнорирующих условный рефлекс и привычку, не окажется ли она ядовитой...

Надя приблизилась к нему и сказала: «Здравствуйте». — «Здравствуйте, здравствуйте», — явно не узнавая ее, ответил он. «Вы не помните меня?» — «Отчего же, — вежливо возразил Владимир Максимович, все еще недоверчиво приглядываясь к прилавкам. — Скажите, уважаемая, сегодня отовариваются все или только ветераны?» — «Абсолютно все», — ответила Надя. Владимир Максимович уловил в ее тоне иронию, но не понял, к чему она относится. Он решил, что ближайший к его дому магазин сделался какой-то хитрой базой для избранных. Не могла же вся эта снедь вырваться из контекста, которым прежде была окружена. «Так что вы будете брать?» — раздраженно спросила его продавщица. Уловив знакомую интонацию, Владимир Максимович решил, что напрасно он сомневается, с фоном и контекстом ничего не произошло. «Если можно, вот этой колбаски». — «Сколько вам?» — «Полкило, если можно». — «Берите больше». — «А сколько можно в одни руки?» — «Сколько унесете. Берите, колбаса хорошая, венгерская, в холодильнике полезит...»

Владимир Максимович принял из рук продавщицы сверток, расплатился, учтиво поклонился Наде и вышел из магазина.

«Этот рассеянный с улицы Бассейной преподавал в университете лингвистику, — сказала Надя жениху. — Он здорово был влюблен в меня». — «Неужели? — с легкой иронией отозвался тот. — Почему же он не узнал тебя?» — «Фон изменился», — пожалала плечами Надя.

«Время не устаивает нас диалогом, оно монологично по своей природе, а вот книги беседуют с нами. Но кто знает, может, в отсутствие слов жизнь наша обрела бы настоящий свой масштаб и подлинность, стала такой, какой видят ее несмышленные младенцы и звери».

ТВОЕ МОЛЧАНЬЕ НЕПОНЯТНО. НЕ ЗНАЮ, ЧЕМ МОИ СЛОВА ТЕБЕ МОГЛИ БЫТЬ НЕПРИЯТНЫ? СКАЖИ МНЕ, В ЧЕМ МОЯ ВИНА? ЧУЖИХ Я РЕДКО ЗДЕСЬ ВСТРЕЧАЮ И МНОГОГО ЕЩЕ НЕ ЗНАЮ. ТЫ НАУЧИ, Я МОЛОДА И БУДУ СЛУШАТЬСЯ ТЕБЯ...

Надя вспомнила, как бестолково они топтались в прихожей, где из-за книг двоим и повернуться негде было, и Владимир Максимович, криво усмехаясь, как бы в шутку пытался отнять у нее плащ и спрятать у себя за спиной, потом вдруг с перекосившимся от обиды лицом тянул ее за руку в комнату. Сверху на них свалились какие-то журналы, как мстительные птицы, полетели книги, и он оставил Надю, и она перестала отбирать плащ, боясь наступить на книги... Теперь он был у ее ног: сгребал с пола журналы, и она видела сверху, как постепенно успокаиваются его руки, не умеющие обнимать женщину, выстраивающие на весу многоэтажное со-

оружие, подпирая верхнюю книгу подбородком... Он поднял голову и исподлобья покорно посмотрел на нее, словно побитый пес. А Надя смотрела на свой плащ, на котором топтался Владимир Максимович.

Она наконец поняла, зачем ему книги, вернее, они сами дали ей это понять, когда обрушились на них, как ветхая стена. Это были баррикады, отгораживающие его от мира, правильные куски цельного одиночества, это было свободное, с размахом и вкусом благоприобретенное одиночество, растущее — как тень растет вместе с дубом — с библиотекой. Жизнь без людей, без мысли о них, без надежды на человека, который в часы болезни подаст стакан воды; он был готов обойтись без этого стакана, без доброй руки, поправляющей одеяло... Но не без *любви* — без настоящей, единственной любви, об этом говорили его глаза придавленной собаки, когда он смотрел на Надю снизу вверх, пытаясь удержать ее глазами, ибо руки его были заняты...

Любовь Надя не смогла ему дать, и теперь, когда она сама старалась не смотреть людям в глаза, чтобы они не подметили, что у нее взгляд придавленной собаки, вспоминала об этом с раскаянием. На том крохотном пятачке, на островке подмятого под ноги плаща, у них, двоих одиноких, измученных мечтою людей, был единственный выход — обняться, и тогда не было бы всего того, что с ним и с нею случилось потом, она бы не ехала на край света Страной Тайги, как бесчувственный багаж, и он бы не наложил на себя руки, и о нем не говорили бы институтские острословы, что его погубила гласность, вызвавшая книжный бум, благодаря которому любовно собираемые им книги обесценились... Крохотный пятачок, со всех сторон окруженный книгами, подталкивающими их — его и ее — друг к другу. Может быть, именно на этот день, для этого счастливого случая он их и собирал — он был тем самым *расстоянием единственности*, при котором возможно одно-единственное верное решение, одна-единственная любовь, но она этого не поняла, изловчившись, вырвала у него из-под ног плащ, лишив себя твердой опоры под ногами, а теперь ее настигла расплата, страшно громыхающий мост через реку Томь, над которой кружат береговые ласточки да сизые ястребы, мост между ссылкой и каторгой, реальным временем и условным, книгой и судьбой... СМОТРИ НАВЕРХ! СМОТРИ НАВЕРХ!.. ТЕБЯ НЕ ИСПУГАЕТ НЕБО! — со всех сторон слышала прорезывая Иоланта.

Она вспоминала людей, сыгравших важную роль в ее жизни, и думала, что Владимир Максимович был прав — э т и х людей, марионеток, которых кто-то дергал сверху за нитки, и волнообразное движение нитей создавало видимость работы парки — лучше было бы заменить книгами, решительно и бесповоротно, навсегда... Книги безопасны, как меняющиеся картины природы за окном, высокие сосны вдали с общим изголовьем очерченного луной силуэта, рыбой промелькнувшая под брюхом поезда река, топкие низины с огоньками в глубинах тьмы, в свете которых Хома Брут читает Святую книгу... Здесь, в вагоне, было душно от тоски и надежд.

Надя перевела взгляд на спящего Георгия, который во сне улыбался калейдоскопическим картинкам, пробегавшим под сомкнутыми веками: ему снились *лодка, стрела, облако, звезда, крест и малахитовая роза*.

ВСКУЮ ПРИСКОРБНА ЕСИ, ДУШЕ МОЯ? И ВСКУЮ СМУЩАЕШИ МЯ?



ЛЮДМИЛА АБАЕВА

*

СНЫ И ПТИЦЫ

* *
*

Зной. Сады. Белёны хатки.
В небе вечном облака,
словно новые заплатки
на линялые бока.

Южнорусская равнина,
южнорусская печаль:
нет ни гомона, ни дыма,
ни вола, ни пилигрима —
только выжженная даль.

Все летит, пылит дорога
без начала, без конца
от порога до порога,
мимо пашни, мимо Бога,
мимо милого лица...

* *
*

Что ты плачешь, косы расплетая
млечные?
Солонее слез волна крутая,
вечная.

Что влечешься в зыбь горизонталей
осиянную?
Не избудешь там свои печали
покаянные.

Берег спящий волны не разбудят
белопенные.
Ты уйдешь, а в мире все пребудет
неизменное.

Даже тот, который сердце ранил
безутешное,
с радостью проснется утром ранним
безмятежною...

Сновидение

В. Н. Соколову.

...И жутко мне было одной на краю,
когда собирались по душу мою,
звеня ледяными крылами.

И жизнь, что сияла мгновенье назад,
земная, родная, скатилась в закат —
в живое библейское пламя.

И время вернулось в излучину лет,
и бранный язык мой нарушил запрет
на Слово, что было в начале.

И звездного неба коснулась рука,
и даже душа моя стала легка
в своей неизбывной печали.

Но память туманом стояла в глазах,
и я не желала в небесных лугах
свободно витать с облаками.

И плакала горько о бедной земле,
сказать о которой дозволено мне,
но мертвыми только устами.

* *
*

Мне голос твой снится и снится,
как будто хрустальные спицы
все нижут петлю на петлю,

которые свыше предела
сжимают безвольное тело —
я обморок этот люблю.

Когда ж от петушьего ора
все сны разбежались, как воры,
застигнутые врасплох,

то в мире и места не стало,
где б не влекло, не шептало
голосом вспугнутых снов...

* *
*

В библейском небе только сны и птицы
летают невозбранно,
и ты, душа, смиренной голубицей,
звездами осиянна,
лети, лети от площадей кипучих,

сквозь торг и скорый суд,
за тот предел, где пламенеют тучи
и ветры гнезда вьют...

Мы все уйдем из суеты во славу
грядущих дней,
чтоб укрепить небесную державу
душой своей.

Двое

Уже в лесах начался листьев вычет,
чтоб дать дорогу новому...

Дыша
раздорами, вошедшими в обычай,
они еще пытались удержать
друг друга, горячась, как дети,
и незаметно перешли черту,
когда, до сокровенного раздеты,
увидели друг в друге пустоту...

* *
*

В дебри слов ушли и не вернулись
странные попутчики мои,
не отозвались, не оглянулись.
Им вослед не пели соловьи.

Не шумели деревья листьями,
не шептала горестно трава
там, где воспаленными устами
воскрешали мертвые слова.

Без любви, без жалости, свинцово
слушал мир в неоновом венце...
Сказано: в начале было Слово.
Значит, Слово будет и в конце.



ЕВГЕНИЙ РЕЙН

*

ПРИЗРАК СРЕДИ РУИН

Повествование в рассказах

МОИ УЧИТЕЛЯ

Я хорошо помню своих школьных учителей. Я окончил школу в 1953 году, и, наверное, сейчас никого из них уже нет в живых. Всем им я благодарен, их уроки не прошли для меня даром. Снимаю шляпу перед их памятью. Но настоящими моими учителями, учителями жизни, были совсем другие люди.

Прежде всего — Анна Андреевна Ахматова. Я познакомился с ней одиннадцатилетним мальчиком. Но стал бывать у нее постоянно с 1958 года, то есть когда мне стукнуло уже двадцать три. Я сочинял конечно же стихи и читал их Анне Андреевне. Но вовсе не о стихах сейчас пойдет речь.

Я, как и многие мои приятели, вырос на пустыре, образовавшемся после сталинского погрома. Было уничтожено, вытоптано все — связь времен, традиции, даже правила человеческого общения, даже элементарные благопристойные манеры сменились примитивными ужимками, всем тем, что ныне именуется «совком».

Ахматова никаким гувернерством не занималась. Она просто была примером другой цивилизации. Нужна была только простая наблюдательность, и ты видел, что значит достоинство, правильный тон на людях, пренебрежение суетой и модой. Ты понимал, что должен знать цену себе, но ни в коем случае не придавать ей базарного оттенка, не торговаться.

Даже некоторые мелочи, усвоенные мной, исходят из наглядных уроков общения с Ахматовой. Нельзя звенеть ложечкой в чайном стакане, нельзя авторучку и расческу носить в нагрудном кармане пиджака, носовой платок должен быть свежим, но смятым, и держать его следует во внутреннем кармане пиджака, брюки могут не иметь складки, но обувь должна быть вычищенной... Мог бы припомнить и еще что-нибудь в этом роде.

И может быть, самое драгоценное, что я получил от Ахматовой, — это чувство преемственности. Ахматова сама, вся ее поэзия были неопровержимым доказательством того, что великая русская поэзия не кончилась в 1917 году. Цепь, которая ковалась еще в XVIII веке, цепь, в которой были звенья чистого золота, — Державин, Жуковский, Пушкин, Лермонтов, Некрасов, — дошла до Ахматовой размежеванная модернизмом на символизм, футуризм, акмеизм, — но она все еще была единой цепью. В звеньях, как в сообщающихся сосудах, поэзия была взаимосвязана и притяжением, и отталкиванием.

Ахматова понимала это и литературно (всегда оставалась убежденной акмеисткой), и человечески конкретно. Ее встречи с Вячеславом Ивано-

Рейн Евгений Борисович родился в 1935 году в Ленинграде. Окончил там Технологический институт. Автор нескольких книг лирики; эссеист. Живет в Москве. Лауреат Государственной премии России. Постоянный автор «Нового мира».

вым, Блоком, Маяковским и Есениным, отношения с Гумилевым, Мандельштамом, Кузминым не были полузатерянными и полузабытыми эпизодами. Чудесным образом она сумела передать окружающим ее людям пульс этих событий.

В 30 — 40-е годы это были Арсений Тарковский, Семен Липкин, Мария Петровых, а затем Иосиф Бродский, Дмитрий Бобышев, Анатолий Найман и, надеюсь, я. Кажется, Мандельштам сказал, что поэту важно получить эстафетную палочку от кого-нибудь из предыдущего поколения. Мы получили ее через голову советской литературы из рук Ахматовой. И это было судьбой.

Стихи нашего поколения стилистически могли быть иной пробы, чем у Ахматовой, но если она признавала поэта, это было важнее всех премий и публикаций.

Мне вообще повезло с учителями...

...Другой человек, показавший мне пример жизни, был почти полярной противоположностью Ахматовой. Никто не сомневался в его замечательной поэтической одаренности, но пока он жил, ни одна книга его собственных стихотворений не увидела свет. Он никогда не был за границей, если не считать кратковременного пребывания в Румынии, оккупированной советскими войсками в 1945 году. И Парижу, и Коктебелю он предпочитал деревенскую избу в Тверской области на реке Хоча — притоке Волги. Звали этого человека Аркадий Акимович Штейнберг, Акимыч, как обращались к нему все, кто его знал.

Он родился в Одессе, но скоро уехал оттуда. (Кстати, это же случилось с Ахматовой, и эта несущественная параллель — единственное, что их сближает.)

Штейнберг был прежде всего Мастер. Он умел делать десятки вещей, и все их делал превосходно. Он замечательно, первоклассно перелагал на русский язык западных и восточных классиков — упомяну только англичанина Мильтона и китайца Ван Вей. Он был ни на кого не похожим, профессиональным художником, учился во ВХУТЕМАСе. Масляная живопись и графика сопровождали его до последних дней. Он умел перебрать бревно на старой избы, он умел починить лодочный мотор, он знал все о рыболовстве, столярное дело, плотничество было у него, что называется, в руках. И кроме всего прочего, являлся несравненным кулинаром, нигде, кроме как за его столом, я не ел такого грибного супа, такого жаркого, не пил таких замечательных водок, настоянных Акимычем на чесноке и травах. Но всего этого мало. Он был очень хорошим музыкантом. Владел скрипкой, играл на фортепиано и фисгармонии. Его медицинские познания были толковы и обширны. Когда он стал зеком, попал в лагерь, ему приходилось работать там и врачом, и фельдшером. Он дважды сидел. Но в промежутке между сроками отлично воевал и сделал неплохую армейскую карьеру. На войне он занимался контрпропагандой, так как в совершенстве владел немецким языком. Он дослужился до звания майора, получил высокие боевые награды.

И все-таки это только внешняя оболочка. Максимилиан Волошин говорил, что главное произведение поэта — это сам поэт. Из всех, кого я встречал в жизни, более всего это относится к Штейнбергу.

В его домах, сначала на Шаболовке, а потом в Щукинском проезде и в деревянных избах, собирались десятки людей — поэты, художники, переводчики, физики. Их объединял, связывал Акимыч. Он умел и знал больше каждого из нас. И вместе с тем каждому он был ровня, каждому он был интересен и во многих случаях нужен. Он умел разглядеть в этих молодых людях сердцевину. И подсказать самое существенное, направить на самостоятельный путь. Он был одновременно наставником и приятелем.

Жизнь Штейнберга вместила крайне драматические ситуации — нужду, распад семьи, два каторжных срока, уничтожение книги оригинальных

стихов, вобравшей тридцатилетнее творчество. При этом он понимал свою жизнь как удавшуюся, полноценную, бесконечно интересную. И он сумел передать эту витальность почти всем из своего окружения. Он научил нас тому, что жизнь нельзя переждать, что отрицание и обида — неплодотворны. Пока ты недоволен жизнью — она проходит. Душа должна трудиться ежедневно, рука иногда может и отдохнуть.

Штейнберг умер у себя в деревне, на берегу реки, в 1984 году, восемнадцать лет, как его нет на земле. Но люди, которые окружали его, связаны до сих пор его именем. Нет случая, чтобы, встретившись или в застолье, или в сутолоке суеты, они не вспомнили Акимыча.

И можно ли поставить себе памятник драгоценнее?

ЗНАМЕНИТАЯ ГОРБИНКА

Великие люди не похожи на нас с вами, и у них есть для этого все основания. Вот, например, Анна Андреевна Ахматова... Но расскажем все по порядку.

В 1943 году в эвакуации в Ташкенте замечательный художник Александр Тышлер сделал несколько карандашных портретов Ахматовой. Один из них, на мой взгляд, самый лучший, тот, где Анна Андреевна нарисована в профиль, сидящей на стуле, оказался у Лидии Яковлевны Гинзбург. Как он к ней попал, я не знаю, вернее всего, он был подарен самой Анной Андреевной. Но я прекрасно помню, что он всегда висел над письменным столом еще в старой квартире Лидии Яковлевны на канале Грибоедова.

И вот однажды Анна Андреевна попросила меня привезти этот портрет к ней, так как ей что-то из ташкентских времен припомнилось, и она хотела проверить свои воспоминания по этому рисунку. С Лидией Яковлевной все уже было договорено.

Я заехал на канал Грибоедова, завернул обрамленный и застекленный портрет в газету и привез на Петроградскую сторону к Анне Андреевне.

Ахматова поставила портрет на столик, к чему-то прислонила, чтобы он не упал, и стала пристально в него вглядываться. Потом она начала рассказывать мне что-то о своих ташкентских годах. Помню только, что время от времени она взглядывала на тышлеровский рисунок, а иногда подносила его поближе к глазам. Неожиданно посреди беседы она спросила:

— Женя, вы можете вынуть его из рамки?

— Ну конечно, — ответил я, отправился на кухню с портретом и через пару минут кухонным ножом раскрыл незамысловатую рамочку.

Вернувшись в комнату, я положил перед Ахматовой рисунок. И тогда Анна Андреевна внезапно достала откуда-то ластик и карандаш, которые, вероятно, были у нее припасены заранее. К моему удивлению, она решительно что-то подчистила ластиком и столь же решительно что-то поправила карандашом на рисунке.

Видимо, я смотрел на все ее действия с большим изумлением, потому что Ахматова сказала как бы в ответ на мой вопросительный взгляд:

— Он сильно преувеличил знаменитую горбинку, я немного поправила. А теперь надо это дело вернуть на место.

И я вставил рисунок обратно в рамку, под стекло.

Этот ахматовский портрет, много раз репродуцированный, находится теперь у Александра Семеновича Кушнера и так же, как когда-то у Лидии Яковлевны, висит у него в кабинете. Всякий раз, когда я у него бываю, я подхожу и рассматриваю этот портрет.

Если взглядеться повнимательнее, то видна поправка Анны Андреевны — она уменьшила ту самую знаменитую горбинку. Мне кажется, что даже в этой мелочи сказался некий ахматовский принцип: будущему ахматоведению она хотела как можно больше передать из собственных рук,

справедливо полагая, что об Анне Ахматовой больше и лучше всех знает сама Анна Ахматова.

И все-таки какой надо иметь характер, какую решительность, чтобы поправить законченную работу мастера и точно знать, какой именно облик следует канонизировать. Ахматова это знала.

Последний раз живую Ахматову я видел в самом конце 1965 года, может быть, тридцатого или тридцать первого декабря. Когда, будучи в гостях у Ардовых, я сказал, что собираюсь навестить Анну Андреевну в Боткинской больнице, хозяйка дома, Нина Антоновна Ольшевская, попросила меня захватить с собой пачку ахматовских фотографий, которые хранились в ардовском собрании; об этом просила сама Ахматова, и мне тут же эту пачку вручили.

На другой день в послеобеденное время я приехал к Анне Андреевне. Была со мной свежая западногерманская газета со статьей об Ахматовой, апельсины, банка ананасового сока (в ту пору — редкость) и эта самая пачка. Анна Андреевна при мне стала рассматривать фотографии. Иногда она что-то поясняла мне по ходу рассматривания.

Ах, как я жалею, что немедленно, на свежую память, не записал всего того, что тогда услышал. Точно я помню только несколько замечаний, которые и приведу здесь.

Среди фотографий там была переснятая со старого фото группа — семья Горенко: мать, братья и сестры. Анна Андреевна — в центре, в большой, модной в начале позапрошлого века шляпе. Сестра ее в это время выходила замуж, и Иннокентий Федорович Анненский, знаменитый царскосел, сказал: «Я бы выбрал другую сестру». Он имел в виду Анну Ахматову. Чувствовалось, что Ахматовой приятно было повторить эту реплику великого и любимого поэта.

Попалась нам и фотография, на которой Ахматова делает гимнастику — «мостик». Это было удивительно видеть, особенно в сравнении с крупной и тучной Ахматовой, какой она стала к концу жизни. «Я могла затылком коснуться пяток», — сказала Анна Андреевна. И вдруг добавила нечто по поводу своих спортивных достижений: «А плавала я так, что мой брат, кадет, которого специально обучали плаванию, как-то заметил, что в его роте никто бы „переплывать“ Аню не смог».

Едва ли не последней фотографией была та, где Ахматова и Пастернак сняты вместе. Оба — в вечерних темных одеждах, оба довольно напряженно смотрят в объектив. «А это — в Колонном зале, за кулисами после выступления, именно тогда все и случилось. Это когда Сталин спросил: „Кто организовал вставание?“ Сидим с Борисом как две обезьяны, зарабатываем Постановление...»

В тот же день я уехал в Ленинград встречать Новый год. А пятого марта из сообщения по радио Би-би-си узнал, что Ахматова скончалась.

КОЕ-ЧТО О СТРАХЕ

Собственно, тема эта такова, что границ ее определить нельзя. Куда ни ткнусь я среди воспоминаний и бывшей своей литературной жизни — всюду выведено одно слово: СТРАХ. Четкость этой надписи бывает разная — иногда она выведена могучей кистью на заборе, иногда — едва проступает сквозь бледную копирку. Но полнейшего отсутствия ее припомнить не удается.

Сейчас мы об этом сильно подзабыли. А ведь люди моего поколения и особенно те, кто постарше, сталкивались со страхом на каждом шагу. Как вечная мерзлота в тундре, он лежал под слоем нашей жизни, определяя поступки, мышление, манеру поведения. Иной раз человек вел себя каким-то непонятным, непредсказуемым образом. Объяснить — что? как? почему? — было очень непросто. Но существовал ключ к его поведению —

им руководил страх. Иногда он не знал даже, чего именно боится. И это было самое страшное.

Особенно это было распространено в интеллигентской, а еще больше в литературной среде. Забавно, что столкнулся я с этим буквально при первом же своем литературном свидании.

Это произошло в Ленинграде, году в пятьдесят четвертом. Во всяком случае, уже умер Сталин. Но страх, как известно, обладает могучей инерцией.

Мне было восемнадцать лет. Лет пять уже я сочинял стихи и по мере сил пытался разобраться в окружающей меня литературе. Книг было очень мало. Куда-то их спрятали, сожгли, рассовали по подвалам. В библиотеках не было почти ничего. Но я освоил обходные пути — книжная барахолка на Обводном, сундуки в коммунальных коридорах. Знал я в лицо и многих ленинградских литераторов.

И вот прекрасным весенним вечером, подсвеченным каплями дождя, накануне белых ночей шел я по Невскому проспекту и у Екатерининского сквера столкнулся с человеком, которого немедленно узнал. Это был известный в ту пору ленинградский поэт Виссарион Саянов. Отношение мое и моих приятелей у нему было положительное — без восторга, но положительное. Теперь его поминают чаще всего эпитаграммой:

Видел я Саянова — трезвого, не пьяного,
Трезвого, не пьяного — значит, не Саянова.

Действительно, он, кажется, сильно выпивал. Но когда-то в двадцатых годах он писал интересные полулефовские стихи, главное же — собирал и редактировал антологии новейшей французской поэзии, откуда и сияли путеводные звезды для всех нас, начинающих. Одна из таких антологий, «От романтиков до сюрреалистов», переведенная Бенедиктом Лифшицем, но все-таки связанная и с Саяновым, была, если можно так выразиться, книгой книг для всех, кто пытался разобраться в поэзии двадцатого века. В общем, Виссарион Саянов недаром слыл образованным человеком. Но потом, в середине тридцатых, что-то с ним произошло. Он как будто забыл все, что делал прежде. Погрузился в беспросветную пьянку. Отпустил кустистые мужицкие усы, стал писать какую-то дремучую прозу. В общем, как говорится, этот Саянов и тот, прежний, были два незнакомых друг с другом человека.

И вот я столкнулся с ним нос к носу на Невском. Неожиданно для себя я подошел к нему и поздоровался.

— Здравствуй, мальчик, — невесело ответил он, — чего тебе?

И тут я прочел вслух, и довольно громко, начало старого стихотворения «Трокадеро» — быть может, лучшего стихотворения Саянова. Он остановился и положил мне руку на плечо.

— Боже мой, откуда вы это знаете? — спросил он.

Я собирался что-то ответить, но он не стал меня слушать. Видно было, что поэт крепко нетрезв, но почему-то меня это не остановило.

— Это надо отметить, — без всякой паузы сказал он.

Неподалеку от угла Невского и Садовой находилось кафе «Квиссисана», ныне уже не существующее. Туда и привел меня Саянов. Он уверенно прошел в глубину зала, где в дальнем углу его поджидало несколько человек. Там за овальным столом сидела уже порядочно подогретая компания. Помню, как за столом появилось сразу несколько бутылочек портвейна «Три семерки».

— Мальчик со мной, — сказал Саянов, и этими словами как бы было узаконено мое положение за столом, мне даже что-то плеснули в рюмку. Компания Саянова была пьяна, разговор у них не клеился, возникали паузы.

— Это мой поклонник, сейчас мы с ним выпьем за поэзию.

Никто не обратил на меня внимания, все продолжали какой-то вялый пьяный спор на футбольную тему.

— Ты конечно же пишешь стихи, и я вот тоже жизнь убил на это, сейчас все мои стихи пустое дело... — Мысли Саянова как-то прыгали.

Я сидел, помалкивая, полчаса, час. Наконец мне это надоело.

— Виссарион Михайлович, как вы думаете, кто сейчас лучший современный поэт? — обратился я к Саянову.

И этот мой вопрос за пьяным столом почему-то все слышали, затихли. Но вопрошаемый сделал вид, что ровным счетом ничего не произошло. Он поднял рюмку и провозгласил нечто вроде тоста: «Нам не дано предугадать, как наше слово отзовется!» и что-то еще в этом роде.

В одиннадцать кафе закрывалось.

— Проводи меня, мальчик, это недалеко. — Как-то моментально поэт протрезвел и поглядел на меня внимательным и строгим глазом и внезапно укоризненно сказал: — Как же ты так неосторожен? В пьяной компании? Да разве ты знаешь этих людей? И вдруг ты прямиком с таким вопросом!

— С каким вопросом? — Я даже не понял сначала, о чем он говорит.

— Ведь ты спросил у меня, кто наш лучший поэт, а они знают — кто и следят, как я отвечу, а врать стыдно. Ты что, не мог дождаться, когда мы окажемся одни? Думай, что говоришь там, где нельзя говорить, что думаешь.

Эти слова я запомнил навсегда. Я шел молча, сбитый с толку всеми этими укорами. И Саянов замолчал. Мы повернули на канал Грибоедова.

— Ну вот, почти и пришли, — сказал Саянов и добавил: — А тебе действительно интересно знать, что я думаю на этот счет?

— Конечно же, Виссарион Михайлович.

И тогда на совершенно пустой набережной канала Саянов огляделся, наклонился ко мне и внятно прошептал мне на ухо:

— Пастернак.

И вот прошло столько лет, давным-давно нет Саянова, но почему-то не забывается этот пустяковый случай. Все в нем продиктовано страхом: страхом доноса, страхом за свое положение, страхом неизвестно чего. Он боялся назвать имя Пастернака вслух, хотя тот даже не был репрессирован, он только лишь был нежелателен в то время советским идеологам. И этого было достаточно.

Саянов боялся.

Но страх рождает и унижение, когда человек не в состоянии отстаивать свое достоинство.

Через многие годы я переехал в Москву и поселился на Арбате, рядом с домом Вахтанговского театра. Там, во втором подъезде со двора, была квартира Павла Григорьевича Антокольского, где я стал часто бывать по самым разным причинам — личным и литературным. Хочу припомнить один эпизод.

Как-то раз в гостях у Павла Григорьевича собралась компания поэтов. И среди них была женщина, которую он боготворил, почитая во всех отношениях, — за стихи, за красоту, за особую пленительную манеру поведения, за безупречный вкус, ну буквально за все. Эта женщина, как и полагалось, верховодила за столом. Надо добавить, что там находился еще и чей-то ребенок лет пяти, кто-то из гостей пришел со своим сыном.

Присутствующие довольно бурно веселились, что-то громко кричали, переговариваясь через весь стол. И кому-то из гостей пришло в голову попросить мальчика влезть на стул и прочесть любой стишок, который он помнит наизусть. Мальчик немедленно забрался на стул и что-то начал декламировать. И вдруг я увидел, что Антокольский явственно помрачнел.

— Не надо, довольно, — сказала женщина.

Ребенок слез со стула, и все было забыто.

Потом эта дама рассказала мне одну историю. Следует только сразу оговориться, что Павел Григорьевич был совсем маленького роста, почти как мальчик.

Долгие годы своей жизни Антокольский был связан с Азербайджаном, переводил «ведущих» поэтов, редактировал поэтические антологии. И вот однажды его пригласили на дачу к Багирову, человеку, близкому сталинскому окружению, хозяину Азербайджана. Кажется, Багиров видел в тот раз Антокольского впервые. Во всяком случае, когда кто-то из ответственных москвичей представлял Антокольского, Багиров внезапно произнес:

— Поэт? Знаменитый поэт? А пачиму лилипут? А ну-ка залезь на стул. И... Антокольский влез на стул.

— Тэпэрь с-сам выжу, — удовлетворенно сказал Багиров, — можешь слезать.

Но это не стало концом муки и унижения Антокольского. Через некоторое время, когда началось застолье и стали произноситься тосты, Багиров вдруг вспомнил о Павле Григорьевиче и приказал:

— Эй, ты, маленький, ты говорить будешь со стула.

И Антокольскому снова пришлось залезать на стул и произносить какие-то здравницы.

Понятно, что до конца жизни Антокольский не выносил вида маленького ребенка, стоящего на стуле и декламирующего стихи.

Совсем уже причудливый образ этого всеобщего страха припоминается мне в связи с Владимиром Луговским.

Луговской жил в знаменитом писательском доме в Лаврушинском переулке, где в середине тридцатых годов обитали самые знаменитые, находившиеся на волне официального и читательского успеха советские писатели. Правда, вскоре обстоятельства переменялись и хозяева многих квартир этого «элитного» дома были заграбастаны Лубянской.

Причудливо сложилась и судьба Луговского. Из первого поэта сталинского имперского государства он превратился в тихого литературного обывателя, сердечно, я думаю, благодарного за то, что его не превратили в лагерную пыль.

Самой достопримечательной частью его квартиры был обширный кабинет с великолепной библиотекой, старинными гравюрами и картинами, украшавшими стены, с редкостной коллекцией холодного и огнестрельного оружия. В довершение ко всему под потолком были развешаны военноморские флаги чуть ли не всех европейских стран. Все это были остатки его бурной и поэтичной (в кавычках и без оных) жизни в начале тридцатых годов. Однажды я даже видел самого хозяина в этом кабинете, но в основном стал бывать в этой квартире значительно позже, у вдовы поэта.

Над письменным столом Луговского висела, прикрепленная к книжному стеллажу, гравюра с изображением одной из химер собора Парижской Богоматери. Я никогда особенно не интересовался химерами и, наверное, так ничего бы и не узнал, если бы однажды вдова поэта Майя не перевернула гравюру. На обороте ее находился знаменитый рисунок Юрия Анненкова — портрет Анны Ахматовой.

Оказалось, что Луговской всю жизнь боготворил Анну Андреевну, и в былые годы этот портрет всегда висел над его столом. Но грянули ждановские постановления, и держать этот портрет в доме стало небезопасно. Любой зашедший по соседству на огонек приятель мог сообщить куда следует.

И тогда Луговской придумал этот трюк с химерой. Он сделал двустороннюю окантовку, и все оказалось в полном порядке — на одной стороне портрет Ахматовой, на другой — парижская химера. Пока он был один в кабинете, а дома были только свои, над столом поэта царила Анна Ахматова. Раздавался неожиданный звонок, портрет переворачивали, и на окружающий мир взирало никому не ведомое чудовище — всего лишь курьез, порождение фантазии средневекового мастера.

Прошли годы, но этот двойной портрет так и помнится мне своего рода двуликим Янусом — как памятник буквальному двоедушию, двурушничеству, поразившим нашу литературу. Кстати, еще неизвестно, исчезла ли эта двойственность вместе с исчезнувшим СССР.

И последним фрагментом этих отрывочных и совершенно не обязательных воспоминаний будет нечто комическое, хотя комизм этот можно расценивать по-разному.

В 1973 году я оказался в Киеве в качестве командированного журналиста от «Литературной газеты». Как всегда, командировку следовало отметить в тамошнем Союзе писателей, куда я первым делом и отправился.

Время было довольно раннее, а я специально не завтракал, будучи наслышан о том, какие превосходные харчи выдаются в киевском литературном ресторане «Эней». Ресторан назывался столь экзотично в честь героя поэмы Котляревского, пересказавшего на свой лад древнеримскую «Энеиду».

Я уселся за столик, заказал все, что полагалось, и обратил внимание, что по соседству, несмотря на ранний час, уже кутит некая компания. Знаменитая горилка со стручками перца в бутылках венчала их стол, шипели яичницы с салом, громоздилась домашняя колбаса. Словом, все было в большом порядке, и компания за соседним столом довольно шумно отмечала неведомый мне праздник. И в этот момент в зал ресторана зашел какой-то неизвестный мне человек. Пирующие затихли. Но, увы, остаться незамеченной такая компания не могла, и беда не обошла их стороной.

Проходивший по ресторану человек был, видимо, один из секретарей киевского Союза писателей. По его понятиям, время для столь роскошного пиршества было слишком раннее, что, может быть, и справедливо. Однако действовал он способом, возможно, единственным во всем литературном мире. Без всяких выяснений и предисловий на испорченном русско-украинском языке, так называемом суржике, он яростно заорал на своих собратьев по перу:

— Чёй-то вы, очи не продравши, заливааете! Попрацевать сначала надо, хуть для приличья. С обеда, что ли, не могли бы начать...

Один из сидевших за столом попытался успокоить его, объяснив, что, мол, у кого-то вышла книга. Но это возымело обратный эффект, секретарь раздражился еще больше.

— А ну геть отсюдава! — крикнул он, и через минуту я был единственным посетителем «Энея».

И таких историй я мог бы вспомнить десятки, иногда они просты как дважды два, иногда имеют сложные интеллигентские, даже интеллектуальные обличья. Но на дне каждой из них лежит один и тот же унылый и тяжелый камень — СТРАХ.

ПЕРВЫЕ ВСТРЕЧИ

В молодости я был весьма сообразительным. И это приносило свои плоды. Я учился в Ленинградском технологическом институте имени Ленсовета. На втором курсе в конце учебного года надо было сдавать проект — пять листов чертежей. На последнем этаже главного корпуса находилась наша «чертежка». Там стояли доски и кульманы. Приближалась весенняя сессия. С утра до ночи студенты корпели над своими заданиями. Я тоже не вылезал из «чертежки». Но я был не только студентом, но еще и старостой институтского литературного кружка. А шефствовал над нашим кружком профессор физики Никита Алексеевич Толстой — сын знаменитого писателя. Был в «чертежке» и телефон внутренней связи. Однажды раздался звонок, кто-то снял трубку и прокричал: «Рейна к телефону». Звонил Толстой.

— Женя, — сказал он, — вот какая история. Впрочем, зайдите-ка на кафедру.

Кафедра и физическая аудитория находились в другом корпусе. Я побежал туда. Около дверей кафедры на табуретках сидели двое. Я тогда еще не знал их в лицо. Я прошел мимо них в кабинет Толстого. Он выглядел явно смущенным.

— Вы знаете, Женя, какая история, к нам явились двое авантюристов, они выдают себя за поэтов, но я, признаться, таких поэтов не знаю.

— А чего они хотят?

— Хотят выступать у нас. Принесли какую-то липовую бумажку. Якобы путевка из Москвы.

— Там есть их фамилии? — на всякий случай поинтересовался я.

Толстой поднес к очкам синий листок и прочел:

— Евтушенко и Слуцкий.

Я ахнул:

— Никита Алексеевич, это действительно поэты, оба очень талантливые.

— Вы это точно знаете?

— Абсолютно.

— Но как же им выступать? Сейчас сессия. Как собрать студентов? И где выступать? Впрочем, физическую аудиторию я могу дать на два часа. Но где взять публику?

И тут я решился и сказал, что публику я соберу. Я вышел в коридор и познакомился с Борисом Абрамовичем и Евгением Александровичем.

— Ждите меня, — сказал я им и побежал обратно в «чертежку». Там в этот момент склонились над проектами больше ста человек. Как мог зычно, на пределе голоса, я закричал:

— Ребята, послушайте! К нам из Москвы приехали два замечательных поэта, будут выступать в физической аудитории. Полтора часа вас не спасут. Зато вы на всю жизнь запомните эту встречу с ними. Всего полтора часа! Выручайте меня, это я их пригласил... — (Надеюсь, мне простится это вранье, может быть, самое благородное вранье в моей жизни.)

Как это ни удивительно, но почти все переместились из «чертежки» в физическую аудиторию.

Тот, кто слышал чтение Слуцкого и Евтушенко, знает, что оба они превосходят доносили свои стихи до аудитории. Конечно, каждый в своей манере, но оба артистично, ясно и доходчиво. Да и вообще, кто лучше поэта прочтет его стихи.

Я председательствовал на этом импровизированном выступлении и тоже, кажется, был в ударе. Пришел и Никита Алексеевич, сидел в первом ряду, вальяжный, благодушный, очень довольный и очень похожий на портреты своего знаменитого отца.

Замечательно, что уже тогда, в пятьдесят пятом году, и Евтушенко, и Слуцкий читали свои лучшие стихи, ставшие классикой нашей поэзии. Я точно помню, что были прочитаны «Свадьбы» и «Лошади в океане». Толстой сиял и задавал вопросы.

Когда вечер закончился, я, слава богу, плюнул на свои чертежи и пошел проводить москвичей к вокзалу в гостиницу «Октябрьская». Они пригласили меня в номер выпить вина.

День этот я бы отметил красным в календаре своей жизни. От него протянулась долгая нить моих отношений и со Слуцким, и с Евтушенко. В нелегкой моей поэтической судьбе отношения эти были и подспорьем, и утешением.

«МЫ — ЕВРЕИ»

Вот уже шестнадцать лет нет на свете Ильи Авербаха, близкого моего друга и, на мой взгляд, выдающегося режиссера кино.

В молодости Илья был ко всем своим особым качествам еще и очень красив. Сходство его с французским актером Бельмондо поражало. В на-

шем кружке тогда увлекались фильмом Годара «На последнем дыхании», смотрели его по нескольку раз и удивлялись такому невероятному сходству. Илья был спортивным человеком, играл во все игры, в движениях был порывист, но соразмерен. Он одним из первых среди моих знакомых стал элегантно одеваться — все мы тогда были небогаты, да и достать хорошие вещи было неоткуда. Но даже костюм от знаменитого ленинградского портного Алексеева, чешская шляпа, пальто из ГДР сидели на Илье так, словно бы он вчера все это приобрел на бульваре Османа или Оксфорд-стрит.

Я уже не помню, как и почему мы со своими женами оказались однажды на Лермонтовском проспекте в Ленинграде. Мы куда-то направлялись и, видимо, не очень спешили. И вдруг увидели здание странной архитектуры с непонятной надписью на фронтоне. Кажется, я первый сообразил: «Да ведь это синагога!» Кстати, Илья по материнской линии был внуком царского генерала Вилагова, ну а в еврейских делах мы с ним оба понимали одинаково мало. И мы вчетвером вошли в синагогу. Немедленно, прямо на входе, нас остановил некий человек и объяснил, что, во-первых, женщинам внизу находиться нельзя, им полагается подняться на хоры, а во-вторых, мы должны покрыть себе головы (а мы как раз сняли шапки, так как посчитали, что находимся в храме).

Меня поразило, что в синагоге люди свободно переговариваются. Внезапно запел кантор, в этом голосе было нечто отчаянное, даже трагическое. В общем, мы были смущены душой. Это был неизвестный нам мир — мир иудейства. А кто были мы? Русские, может быть, но не совсем. Евреи? Но тоже какие-то неполноценные.

Чтобы не оставлять женщин на хорах одних, мы вскоре тоже поднялись туда. И увидели на стене объявление — нормальное советское объявление, забранное под стекло. Сообщало оно следующее: «Граждане евреи, просим вас передавать пожертвования служащим синагоги, остерегайтесь случайных лиц». Илья почему-то бурно захохотал. Как я понимаю, его развеселили эти «случайные лица». И это действительно было забавно. Да и обращение «граждане евреи» — крайне неординарное.

— Граждане евреи, граждане евреи, — все повторял Илья и хохотал. А потом достал из кармана складной нож и ловко отделил это объявление от стены. Он спрятал объявление под свое широкое пальто, и мы, никем не уличенные в этом мелком хулиганстве, вышли из синагоги.

Объявление это долгие годы висело в квартире Ильи на улице Подрезова, потом, при переезде, пропало. Кроме того, результатом этой прогулки стало то, что Илья сочинил рассказ «Мы — евреи», где описал приблизительно то же, что и я, но в сказовой манере, несколько напоминающей раннего Зошенко. Рассказ Авербах публиковать не стал, и, видимо, он лежит где-то среди его бумаг, а название рассказа я у Ильи позаимствовал, и, надеюсь, он меня за это не осудит...

...Впервые я прилетел в Нью-Йорк в сентябре 1988 года. Деловой частью моих выступлений ведал Бродский, и он всегда заставлял заказчиков платить мне очень приличные деньги. И вот однажды, когда я из Калифорнии вернулся в Нью-Йорк, мне позвонили из Бруклинской синагоги и попросили приехать, почитать стихи. К сожалению, Бродского в этот момент не было рядом, и я попросил Гришу Поляка, нашего общего приятеля, переговорить с этими бруклинскими заказчиками. Люди из синагоги ссылались на крайнюю бедность, на какой-то там упадок в делах, и предлагали за выступление пятьдесят долларов. Но это было совсем оскорбительно, и Гриша потребовал в три раза больше. Как и полагается, сошлись где-то посередине — на ста.

И вот мы с ним поехали в адскую, по моим понятиям, даль, заплатили только за такси чуть ли не тридцатку, еле-еле нашли эту синагогу, где, однако, собралось человек пятьдесят или даже больше. Я оказался в хоро-

шей форме, ко всему еще старался, и мне показалось, что аудитория вполне довольна. Настала минута расплаты. Мне протянули конверт. Я хотел было, не распечатывая, сунуть его в карман, но опытный Гриша твердо сказал: «Посмотри, сколько там?» — «Неужто могут обмануть?» — «Ты все-таки посмотри». Я открыл конверт — в нем было семьдесят долларов. Я даже растерялся от этого наивного жульничества. И показал Грише семь десятидолларовых бумажек. «Так я и знал! — почти завопил он. — Что же вы такое вытворяете, а где еще тридцать?» — «У нас больше нет, — ответили ему так же твердо. — Если хотите, возьмите недостающее кошерным вином». И нам вынесли ящичек, где небольшие фляжки были пересыпаны стружками.

Оказалось, что это неплохое вино, что-то среднее между молдавским портвейном и крымской мадерой...

В конце 90-х годов я провел полтора месяца в Израиле и сдружился там с врачом-психиатром Леоном, или попросту Левой. Это был, безусловно, незаурядный человек, любитель и знаток литературы и вполне процветающий доктор. И к тому же полиглот, кроме европейских языков он знал иврит и даже немного арабский. За эти полтора месяца он на своем «мерседесе» показал мне чуть ли не весь Израиль.

И вот однажды он привез меня в кибуц, где-то около Натании, и сказал, что здесь живут крестьяне-сектанты, выехавшие из России, так называемые «субботники». Это было любопытно. Я отправился поглядеть на субботников, они же на меня никакого внимания не обратили. Я уже знал, что в Израиле евреем считается всякий, кто исповедует иудаизм, остальное — безразлично. И все-таки я удивился. Вот эти деревенской, абсолютно русской внешности люди — евреи? Как-то не укладывалось в голове. Я подошел к самому колоритному из них — мужику, словно только что сошедшему с картины Репина или Сурикова. Он был коренастый, сутулый, борода лопатой, голубенькие, будто выцветшие, глаза. Я представился и как-то неловко, нетактично сказал ему:

— Ну какой же ты еврей? Сам-то ты в душе что думаешь?

Он же в ответ спросил меня:

— А как тебя будет по батюшке?

Я ответил:

— Евгений Борисович.

— Ну вот видишь, — и он почему-то развел руками, — а меня — Израиль Моисеевич.

И мне нечего было возразить.

Буквально на следующий день Леон повез меня в противоположную сторону, в Синайскую пустыню. Пустыня — это грандиозное, впечатляющее зрелище: бесконечные барханы, выветренные скалы, оранжевые пески до горизонта. Абсолютное безлюдье.

И вдруг перед нами оказались какие-то рваные не то шатры, не то навесы, дюжина верблюдов около них.

— Что это, Леон?

— А это бедуины, они здесь кочуют.

— Давай остановимся и поглядим.

— Давай.

Мы выбрались из «мерседеса» и подошли к наименее дырявому шатру, полагая, что в нем проживает главный бедуин. Леон попросил меня подождать в машине, а сам пошел на разведку со своим неполноценным арабским. Впрочем, буквально через пару минут он сделал приглашающий жест и позвал меня в шатер. Я вошел. В шатре вокруг лежащего на подстилке верблюда сидел человек восемь или десять. Леон указал на старика в длинной, до пят, рубахе. Это и был самый главный бедуин.

Нас тут же стали угощать лепешками и кислым молоком вроде грузинского мацони. За полчаса беседы (переводил Леон) я убедился, что эти

люди никогда ничего не слышали ни о России, ни тем более о Москве. Средиземное море они еще кое-как себе представляли, но уже в существовании Европы сильно сомневались. Потом они спросили нас, кто мы такие. Леон объяснил, что он доктор, — это им было понятно. Но я, как ни старался, ничего толкового объяснить им про себя не мог. Журналист, писатель, киносценарист — кто это? что это? — они не могли взять в толк.

Тогда я наконец сказал правду:

— Я — поэт. — И чтобы им было понятнее, прочел самое короткое свое стихотворение из двух строф.

Леон перевел. И вдруг — о чудо! — они поняли. И старейшина, отчего-то радостно улыбаясь, разъяснил: «А-а, поэт! У нас тоже был поэт, лет десять назад. Мы продали его в рабство в другое племя».

А сидели они около верблюда, потому что тот заболел, и его взяли в шатер из уважения и сострадания...

...Впервые же я попал в Израиль вместе с московскими поэтами, если не ошибаюсь, в феврале 1990 года. Жили мы в роскошной гостинице «Мишкенот-Шаананин» с видом на старый Иерусалим, а приехали на Всемирный поэтический конгресс. Это было время очередной арабской интифады, и поэтому нас, участников конгресса, усиленно опекали. Поначалу кроме находившегося по соседству с нашей гостиницей современного «Хилтона» и каких-то зданий новой архитектуры, где проходили поэтические чтения, мы ничего не видели.

Однако довольно скоро объявились друзья-израильяне и повели нас в глубины великого города. Это был малоэтажный район, без дорогих витрин, да и вообще почти без торговли. По улочкам ходили странные люди, женщины в темных платьях и париках, мужчины в ватных халатах и в отороченных мехом шляпах.

— Кто это?

— Это хасиды, — объяснили нам. — Они не признают даже государства Израиль, ибо Израиль, по их понятиям, может возникнуть вновь только после пришествия Мессии, Машиаха. Христос для них, естественно, никто, вот они и ждут истинного посланца Бога.

И в этот момент к нам подошел один такой хасид, лет, может быть, семидесяти, — в халате, в меховой шапке, с завитыми пейсами, он что-то сказал на иврите. Мои спутники ему ответили, он закивал и поглядел на меня. И вдруг этот человек что-то достал из кармана халата и на ладони протянул мне. Я удивился — он угощал меня дешевой конфетой, карамелькой без фантика. Мне показалось, что отказаться нельзя, что это скорее символ, чем угощение. Я взял конфету, обтер ее носовым платком и положил в рот. Хасид внимательно за мной следил, потом что-то спросил. Мне перевели: «Он спрашивает — сладко ли?» — «Очень-очень сладко, замечательно», — постарался я попасть ему в лад. Он произнес нечто по интонации — ласково-назидательное и совсем уже неожиданно погладил меня по голове. Я опять попросил перевести. «Он говорит, что сладко из чужого дома вернуться к себе и что я еще успею увидеть Машиаха».

Все может быть.

ЛЫСЫЙ ПАРИК

Теперь Мак живет в Калифорнии, кажется, в самом Голливуде. Звали его Леонидом, Мак — это фамилия. Был он урожденным одесситом из профессорской почтенной семьи. В Одессе я с ним и познакомился, вернее, сам Леонид нашел меня в гостинице «Красная». Он, естественно, писал стихи, но отнюдь не в стихах была его сила. Сила Леонида (да простится мне этот не самый первоклассный каламбур) была в его физической силе. Когда я впервые увидел его на одесском пляже, я был без преувеличения потрясен. Тело Мака состояло из огромной выпираю-

щей мускулатуры — только многие годы спустя где-нибудь на соревнованиях культуристов можно будет увидеть нечто подобное.

Оказалось, что в первенстве Украины по штанге Мак занимает не то второе, не то третье место. Но был он замечателен не только мускулами, а также интеллектуально и даже душевно Мак был суперменом — при этом симпатичным, легким и компанейским, способным, впрочем, на незаурядные поступки.

Года два спустя после одесского знакомства встретились мы с ним в Москве. Измученные городской суетой и тридцатиградусной жарой, мы отправились в бассейн «Москва», тот самый, которым большевики более полувека подменяли храм Христа Спасителя. Поплавав в тепловатой водичке, мы вылезли на поребрик и стали приглядываться к окружающей публике. Ничего замечательного мы не разглядели и хотели уже было снова нырнуть, но тут недалеко от нас из воды выкарабкались две девицы спортивно-продвинутого образца.

Проблема знакомства с девушками в те отдаленные времена была совсем не так элементарна, как нынче. Все-таки у Мака было некоторое особое преимущество — его мускулатура. Что-то было в ней привлекательное и обещающее для девичьего сердца. Короче говоря, разговор со спортивными девицами кое-как завязался. Они и впрямь оказались спортсменками — волейболистками-разрядницами. Впрочем, ни телефона, ни адреса они оставить не захотели и собирались вот-вот улизнуть по своим делам.

— Сейчас я их задержу, — шепнул мне Мак.

— Каким образом?

Он не ответил ничего, а только указал на десятиметровую вышку для прыжков в воду.

— Не залезай высоко, три метра — максимум!

— Нет, я прыгну именно с десяти.

— Это безумие! Ты прыгал так когда-нибудь?

— Нет, не прыгал. Сейчас прыгну.

— Ты разобьешься...

Но Леонид уже не слышал меня — он направлялся к вышке. Девушки заинтересованно следили, как он карабкается на самую верхотуру. Взобравшись, Мак постоял там три или четыре минуты.

— Не стоит, не надо, — вдруг затараторили девушки, почему-то обращаясь ко мне.

В эту секунду он прыгнул, и даже не «солдатиком», а вниз головой. У меня оборвалось сердце. Но вот он вынырнул, однако к трапу не подплывал. Лицо его свело в ужасающую гримасу боли. Наконец он вылез. Грудь, спина, ноги были покрыты множеством кровавых капель. Могучий, железный человек, он еле стоял на махровом полотенце.

— Зачем ты это сделал? — спросил я.

— Так просто, чтобы доказать им...

Он был суперменом, и все должны были убедиться, что он самый сильный, самый мужественный, самый талантливый.

Через неделю я зашел к нему на Якиманку. Он снимал там крошечную темную комнатку, окнами на помойку. Выяснилось, что отец больше не поддерживает его, что ведет он полуголодную жизнь, что-то пишет, ходит по редакциям, за редким исключением — тщетно. На тумбочке я увидел несколько плиток, но не шоколадных, а со странным названием «Гематоген».

— Что это? — поинтересовался я.

— Это концентрат бычьей крови, в аптеке стоит семнадцать копеек. Я съедаю в день две плитки, выпиваю бутылку молока — и все. По калориям этого вполне достаточно. Можно жить.

— Допускаю. Но сколько ты так протянешь?

Ответа не последовало.

Я стал устраивать Мака на Высшие сценарные курсы. Это было замечательное и спасительное учебное заведение. Находилось оно в конце улицы Воровского, в конструктивистском здании бывшего Дома кино. Я сам эти курсы уже закончил. Учили там понемногу «чему-нибудь и как-нибудь». Правда, там показывали бесконечное множество старых и новых западных и советских фильмов, при этом предоставляли общежитие и платили неплохую стипендию.

Директорствовал на курсах Михаил Борисович Маклярский, подтянутый, седоватый джентльмен, с иронической всезнающей усмешкой на губах. В давнюю пору он написал сценарии знаменитых кинодетективов, этаких советских вестернов — «Подвиг разведчика», «Секретная миссия», «Выстрел в тумане». Ходили слухи, что во время войны он работал чуть ли не в ставке Гитлера, что он то ли полковник, то ли генерал КГБ. Спустя много лет я узнал, что он действительно был связан с крупными операциями нашей разведки, потом, понятное дело, отсидел свое.

Короче говоря, Леонид Мак поступил на эти курсы и, окончив их, вернулся в родную Одессу и работал на тамошней киностудии.

Тут в нашем рассказе появляется новая линия.

Бродский отсидел полтора года в архангельской ссылке, был амнистирован (но не реабилитирован) и вернулся в Ленинград. Он стал знаменитостью, книги его вышли за границей, время от времени его почтительно навещали западные слависты. Иногда ему удавалось получить кое-какую переводную работу. Однако материальная сторона его жизни была довольно скудной. А кроме всего прочего, его томила тоска по каким-то путешествиям, приключениям, а попросту, как сказано все у того же Пушкина, «охота к перемене мест».

Вот тут-то как раз и объявился в Ленинграде Леонид Мак, и приехал он как полномочный представитель Одесской киностудии. Оказалось, что на этой киностудии начали снимать картину об оккупированной врагом Одессе. Сценарий для фильма написал Григорий Поженян. Дело в том, что Поженян, весьма известный и сегодня поэт, сам был в 1941 году защитником Одессы. На Дерибасовской когда-то висела (а может быть, висит и сейчас) мемориальная доска, гласящая: «На этом месте погибли последние защитники Одессы, десант с крейсера „Молотов“», и дальше перечислялись фамилии героев, среди которых был и Поженян.

Так вот, режиссер фильма (фамилию запоматал) и сценарист Поженян решили делать свое кино близким к документальному, и подбирали они актеров типажно, то есть похожих на реальных исторических лиц.

И теперь Мак приехал в Ленинград (и побывал уже в Москве), чтобы найти эти самые типажи. Привез он с собой десятка полтора фотографий. Как-то я сидел у него в гостиничном номере и любопытства ради разглядывал эти снимки. И вдруг мне показалось, что председатель подпольного обкома партии Гуревич чем-то схож с Бродским. Только у Гуревича была наголо бритая голова. Но если подстричь под ноль Иосифа и несколько его подгримировать, то он вполне мог бы сняться в этой несложной роли.

Мак к этому времени уже знал и любил стихи Бродского, и моя идея ему вполне приглянулась. Тут же был вызван в гостиницу для переговоров сам Бродский. Мак предложил ему три месяца жизни в Одессе, номер в гостинице, некоторый гонорар и так далее. Бродский немедленно согласился. Я бы сказал, согласился с радостью. Надо еще знать интерес Бродского ко всяким военным, морским и воздушным батальям. Через неделю пришла телеграмма с вызовом его в Одессу.

Вернулся он обратно месяца через два с небольшим. Об одесских съемках рассказывал неохотно. Вместо былой рыже-каштановой шевелюры на голове его топорщился короткий ежик. Видимо, ему пришлось несколько раз брить голову. Было очевидно, что за два месяца такой фильм

закончить не могли. Значит, он уехал посреди съемок, значит, там что-то стряслось. Но так как он помалкивал, то я особенно не настаивал на своих расспросах.

И все-таки вопрос как будто повис в воздухе. И однажды Иосиф сообщил, что ему якобы просто запретили сниматься в фильме.

— Кто запретил?

— Это ведь Украина. Узнали в Киеве о том, что я у них снимаюсь, ну и вломили студийному начальству. Они и заменили меня.

— А что же Мак и Поженян не вступились?

Иосиф как будто не услышал моего вопроса.

Прошел год или более того. Я жил в Москве и совершенно случайно попал в Дом кино на премьеру фильма «Поезд в далекий август» (так называли картину в последней редакции). На премьере, как обычно, присутствовала вся киногруппа. Был там и Леонид Мак. И вот тут-то Мак и рассказал мне свою версию произошедшего, надо сказать, более правдоподобную. Ну, во-первых, я сам увидел фильм и легко мог отличить кадры, где в роли Гуревича снялся Бродский, от сцен, где его заменил другой актер. Я даже актера этого узнал, тоже ленинградец, из товстоноговской труппы. Версия Мака была предельно проста.

Для вящего сходства с Гуревичем Бродскому приходилось примерно раз в две недели брить голову. Поначалу он исправно появлялся в студийной парикмахерской, но так как «негоже человеку быть единому», то у Иосифа довольно скоро появилась некая милая одесситка, и, видимо, бритый и блистающий череп Бродского пришелся ей не по душе. И тогда Иосиф заявил режиссуре фильма протест. Хватит, больше он брить голову не станет. И надо сказать, первоначально администрация пошла ему навстречу. Для Иосифа сделали так называемый «лысый парик». Но когда отснятые кадры просмотрели на студийном экране, то ужаснулись: парик не подогнали как следует, и он сидел на голове Бродского как-то криво, чуть ли не сползал. В общем, сцену надо было переснимать. Делать новый парик было бессмысленно, но съемки остановить было невозможно, судьба целого фильма уперлась в обросшую свежим ежиком голову Бродского.

В это время на съемки приехал Поженян. Ему пришлось, что называется, поставить вопрос перед Бродским ребром. Надо заметить, что характер у Поженяна довольно крутой, да и ситуация требовала немедленного разрешения.

— Ты будешь брить голову? — ясно и просто спросил Поженян.

— Нет, больше не буду, — столь же просто и ясно ответил Бродский.

Поженян тут же снял трубку телефона, набрал номер кабинета Мака и сказал: «Я увольняю Бродского с картины. Найди в три дня замену». Маку повезло, как раз в это время на студии снимался тот самый товстоноговский актер. А Бродский на другой день после разговора с Поженяном отбыл в Ленинград.

И все-таки в этой киноленте осталась память об Иосифе. Я бы даже сказал, двойная память. Во-первых, он запечатлен во многих сценах как киноактер, а во-вторых, его неуступчивость сделала эту картину уникальной: много ли еще на свете фильмов, где бы одну и ту же роль в силу обстоятельств исполняли два человека?

Что же касается меня, то я получил на память об одесской эпопее Бродского особый презент. Он до сих пор хранится в моем архиве. Это фотография Иосифа в полной форме летчика люфтваффе времен Второй мировой войны. Видимо, он нашел эту форму среди реквизита на Одесской киностудии. На обороте написано характерным почерком Бродского: «Gott mit Reun». Надо добавить только, что это парафраз надписи на пряжках ремней немецких солдат: «Gott mit uns» — «С нами Бог».

«КАРАВАН» В ПОДЛИННИКЕ

Пусть предисловием к этому рассказу послужит воспоминание о каком-нибудь вечере 50 — 60-х годов, проведенном около радиоприемника. Медленно идут минуты ожидания. И вот наконец-то слышен голос, такой знакомый, его ни с кем не спутаешь. Это Уиллис Канновер объявляет передачу «Мьюзик-ю-эс-эй». И целый час великий американский джаз увлекает и тревожит душу. Я жду одну из самых любимых мелодий, лучше сказать, самую завораживающую — «Караван» Дюка Эллингтона.

Боже мой, как только не мечет свой пестрый «фараон» господин великий Случай!

Осенью 1974 года в Киеве проходил Всемирный конгресс научно-популярного кино. Я же в те годы подрабатывал научными сценариями. И газета «Неделя» послала меня в Киев на этот конгресс репортером. Все было организовано солидно, мне даже заказали номер в киевской гостинице «Москва». На вторую ночь, уже под утро, я был разбужен отчаянным стуком в дверь. Я открыл и с изумлением увидел на пороге своего приятеля Виктора Г.

Тут надо сказать несколько слов об этом удивительном человеке. Он был признанной знаменитостью в кругах московской богемы, как литературной, так и киношной. Красивый, очень элегантный, он слыл великолепным рассказчиком и, что самое главное, сам считал себя гением устного рассказа. Ежедневно в послеобеденное время он пребывал в кафе «Националь». Его сотрапезниками были Олеша, Светлов, Кирсанов, Старостин. Когда-то в последние сталинские годы Виктор Г. был модным журналистом, потом он от журналистики отстал и ушел в ленивую и хорошо оплачиваемую профессию киносценариста. Я дважды был его сценарным соавтором и относился к нему с объективной симпатией. Но появление его ночью на пороге моего киевского номера стало для меня полной неожиданностью.

Виктор Г. вошел, устало устроился на диванчике, развел руками и рассказал следующее. В СССР на гастроли приехал Дюк Эллингтон со своим оркестром. И Виктор предложил Госкино сделать документальный фильм на основе этого события. Госкино вроде бы согласилось, но потом выяснилось, что Эллингтон, с полноценной советской точки зрения, — фигура сомнительная. Чиновники тянули, не говорили ни да, ни нет, а гастроли между тем начались.

Виктор Г., хорошо говоривший по-английски, каким-то чудом добрался до Эллингтона, уломал его разрешить съемку и попал в крайне неприятное положение. Фильм не снимался, пока концерты шли в Москве, далее гастроли перебрались в Киев. Это был последний шанс. И Виктор решил его использовать на свой страх и риск.

Он занял изрядную сумму, нанял кинооператора, звукотехника и без разрешения Госкино прибыл с ними в Киев. Сразу скажу, что этот человек был и остается оптимистом самой крайней категории. Он верил, что такой фильм не пропадет, его оценят, купят, пустят в прокат. Однако проблемы начались сразу же.

Ночью он со съемочной группой прилетел в Киев, но обеспечить крышу над головой ему не удалось. Случайно он узнал еще в Москве, что я нахожусь в Киеве, узнал и название гостиницы. И вот... Ну, конечно, я пригласил его. Нам даже удалось поспать пару часов, я — на кровати, он — на диванчике. Его съемочная группа ночевала в аэропортовских креслах.

Эллингтон же со своими музыкантами тоже остановился в гостинице «Москва». В ресторане за завтраком Виктор познакомил меня с Дюком и его великим трубочом Кутти Вильямсом. Вечером он провел меня на концерт. К этому времени он тоже достал номер в гостинице «Москва» для себя, а группу поселил в каком-то общежитии. Я своими глазами увидел, с какой симпатией Дюк относился к Виктору. Вероятнее всего, Великий Гер-

цог джаза страшно удивился, что встретил за «железным занавесом» этого джентльмена, воспитанного, знающего английский язык, понимающего толк в музыке, словом, артистическую натуру вполне западного образца.

Гастроли продолжались пять дней. Виктор отснял за это время десятки метров пленки и был уверен, что все в порядке. (Он ошибался, картина никогда на экранах не появилась.) Но пока он пребывал в отличном настроении.

— Вы вечером свободны? — спросил он меня в последний день гастролей. — Можно пойти на ужин вместе с Дюком.

— Куда? — спросил я.

И он назвал фамилию известного украинского артиста.

Часам к девяти мы позвонили в дверь роскошной квартиры на Крещатике. Эллингтон явился один, без музыкантов. Его сопровождали только телохранители — двухметровые негры в одинаковых клетчатых пиджаках. Сам Дюк (а он был невысокого роста, волосы заплетены сзади в косичку) поразил меня нарядом — на нем был не то кафтан, не то мундир из зеленой парчи и черные креповые брюки с лампасами из такого же парчового позумента. С киевской стороны было человек пятнадцать гостей, но, кроме Тимошенко и Березина — знаменитых в те годы Тарапуньки и Штепселя, я никого не знал и имен их не запомнил. Что касается стола, то тут все оказалось на высоте: огромная белорыбица посередине, хрустальная ваза с зернистой икрой, горилка с перцем, шампанское и просто водка.

Дюк, однако, ел очень мало, пил только шампанское, и весь разговор держался на переводческих талантах Виктора Г. Через полтора часа все гости крепко выпили и частично разбрелись по квартире. Я вышел в соседнюю комнату, рояль «Бехштейн» застыл там черной льдиной у стены. За мной, видимо случайно, в ту же комнату зашел Дюк. Он немедленно, не ожидая просьб, подошел к роялю, подкрутил табурет и поднял крышку.

— Что бы вы хотели услышать? — спросил он.

Слава богу, эту английскую фразу я понял.

— «Караван»! — непроизвольно вырвалось у меня.

— О, конечно, «Караван», это моя эмблема.

И он заиграл. Описать его игру невозможно, и потому я здесь бессилен. Могу только сказать, что я слышал «Караван» в подлиннике.

В это время за спиной пианиста уже собрались все присутствующие. Он сыграл еще на свой выбор две вещи и затем сразу же собрался уходить. На прощание хозяева подарили ему что-то очень украинское, кажется, шелковую косоворотку с вышивкой на груди.

Мы с Виктором ушли вместе с Эллингтоном. Стояла теплая, но уже осенняя ночь, с душистым ветром, яркими зарницами. Вдруг Дюк что-то спросил у Виктора. Тот засмеялся, начал объяснять. Они говорили довольно бегло, и я ничего не понял. Наконец Виктор сказал:

— Дюк огорчен тем, что пришел в гости без цветов — забыл. Он хочет зайти сейчас в ночной цветочный магазин и послать с нарочным розы хозяйке дома.

— «Ты не в Чикаго, моя дорогая», — процитировал я своего любимого «Мистера Твистера», словно нарочно написанного к данному случаю.

Но тут же я неожиданно сообразил, что мы проходим мимо Центрального киевского рынка, круглое здание которого было буквально в двух шагах. При рынке конечно же есть общежитие, что-то вроде Дома колхозника, там сейчас спят тетки, приехавшие на рынок торговать цветами. Можно попытаться купить цветы у них. Это вопрос только денег. Все эти свои соображения я изложил Виктору. Он, видимо решив позабавить Эллингтона, пересказал ему наш разговор.

И вдруг Эллингтон сказал что-то телохранителю. Тот вытащил из-за пазухи толстую пачку денег и протянул мне. Отступить было невозможно. Все оказалось вполне достижимым. Правда, я долго стучался в двери

Дома колхозника, но, когда двери открылись, я сунул заспанной дежурной десятку и спросил, где спят цветочницы.

Дежурная проводила меня в большую комнату, коек на тридцать. У каждой койки стояли ведра с цветами. Я выбрал крупные чайные розы и стал будить хозяйку. Испуганная, она села на своей койке, ничего не понимая.

— Сколько вы хотите за все цветы вместе с ведром? — спросил я.

Она что-то очень тихо прошептала по-украински. Я протянул ей сто рублей.

— Хватит, хватит, — с каким-то испугом проговорила она.

Торжествуя, я вынес ведро с розами на улицу. Эллингтон тут же послал одного из своих телохранителей отнести нашим хозяевам этот роскошный знак благодарности.

Уже в гостинице, когда мы расходились по своим номерам, он обернулся и сказал что-то мне, как бы на прощанье.

— Что он говорит? — заволновался я.

Виктор перевел:

— Он сказал: «Добро пожаловать в Америку! Такой человек, как вы, в нашей стране не пропадет».

С той поры прошло более четверти века. Я много раз был в Америке, но, увы, не воспользовался советом Эллингтона. Может быть, он был прав, кто знает? Хорошо сохранить под старость хотя бы одну иллюзию.

«ПОКЛОНИМСЯ В ЧЕРНЫЕ НОГИ АРТИСТАМ...»

Я с самого детства очень жалел негров и поэтому любил их. Сначала я, конечно, прочитал «Хижину дяди Тома», потом — «Гекльберри Финна», и это окончательно сделало меня негрофилом.

Когда я был студентом, в Ленинград приехала негритянская музыкальная труппа «Эвримен-опера». Труппа исполняла оперу Гершвина «Порги и Бесс». Билет у меня был на галерку, очень дешевый, поэтому я устроился на свободном месте во втором ряду партера. И с этого места я увидел, какие негры замечательные артисты, как они музыкальны, как ритмично и красиво двигаются. А потом приехала знаменитая баскетбольная команда «Гарлемс Глоб Троттер», и тут все увидели, какие негры замечательные спортсмены. Ко всему еще выяснилось, что большинство американских джазистов — чернокожие.

Вот примерно с этими розово-младенческими представлениями я и прилетел осенью 1988 года в Нью-Йорк. Но увидел я не только Нью-Йорк, а побывал во многих американских городах — малых и больших. В иных у меня жили друзья, ставшие эмигрантами, в иных я просто выступал со стихами и лекциями — но везде я видел в основном эмигрантов. И неожиданно для себя я услышал о неграх нечто совсем иное, совершенно не совпадающее с моими прекраснодушными взглядами. Что они, то есть негры, не хотят работать, что готовы от колыбели до гроба что-то изображать, валять дурака, чтобы вытягивать у государства пособие, что многие из них просто реальные и потенциальные преступники, наркоманы и сутенеры, что в негритянские кварталы белому человеку заходить опасно, но особенно ужасны негритянские подростки, ну и так далее.

Я все это выслушивал вежливо, но с некоторым сомнением; эмигрантская точка зрения была настолько единодушна, что под ней должна была лежать какая-то реальность: все-таки не могла она возникнуть совсем на пустом месте. И я решил как-нибудь проверить это сам, тем более что мой приятель, Сергей Довлатов, тоже посмеивался над общим эмигрантским антинегрризмом.

И вот однажды я попросил его повести меня в настоящее негритянское джазовое кафе.

— Ладно, — сказал Довлатов, — я знаю такое настоящее, только находится оно почти в самом Гарлеме. Так что ты приготовься к разным мало-приятным штучкам.

Я сказал, что готов, но понял, что если даже Довлатов меня предупреждает, то это действительно небезопасно. Другие же мои приятели, узнав, что мы с Довлатовым собрались в Гарлем, просто махали руками, крутили пальцами у виска и называли нас дурачьём, которое ищет неприятностей на свою голову.

И все-таки мы отправились.

Прежде всего это оказалось не совсем кафе, а бывшая заправочная автостанция. Называлось это место соответственно «Газ-стэйшн». Посреди железных балок и всякого модернизма из проволоки стояли столики, на металлической эстраде расположились музыканты. Играли они традиционный джаз, и очень неплохо, насколько я смог понять.

Мы сели за пустой столик, к нам никто не подошел. Тогда Довлатову надоело ждать, он направился к бару и притащил оттуда несколько банок пива «Будвайзер».

Все было нормально. Я только заметил, что негры из-за других столиков как-то часто и, я бы сказал, удивленно поглядывают на нас. Других белых здесь не было. Довлатов достал из джинсов маленькую металлическую фляжечку с коньяком. Музыканты ушли отдохнуть.

В этот момент «Газ-стэйшн» наполнился какими-то выкриками и хлопками, и от стола к столу начал переходить крайне экзотический негр, одетый в красные клеенчатые штаны, в такой же клеенчатой шляпе, а на голой груди у него висели и гремели железные цепи. В общем, он был похож на нашего отечественного юродивого времен Бориса Годунова, как мы его знаем по оперным представлениям.

До поры до времени он на нас не обращал внимания. Но потом уселся за соседний с нашим столик и явно специально загремел своими дурацкими цепями.

— Не обращай внимания, — сказал мне Довлатов, — если мы сами не ввяжемся, ничего худого не будет.

— Может, пора уходить? — спросил я.

— Нет, обидно уступить ему, посмотрим, как станут развиваться события.

Тут я заметил, что большинство посетителей глядят в нашу сторону, явно чего-то ожидая. Негр в цепях обошел вокруг нас, ткнул пальцем во фляжку Довлатова и что-то сказал. Довлатов поднялся и вплотную приблизился к негру. И тут огромный Сережа, выше нашего преследователя по крайней мере на полторы головы, обнял негра за плечи, прижал его вместе с цепями к груди и страстно поцеловал в губы. В кафе наступила напряженная тишина. У меня на глазах лицо негра из темно-лилового превратилось в бледно-пепельно-серое. Двое других негров из глубины помещения подошли и стали объясняться с Довлатовым. Я понял, что они совсем не агрессивны, а, наоборот, просят простить «цепного», уверяя нас, что он по натуре артист и вообще немного перевозбужден.

Тут опять заиграла музыка, и нами просто перестали интересоваться. Только наш «цепной» негр уселся на краю эстрады и действительно раскачивал своими веригами в такт музыкантам.

И я вспомнил, что в 1974 году я был в Киеве на концерте Дюка Эллингтона. Слышал великого трубача Кутти Вильямса и других чернокожих артистов. Впечатление было потрясающее, и я даже написал стихи под названием «Черная музыка». Кончались они так:

Поклонимся в черные ноги артистам,
которые дуют нам в уши и души,
которые в холод спасают от стужи,
которые пекло сменяют истомой,
которые где-то снимают бездомный
у вечности угол и злomu чертогу
внушают свою доброту понемногу.

И вот здесь, на «Газ-стэйшн», я понял, что каждый негр хоть немного, но артист. Я уже не говорю о тех, которые действительно артисты. И это поставило точку в моих размышлениях на негритянскую тему.

«СКУШНО ЖИТЬ, МОЙ ЕВГЕНИЙ!..»

Осенью 1988 года я провел два месяца в Америке. Был я гостем Иосифа Бродского. Сначала я остановился у него, на Мортон-стрит в Гринвич-Виллидж. Потом полетел на две недели в Калифорнию, ездил по университетам Новой Англии и всякий раз возвращался в его квартиру с садиком на первом этаже.

Приближался день отъезда. Последним было наше с Иосифом общее выступление в Вассер-колледже. Мы поехали туда на машине Бродского — черном, очень не новом «мерседесе».

Приехали уже в сумерках. Вассер-колледж когда-то был самой богатой и знаменитой женской школой в Соединенных Штатах. Здания его были построены в неоготическом стиле и в вечернюю пору производили смутно-очаровательное впечатление таинственности и старины. Хотя на самом деле все это было возведено в XIX веке. Афиша гласила: «Золотой, серебряный и железный век русской поэзии».

— Как-то уж очень экстравагантно, — засомневался я. — Мы не можем быть в ответе сразу за три века русской поэзии.

— Ничего-ничего, нормально, — сказал Иосиф. — Ты в Америке, а афиша эта — изделие местных славистов. Все в порядке.

Однако зал, где мы выступали, несмотря на всю внешнюю псевдостарину, был предельно модернистичен — мест на четыреста, и был он заполнен до предела.

Всего год назад Бродский получил Нобелевскую премию, и это тоже имело значение. Впрочем, и без премии Иосиф был очень известен, и аудитория возбужденно шумела, переключалась, бубнила в ожидании начала.

Бродский читал стихи по-английски и по-русски, отвечал на вопросы, шутил, давал советы. При этом он говорил не только о поэзии. Его спрашивали о политике, о личной жизни и перестройке в России, как найти работу слависту. Были и совсем удивительные вопросы — что-то о спорте, о движении феминисток. Создавалось, однако, впечатление, что он загодя подумал обо всем.

Но вдруг я понял, что он импровизирует. Занимается интеллектуальной эквилибристикой. Эрудиция его была столь велика, сообразительность так подвижна, что он был способен обернуть любую мысль парадоксом. Все это безотказно действовало на аудиторию. Молодые люди оказались как бы вовлечены в какую-то игру. Это было увлекательное зрелище.

Я выступал во втором отделении. Переводы читали студенты, а Иосиф их комментировал. Закончилось наше выступление в одиннадцатом часу. Нас повели в профессорский клуб на ужин. И только после полуночи мы оказались одни в высоком сводчатом зале с камином, низкими кожаными креслами, парадными портретами и темными пейзажами на стенах. Это был холл гостиницы для почетных гостей. Узкие дубовые шкафы в простенках были полны вина и виски лучших марок. Но как-то не пилось. Утомление и печали внезапно склубились над нашими нетронутыми стаканами.

— Через четыре дня улетаю, — сказал я. — Когда-то еще увидимся... «Кто может знать при слове „расставанье“, какая нам разлука предстоит»...

Мы помолчали, все-таки выпили по глотку.

— Что с тобой? — спросил Иосиф. — Не грусти уж слишком, жизнь на этом не кончается.

Я неопределенно хмыкнул нечто меланхолическое.

— А путешествия всегда так кончаются. Уж я-то это знаю, испытал на собственной шкуре. Для метафизического надрыва это идеальная тема, есть чем поживиться.

— Ну да, — согласился я и тут же вспомнил и прочитал строфу из «Мексиканского дивертисмента»:

Скушно жить, мой Евгений, куда ни странствуй,
 Всюду жестокость и тупость воскликнут: «Здравствуй!
 Вот и мы!» Лень загонять в стихи их.
 Как сказано у поэта — «На всех стихиях».
 Далеко же видел, сидя в родных болотах.
 От себя добавлю — на всех широтах.

— Вот видишь, — сказал Иосиф, — я тебя предупреждал: нет ничего мрачнее конца путешествия.

Тут он улыбнулся и закурил. И стало как-то полегче.

СО СМЕРТЬЮ НЕ ВСЕ КОНЧАЕТСЯ...

Я учился в Технологическом институте в Петербурге. Потом работал инженером на заводах. Сначала на заводе «Вперед», а затем на заводе имени Котлякова. Оба завода примыкали к кладбищам: один — к Немецкому, другой — к православному Смоленскому.

Может быть, именно тогда я полюбил эти города мертвых. На них уже почти не хоронили. Я бывал на этих кладбищах ежедневно, чаще всего в одиночестве. Около могил было очень мало людей. Изредка уединялись здесь выпивающие компании. Пили почему-то тихо, без пьяного шума. Так продолжалось все три года моей заводской работы. Я все знал досконально, наизусть. Все склепы, надгробия, мраморных ангелов, бюсты, надписи, эпитафии. Кладбище вносило в душу покой. Ведь мертвые — это большинство, и они прикрывали тебя от всей суеты сует. И не было еще среди этих памятников камня, который лег бы на твоего друга, на мать, на брата. Но затем довольно быстро я ушел с завода, уехал из Петербурга и стал бывать на кладбищах только во время похорон.

Прошло много лет, почти вся жизнь, и я оказался в Италии, в Венеции. Это было осенью 1993 года. В это время там жил Иосиф Бродский. И вот однажды мы вместе сели на вапоретто — венецианский водный трамвай — и отправились на остров Сан-Микеле. Когда подплывали, Иосиф сказал: «Погляди, как похоже на Бёклина — „Остров мертвых“. Эта стена, ворота, кипарисы». До вечера мы бродили по дорожкам, усыпанным розовым гравием.

Я словно бы вернулся на сорок лет назад. Были и русские могилы: вот Дягилев, вот Стравинский. Бродский показал мне могилу Эзры Паунда — несчастный путаник, нелепый фашист, великий поэт, — и он здесь. Стояла необыкновенная тишина. Только плеск адриатической волны слышался за стеной.

И ничего мне не пришло в голову, кроме того, что сама Венеция — лучшая усыпальница в мире, что здесь покой может быть еще глубже, чем смерть. Тем более, что перед нами оказалась плита с латинской надписью: «Letum non omnia finit» — со смертью не все кончается.

Потом настал день, и я приехал сюда еще один раз. Хоронить Иосифа Бродского. Все так же темнели зеленые стрелы кипарисов, таинственно холодел мрамор надгробных плит, дорожки были посыпаны тем же розовым гравием. Гроб ушел в могилу, и мы, пришедшие проводить Бродского, разбрелись по кладбищу Сан-Микеле. И вдруг мне показалось, что вся моя жизнь — это дорога вдоль могил. Они остаются на месте, а мы проходим.

Обратно в Венецию я возвращался на вапоретто. Сан-Микеле — город мертвых — уменьшался за кормой, вечерело. Стены, окружающие венецианское кладбище, окрасились в багрец закатными лучами. Мертвые остались на острове, и Бродский — тоже. Все эти плиты, ангелы, надгробия, кресты, эпитафии — они остались ждать нас.

Или, может быть, действительно: со смертью не все кончается.



ЮРИЙ КАЗАРИН

*

БЕЗ НАЖИМА

* *
*

Смерть — отсутствие погоды
и застолье без стола,
то ли тризна, то ли роды
упойтельной свободы
множественного числа.

Тело глину навещает,
отдаваясь никому.
Так природа возвращает
долг свой духу твоему.

* *
*

Зрачок ли, гаечка, колечко
с насечкой стужи на окне...
Все тяжелее ходит речка
и плющит золото на дне.

Теперь бы яблок и морошки
да повернуться на бочок...
У белки твердые ладошки
и прямо в сердце — кулачок.

Есть у нее под мышкой грелка
и шишка с выдохом в горсти.
И неба утлая тарелка
с пробоем Млечного Пути.

* *
*

Без нажима розой роза
лепит зимнее стекло.
С точки зрения мороза,
очень все-таки тепло.

Роза луковицы, хлеба,
соль в оконные кресты —
отпечатки прямо с неба
шестипалой пустоты.

Стужа — это просветленье:
всюду взор находит печь,
дабы тронула поленья
Господа прямая речь.

* *
*

Сегодня снегу плохо,
и потому встает
меж выдохом и вдохом
оконный переплет
и теплый лед касанья
пастушьих одеял —
согласного мерцанья
колючий матерьял.
И пустота свободы,
и холода узда.
Хорошей непогоды
хлопчатая вода.
И с двух сторон старанье
остаться на века
до полного сгоранья
в пределах языка.

* *
*

1

Унесло с балкона майку
ветром. Я один остался.
Тополиный пух в фуфайку
по обочинам скатался.

И хожу я полуголый
по седьмому этажу —
невозвратные глаголы
на озноб перевожу.

2

За тополь в драной телогрейке,
за клочья ваты по двору
глотну воды на три копейки,
достану спички и умру.

А сигарету, сигарету —
во всю длину, во всю длину —
я на пути к другому свету
уже бесшумно разомну.

* *
*

Переминается с лапки на лапку,
смотрит на все из-под лысых бровей,
мнет эту землю, как черную шапку,
немолодой воробей.

Не начинается позднее лето —
так и пройдет по задворкам оно.
Прыгнешь в канаву, а там сигарета —
целое — в красной помаде — бревно.

Чуешь затылком уста стеклодува:
с неба какого сюда принесло
этот подарок для глаза и клюва —
так, что немеет крыло.

Левое не поднимается что-то —
вот и впивается в камушек пясть,
чуешь, какая родная работа —
ниже земли не упасть.

* *
*

Капля цапает стекло,
дабы чудное виденье
непогоды и движенья
неба — из стихотворенья —
с каплей в землю не ушло.

Шарик плоский, как заклатье,
решка ока — до изъятья
света — вымерзнет в бельмо...
Так цепляется за платье
не желание объятья,
а бессмертие само...

* *
*

Оглушительны мысли предметов,
если ночью стоишь у окна,
и, мерцающей тверди отдавав,
набивается в рот тишина —
в хоровое движение сада,
где чудесная сила распада
у наземных небес на краю
переводит в полет листопада
потаенную думу свою.

* *
*

Тебя словил язык —
неслыханное слово,
оправленное в крик
пространства нежилого,
где время восстает
из духа и озноба,
стеснивших небосвод
в державинское нёбо.
Теплеет пустота,
рядясь в стихотворенье.
И звука мимо рта
не пронесет прозренья.

* *
*

До утра полторы папироски,
табачинка мешает во рту:
чую речи чужой ополоски
и на стыке фонем пустоту.

Город в озере ходит валетом,
укороченный рябью заик.
Улови мое слово предметом,
или тенью его, или светом,
или смертью тyani за язык.

Облачи говоренье в окрестность
натяжением жил в высоту,
раздувая, как шар, неизвестность
первородного смысла во рту.



ВРЕМЕНА И ПРАВЫ

МАКСИМ КРОНГАУЗ

*

ЯЗЫК МОЙ — ВРАГ МОЙ?

...ошибки одного поколения становятся признанным стилем и грамматикой для следующих.

И. Б. Зингер.

Люди и децлы. Наше счастье, что мы ничего не замечаем. Сами меняемся — и сами же этого не замечаем. Во многих фантастических романах настойчиво внедряется идея, что человеческая раса мутирует, люди перерождаются, становятся чем-то принципиально иным. А старым, настоящим людям от этого как-то не по себе, неуютно. Похоже, что нет дыма без огня, и в настоящей жизни все уже давно переродилось и особым образом смутировали. Причем несколько раз. Но, к счастью, почти не заметили. И потому почти не расстроились.

Человечество изменяется постоянно, но иногда достаточно резкими скачками, как правило, под влиянием социальных катастроф (революций или войн) и технологических открытий. Ну действительно, разве телевизор не изменил человечество? А компьютер? Мы сами, дети телевизора, легко переварили предыдущее человечество, но вот появились они и потихоньку переваривают нас. Я имею в виду наших детей, прости им, Господи.

Прочтя такое оптимистичное начало, естественно спросить, не сошел ли я с ума и есть ли у меня доказательства. Доказательств, конечно же, нет, зато есть родной язык, который одновременно является и зеркалом, и очками, и чем только не является. Из одних метафор, связанных с языком, можно составить толстый словарь.

Если произвести мыслительный эксперимент и перенести молодого человека третьего тысячелетия в семидесятые годы прошлого века и, наоборот, перенести обычного человека из семидесятых в сегодня, минуя перестройку и дальнейшие события, мы получим интересный результат. У каждого из них возникнут серьезные языковые проблемы. Это не значит, что они совсем не поймут язык другого времени, но по крайней мере некоторые слова и выражения будут непонятны. Более того, общение человека из семидесятых годов с человеком третьего тысячелетия вполне могло бы закончиться коммуникативным провалом не только из-за простого непонимания слов, но и из-за несовместимости языкового поведения.

Этот мыслительный эксперимент становится вполне реальным, когда, например, современные студенты читают советские газеты или смотрят советские фильмы. Кажется, что в обратную сторону реализовать эксперимент сложнее. Однако возвращаются в Россию советские эмигранты, люди из семидесятых, и недоуменно застывают от слов «пиар» и «децл»¹.

Кронгауз Максим Анисимович — доктор филологических наук, директор Института лингвистики РГГУ. Автор научных монографий и многочисленных публикаций в периодических и интернет-изданиях. См. его выступления в «Новом мире» по проблемам реформы правописания (2001, № 8) и образования (2002, № 4).

¹ В текстах И. Денежкиной, современной писательницы и номинанта ряда литературных премий, слово «децл» используется как приблизительный синоним «человека».

Непонятны им и банальные правила поведения современного культурного человека, сформулированные на современном языке:

Не наезжай!

Не грузи!

Не гони!

Не тормози!

Фильтруй базар!

А нам, здешним, все понятно, хотя ни одно из слов не употреблено в своем литературном значении, а новых значений не найдешь ни в одном словаре. Впрочем, откажутся понимать эти слова и ревнители русского языка. Да, действительно, классики так не говорили.

В последние годы суэта и волнение вокруг русского языка достигли какого-то небывалого размаха. В народных, и прежде всего журналистских, умах три абсолютно разных факта, а именно предполагаемые изменения в орфографии и пунктуации (называемые также реформой орфографии), общее недовольство тем, как сейчас говорят, и обсуждение в Думе закона о русском языке как государственном, слились в нечто единое. Вот и говорят, и пишут о каком-то языковом и понятийном монстре — законе о реформе русского языка. Что это означает, никому не известно. Наверное, считается, что сейчас депутаты примут закон, что говорить надо иначе, например исключительно языком Тургенева и Толстого, — и законопослушный российский народ именно так и заговорит. Но даже если отбросить самые нелепые слухи и мнения о современном языке, все равно останется какое-то смутное волнение и раздражение собственным языком, которое испытывает сейчас множество людей, в том числе и интеллигенция. Все это выливается в публичную критику русского языка, призывы что-то запретить и где-то поправить. Кажущаяся поначалу абсурдной идея законодательно вмешаться в нашу речь становится реальностью. В проекте закона о русском языке как государственном предлагается запретить использование иностранных слов при наличии русского аналога.

Надо что-то делать! Или не надо? Критика языка может приводить к его правке, то есть, по существу, к изменениям. Но имеется и обратная закономерность. Резкие изменения в языке вызывают ожесточенную критику со стороны общества — или по крайней мере его части. И сейчас мы находимся как раз в таком периоде развития языка. Современный русский язык, а правильнее сказать — русскую речь или даже дискурс, критикуют сразу по нескольким параметрам.

Во-первых, в постсоветское время все как-то разом стали абсолютно безграмотны, никаких правил или норм, так что впору говорить о распаде языка. Во-вторых, к внутренним проблемам добавилась экспансия английского языка и как следствие — порабощение некогда великого и могучего его чужеземным собратом. В качестве рецептов спасения рекомендуется возвращение к корням и истокам, повышение общей культуры, курсы риторики для депутатов и премьер-министров...

Со сказанным трудно не согласиться, но согласиться, пожалуй, еще труднее. И вот почему. В советское время возникла любопытная, но никак не уникальная ситуация, которая в лингвистике называется диглоссией (греч. двуязычие), то есть сосуществованием двух языков или двух форм одного языка, распределенных по разным сферам употребления. Рядом с обыденным русским языком возникла (или была создана) еще одна его разновидность. Ее называют по-разному: советским языком, деревянным языком (калька с французского — *langue de bois*; ср. с *деревянным рублем*), канцеляритом (слово К. Чуковского), но лучше всех (в том числе и лингвистов) про это написал Дж. Оруэлл. И поэтому его «новояз» (в оригинале «newspeak») стал самым привычным названием лингвополитического монстра. Диглоссия случалась и на Руси, и в других обществах. В Древней Руси соседствовали разговорный русский язык и литературный церковнославянский. Позже, в восемнадцатом

веке, русскому языку пришлось делить собственный народ (точнее, только дворянство) с пришельцем — французским языком. В Древней Индии, например, разговорные языки, пракриты, сосуществовали с религиозным языком, санскритом. Диглоссия вообще характерна для некоторых религиозных обществ, где «высокий» религиозный язык обслуживает только религиозное, ритуальное и тому подобное общение. В других же ситуациях используется «низкий» разговорный язык. Функции советского новояза близки к функциям религиозного языка, не зря же Б. Рассел называл коммунизм религией.

В действительности в советском обществе употреблялись и другие формы языка — например, просторечие, сленг и т. п. Все эти формы почти не взаимодействовали между собой, поскольку относились к разным слоям общества и к разным ситуациям общения. В речах, газетах и на партсобраниях царил новояз, на кухнях и во дворах — разговорная речь, литературная или просторечная в зависимости от речевой ситуации и ее участников. Советский человек отличался тем, что умел вовремя переключать регистры, «двоемыслие» (по Оруэллу) порождало «двуязычие», и наоборот.

Итак, неверно, что русский язык в советскую эпоху был неуклюж, бюрократичен и малопонятен. Таким была только одна из его форм, а именно новояз, но другим новояз быть и не мог. Его устройство определялось его предназначением. Еще известный лингвист А. М. Селищев сформулировал ключевое правило (сославшись, впрочем, на газетный текст): *если говорит непонятно, значит, большевик*. Здесь надо сказать, что новояз не был чем-то мертвым и неизменным. Сталинский и брежневский новоязы — это «две большие разницы». Во многом языковые различия определяются функциями языка и задачами «пользователя», то есть власти. На смену прямому обману и промыванию мозгов пришли ритуал и забалтывание. В этом смысле оруэлловский новояз списан, скорее, со сталинского времени. Менялись эпохи, менялись дискурсы... Диглоссия же сохранялась, разве что наметилась определенная экспансия новояза. Сфера его употребления постоянно расширялась. Уже к любой публичной речи властью предъявлялись жесткие требования. Переход на «чтение по бумажке» становился почти обязательным.

Горбачевская перестройка изменила не сам русский язык, она изменила условия его употребления. Исчезли границы между разными формами языка и между сферами их употребления. В публичной речи, например, М. С. Горбачева или Б. Н. Ельцина причудливо сочетаются элементы литературного языка, просторечия и все еще не умершего новояза. Не верно, что они говорят безграмотнее Л. И. Брежнева, просто они говорят, а тот — читал. То же самое можно сказать и о депутатах, и о телевидении, и о газетах, и вообще о современной публичной речи. На смену грамотному и перенасыщенному готовыми шаблонами новоязу пришла взрывоопасная смесь. Результат отчасти парадоксален: ошибок стало значительно больше, но говорить в целом стали интереснее и лучше. Конечно, не все. Кто умел только «по новоязу», лишился всего. К примеру, В. С. Черномырдин иначе не может, а на новоязе вроде бы уже неудобно. Результат налицо.

Языковая стихия обрушилась и захлестнула весь народ. Оказывается, что почти каждый может выступать публично, а некоторые еще и обязаны. Сегодня политические деятели различаются не только внешностью, взглядами, но и языком. «Языковые портреты» политиков стали обязательной частью их образа, инструментом в политических кампаниях и даже объектом пародирования. Тексты, порожденные Е. Т. Гайдаром, В. В. Жириновским и А. И. Лебедем, никак не перепутаешь, даже если их прочитает диктор. Публичная речь во многом стала отражением индивидуальности, как, вообще говоря, и должно быть.

Таким образом, социальных различий в речи теперь меньше, а индивидуальных — больше. Ну а тезис о всеобщей неграмотности, мягко говоря, неверен. Просто та неграмотность, которая существовала всегда, стала отчасти публичной.

Если же обратиться к непубличной речи, то она изменилась несколько меньше, хотя также испытала различные влияния. Правда, это коснулось не самой образованной части русского народа, а прежде всего тех, кто наиболее

подвержен воздействию телевидения и газет. Русская речь вообще стала более разнообразной, поскольку совмещает в себе разнородные элементы из когда-то несочетаемых форм языка. В сегодняшней речи не юного и вполне интеллигентного человека мелькают такие слова и словечки, что впору кричать караул. Молодежный сленг, немножко классической блатной фени, очень много фени новорусской, профессионализмы, жаргонизмы, короче говоря, на любой вкус.

А я, например, завидую всем этим «колбасить не по-детски», «стопудово» и «атомно», потому что говорить по-русски — значит не только «говорить правильно», как время от времени требует канал «Культура», но и с удовольствием, а значит, эмоционально и творчески (или, может быть, сейчас лучше сказать — креативно?). А сленг, конечно же, эмоциональнее литературного языка. Другое дело, что сейчас граница между сленгом и литературным языком все больше размывается и жаргонные слова проникают в запретные для них области. Они и слышатся, и пишутся все чаще. И в обычной вполне культурной речи, и в журнальных и книжных текстах слова из сленга попадают постоянно. Недавно вышел толковый словарь так называемого общего жаргона (авторы О. П. Ермакова, Е. А. Земская и Р. И. Розина). Многие лингвисты были недовольны. В соответствии с принятой терминологией, если жаргон, то не общий (то есть не общеупотребительный), а если общий, то это уже не жаргон. В действительности этот словарь фиксирует развивающуюся ситуацию. В нем отражены те жаргонизмы, которые еще осознаются таковыми, но употребляются уже практически всеми, то есть постепенно входят в литературный язык. Это хорошо видно на примере еще одной больной проблемы — криминализации языка.

Стал ли русский язык более «криминальным»? Есть два вполне осмысленных ответа. Первый: безусловно. Второй: никак нет. Не язык наш криминализован, как любят писать в газетах, а общество, и чтобы адекватно говорить об этом обществе, язык порождает соответствующие слова. Чтобы отразить изменения в экономике или в информатике и дать людям возможность говорить об этом, язык также порождает или заимствует новые слова. Остановить этот процесс невозможно, можно только изолировать или стерилизовать общество. А говорить о нашей жизни и нашем обществе языком Тургенева просто не получится.

Другой вопрос, почему же так заметна эта криминализация в кавычках. Раньше на фене *ботал* тот, кому было положено *ботать*. Ну разве что интеллигент мог подпустить что-нибудь эдакое для красного словца. Но это словцо было «красным», то есть резко выделялось на общем фоне. Сейчас же эти слова («разборка», «наезд» и прочее) на устах у всех: профессора, школьника, депутата, бандита... Действительно, жаргон стал всеобщим.

Что-то подобное произошло и с русским матом. Лингвисты всегда говорили о его табуированности. Но что же это за табуированность такая, когда все русские люди эти слова произносят? Так вот, во-первых, не все, во-вторых, не везде и не всегда. Употребление мата в СССР несколько напоминало ситуацию в Древней Руси. Там мат использовался, в частности, в специальных «антихристианских» обрядах, можно сказать, в особой, «андеграундной» языческой культуре, существовавшей параллельно с христианской. Матерились в специальное время и в специальных местах. Например, в бане (такое особое нехристианское место). Это же явление было воспроизведено и в советскую эпоху (речь, конечно, не идет о тех, кто матерился всегда и везде). Для тех же политических функционеров мат был специальным знаком «неофициальности» и «свойскости». Отдыхая и расслабляясь с коллегами в бане, просто необходимо было материться. Для интеллигенции же мат тоже играл роль символа и нес, как это ни смешно звучит, воздух свободы и раскрепощенности от официальной религии — коммунизма.

Вместе со всем запретным мат сейчас вырвался на волю. И ревнители русского языка утверждают, что материться стали чаще и больше. Конечно, статистических исследований никто не проводил, но как-то это маловероятно. Просто мат встречается теперь в тех местах, куда раньше ему путь был заказан. Например, в газетах и книгах. В телевизоре то прорывается, то как-то лицемерно и неприлично попискивает. И снова диалектика, как с не-

грамотностью: мат заметнее, потому что публичнее, и незаметнее, потому что подрастерял свою знаковую функцию, стал как бы менее непристойным.

С чем только не сравнивали язык — с игрой, с живым существом, с инструментом, с тюрьмой, но кажется, чтобы наглядно показать переход от советского состояния к постсоветскому, нужно сравнить его с супом. В советское время существовало много разных коллективов, и каждый варил в своем котелке свой суп. У кого-то он был повкуснее, у кого-то погорячее... Переходя в другой коллектив, приходилось глотать другой суп. Вот так все мы были тогда полиглотами: с домашними по-домашнему, с молодежью по-молодежному, с партийцами по-партийному, ну а с волками по-волчьи. А сейчас все эти супы и супчики слили в один большой котел, в котором варится общая похлебка. Можно, конечно, жаловаться, но есть приходится борщ с грибами и горохом. Для успокоения остается только сказать, что через некоторое время все это переварится в однородную массу. Что-то исчезнет, что-то утвердится...

Единственной, пожалуй, ошутимой потерей на этом пути развития речи стала почти всеобщая утрата языкового вкуса. Языковая игра, построенная на совмещении разных слоев языка (примеров в советский период множество: В. Высоцкий, А. Галич, Вен. Ерофеев и другие), или просто использование ярко выраженного социального стиля (например, М. Зощенко или А. Платонов) теперь едва ли возможны. Эти приемы стали нормой и перестали восприниматься как игра. Из новых речевых жанров, все-таки имеющих игровое начало, следует упомянуть стёб. Новизна его, впрочем, условна и скорее состоит в социализации, выходе на публичную трибуну. А так, непублично, стебали и раньше.

Что же касается других претензий к современному языку, то и здесь не все так просто. Действительно, резко увеличился поток заимствований из английского языка. Влияние Америки очевидно, и не только на русский язык, и не только на язык вообще. Эти изменения также связаны с уничтожением границ и перегородок, но только внешних. Наибольшее число заимствований приходится на новые области, где еще не сложилась система русских терминов или названий. Так происходит, например, в современной экономике или вычислительной технике. В ситуации отсутствия слова для нового понятия это слово может создаваться из старых средств, а может просто заимствоваться. Русский язык в целом пошел по второму пути. Если же говорить о конкретных словах, то, скажем, *принтер* победил *печатающее устройство* (в частности, потому, что для важного предмета в языке должно существовать одно слово, а не описательный оборот). В русском языке прекрасно освоилось заимствованное слово «компьютер» (от англ. *computer*), а, например, в немецком и французском придумали слова из собственного языкового материала, соответственно *Rechner* и *ordinateur*. Почему в русском языке не возникли слова типа «вычислитель», или «упорядочиватель», или какая-нибудь «машина знаний» по образцу финского? Очевидно, что у каждого языка свой путь. В любом случае, заимствовав слово, наш язык не стал менее русским. В подобных сферах заимствования вполне целесообразны и никакой угрозы для языка не представляют.

Однако одной целесообразностью заимствования не объяснишь. Во многих областях, ориентированных на Америку, заимствования явно избыточны, поскольку в русском языке уже существуют соответствующие слова (иногда старые заимствования). Тем не менее новые заимствования более престижны и вытесняют русские слова из обращения. Так, *бизнесмен* борется с *предпринимателем*, *модель* с *манекенщицей*, *презентация* с *представлением*, *визажист* и *стилист* с *парикмахером* и т. п. Появление такого рода заимствований иногда затрудняет общение. Объявление типа «Требуется сейлзменеджер» рассчитано исключительно на тех, кто понимает, а для остальных остается загадкой. Но издержки такого рода временны (только на период борьбы и становления новой терминологии) и тоже особой угрозы для языка в целом не несут. Едва ли мы становимся менее русскими, говоря *бухгалтер* (звучит-то как, если вдуматься!), а не *счетовод*. Да и чем уж нам так дорог *парикмахер*, чтобы защищать его в нелегкой борьбе со *стилистом* и *визажистом*? Тем более, что любое новое заимствование несет какую-то особую ауру и потому практически

никогда не является полным аналогом уже существующих слов. Так, *модель* — это больше, чем *манекенищица*, а *стилист* — больше, чем *парикмахер*, хотя трудно объяснить, почему. Во всяком случае, престижнее быть стилистом и визажистом, а значит, парикмахеров становится меньше, и слово потихоньку вытесняется из языка. Так в свое время и случилось с *цирюльником*.

Количество заимствований в любом языке огромно, что самими носителями языка не всегда ощущается. Язык — необычайно стабильная система и способен «переварить» достаточно чужеродные явления, то есть приспособить их и сделать в той или иной степени своими. Степень этой адаптации важна, но и она не решает дела. Так, слова типа *пальто* (несклоняемое существительное) или *поэт* (отчетливое «о» в безударной позиции) переварены не до конца, однако русский язык не уничтожили.

Итак, бояться за русский язык не надо, справится. Самое парадоксальное, что стабильность и консервативность русскому языку во многом обеспечат противоположности: с одной стороны, великая русская культура (и литература прежде всего), а с другой стороны, не слишком образованные люди, в первую очередь те, которые в университетах не обучались и иностранных языков не разумеют. И пока таких большинство, можно не беспокоиться.

Из всего сказанного не надо, впрочем, делать вывод, что язык существует сам по себе и никакому влиянию не подлжет. Ревнители «русского» заслуживают не насмешки, а уважения. Несмотря на видимую нерезультативность их усилий, они являются своего рода противовесом для противоположных тенденций. А противовесы нужны. И можно, конечно, смеяться над требованием писать вывески по-русски, но определенный эффект оно дает.

Язык в изгнании. Судьба русского языка в России в целом достаточно ясна. Еще какое-то время язык будет изменяться весьма интенсивно, но ни к каким трагическим последствиям это не приведет. Иная судьба у русского языка, перенесенного на чужую почву эмигрантами. И здесь существуют разительные отличия развития русского языка в послереволюционной эмиграции и в эмиграции сегодняшней. Если говорить о первой волне эмиграции, то в ней русский язык был как бы законсервирован. Он практически не изменялся, особенно если сравнивать его с русским языком в СССР. Естественно, что речь идет о тех эмигрантах и тех эмигрантских сообществах, которые русский язык сохранили.

Сегодня также существует много эмигрантских сообществ в различных странах (прежде всего в США, Израиле и Германии), сохраняющих русский язык. Однако этот русский язык уже значительно отличается от русского языка в России, поскольку чрезвычайно интенсивно изменяется под влиянием языка-субстрата (если этот термин применим к основному языку страны проживания). Хотя исследования русского языка в эмиграции только начинаются, уже существует какое-то количество лингвистической литературы по этому поводу (работы Е. А. Земской, Г. Гусейнова, М. Полинской, Е. Протасовой и других). Интерес, однако, представляет и реакция нелингвистическая. И здесь мне хочется привести две полярные позиции, занятые известными русскими писателями: Т. Толстой, в течение шести лет по четыре месяца преподававшей в Америке, и В. Аксеновым, живущим там постоянно.

Т. Толстая опубликовала серию статей в газете «Московские новости», первая из которых посвящена русскому языку в Америке (1998, № 45, стр. 17)². Точка зрения Т. Толстой достаточно ясна. Она отрицательно и предельно иронично относится к «брайтонскому» языку, хотя и признается в том, что сама не чужда ему: «А иногда и не спохватываешься, махнешь рукой на все языковые приличия и добровольно извергаешь техпомой: „Из драйвэя сразу бери направо, на следующем огне будет ютерн, бери его и пили две мили до плазы. За севен-элевроном опять направо, через три блока будет экзит, не пропусти. Номера у него нет, но это не тот экзит, где газ, а тот, где хот-дож-

² Позднее статьи вошли в сборник «День» (М., 2001).

ная»». Конец статьи звучит в целом оптимистично для автора и пессимистично для эмигрантов: «Но я дотерплю и вернусь, а эмигранты, естественно, нет, не затем они эмигрировали. И мне хочется думать и писать по-русски, а им совсем не нужно и не хочется...

— ...А вот язык, очень рекомендую — шо-то исключительное.

— Та он в аспике?

— Ну и шо, што в аспике?! Шо, што в аспике?! Мы сами его дома с удовольствием кушаем. — И обращаясь ко мне, свысока: — А вы, мадам, конечно, не можете себе позволить язык кушать?

Кушать могу, а так нет».

Интересно, что многие из примеров, приводимых Т. Толстой в качестве естественной речи (например, *Вам поспайсит или целым писом*), по-видимому, являются образчиками языковой игры, построенной на каламбурном сталкивании слов разных языков, то есть самопародией и тем самым рефлексией по поводу собственного языка.

Кажется, что «брайтонский» язык — это уродство, которому нет места на этой земле. Ан не все так просто. Да, у него нет будущего, он уйдет вместе с первым поколением эмигрантов, но у него есть настоящее. Да, в нем много неоправданных заимствований (жаль, что наши депутаты не могут штрафовать брайтонцев, казна бы пополнилась), но он достаточно хорошо описывает ту русско-американскую реальность, которая возникла в Брайтоне. Он хорош именно в этом месте и в это время, пусть на нем и не возникнет великой литературы. Хотя и здесь не все так просто, как видно из следующего примера.

В. Аксенов не формулирует свою позицию, он просто пишет на том языке, который критикует Т. Толстая. В конце его романа «Новый сладостный стиль» приводится комментарий, который занимает около десяти страниц и, по существу, является переводом с «брайтонского» на русский.

Приведу лишь один пример:

«Однажды пришел старый кореш, актер „Современника“ Игорь Юрин, который три года назад „дефектнул“ из Совдепа...»

Комментарий: ...дефектнул. (от англ. *to defect* — нарушил долг, дезертировал).

Это, безусловно, авторская речь, так как герой еще даже не доехал до Америки.

Совершенно очевидно, что для русского языка такое заимствование практически неприемлемо, поскольку в нем уже существует корень *дефект* с совершенно другим значением. Фактически фрагменты текста романа написаны на другом языке и, в принципе, не могут быть понятны российскому читателю, не знающему английского языка.

Конец эпохи. Все метафоры, применимые к языку, верны по-своему. Язык — это тюрьма, из которой нам никогда не удастся сбежать. Язык — это очки, без которых нам не разглядеть окружающий мир. Язык — слуга и господин. Язык — наш друг и враг одновременно. Любой язык изменяется под влиянием различных факторов: внешних или внутренних. Он как будто бы следит за нами и фиксирует все самые важные наши проблемы и больные места. Он не дает ни соврать, ни обмануть самих себя. Общество становится криминальнее, и язык вслед за ним. Общество поддается чужому влиянию, и язык тоже. Общество становится свободнее, и язык отражает это. Более того, меняясь, язык начинает влиять на всех людей, говорящих на нем. Выбор между «брайтонским» и «советским» — это не просто выбор, как говорить, а выбор, как думать и как жить.

Увы, мы никогда не будем говорить на языке Тургенева. Что Тургенева — на языке Трифонова никогда мы уже не будем говорить вместе с нашими детьми! Так что живем мы сейчас в стрессовых условиях языкового разрыва поколений и многоязычия, и единственное, что можно посоветовать культурному люду, так это терпения и терпимости. Еще через десяток-другой лет наступит период стабилизации, и мы наконец без всяких законов обретем единый общий язык, без которого невозможна общая культура. Но это в другой жизни.

ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА

ВЛ. НОВИКОВ

*

АЛЕКСИЯ: ДЕСЯТЬ ЛЕТ СПУСТЯ

*Tu sais, j'ai beaucoup changé...*¹

Уточнение диагноза, или Пять процентов

«**А**ЛЕКСИЯ (от а — отрицат. приставка и греч. léxis — слово, речь), утрата способности читать или понимать прочитанное вследствие поражения височно-теменно-затылочной области лев. полушария...»²

Таким медицинским термином в начале девяностых годов я условно обозначил новую культурную ситуацию, когда вслед за читательским бумом с фантастическими тиражами толстых журналов и перманентным книжным дефицитом наметился резкий спад интереса к современной словесности. Посвященный этой новой и неожиданной напасти цикл эссе «Алексия» в 1992 году публиковался в «Независимой газете». Главная мысль была проста: наша элитарная проза с ее эстетской ориентацией слишком скучна и нечитабельна. Она сама повинна в эпидемическом распространении алексии и должна как-то измениться, сделаться поинтереснее.

За минувшие десять лет общественное равнодушие к «высокой» словесности только усугубилось и стало почти нормой. «Я современную литературу давно не читаю и вообще считаю, что ее не существует», — заявляют бывшие поклонники толстых журналов и серьезных книг, не замечая очевидного логического противоречия в подобных суждениях. «Никто ничего не читает», — с гиперболизированным отчаянием жалуются мастера прозы, такие же странные lamentации можно иной раз услышать и от критиков, чье профессиональное существование в отсутствие читателя вообще не имеет смысла. Потому-то и захотелось мне по-новому посмотреть на нашу ситуацию, а заодно поразмышлять о том, что такое «интересно» и что такое «скучно».

Оказалось, что эта оппозиция так же проблематична и субъективна, как антитезы «хорошо — плохо», «художественно — нехудожественно». Вот газетный обозреватель заявляет, что такой-то роман «читается на одном дыхании». Я принимаю за эту книгу, и мне, чтобы с нею справиться, нужно не меньше десяти дыханий, причем искусственных, держащихся на волевом усилии. В свою очередь то, что мне показалось захватывающим и увлекательным чтением, другой человек, даже сходной со мной вкусовой ориентации, может обозвать занудством или тяготиной.

Когда-то чтение было для нас всем: профессиональной необходимостью и эгоистическим наслаждением, получением полезной информации и чистой забавой, работой и досугом. Теперь я ставлю перед собой запоздалый, но неиз-

Новиков Владимир Иванович — литературовед, критик, прозаик. Родился в 1948 году в Омске. Доктор филологических наук, профессор МГУ. Автор книг «Диалог» (1986), «В. Каверин. Критический очерк» (в соавторстве с О. Новиковой; 1986), «Новое зрение. Книга о Юрии Тынянове» (в соавторстве с В. Кавериним; 1988), «Книга о пародии» (1989), «Заскок. Эссе, пародии, размышления критика» (1997), «Роман с языком» (2001), «Высоцкий» (2002). В «Новом мире» печатается с 1980 года.

¹ Знаешь, я очень переменялся... (Франц.)

² «Большой энциклопедический словарь». М. — СПб., 1997, стр. 34.

бежный вопрос: для чего люди читают? И понимаю, что биологический вид homo legens имеет три весьма несхожие разновидности: а) те, кто любит читать только развлекательную литературу; б) те, кто любит читать и серьезную, и развлекательную литературу; в) те, кто любит читать только серьезную литературу. Ясно, что первая категория включает абсолютное большинство читающего населения земного шара, вторая — это большинство, так сказать, культурной публики, а третья — это странно-специфическое меньшинство, к которому лично я имею несчастье принадлежать.

Бросая вызов недугу алексии, я вовсе не думал, что лекарством от нее должен стать масскульт с его механической фабульной динамикой. И прежде всего потому, что мне искренне неинтересно то, что «легко читается» многими людьми. Для меня лично наглядным символом абсолютной, невыносимой скуки является Александра Маринина, с несколькими опусами которой я вынужден был ознакомиться по долгу профессионала. И это было для меня отнюдь не развлечение и не отдых от трудов праведных, а самоистязание. С некоторой даже завистью услышал я от интеллигентной знакомой: «На Акунине я отдыхаю». Увы, я не создан для блаженства, и такая форма релаксации для меня невозможна. Отдыхаю я по-разному, но, во всяком случае, не с книгой в руках, чтение же — это для меня всегда духовная работа, напряженное взаимодействие с личностью автора. А степень «интересности» полностью определяется словесно-композиционной динамикой, одновременным разворотом сюжета и языка.

Так что никогда я не предам позорному злословью элитарную словесность и не променяю ее на чечевичную похлебку Дашковых — Донцовых, от которых меня честно тошнит на первой же странице. Нет, я вновь и вновь буду пытаться осилить, например, «Венок на могилу ветра» Алана Черчесова: текст, конечно, монотонен, монолитен, как скала, но раз уж сказал Немзер, что тут потребен «провиденциальный читатель», так я прорублю ступени в скале, докажу и Немзеру, и себе, что я читатель вполне провиденциальный.

Конечно, пошутил я десять лет назад, написав, что за каждую страницу Николая Кононова премирую себя страницей «Агафьюшки» по-английски. У Кононова с динамикой туговато, дефицит композиционной тяги приходится компенсировать читательским подталкиванием, но это уже спор славян между собою. Агату же Кристи эту читал я всегда с полным равнодушием к тому, кто там убийца, только для языковой практики, а потом и вообще забросил. Ну что за язык! Скуднейшая синонимика: у этого Пуаро — словесного, не раскрашенного актерской игрой Дэвида Суше, вообще на все происходящее две реакции: то он нахмурился (frowned), то пожал плечами (shrugged his shoulders). И так через каждые три страницы. Нет, сейчас мне нужен как минимум Вудхауз с его языковым юмором и психологическими нюансами.

Вообще мне кажутся весьма наивными представления о том, что детектив может стать неким образцом для «демократизации» элитарной словесности. Это ведь жанр по своей эволюционной природе вырожденческий. Высоким он был только в момент возникновения, под пером Эдгара По, чей Дюпен — первый и последний детектив-интеллектуал. И Шерлок Холмс, и Мегрэ, и майор Пронин — это уже мутанты, выращенные на гормонах. Посмотрел я серию «лучших» детективов, собранных Борхесом: однотипно-банальные сюжеты, психологизма — ноль. Очень уж каноничный жанр, мало у него связи с жизнью, где «таинственных» убийств почти не бывает. И «Преступление и наказание» вовсе не из детектива выросло, а из жанра «роман полисье» — это совсем другое дело.

На «русском» Западе появилась малоприятная тенденция подменять нашу «трудную» словесность масскультными суррогатами: в Германии, например, вовсю переводят Дашкову и даже писателем ее называют, без кавычек. Что ж, это говорит лишь о том, что легендарный гоголевский Петрушка — тип не только русский, но и всемирный, он бывает еще и Петером, Питером, Пьером. Во внутренние дела чужих государств не вмешиваюсь, но твердо знаю: те немцы, с которыми я дружу, Дашкову ни на каком языке читать не станут.

Вопрос степени полезности или вредности детективного «чтива» достаточно сложен. В прошлом году мы на конференции в Петербурге спорили по этому поводу с Александром Мелиховым. Я утверждал, что, читая Маринину, любой человек становится глупее и что уж лучше тогда ничего не читать. Мелихов же уверял, что даже с Марининой в руках человек делает шагок в сторону культуры. Каждый остался при своем мнении, а вопрос — навсегда открытым. Но я о другом сейчас. Пусть хоть девяносто пять процентов населения читает только «развлекаловку». Важно, чтобы в обществе сохранялся пятипроцентный (условно, конечно) минимум читателей «сложной» литературы. Кстати, отсчитайте от взрослого грамотного населения страны пять процентов — любого из нас устроит такое количество читателей. Не подписчиков журналов, не покупателей книг — это другой аспект, а именно читателей. А вот когда недуг алексии поражает и эту прослойку — тогда худо тому народу и той культуре.

Убегающим из строя

«...Самим собой и жизнью до конца / Святое недовольство сохраняя, — / То недовольство, при котором нет / Ни самообольщенья, ни застоя, / С которыми и на склоне наших лет / Постыдно мы не убежим из строя, — / То недовольство, что душе живой / Не даст восстать противу новой силы / За то, что заслоняет нас собой / И старцам говорит: „Пора в могилы!“»

Этот пассаж о Белинском из «Медвежьей охоты» Некрасова и теперь принадлежит к числу моих любимых стихов. В десяти строках явлен кодекс и литературного критика, и писателя, и читателя. Вижу в них свою программу на оставшийся период жизни, свой символ веры, в соответствии с которым схожусь или расхожусь с людьми.

И сегодня, на мой взгляд, одна из обязанностей подлинного интеллигента (а у него обязанностей всегда гораздо больше, чем прав) — это сохранять читательскую верность «трудной» литературе. Это почти так же важно, как когда-то было важно осознать ложность коммунистической идеи и безнравственность советской власти, уверовать в Христа, а не в Ленина — Сталина, презреть стукачей и антисемитов, поставить в своем сердце запрещенных Пастернака и Мандельштама выше «разрешенной» литературы.

И от кого ждать верности русской словесности, как не от литераторов и филологов? Увы, духовное предательство наблюдается как раз среди «соли соли земли», среди тех, кто и в узком «пятипроцентном» слое призван играть лидерскую роль. Мне доводилось участвовать во множестве научных конференций и симпозиумов и не раз убеждаться в непостижимой «девственности» большинства филологов по части современной поэзии и прозы. Незазорно не знать даже самые известные имена. Подобная позиция была описана в рассказе Тэффи: «Бальмонта? Не знаю. Не слышал такого. Вот Лермонтова читал. А Бальмонта никакого не знаю». Рассказ, кстати, назывался «Дураки» — сегодня, к сожалению, равнодушие к текущей словесности глупостью не считается.

Вспоминается, к примеру, симпозиум, посвященный 180-летию со дня рождения Достоевского, в конце 2001 года. Его организатор Игорь Волгин, стремясь закрутить нерв актуальности, поставил на первое пленарное заседание доклады о связи Достоевского с современной прозой, и мы с Дмитрием Быковым выступали в самом начале. Я в своем докладе говорил об истощенности антиутопического мышления и попутно рассказал, как в конце прошлого столетия проходил своеобразный негласный конкурс за право написать последний роман XX века. Начал это состязание Владимир Сорокин с его «Романом», затем подключились Александр Кабаков с «Последним героем», Владимир Маканин с «Андеграундом» и, наконец, Татьяна Толстая, не случайно оттянувшая публикацию «Кыси» до «дедлайнового» 2000 года. Итак, кто же победитель?..

Излагая этот литературоведческий сюжет, уже «обкатанный» мной в студенческих аудиториях, я вдруг ощутил по реакции зала, что, в отличие от сту-

дентов, профессора и доценты «не врубаются» — по той простой причине, что большинству из них названные произведения широко известных авторов просто не знакомы. Догадку мою подтвердил один симпатичный достоевед, спокойно сказавший мне в кулуарах: «То, что вы упоминали, читать просто невозможно, а лично я в современной прозе воспринимаю, пожалуй, одну Улицкую».

Нет, не могу согласиться с подобными речами! Убежден, что человек, по-настоящему понимающий Достоевского, не только способен читать современную прозу, но и не может не испытывать к ней интереса. Любите вы ее или не любите — дело другое, но способность к самостоятельной эстетической рефлексии вырабатывается только тогда, когда ваш читательский рацион включает и текущую словесность, составляющую в нем хотя бы пресловутые пять процентов. Не случайно современное достоеведение так слабо в понимании Достоевского как художника. Есть интересные биографические книги (тот же Волгин, та же бесконечно спорная, но живая Сараскина), а вот исследование поэтики Достоевского со времен Бахтина изрядно деградировало. Потому-то объемную художественную мысль писателя вновь низводят до плоских моралистических абстракций. Только что я услышал, как на «Свободе» Алексей Цветков, участвовавший в упомянутом симпозиуме, уничтожающе критикует нынешних квазирелигиозных интерпретаторов Достоевского, и не могу не признать справедливости этой радиофилиппики.

И еще один ядовитый укол хочу нанести специалистам по «классике», игнорирующим современную словесность. Именно из-за этого вы, уважаемые коллеги, в абсолютном своем большинстве не умеете писать. Исследуете прекрасный материал, а мысли и наблюдения свои излагаете дубовым языком, хаотично и нудно. Все-таки само слово «филолог» предполагает любовь к слову, а стало быть, и стремление к взаимности в этой любви. Чужая душа потемки, и я никогда не пойму людей, посвятивших жизнь литературе, но не освоивших при этом элементарной техники письма. Но в одном я убежден абсолютно: филология становится фактом литературы только тогда, когда автор научного текста является *современным литератором*, включенным в синхронный стилиевой контекст. Вот почему, скажем, пушкинисту и пастернаковеду необходимо читать и толстые журналы, а не только сборники академических трудов и докладов, девяносто процентов которых, по совести говоря, нуждаются в рирайте, в «литературной записи» — подобно мемуарам малообразованных политиков, генералов и спортсменов.

Но самая абсурдная ситуация — это когда факт существования современной живой литературы отрицают профессиональные критики. Рассуждения о «конце литературы» вполне допустимы как игровая провокация, как дразнилка (по возможности остроумная), преследующая своей целью оживление общей творческой активности. Но когда суждения типа «Литература прекратила течение свое» произносятся с серьезно-экспертной интонацией, то тут уже не до шуток. Приходится все-таки, отбросив юмор и иронию, говорить о том, что такие суждения вульгарны, профанны и несовместимы ни с научно-литературоведческим мышлением, ни с достоинством профессионального филолога. В каждой литературной эпохе девяносто пять процентов сиюминутной протоплазмы и только пять процентов эстетически ценного ядра. Наше время в этом смысле исключения не составит, а призвание критики — это ядро выявить, угадать, помочь ему состояться.

Нет ничего страшного в том, что в телевизионном шоу с провокативным названием «Культурная революция» обсуждается вопрос о «конце литературы». Когда по «ящику» говорят о современной словесности — это всегда хорошо, тут любой шум и вздор идут на пользу нашему задорному цеху. Но когда на очередной провокационный вопрос Михаила Швыдкого критик Алла Латынина совершенно серьезно утверждает, что от чтения современной прозы не получает удовольствия, — я изумляюсь: как же можно так походя перечеркивать главное дело своей жизни? Критик — это именно тот, кто *время от времени*

все же получает искреннее удовольствие от текущей словесности и именно таким способом отличает живое от мертвого, исторически перспективное от инерционно-вторичного. Интимно-гедонистическая шкала — рабочий инструмент критика, необходимая составляющая критического таланта. Утрата этого внутреннего профессионального органа — несчастье. Конкретного критика, а не литературы.

Что греха таить, и сам я порой поддаюсь эсхатологическому отчаянью. Но тут же говорю себе: *vita brevis, ars longa*. Не стоит на склоне лет собственное духовно-физическое увядание принимать за кризис или конец искусства. Давно раздумываю над тем, каковы возрастные параметры и пределы полноценной критической работы. Замечаю, что в наше суровое время литераторы, достигшие, скажем так, шестидесятилетнего возраста, становятся абсолютными эгоцентриками и могут искренне интересоваться только собой. (Естественно, бывают единичные исключения, и каждый из моих читателей волен себя к ним причислить.) Критика же по природе своей требует самоотверженности, преимущественного внимания не к «себе, любимому», а к чужим текстам. Не поспоришь с Мандельштамом, сказавшим, что критик должен «проглатывать томы». А если нет аппетита? А если пища не усваивается?

Все труднее и труднее быть критиком в подлинном, *русском* смысле этого слова (речь не о «национальной гордости великороссов», а о лингвистическо-культурном ореоле термина). «Критика» в России — это, как известно, не «criticism» и не «critique littéraire». Критиками у нас не называют тех, кто исследует хорошо проверенных классиков и находит новые красоты в и без того красивых Булгакове и Мандельштаме. Критик у нас — это читатель-писатель (именно в таком порядке!), своим чтением и письмом участвующий в строительстве литературы, своей кровью склеивающий позвонки вечности.

Критика — совесть литературы, и только временно, по ошибке могут именоваться критиками суетливые поденщики, от рождения совести лишённые и готовые без зазрения пресмыкаться перед Прохановым. Не заменит критику и квазифилологическое пустословие дилетантов, резонно отвергаемых толстыми журналами. Пожалуй, оставаться критиком сегодня немодно и невыгодно. Но это мучительный вопрос для тех, кто такую профессию когда-то выбирал и чего-то там не рассчитал. Тем же, кого профессия сама выбрала, проще. Если ты сам — часть современной литературы, значит, и она есть, и ты еси.

Перевернутая иерархия

Девяностые годы минувшего века я вслед за Андреем Немзером готов назвать «замечательным десятилетием». И замечательно оно в историко-литературном плане прежде всего тем, что произошла постепенная, вполне эволюционная качественная дифференциация литературного процесса, стратификация писательского сословия. На смену плоской идеологической бинарности (писатели советские — антисоветские, гэкачеписты — перестройщики) пришла нормальная трехуровневая структура:

ЭЛИТАРНАЯ СЛОВЕСНОСТЬ БЕЛЛЕТРИСТИКА МАССКУЛЬТ.

Эта триада соответствует здравому смыслу и самой человеческой природе. Она в принципе координируется с вертикалью нашего интеллекта и психики. Масскульт обслуживает животную сущность человека — простейшую читательскую похоть и элементарные реакции, беллетристика апеллирует к обыденно-житейскому сознанию, элитарное словесное искусство взывает к духу. При всей условности границ между тремя слоями их существование явственно и реально, только вот в настоящий момент некоторый парадокс обнаружился по поводу пола и потолка, верха и низа.

В боксе существуют весовые категории, но между их лидерами иногда проводятся поединки на абсолютное первенство — и не всегда там выигрывают тяжеловесы. Попробуем провести нечто подобное среди нынешних чемпионов в трех иерархических разрядах. Элитарную прозу, допустим, будет представлять Михаил Шишкин, добротную беллетристику — Людмила Улицкая, масскульт — Борис Акунин. Обратите внимание: все это писатели образованные, интеллигентные, распределение по уровням здесь обусловлено не разницей в умственных способностях, а несходством литературных стратегий, подходов к самой проблеме контакта с читателем.

Не знаю, как у вас, а у меня виртуальный пьедестал почета приобрел следующий вид: 1. Акунин. 2. Улицкая. 3. Шишкин. Таково, мне кажется, соотношение трех этих знаковых литературных фигур и на поле современного литературного процесса, и в широком историко-культурном плане. Если сравнить Акунина с его предшественниками в области масскульта, то наш современник явно превосходит и Анатолия Иванова, и Юлиана Семенова, и Валентина Пикуля, не бледнеет он и на фоне еще более далеких литпредков — Всеволода Крестовского или даже самого автора «Ивана Выжигина». Улицкая не уступит ни ведущим беллетристам-шестидесятникам вроде Дудинцева и Тендрякова, ни, скажем, Помяловскому и Эртелю. При всей же симпатии к Михаилу Шишкину его в элитарной категории не поставишь на одну доску не только с гениальными Булгаковым и Набоковым, но и с блестящими модернистами поколения Аксенова, Битова и Маканина.

Так уж получилось объективно, что элитарная проза сегодня обладает наименьшим коэффициентом динамичности — и в плане композиционной организации текста, и в плане литературной тактики. От кого из элитарных прозаиков ждать сюрпризов? Почти про каждого из них мы можем с достаточной степенью уверенности предположить, что он сохранит верность себе преждему, что и дальше будет писать примерно одно и то же. А лидер отечественного масскульта то вдруг серию детективов прорежет полетом «Чайки», то замахнется «на Вильяма нашего Шекспира». Кто из элитарных прозаиков может похвалиться аналогичной дерзостью, да и к какому из бонтонных романов и повестей последнего времени применимо само слово «дерзость»?

Произведениям Акунина суждена недолгая жизнь — тут двух мнений быть не может. Но в данном случае показательны не тексты, а социокультурные закономерности, за ними стоящие.

Итак:

Масскульт для элиты, или Из интеллигентов в обыватели

Будучи равнодушен к детективу как таковому, не мог я включиться во все-народный разговор о сравнительных достоинствах «Коронации» и «Статского советника», о снижении занимательности в «Любовнике(це) смерти» и проч. А вот «Внеклассное чтение» дало пищу для размышлений. Это роман масскультурный по языку, но элитарный по жанру: двуплановое, как и в «Алтын-Толобасе», повествование с переходом из эпохи в эпоху, ироническая дистанция между автором и персонажами, наличие прозрачных и необременительных для читательского сознания литературных цитат и реминисценций.

«Внеклассное чтение» по отношению к окружающему литконтексту выполняет роль пародии — не очень смешной, не слишком изощренной, но тем не менее бесповоротно «закрывающей» многие некогда престижные приемы и даже целые жанровые разновидности. Взять хотя бы «литературные названия» глав: «Рассказ неизвестного человека», «Смерть Ивана Ильича», «Большие надежды» и т. п. Дело не в том, что у Акунина это проведено не так тонко, как в «Пушкинском доме». Дело в том, что теперь по крайней мере ближайшие сто лет вообще нельзя будет называть романы титлами типа «Герой нашего времени». А после цитатного финала из «Отцов и детей» мы чувствуем, что

пришла окончательная хана постмодернистским коллажам — теперь они будут называться просто нетворческим «списыванием».

В ретроспективной части романа Акунин, ничуть не уступая серьезным «осмыслителям» российской истории, разворачивает нехитрый сюжет о том, как Екатерину Вторую хотят отравить сразу две придворные мафии. И опять-таки — здесь нелепо было бы оценивать технику исторической стилизации. Здесь приходится говорить об окончательной исчерпанности самого жанра «альтернативной истории» (или «альтернативки», как уже начали называть этот унылый вид прозы работающие в нем ремесленники). Вообще говоря, недалек уже тот день, когда в выходных данных литературных журналов напишут: «Не принимаются к рассмотрению антиутопии, альтернативные версии российской истории, римейки и сиквелы классических произведений». А роль Акунина как «закрывателя» и литмогильщика всех этих засаленных «парадигм» еще будет по достоинству оценена.

Будучи настоящим профессиональным эрудитом, Григорий Чхартишвили не мордует читателей каскадами декоративной учености — в отличие от догматиков элитарного стандарта. По контрасту вспоминается «Взятие Измаила» Михаила Шишкина, где герой, например, отрывая от подошвы сапога прилипший лист, изрекает: «*Semper aliquid haeret*», — каламбур не шибко комичный, а обрыв коммуникации с 99,9 процента читателей неизбежен. Когда роман этот печатался в «Знамени» без перевода иноязычных цитат, меня страшно занимал вопрос: неужели знаменцы так легко поняли замысловатый эпиграф из Квинтилиана? А во «Внеклассном чтении» культурные вкрапления и подтексты достаточно демократичны, книга несет в себе даже некоторый просветительский заряд. Один раз только удивил меня Николас Фандорин, сказав: «Я люблю женщин, и, как писал Карл Маркс, ничто человеческое мне не чуждо». Получивший образование в Англии, герой, наверное, все-таки не должен по-советски приписывать всю вековую мудрость классикам марксизма и вполне может знать, что реплика: «*Homo sum, humani nihil a me alienum puto*» принадлежит одному персонажу Теренция (Маркс же привел ее в пресловутой анкете как старинный афоризм). Но это, в общем, пустяк.

Главное во «Внеклассном чтении» — проект новой идеологии. Соположение игрушечного макета «прошлого» и газетно-телевизионного образа «современности» выводит на простую мысль о вечном торжестве зла в «большой» жизни — политической, деловой, карьерной и проч. В обеих сюжетных линиях имеют место корыстолюбивые отцы, бесстыдно отдающие на растерзание детишек: так поступает и дворянин восемнадцатого века, и нынешний буржуй, возглавляющий косметологическую мафию. Обрусевший же Фандорин, напротив, отпрысков своих любит гораздо больше, чем любую валюту. Семейные ценности — они единственно вечные, а никаких мировых проклятых вопросов решать не надо — тем более, что и не существует их в природе. (Собственно, и «Гамлет» Акунина — о том, что все люди одинаковы и нет среди нас Гамлетов никаких.)

Не случайно, что Акунин сразу пришелся не по вкусу двум классическим шестидесятникам, неодобрительно высказавшимся о нем в анкетных опросах. Я имею в виду Юрия Карякина и Льва Аннинского. Столь непохожие друг на друга радикально-бескомпромиссный либерал и бесконечно «амбивалентный» лукавый последователь Розанова — оба они уловили, что в уютном акунинском мелкобуржуазном пространстве нет места тем духовным порывам и закидонам, которым они — каждый по-своему — посвятили свою жизнь и писания.

Зато Акунин в самую пору тем, кто, отбросив лишние мысли, оставив попытки заниматься «чистой наукой» или «творчеством», вкалывает теперь с утра до вечера, с понедельника до пятницы, зарабатывая нормальные «бабки», нуждаясь по вечерам и в уик-энды в расслабляющем «внеклассном чтении». Хороший уик-энд требует, естественно, хорошего хеппи-энда в духе американских кинотриллеров, и Акунин его вам обеспечит. В решающий момент телохранитель главного злодея по имени Утконос вдруг переродится и прикон-

чит не Фандорина («Правильный ты мужик»), а свою преступную начальницу. Не убьют и ретроспективного Митю: он и в огне не горит, и в воде не тонет, и даже могилка его на поверку окажется фиктивной. (Замечу в скобках, что именно в моменты таких кульминационных натяжек лично я ощущаю мгновенный энергетический обвал и чувствую, что в целом от чтения Акунина не получил никакого эмоционального заряда — только потратился и должен буду компенсировать свои потери последующим чтением «трудных» книг. Что ж, для того, чтобы понять современного читателя, приходится идти и на такие жертвы.)

В литературном проекте «Акунин» важен не «мессидж» (он прост и, по сути, однозначен), а, так сказать, «челлендж» — вызов. Вызов читателям: вы действительно согласны, чтобы культура была *такой*, чтобы вечные ценности преподносились вам в мягком, перемолотом виде — наподобие фарша в гамбургере? Вызов писателям: вы действительно и дальше собираетесь следовать модернистским законам прошлого столетия, творя ваш собственный «уникальный мир», выдавая новые безжизненно-декоративные опусы и окончательно отпуская интеллигентного читателя в объятия податливого и переимчивого масскульта?

Чтение и прочтение

«Это хорошая проза». Извините, но таким словам с некоторых пор я не верю — кто бы и о ком бы их ни говорил и ни писал. Чаще всего такого рода оценки даются благопристойному «плетению словес» в духе привычного толстожурнального канона, когда абзац-другой смотрятся недурно или даже элегантно, а текст в целом — стоячая вода.

Поэтика-XXI еще не проявилась, и поэтому на оценочном уровне мы критического консенсуса найти не можем. Вполне близкий мне по взглядам критик может сказать или написать: увлекательный сюжет, впечатляющие характеры, оригинальный язык. А я про тот же самый текст абсолютно искренне скажу: сюжет вялый, персонажи схематичные, язык вымученный и нарочитый. Что же делать?

Вспомнить, что критика — это не только оценка, но еще и интерпретация. Что же, собственно, автор хотел сказать своим произведением? Этот наивный вопрос, над которым посмеивался Зощенко, всегда правомерен, а порой и необходим. К сожалению, сейчас, когда критике все больше приходится тесниться в газетных колонках, категоричная и бездоказательная оценка становится главной и наилучшей формой рассказа о том, что происходит в литературе. Между тем оценка может проистекать из непонимания, а интерпретация, трактовка — это и есть искомое понимание. Есть еще хорошее слово в этом синонимическом ряду — «прочтение». Если я не могу предложить собственного толкования вещи, значит, я ее по-настоящему не прочитал. А если оно, толкование-прочтение, у меня имеется, то и оценка к нему приложится сама собой, и кого-то я могу заразить своим интересом.

Интерпретация — акт не научный, а творческий, это субъективное сравнение текста с «внетекстовой реальностью». Именно здесь критик реализует себя как художник (а не в велеречивых «наворотах»). Есть здесь и координация с приведенной выше иерархической триадой. Произведение «масскульта» в творческом «прочтении» не нуждается, пересказ его фабулы — это и есть «содержание». Содержание беллетристической вещи может быть интерпретировано достаточно определенно и притом однозначно. А подлинно элитарное произведение выдерживает как минимум две трактовки, зачастую — взаимоисключающие.

Поскольку у меня имеется некоторый опыт выступления и в роли интерпретатора, и в роли интерпретируемого, то позволю себе поделиться своими ощущениями на этот счет. Любые оценочные комплименты могут оказаться ложными и ликвидированными в результате очередного литературного дефол-

та: так, даже в команде букеровских лауреатов наш придирчивый глаз непременно найдет одного-двух «штрафников», сама принадлежность которых к сонму настоящих прозаиков проблематична. А энергичная интерпретация, неожиданное прочтение романа или повести — это нечто подлинное, это, побахтински говоря, «событие бытия» литературного произведения. Совершенно особый катарсис испытывает романист, когда его сочинение по-своему, творчески *исполняет* критик. К такому «слиянию душ» может присоединиться и читатель — как это не раз бывало в лучшие литературные времена.

Эстетизм девяностых годов свою роль сыграл и свои возможности исчерпал. Именно в интерпретаторской активности вижу и новые возможности для развития литературно-философской мысли, и действенное средство против алексии.

Стихи, стихов, стихам, стихами, о стихах...

На какой-то тусовке в Овальном зале Евгений Рейн, спокойно и прямо глядя на меня, спросил:

— Это правда, что ты считаешь меня посредственностью?

Я онемел и стал судорожно вспоминать, где и когда так оплошал. Настоящий критик не имеет права употреблять слова «хороший», «отличный», «гениальный», «плохой», «посредственный», «замечательный», «настоящий», «талантливый», «бездарный» и т. п. Столько лет эти принципы студентам внушаю, а сам... Наконец вспомнил...

— Да, такое словечко по твоему адресу проскочило в статье о Бродском, где утверждалось, что и сам Бродский не очень-то...

Объяснение, прямо скажем, было не слишком убедительно, но собеседник отступил, спросив на прощание:

— А Айги, значит, гений?

Я пожал плечами. Как Пуаро.

Не раз потом я вспоминал этот короткий разговор, послуживший эмоциональным толчком к некоторому пересмотру былых позиций. Что уж так держусь я за свою эстетическую вертикаль? Ну, если даже подтвердится тезис о природной негениальности Бродского, об исторической непродуктивности соединения у него мандельштамовской и цветаевской поэтики, что с того? Есть у него стоящие стихи, а что еще надобно? И зачем я так упорно впариваю всем своих кандидатов в гении? Как хорошо сказал один из них еще в шестьдесят пятом году: «Что гений мне? Что я ему? О, уйма гениев!..» Действительно, русская поэзия минувшего века — это уйма гениев, числом до двадцати. Может быть, туда и вклинятся один или двое из наших современников, но сейчас главная проблема поэтического слова — коммуникация, то есть тот же читатель.

Собеседник — вот кто мне нужен в новом веке — не в золотом, не в серебряном, а в нынешнем, когда жизнь стала важнее литературы. И такого собеседника я нашел в Рейне, когда смог прочитать его без предубеждения, вынеся за скобки репутационно-тусовочную муть, мифологическую соотнесенность имени поэта с Бродским и Довлатовым, да еще ту шумную рекламу, которую доброму Жене делает своими злыми сарказмами вечно уязвленный Анатолий Генрихович. Раньше я ценил в поэзии прежде всего полет и даже «улет», выход за пределы естественной речи. Теперь оценил высокое достоинство ровной стиховой походки. Летуны — они могут слишком низко пасть и тебя за собой потащить, а Рейн дает ритм надежный, он с ним прошел целую жизнь, Питер с Москвой и Европу с Америкой: «Пусть фонарь по дороге перечеркнет метель, / пусть она ходит кругами, как праздничная карусель. / Звезды на низком небе зазубрены и легки. / Достань из карманов теплые тяжелые кулаки. / Подкинь их вверх и подумай, что дожил ты до зимы...» Вот человек: у него кулаки не для драки предназначены. Каюсь и вношу решительную поправку в былую небрежную оценку. *Непосредственность* — вот главное и уникальное свойство Рейна, отличающее его от других поэтов, от Бродского в том числе.

Нет, не на сто восемьдесят градусов повернулись мои взгляды. Не сжег я то, чему поклонялся, но все чаще начинаю поклоняться тому, что сжигал. Стыдно и горько мне, что не оценил в свое время Владимира Корнилова, считая его почерк слишком простым. Теперь понимаю, что именно к такой кристаллической ясности рвется и не может прорваться нынешняя молодая (по возрасту) и безнадежно старая (по эстетическим ориентирам) поэзия. Корнилов уходил, наращивая скорость стиха и духа: «Тому, кто любит стихи, / Они не дадут пропасть, / И даже скостят грехи — / Не все, так хотя бы часть...» Этой веры и мне, надеюсь, хватит до конца.

Почти весь двадцатый век теоретики спорили о правомерности придуманного Тыняновым и Андреем Белым термина «лирический герой». А с точки зрения практической он абсолютно прозрачен. Это поэтическое «я», в которое может вместиться «я» читательское. Потребность в душевной и духовной самоидентификации — это главное, что обуславливает сам факт существования читателя стихов. Инну Лиснянскую, например, начал я понимать и ценить тогда, когда довелось (или удалось) в ее «я» эмоционально вписаться. Такой эффект, кстати, достигается с годами, когда общей почвой становится духовность, обретенная на финальном отрезке жизни. У Лиснянской развернут эмоциональный спектр утонченных любовных переживаний, неведомых юным сердцам, нахожу я у нее даже формулы для самоидентификации, что называется, духовно-политической. Как относиться к крушению нашей родной империи, по которой склонны ностальгировать и явные, и латентные шовинисты? Не могу, как коммуняки, употреблять провокационное выражение «развал Союза», но и бездумное «чем хуже, тем лучше» мне тоже чужевато. У Лиснянской, наконец, нахожу формулу, устраивающую меня и ритмически, и семантически: «Некрасиво грустить, что распался имперский мир, / Но и чувством распада немыслимо пренебречь». Я тоже так думаю, а поэт это говорит — за себя и за меня.

Вот еще один мой новый собеседник — живущий в Америке поэт Борис Кушнер. Я ценю, конечно, и Кушнера-классика — Александра Третьего русской лирической империи (первый-второй — это Пушкин и Блок, если кто не понял). Но Кушнер Александр в последнее время пишет прежде всего для Культуры, его уже не просто читать, а изучать надлежит. А Кушнер Борис пишет о себе и для меня, исследуя, в частности, непростую тему сходства и различия музыки как таковой и музыки стиха: «Пастернаковским изгибом, / Искореженностью фраз, / Тишиной, знакомой рыбам, / Диссонансом слов и фаз / Я отвечу, я сыграю...» Это мне близко и человечески, и эстетически. Переосмысливая шуточные ярлыки Сельвинского, скажу: сегодня динамичная «пастернакипь» плодотворнее и перспективнее, чем монументальный «мандельштамп», придавивший многих...

В молодые годы мне как-то не случалось думать о том, до каких пор человек продолжает развиваться. Казалось, что за рубежом «полтинника» никаких неожиданных поворотов не случается. А выяснилось, что именно на шестом десятке происходит окончательное и порой болезненное размежевание. Невыносимо скучно становится участвовать в солидных разговорах о заработках, о летнем отдыхе, о количестве звездочек на дверях испанских и турецких гостиниц. Хочется от всего этого не просто бежать, а прямо-таки «бечь». Впрочем, эту мою внутреннюю речь подслушала и с абсолютной смысловой точностью сформулировала и ритмизовала Татьяна Бек: «Скучковавшиеся — спасутся, / Запируют, затопят печь... / Но во все времена безумца / Распирало желанье — б е ч ь ! / Твердо смотрят глаза сухие. / *Отрываюсь* — читай: расту — / Под рывчание злой стихии. / ...Ну а ты доживай в быту».

В статьях о современной поэзии часто апеллируют к авторитету Тынянова, но, как правило, на уровне изолированных афористических цитат: дескать, опять у нас «промежуток», литература, мол, открывает не заказанную ей Индию, а неведомую Америку, и т. п. Между тем сам Тынянов никогда не при-

менял к одной эпохе инструменты и критерии эпохи другой. Что сказал бы он сегодня, полистав «Новый мир», «Знамя» и «Арион»? Думаю, создатель «формализма» мог бы сказать примерно следующее. Установка на форму, делаясь общим правилом, утрачивает динамизм и ведет к инерционности. Единственным выходом в подобных ситуациях становятся поиски свежего идейно-тематического материала и преимущественная установка на новое содержание. И в стихе, и в прозе.

Читать друг друга

А тыняновская статья о «литературном сегодня» могла бы начинаться примерно так:

«Не читают писатели друг друга. Пишут же все при этом довольно похоже, что с горечью видят и издатель, и читатель.

Странная вещь! Непонятная вещь! Каждый литератор хочет быть прочитанным, но не желает сам поработать читателем. Таков порочный круг нашего времени».

Конечно, есть среди нынешних прозаиков и поэтов отдельные «светлые личности», много читающие и даже пишущие о своих коллегах. Но в целом у среднестатистического романиста или стихотворца сегодня нет системного представления о современном литературном контексте. Таков результат опроса, который я тайком провожу в неформальных беседах и светских разговорах лет уже десять (до чего же наивный народ эти писатели: даже не считают нужным соврать, что читали ту или иную нашу шумевшую или премированную вещь!). Всего, действительно, не прочтешь: каждый день в стране выходят одна-две книги, в которые нашему брату стоит заглянуть, а ведь существует еще и классика, которую иной раз хочется освежить в памяти... И тем не менее лечение и профилактика алексии должны начинаться внутри самого литературного сообщества. Если я читать не буду, если ты читать не будешь, если он читать не будет — кто же нас тогда прочтет?

МАРИЯ РЕМИЗОВА

*

ГЕКСОГЕН + ПИАР = ОСЕТРИНА

Свершилось... Народный трибун, бичеватель пороков постсоветской власти и не скрывающий своих убеждений антисемит увенчан лаврами «Национального бестселлера». Такого пиара, какой делали премированному роману «Господин Гексоген», у нас сподобился, пожалуй, один Б. Акунин — и трудно поверить, что тут сработали лишь личные связи издателей «Ad Marginem» (сперва, кстати, роман вышел специальным приложением к газетам «Завтра» и «Советская Россия», что тоже представляет собой некоторую загадку: все последние романы Проханов печатал в «Нашем современнике» — кто тут кому натянул нос?): по стечению обстоятельств «Гексоген» оказался *очень своевременной книгой*, политически выгодной как раз тем кругам, к которым Проханов всегда декларировал непримиримую оппозиционность. И которые, кстати говоря, отвечали ему чувством горячей ответной неприязни. И вот поди ж ты — *они сошлись...*

Само название рассчитано на то, чтобы сразу привлечь внимание: что-что, а взрывы домов в Москве и Волгодонске, после которых слово «гексоген» вошло в речевой обиход, — тема, безусловно, горячая, и массовый читатель просто обязан рефлекторно отреагировать на ключевое слово. Другой вопрос, что ничего особенно нового Проханов по этому пункту не сообщил — версию о причастности ФСБ мусолили все, кому не лень, к тому же собственно *господину гексогену* места в тексте отведено очень мало. Но — дорога ложка к обеду. Выходу ад-маргиновской книжки сопутствовал взрыв либерального возмущения по поводу возвращения к тоталитарным методам управления, введения цензуры и прочего закручивания гаек, кроме того, он практически совпал с антипутинской акцией Березовского — когда в Лондоне шумно демонстрировался фильм, обещающий изобличить ФСБ, в том числе и в причастности к означенным взрывам, — но так, по существу, ничего и никого не изобличивший.

Так что роман Проханова был прямо-таки обречен на успех. Ленинская формула сработала на все сто: слишком сильно уйдешь налево — придешь направо. Вероятно, она справедлива и в обратном направлении... Во всяком случае, либеральная критика, до сих пор и вполглаза не глядевшая в сторону литературных опытов Александра Проханова, вдруг спохватилась и на разные голоса стала воспевать *художественные достоинства* прохановской прозы. На вкус да на цвет товарищей, конечно, нет. Товарищи, как известно, все больше по партийным спискам. Несколько удивляет, однако, столь странное профессиональное разгильдяйство: что ж вы, господа критики, куда раньше смотрели? Почему проморгали «Чеченский блюз», «Сон о Кабуле», «Красно-коричневого», который, кстати, написан в рамках идентичной «Гексогену» поэтики? Где ж вы были, почему не доложили народу о скрытых там красотах слога и мысли? Неужто свободные граждане свободной страны боялись публично обнаружить свои *эстетические* пристрастия? Или не решались взять в руки оппозиционный журнал, ждали, пока продукция не получила штамп ОТК — марку элитарного издательства? Эх, господа, господа, как говаривал профессор Преображенский...

Помимо чистого пиара на прохановский роман сработало, вероятно, и то обстоятельство, что за десять лет свободного и, можно сказать, хаотического (во всех смыслах) плавания экипаж корабля несколько соскучился по твердой почве под ногами. И если иметь в виду интересующий нас аспект, то в общественном подсознании, безусловно, накопился заряд неудовлетворенности — социум затосковал по ощущению всемирно-исторической значимости, искусство — по *большому стилю*, эту значимость маркирующему...

Наследуя всем признакам соцреализма, прохановская проза (при очевидной идейной противоречивости) удовлетворяет главному требованию времени — она претендует на монументальность. Причем монументальность прежде всего внешнюю, нарочито бросающуюся в глаза: так выглядит архитектура в духе «сталинского ампира», так смотрятся мощные скульптурные колхозницы с плотными охапками колосьев и могучие «девушки с веслом». Приемы, позаимствованные у вторичного по отношению к античности классицизма, при этом третичном использовании теряют уже всякую художественную содержательность и превращаются в систему отвлеченных знаков, действующих по принципу 25-го кадра, ориентирующих сознание по самым прямолинейным осям. Возможно, что нынешние симпатизанты Проханова помимо всего прочего просто устали от вялой и хаотически организованной современной прозы и рефлекторно среагировали на маршевый ритм, лежащий в основе всякого военно-политического боевика.

В том, что «Господин Гексоген» удостоен звания *национального бестселлера*, есть своя логика: *продаваться*, по идее, он должен неплохо, во всяком случае, сравнивать его коммерческие возможности с соответствующим потенциалом произведений, составлявших ему конкуренцию в списке претендентов, просто некорректно. Массовый продукт в принципе нельзя сравнивать со штучным: это даже не то, что вывести на ринг боксеров разных весовых категорий, это что-то вроде насильственного спаривания ежа с ужом. Координирующее премию издательство «Лимбус» разыграло грамотную партию — Проханов отдает премию томящемуся в тюрьме Лимонову, у Лимонова тут же начинается судебное разбирательство — это же какая широкомасштабная и абсолютно бесплатная реклама лимбусовскому проекту издания лимоновских сочинений и всей этой издательской кухне вообще!

До текстов ли тут? Отнюдь. При сложившейся ситуации роль текста сведена до минимума — это просто очередной *продукт*, то самое «обычное моеющее средство», к которому можно при желании прилепить лейбл, а можно оставить «анонимным». Ни новое, ни старое поколение на самом деле ничего не выбирает. Потребляет то, что PR-технологи выберут за него.

И все-таки читать тексты пока не возбраняется. При том, что «Господина Гексогена» трудно читать всерьез — слишком часто автор допускает не рассчитанные на комический эффект стилистические и даже фактические огрехи (вроде того, что стол, за которым пируют гости, собравшиеся на именинах дочери Президента, на протяжении одной сцены дважды меняет качество — из яшмового превращается в малахитовый, а потом обратно в яшмовый), — он заслуживает внимания как своеобразный срез общественного менталитета. Проханов мифологизирует окружающую жизнь, выстраивая интригу на идее глобального заговора. Но корни этого мифа уходят в коллективное бессознательное российского социума, сформированное его советской историей. В каком-то смысле роман можно рассматривать как документ общенационального невроза — следовательно, изучать и, если верить адептам психоанализа, через это освобождаться.

Основная линия — несмотря на нарочитую запутанность — довольно проста (хотя в основе своей абсолютно нелогична). Отставного генерала разведки вдруг разыскивают бывшие товарищи и вовлекают в работу сверхтайного «ордена КГБ», который готовит не просто смену власти — на место одряхлевшего Президента поставить своего человека, Избранника, — но в перспективе и вообще смену курса и реставрацию мощи и геополитического веса СССР. Вы-

ясняется, что все перестроечные годы орден эффективно работал: все этажи власти, все мало-мальски значимые посты в экономике, армии и любых других структурах контролируются его людьми. Невероятная по нелепости сцена в некоем компьютерном центре рисует какие-то психоделические диаграммы, призванные наглядно продемонстрировать тотальный контроль над всем и вся чуть не в мировом масштабе...

Орден задумывает рокировку: убрать Премьера — последнее препятствие на пути Избранника к власти, — и, как всегда, чужими руками. Используя соперничество двух олигархов — Астроса и Зарецкого (прототипы всех политических фигур романа прозрачны), орден проворачивает интригу с похищением чеченцами генерала Шептуна, для выкупа выдаются фальшивые деньги, а премьеру готовят справку о якобы исключительно мирном содержании ваххабизма. В результате на встрече с ветеранами спецслужб вместо запланированной подарочной вазы Премьер достает из коробки отрезанную голову Шептуна (невольные и, увы, комические аллюзии — то ли Саломея с головой Иоанна Крестителя, то ли Юдифь с головой Олоферна, впрочем, существует и сцена с головой Берлиоза на балу у Сатаны...), и тут же начинается вторжение в Дагестан...

Конечно, во всех этих — и некоторых других не менее серьезных — операциях задействован главный герой, ослепленный верой в благородство конечной цели. Как же он ошибается!.. Хитроумное и циничное ФСБ преследует корыстные цели — вернуть страну под свой тотальный контроль, возратить былое могущество, приплюсвав к нему ставшую теперь актуальной экономическую власть. Вот тут-то под занавес и прозревает герой, пытаясь остановить подстроенные гвардией Железного Феликса взрывы московских домов. Тщетно, разумеется...

Зачем ФСБ нужны были эти взрывы? Версия, как мы уже говорили, известная — чтобы оправдать широкомасштабную войну в Чечне и утвердить позиции нового премьера — Избранника. Так что, Владимир Владимирович, извольте к ответу за кровь невинно убиенных, коей окроплен ваш путь к вершинам Олимпа... Почему, например, вторжения в Дагестан для этой кампании недостаточно, никто объяснить не трудится. Проханов не аналитик (напомним, что массовый читатель в аналитике не нуждается, он предпочитает сенсацию).

Финал романа в ад-маргиновской версии скомкан — разочаровавшийся герой летит куда-то на самолете, то ли разбивается насмерть, то ли нет, а то ли и вовсе не летит, но только воображает... В газетном варианте он уходил, потрясенный пережитым, куда-то вдаль *по крещенским водам*... Как заметила в приватной беседе одна остроумная дама — что он, ледокол, что ли? Видимо, кто-то все-таки указал автору на досадный просчет и — *взяв тотчас кисть, исправился художник*...

Опять же у самой финишной черты на сцену выходит еще один тайный орден — корпорация ГРУ. Как разъяряет герою очередной «резонер» («Гексоген» построен по чисто классицистским канонам — герой просто «ходит» по тексту, а «подчиненные» персонажи последовательно выдвигаются на авансцену и дотошно рассказывают в зал суть происходящего): «Две тайные структуры — „Орден ГРУ” и „Орден КГБ” — борются за Избранника. Борются две идеи русского будущего. „Орден КГБ” встраивает Россию в мировое развитие как ресурс мировой энергетики, пресной воды, ископаемых, трансконтинентальных путей сообщения, что не предполагает суверенной страны, суверенной цивилизации и культуры (так! — *М. Р.*). Излишки населения будут ликвидированы мягкими средствами. Центром мирового развития становится Америка, и все, что противоречит глобальному единству и управлению, будет сметено и подавлено. „Орден ГРУ” мыслит категориями суверенной великой России, уповая на русскую альтернативу гибнущему миру, на великую идею России, спасающую мир от гибели. Две этих модели вступают в решительную схватку, в последний глобальный и космологический бой...»

Ну, несмотря на загадочный *космологический бой*, здесь все кристально ясно. Черное воинство, белое воинство, Армагеддон, русская идея — все это

гораздо подробнее было прописано в «Красно-коричневом». КГБ-ФСБ Проханов сдает, очевидно, потому, что копает под, так сказать, *гносеологические корни* нынешней власти. Отчего это ГРУ вдруг обрело белые крылья? Ну, тоже, вероятно, загадка не из самых сложных, принимая во внимание жизненные перипетии автора в тени, допустим, раскидистого «Дерева в центре Кабула» — старая любовь, как известно, не ржавеет...

Что до глобального заговора, то не в Америке тут вся сила, нити-то известно, куда ведут, в чем честно признается резонер Зарецкий, под маской которого прячется не кто иной, как Борис Абрамович: «Мы отняли у народа его страну, он отдал нам ее без боя, и мы разломали ее на части, как плитку шоколада <...> Если захотим, мы сгоним их с территории к железной трубе, проложенной из-за Урала в Европу, по которой текут русские нефть и газ. И они будут жаться к этой трубе, как крысы, замерзающие на морозе, и из них уцелеют лишь те, кто сумел прислониться к нефтяной магистрали. Если они станут вдруг размножаться, мы прикажем женщинам перестать рожать, предложим мужчинам безболезненную стерилизацию. Если это не поможет, мы столкнем их к гражданской войне, и пусть они убивают друг друга, русские режут татар, татары стреляют в башкиров, а якуты под бубны шаманов станут курить первобытную трубку мира, в то время как мы займемся их кимберлитовой трубкой. Зараженных СПИДом, туберкулезом и сифилисом, пьяниц и наркоманов мы отправим за Полярный круг, где они тихо уснут от переохлаждения, на радость песцам и рососохам. А у здоровых мы станем брать кровь и органы и продавать в медицинские центры Израиля, утоляя ностальгические чувства евреев — выходцев из России, чтобы у них не прерывалась связь с их второй Родиной».

Все бы ладно — каждый имеет право на собственную шизу. Проблема, однако, в том, что вычленив содержание *русской идеи* в романе Проханова — категорически невозможно. Ну пусть бы эта идея была только противоречива — как в одной голове совмещается Православие и болезненное пристрастие ко всему советскому?.. Русский монархизм и уничтоживший его Ленин? С Лениным, впрочем, отдельная история. Ленина Проханов наконец-то тоже сдал — в морг. В буквальном смысле. Таинственный полуюродивый-полусвятой, потерявший жену и малолетнего сына на баррикадах у Белого дома в дни парламентского мятежа, после чего оставшаяся в живых дочь, вероятно, от потрясения стала валютной проституткой и тайным агентом все того же «ордена КГБ» (именно она подставила под скрытую камеру похотливого Прокурора), еще в самом начале раскрывает герою глаза на мистическую функцию ленинского Мавзолея: змей (он же метро) уже почти обхватил своим телом столицу, осталась последняя точка сопротивления — Мавзолей, вынесут тело Ленина — пиши пропало, не сдюжить светлому воинству в борьбе с мировым злом... Ближе к финалу герой, пользуясь отпущенной ему автором способностью без малейших усилий оказываться, где ему только заблагорассудится, посещает секретную лабораторию, где мумия вождя пролетариата проходит регулярную профилактику. Хозяин заведения — полоумный доктор — грезит федоровскими мечтами о воскрешении и победоносном восшествии Ленина на *новое царство*, но герой вдруг прозревает: в сакральной фигуре лишь жалкий, лишенный погребения труп. Так Проханов *хоронит* кремлевского мечтателя, кажется, признав наконец несостоятельность его харизмы на текущий момент...

Так вот о русской идее. Пусть бы она была противоречива, но хоть как-то сформулирована. Нет. Нет даже самого приблизительного, самого беглого изложения каких-то хотя бы основных положений. Позитивная программа просто опущена как несущественная, принципиально незначимая деталь. Приходится заподозрить, что автор, на протяжении стольких лет разоблачающий *сатанинскую* власть, не шадящий самых ярких красок на изображение ее онтологической скверны, даже в малой степени не способен представить, что именно он может предложить взамен.

Ну, Армагеддон. Ну, допустим, победили. Америке дали по рукам, Израиль вообще стерли с карты мира. Дальше-то что?

А дальше — язык не поворачивается. Нет, серьезно. Дальше — БАНКЕТ. Рыбка разная. Грибочки. Икра в хрустальной вазе. Куропатки. Холодная водка. Какое-нибудь там неотчетливо золотистое вино. Фиолетовый виноград... За столом с белоснежной крахмальной до хруста скатертью седые строгие мужчины — узким кругом. «Откупоривали бутылки, наливали водку, клали на тарелки сочно-алые лепестки семги, нежно-белые, с золотистым жиром ломти осетрины».

Видит Бог, это *единственное*, что Проханов описывает с неподдельной любовью — и, главное, с превосходным знанием предмета...



Р Е Ш Е Н И Я . О Б З О Р Ы

И ЭТО ВСЕ О НЕМ

Юрий Андрухович. Перверзия. Роман. Перевод с украинского А. Бражкиной. М., «Новое литературное обозрение», 2002, 368 стр.

Wer das Dichten will verstehen
Muss ins Land der Dichtung gehen;
Wer den Dichter will verstehen
Muss in Dichters Lande gehen.

Goethe!

На страницах «Нового мира» уже были опубликованы отзывы о двух других романах («Рекреация» и «Московиаде»). Дело, однако, в том, что большинство московских рецензентов Андруховича писали о русских переводах романов, что естественно. А это несколько другого порядка тексты (в смысле литературного качества по крайней мере). Я здесь не буду касаться проблем перевода с украинского на русский — это отдельный и специальный предмет, здесь речь не о том. Скажу лишь, что в случае той же «Перверзии»² мы имеем, с одной стороны, виртуозный и принципиально вестернизированный украинский, с другой — при попытке неуклюжего *буквального* перевода — несколько архаизированный и в силу этого слегка «приподнятый» русский, — стилистическая западня, но что главное — буквальный перевод неизбежно теряет легкую иронию оригинала, то, что любимый постмодерными теоретиками Бахтин называл «внутренней диалогичностью слова». Соблазн переводчика более чем понятен: язык в самом деле очень близкий и кажется, что допускает дословное переложение. Однако нет. Переводят ведь даже не с языка на язык, а с одной литературной и языковой ситуации на другую. В истории с Андруховичем это принципиально, поскольку Андрухович для украинской литературы фигура, очевидно, историческая.

Я буду говорить и о первых двух романах, ибо все три являют собой осмысленную последовательность, своего рода трилогию. Они, собственно, веки «модерной украинской литературы» («модерная» здесь терминологически не совсем то, что «современная» по-русски), последовательность, с которой они появлялись, совпала с новой украинской историей, и воспринимались в Киеве в свое время те же «Рекреации» — поверьте на слово — несколько иначе, нежели на русском языке в Москве десять лет спустя. Наверное, это стоит иметь в виду, если мы желаем понять, в чем тут дело. Вообще в московском взгляде на украинскую ситуацию (не только литературную) всегда присутствует известная аберрация: взгляд этот неизбежно внешний, однако этой «внешности», «потусторонности» как бы не замечающий. Теоретически как бы предполагается, что там что-то другое (другая страна, другой язык, другая история, в конце концов), но это так и не становится презумпцией. Потому что, когда мы говорим о «другом», мы пытаемся сначала эту его «инакость» понять, если же речь о «своем» (а украинцев полагают «своими»), тут всегда имеет место известная «родственная» бесцеремонность. Почему-то принято думать, что украинцам это должно льстить.

Итак, представляя российскому читателю украинского писателя Юрия Андруховича, имеет смысл начать с начала и рассказать не о стихах даже (с которых все, собственно говоря, начиналось) и не о трех романах — самых цитатных и самых цитируемых ныне текстах новой украинской литературы. Следует начать с биогра-

¹ Кто хочет понять поэзию, тот должен отправиться в землю поэзии. Кто хочет понять поэта, должен побывать в его стране (*Gême*).

² Мы сохраняем в описании книги заглавие, данное на титульном листе издания, но в дальнейшем рецензент употребляет при упоминании романа написание «Перверсия», с его и нашей точки зрения, более соответствующее *русской* орфографии. (*Примеч. ред.*)

фии или, если совсем правильно, с литературной репутации — вещи причудливой и рукотворной, которая в иных случаях стоит романа, и уж что совершенно очевидно в случае Андруховича — сама по себе литературный факт.

«Патріарху модерної української літератури» Юрию Андруховичу не так давно исполнилось сорок лет — дата, о приближении которой он, к слову сказать, оповестил собравшуюся по воле Гёте-Института отметить юбилей Брехта литературную общественность. Жест достаточно характерен. Дело даже не в привычке взалеть говорить о себе по любому поводу, привычке, свойственной людям публичных профессий, как-то: политикам, тенорам, шоуменам, а также светским барышням, безумцам и поэтам. Последнее — случай Андруховича. Между безумцами и поэтами зачастую ставят знак равенства из соображений высокого романтизма, однако в случае украинской литературы и в случае Андруховича в этом уравнении есть место для прагматики с арифметикой:

«Кого мы эпатируем? Общество как таковое? Это какое такое общество, может быть, то, что процентов на девяносто не читает вообще, а из тех, кто все же читает, девяносто процентов не читает по-украински, а из тех, кто все-таки читает по-украински, девяносто процентов не читает стихов. Эпатировать такое общество решил бы разве что сумасшедший. Но в конце концов, в поэзии что-то есть от сумасшествия, и это правда» (Юрий Андрухович, «Аве, „Крайслер!“»).

Герой «Перверсии», «заблудившись где-то в глубинах романного текста, уверяет, что более всего ему нравится рассказывать о себе. — Это я уже цитирую „Автобиографию“ Андруховича. — По этой причине жесточайшая исповедь перед суровейшим из священников доставляет ему бесконечное наслаждение».

Здесь отметим два момента вполне последовательных: объясняя себя, Андрухович начинает с признания собственного романного персонажа, который персонаж, гуляя под разными именами из романа в роман, из края в край, из Чертополя — окраины двух империй («Рекреации») в Москву — столицу империи, что рушится на глазах (в момент романного времени, «Московиада»), наконец, промчавшись галопом по Европам, является в Венеции, где исчезает (уходит в никуда) вполне театрально — прыгает из окошка в канал или что-то вроде того («Перверсия»). Собственно, что-то вроде того — смерть в романе, переход в инобытие, выпадение в дырку все того же романного пространства после долгих по нему блужданий — случается с ним под конец каждого из трех романов. Чтобы затем ему явиться вновь в другом месте и под другим именем. Но это один и тот же, как говорят в таких случаях, «авторский персонаж». Этот персонаж, порождение нарциссического романтизма, говорит устами своего создателя, представляет от его имени, рассказывает себя или то, что его автор желает рассказать. Андрухович начиная «Автобиографию» цитирует своего персонажа, круг замыкается. (Там же Андрухович признается, что подобное поведение персонажа — компенсация его собственной приватной закрытости или расплата за нее.) Поэтому когда речь по поводу брехтовского юбилея Андрухович начинает с сообщения о своем грядущем сорокалетию, то это уже какой-нибудь Стах Перфецкий говорит его устами, или наоборот, — тут впору запутаться.

Романтическая традиция, узаконившая «авторский персонаж» как нечто само собой разумеющееся, предполагала, что персонаж этот — поэт. (*«Мой приятель был самый простой и обыкновенный человек, хотя и стихотворец...»*) В нашем случае родовое определение локально уточняется: Стах Перфецкий, как прежде Отто фон Ф., как еще прежде Мартофляк, — *украинский поэт*. Московских рецензентов это обязательное уточнение, как правило, раздражает, хотя что-то подобное уже было:

Ich bin ein deutscher Dichter
Bekannt im deutschen Land³.

Хрестоматийная цитата из «Heimkehr» могла бы стать тональным эпиграфом к «Перверсии», хотя американский украинист Юрий Шерех по тому же поводу вспо-

³ «Я немецкий поэт, известный в немецкой стране». (Из «Возвращения на родину» Г. Гейне.)

минал гейневские «Reisebilder» («Путевые картины»). Тот же эпитафия, но с иным несколько смыслом был бы вполне уместен в «Московиаде»: украинский поэт Отто фон Ф. экзистует в Москве, именуясь знатным немцем, что может показаться странным, но на то бездна причин, — я знаю по меньшей мере три. Этот персонаж, пребывая в столице агонирующей империи, ощущает себя иностранцем («американцем в Париже»), он наблюдает с иных берегов, «немец» для славян — тотальное определение иностранца (не местного, немца, говорящего иначе). Этот персонаж, пребывая все там же, наследует чертопольскому Мартофляку, напоминая тем самым о своем имперском же происхождении: он уроженец другой империи, тоже бывшей, — Чертополь (Станислав, переименованный в Ивано-Франковск) — окраина Австро-Венгрии, империи Габсбургов. Наконец, «немец» — это опять же автобиография, это детская кличка и второй язык.

Если же вернуться к реальной литературной биографии украинского писателя Андруховича, ее вехам и датам, уточним, что «патриархом» он наречен был лет десять назад, в день своего тридцатилетия:

«...13 марта 1990 года, по случаю своего тридцатилетия, я удостоен был сана Патриарха Бу-Ба-Бу. Этот сан следует отнести к не вполне духовным: в сфере интереса вышеупомянутого Патриарха исключительно „точки пересечений“, т. е. „переходы духа в материальное“. Все, чем занимаюсь я в литературе, можно в конечном счете свести к таинственному, едва ли не маниакальному нащупыванию этих мучительных и сладких „точек“, быть может, хоть что-то из написанного мною по сей день тому свидетельство, так я надеюсь...» («Автобиография»).

«Сфера интересов» Патриарха Бу-Ба-Бу, должно быть, мало отличается от сферы интересов любого другого метафизического писателя, здесь важен маркированный сан: собственно, что это за иерархия такая, чего она стоит, кто ее учредил, наконец? И что такое Бу-Ба-Бу: для незнакомого с украинской литературной ситуацией читателя — звук пустой и нелепый.

В словарной статье Новейшей украинской литературной энциклопедии (МУЭАЛ) это выглядит приблизительно так: «Бу-Ба-Бу» (сокр. Бурлеск-Балаган-Буффонада) — эпатажная литературная группа, созданная во Львове 17 апреля 1985 г. тремя молодыми литераторами (Юрий Андрухович, Александр Ирванец, Виктор Неборак).

Добавим, что появление Бу-Ба-Бу совпало с тотальной демократизацией и предвкушением перемен. Реакция на нее тогдашней литературной элиты была скандальной, литературной и околотитулярной молодежи — восторженной. Название группы, по сути, раскрывает ее программу. Каждый член группы, достигнув тридцатилетия, получал свой титул: Андрухович — Патриарх, Неборак — Прокуратор, Ирванец — Подскарбий.

Сегодня Бу-Ба-Бу — история, чтоб не сказать — классика.

Бу-Ба-Бу начиналась как игра, перверсия, литературный скандал — классика довольно часто с этого начинается, — но украинская литература слишком долго жила по законам традиционных обществ (их еще называют дикими) с жестким авторитарным порядком, клановостью, возрастной семиотикой и т. д. — при таком порядке вещей стремительное узаконивание бубабизма выглядит странно, чтоб не сказать — пугающе. С одной стороны, это походит на успешное мумифицирование: традиционное общество ведет себя в соответствии со своими правилами — наводит хрестоматийный глянец, причисляет к лику и отправляет в музей. Даже если покойник скорее жив, чем мертв. И вполне отдает себе отчет в том, что происходит:

«„Литература — это Храм!“ — кинул мне как-то раз некий разгневанный писатель.

Ничего не имею против Храма. Хоть с тем же успехом можно утверждать: „Литература — это Лечебница! Литература — это Школа! Литература — это Фабрика! Литература — это Вокзал! Литература — это Пароход! Это Бордель! Это Свалка! Это Нужник!“ Обозвать литературу можно как угодно. Она стерпит. И храм стерпит, и нужник.

Но если храм, то храм. И если уж храм — то с живыми людьми, а не со священными коровами» (Юрий Андрухович, «Аве, „Крайслер“!»).

Бубабисты были хулиганами в той литературе, что большую часть своей истории мыслила себя Храмом со священными коровами. Эта литература (или эта

культура) в самом деле мыслила себя религией, традиционная умильность всякий раз побеждала здесь неубедительные модернистские попытки, там, где недоставало романтической патетики, она сбивалась в травестию. И если некий украинский писатель сознательно уходил от первой — пафосной — доминанты, он неизбежно приходил ко второй. Потому, наверно, «Рекреации» столь очевидно опираются на Котляревского, даже имена персонажей (Мартофляк, Мацапура) происходят из того «вертепного» пекла.

Но, начавшись двести лет назад с игры, шутовства, травестийного эпоса, украинская литература чем дальше, тем больше это самое шутовство и игровую отстраненность в себе подавляла, так первый классик стал литературным маргиналом, — высокий украинский официоз моментально усвоил: литература — это не игрушки. Если производить «имперскость» от императивности, как это сделали однажды американские студенты, то украинские поэты тут сто очков вперед дадут любому «певцу империй» (от «вражю злою кров'ю землю окропите!» до «ламайте цю скалу!»). В игры играют, надо думать, дети, а эта литература по большей части призывала и поучала, она признавала не так много других интонаций. Удивлявшие всех навязчивые «бродские» интонации в стихах Андруховича, возможно, не что иное, как «прививка метафизики» к поэтической традиции, доселе знавшей лирику — умильную, страдательную, но по большей части — гражданскую.

И если в первом романе Андрухович со всей очевидностью свернул с мейнстрима, вернувшись к началу, к травестию-шутовскому Котляревскому (при том, что по признанию того же Неборака, «излюбленным чтением в то время был том Бахтина»), следующий — московский — роман вовсе вышел за пределы родной традиции, явив гремучую смесь Генри Миллера с Веничкой Ерофеевым. «Московиада» должна была шокировать публику по обе стороны от Конотопа: с одной стороны, феерически неприглядные картины развала, привычные и правомерные в устах «своего», но обидно неприличные в устах «как бы своего», «семейного трикстера», позволившего себе насмешливо отстраниться. С другой стороны, вполне естественна и обескураженность киевской критики: где же наш герой? Вот этот безнадежно опускающийся все ниже и ниже в бездны подземного московского ада юродствующий алкоголик, «украинский поэт Отто фон Ф.» и есть «молодой герой молодой литературы»?

Между вторым и третьим романами была пауза в четыре года «украинской незалежности», и наш герой с латинизированной теперь уже фамилией обретается в безвизовой Европе, чертопольский вертеп и московская дьяволиада обернулись в венецианским карнавалом, американские и польские критики проводят аналогии с Кундерой, вспоминают «Смерть в Венеции», почему-то Гофмана (совершенная архаика!), для адептов Бахтина все тот же «пир духа», но если отвлечься от эмоциональной украинской критики и захлебывающейся цитатами западно-университетской филологии, что, собственно, произошло — с точки зрения традиционной истории литературы? Украинская литература из своего этнографического и национально-романтического зазеркалья внезапно, минуя эпохи и границы, вошла в европейский контекст, и, будь то «постмодернистское письмо» или «литература существования», она вошла в эту раму вполне естественно. Новый украинский роман легко манипулирует чужими приемами и традициями, российскими (но без придыхания), европейскими и американскими. Кажется, он все же вестернизирован, в том смысле, что аморфно-мистическим, «новореалистическим» и под. поискам тогдашних российских прозаиков («Перверсия» была написана приблизительно тогда, когда в Москве читали «Чапаева и Пустоту» и награждали Букерами-Антибукерами таких разных персонажей, как Гандлевский — за «Трепанацию черепа» — и Варламов) он предпочел сложно-фабульную европейскую belles-lettres (будь-то Кундера, Павич, Умберто Эко или все, вместе взятые). Украинский язык в устах Андруховича оказался столь полифоничен, что в нем адекватно обретаются эротика, экзистенциальная метафизика, постмодернистские игры и бог знает что еще.

Если же вернуться к разговору о бубаизме, новой украинской классике, возрастной семиотике и т. д., то парадокс налицо. Упоминавшийся уже здесь американский украинист Юрий Шерех (Шевелев) произвел Бу-Ба-Бу от немецкого «Vub» — мальчишка, и в одном из интервью Виктора Неборака назначение Бу-Ба-Бу было сформулировано цитатой из Ортеги-и-Гасета: «пробуждение мальчише-

ского духа в постаревшем мире», «спортивное и праздничное переживание жизни». В самом деле, в конце XX века вдруг было объявлено, что украинская литература лишь начинается, все, что было до — в своем роде восемнадцатый век, что литература здесь отныне не высокий долг и не скорбный труд, но спорт и праздник. Это далеко от привычного нам российского опыта, но, кажется, это так.

Инна БУЛКИНА.

Киев.

*

ВИНОГРАДНАЯ КОСТОЧКА

Всеволод Некрасов. Живу вижу. М., 2002, 243 стр.

Книга Всеволода Некрасова — это своего рода самиздат (хотя и указано, что книга издана при содействии «Крокин-галереи»), ни издательство, ни тираж не обозначены. Ни одного книжного магазина, в котором эту книгу можно купить, я не знаю. Тот экземпляр, который читал я, был мне предоставлен по случаю, когда я уже потерял всякую надежду найти книгу и всерьез усомнился в том, что она вообще существует. (А происхождение экземпляра — по цепочке — от жены автора.) Такой непростой и, прямо скажем, необщедоступный способ добычи книги меня несколько озадачил. Я уже давно отвык от того, что нужную (новую) книгу нельзя просто пойти и купить.

Книга Всеволода Некрасова состоит из двух больших разделов: стихи и прозаический текст, озаглавленный: «История / о том / как и мы / попробовали вроде бы / быть людьми / и что из этого вышло / (и как так вышло / что ничего же не вышло / и почему же так быстро / это произошло / все-таки)». Если стихи, включенные Некрасовым в книгу, можно найти на «Вавилоне» («<http://www.vavilon.ru/texts/prim/nekrasov0.html>») и/или на странице Александра Левина («<http://levin.rinet.ru/FRIENDS/NEKRASOV/index.html>»), то где, помимо ускользающей книги, взять текст «Истории о том...», я не знаю.

Читателю остается поверить мне на слово, на что я никак не могу согласиться. Ни мне, ни кому другому верить на слово, конечно, не следует, потому что слово, которое человек говорит, остается от человека неотделимо, и читатель всегда читает не совсем то, что пишет автор, особенно если это касается таких тончайших материй, как поэзия или жизнь поэта, им самим описанная. Единственная надежда — что эта «История о том...» все-таки попадет в доступное издание и заинтересованный читатель ее прочтет и составит собственное непредвзятое мнение.

В «Живу вижу» вошли стихи от самых первых — еще вполне традиционных, рифмованных, написанных в пятидесятые годы, — до самых последних, 2001 года, — о Бен Ладене. Почти пятьдесят лет работы.

Мое первое знакомство с творчеством Некрасова было хотя и кратким, но запоминающимся. Александр Аронов в статье, опубликованной двадцать с лишним лет назад (около 1980 года), процитировал (с указанием автора) стихотворение, написанное почти полвека назад:

Нет ты не Гойя

Ты
Другое

(Не уверен, что графическое воспроизведение текста было именно таким, насколько я помню, Аронов привел его в строчку.) Тогда я впервые услышал имя Всеволода Некрасова и запомнил его навсегда. Это стихотворение — эти шесть слов — произвели очень сильное впечатление. Я не был поклонником Андрея Вознесенского, но относился к его поэзии с вполне определенным пиететом. Эти

шесть слов продемонстрировали мне буквально в капле воды, что есть другая поэзия, о которой я ничего не знаю, что поэзия эта к Вознесенскому относится не просто скептически, а с жестким неприятием. Это было как бы другое измерение родной словесности. Благодарность за такого рода открытия хранишь всю жизнь.

Очень скоро я раздобыл и прочел целую книгу стихов Некрасова. Догадка о существовании другой поэзии сменилась уверенностью. Я приведу еще одно стихотворение Всеволода Некрасова, которое со мной с тех самых пор.

Христос воскрес
 Воистину воскрес
 Что и требовалось
 Доказать¹

Несмотря на то что в этом стихотворении четыре строки, это самое настоящее хайку, едва ли не единственное, настолько близкое к классическим образцам. Оно совершенно оригинально — никакого воспоминания о японской поэзии здесь нет и близко. Оно диалогично, это в точности три реплики из двух очень далеких семантических пластов: пасхальное приветствие и фраза из математического труда. Существует так называемая правополушарная речь — речь, которая воспринимается нами не как последовательный набор символов или звуков, а как единый знак, она не анализируется, а берется как целое. К такой речи относятся возгласы, ругательства, приветствия. Хайку Некрасова состоит из трех знаков (звуковых иероглифов). Если вспомнить, что при письме фраза «что и требовалось доказать», которой обычно завершается теорема в математическом тексте, часто заменяется знаком, как правило, квадратиком, иероглифическое соответствие становится еще очевидней. В стихотворении Некрасова каждый звуковой иероглиф имеет здесь огромную традицию и отчетливо очерченную семантическую область — это коготь, по которому узнают льва.

Первая книга Некрасова, прочитанная мной, представляла собой пачку длинных карточек, на которых красным и черным — с использованием двухцветной ленты — были напечатаны стихи. Карточки были просто уложены в прозаический полиэтиленовый пакет.

«Живу вижу» издана на роскошной мелованной бумаге, стихи набраны очень мелко и рассыпаны по листу. Они как бы не вполне друг от друга отделены. В книге очень много репродукций — работ известных художников, друзей Некрасова, но печать черно-белая.

Графика очень важна для стихов Некрасова. Стихотворение (или графический лист?) на стр. 72: в геометрическом центре чистого листа стоит типографская точка и немного справа-снизу одно слово — «однако». Все.

Точка в центре листа — это завершение, дальше идти некуда, изобразительные и словесные средства исчерпаны. Все сказано. И «однако» — ничего еще не сказано, мы в самом начале разговора, мы и говорить-то еще не начинали. У слова «однако» необыкновенно широкий спектр значений — от робкого сомнения до грозного указующего перста, и все они востребованы поэтом. Точка в центре листа есть точка совершенства, если еще хоть что-то добавить, совершенство будет утрачено, симметрия разрушена, но возникнет движение, вернется жизнь, и чистый лист, выведенный словом из состояния равновесия, повернется по часовой стрелке.

Особенное раздражение Некрасова вызвало сравнение его поэзии с речью Акакия Акакиевича, сделанное Михаилом Эпштейном. Критик, в частности, пишет: «Поэзия В. Некрасова — это поэзия служебных слов, произносимых с небрежностью ворчуна и настойчивостью заики. Угасающая, иссякающая, задремающая речь».

С Эпштейном трудно согласиться. В поэзии служебное слово играет несколько иную роль, чем в обыденной или даже прозаической речи. Достаточно вспо-

¹ Стихотворение цитируется по собранию на «Вавилоне». Адрес указан выше.

мнить «уж извините» и «виноват» из песни о Леньке Королеве Булата Окуджавы. Поэтическая речь слишком тверда, слишком беспрекословна, чтобы ее не следовало хотя бы иногда смягчать сомнением. Служебные, вводные слова, все эти «то ли», «что ли», «вроде», — это точки ветвления смысла, выводящие суждение из статического состояния, покачивающие высказывание. Можно попытаться вообще отказаться от значимых слов, расшевелить или даже вовсе разрушить грамматическую структуру предложения. Что останется? Останется своего рода формальная схема движения, не какого-то конкретного, а движения как такового. Это — предел, и именно к этому пределу приходит Некрасов.

Кабакову

I
 так так
 так
 так
 так
 так
 так
 а какой
 смысл?

Это телефонный разговор (с Кабаковым?), мы слышим только одного собеседника, который кивает головой в знак понимания: «Так». Кивает он по-разному («так» перемещается по строке), а говорит одно и то же. В какой-то момент он перестает понимать, о чем речь, и задает свой вопрос. Это стихотворение представляет собой некоторую переменную, значение которой может быть любым, — это схема, модель. К природе и бытию мы обращаемся примерно так. Собираем факты, собираем, а потом озадаченно смотрим на грудку данных и спрашиваем себя: «А какой смысл?» — и не знаем, что сказать. Впрочем, «А какой смысл?» имеет еще и другое значение — «А это еще зачем?».

Освобождая стих от значимых слов, мы его все больше формализуем, мы делаем его все однозначнее, мы сводим высказывание к чистому синтаксису при любой семантической природе опущенных слов. Но и у синтаксиса есть своя семантика — формальная семантика структуры.

«История о том...» — это история о том, как Всеволода Некрасова и его друзей-художников бесстыдно и прилюдно обокрали. «Воровство чужого места есть воровство» — крупным шрифтом в рамке.

Темные дела происходили (и по сей день происходят) в нашей словесности. Действует целая компания (мафия! мафия! — назовем вещи своими именами) злоумышленников, которая занята только и единственно одним — лишить Всеволода Некрасова его законного почетного места в родной словесности. Это собрание подонков всеми силами добивалось своего и добилося. Всеволод Некрасов пишет: «Чувствую я себя безусловным чемпионом по замалчиванию меня как автора». За пахана у них поначалу был Эпштейн. Он начал эту компанию по упоминанию. То есть по упоминанию кого угодно, только не Некрасова. Он организовал целый «эпштейнат». А его верные последователи, в первую очередь Гельман и Курицын, — они вообще превзошли самого. Некрасов их измерил в «эпштейнах»: Гельман — «это эпштейн так эпштейн», а Курицын — «семь эпштейнов разом».

Но до полного беспредела дело дошло, когда организовали «Академию российской словесности»². Всеволод Некрасов нашел много теплых слов в адрес этой организации. Чем же так виновата эта «академия»? Оказывается, все довольно прозаично: премию она Некрасову не дала. Да, это тяжкое обвинение. От него не отмоешься.

² Видимо, все-таки — Академию Русской Современной Словесности (АРС'С)?

1.01.2001
 брень
 хрень
 премии академии
 мразь
 раз уж опоздал...

Если обычная человеческая зависть или обида в сыром, непереплавленном виде становится основой стиха, дело совсем плохо.

Место поэта в литературном процессе может быть занято кем-то еще только в том случае, если оно может быть отчуждено. Если оно существует как бы отдельно от поэта.

Если достижения сводятся к методу или приему — то есть к некоторому вполне формализуемому и отчуждаемому от личности объекту, то этот прием и метод будут отчуждены. В науке всегда так и происходит. Очень редко человек, нащупавший метод решения, сохраняет за ним даже свое имя. Бином Ньютона придумал Паскаль, а Ньютон придумал ряд Тейлора.

Некрасов полагает, что принадлежащее ему по праву место (на троне, что ли, место это или медом намазано?) заняли «братки» Пригов-Рубинштейн, остальные тоже подсутились и крохи подобрали. Некрасов буквально пишет: «Я умею так, как умеет Пригов, и умел задолго до него. Как Рубинштейн — или почти так». Вот это-то меня и удивило. Если он может, как они, так, может, и они так же думают? и могут, как он? Тогда мне-то, читателю, какая разница, кого читать?

Я не могу себе представить, чтобы Евгений Рейн сказал где-нибудь: «Бродский занял мое место, а я могу и как Бродский, и лучше могу. И вообще-то я возрастом старше. И учил его поэзии вообще-то. А он, вишь, выскочил из-за спины, место мое занял и премию Нобелевскую цепанул».

Абсурд здесь очевиден. Бродский — это Бродский, Рейн — это Рейн, и место каждого из этих поэтов никто занять не может, потому что оно неотчуждаемо от самого поэта. Так, как он, может только он, и никто другой, сколько бы этот другой ни пыжился. Сколько бы ни было у Бродского эпигонов, они могут скопировать только формальную сторону его поэтики. Стиховой перенос, незначашее (служебное, кстати) слово в рифмующейся позиции, иногда даже свободную вибрацию ритма, — но то, что перед нами не Бродский, очевидно всем, в том числе и самим эпигонам. А если поэтика и поэзия состоят из чисто формальных образов и построений, из того как раз, что можно заимствовать и воспроизвести без потери? Тогда да. Тогда можно и место занять, и приоритет отобрать. Но это уже не поэзия, а изобретательство. Здесь надо брать патент, чтобы тебя не облапошили, не обокрали в самом прямом смысле.

У Некрасова есть строчка: «матьматьматьматьматьмать». Игра понятна: то «мать», то «тьма». Есть стихотворение «Аховые стихи», построенное на той же буквенной игре «ахахаха» — то «ах-ах-ах», то «ха-ха-ха».

У Андрея Вознесенского тоже есть стихотворение или заклинание, как он сам говорит: «тьматьматьматьмать». Возможно, Некрасов был первым. И, наверно, он может обвинить Вознесенского в плагиате. Но я бы не торопился. Почему не допустить, что Вознесенский догадался сам? Это ведь не очень трудно.

А вот еще несколько вариаций на ту же формальную тему. «Новогодний ИЗОП, посвященный А. Вознесенскому: ТЬМАТЬМАТЬМАТЬМАТЬМАТЬ ТВОЮ-ТВОЮТВОЮТВОЮТ!»³ Эпиграф на книге Алексея Цветкова (младшего): «нетнет-нетнетнетне» — русское «нет» переворачивается через голову и превращается в английское «the»⁴. Довольно остроумно.

В Интернете существует огромное количество порносайтов, которые содержат в своем названии последовательность «XXX». А ведь это тоже, можно сказать, «стихотворение», построенное по тому же принципу, что и некрасовское «ахаха». XXXX — если транскрибировать по-русски: эксэксэксэкс — экс-секс, можно пере-

³ Газета «Завтра» (http://www.zavtra.ru/cgi/veil/data/zavtra/96/161/8_AUUA.html).

⁴ Цветков Алексей. ТНЕ. М., «Палая», 1997 (<http://www.vavilon.ru/texts/prim/tsvetkov1.html>).

вести «загадка пола», а можно «сверхсекс». Если Некрасов сможет доказать авторские права на такого рода буквенную игру, то все владельцы всех порносайтов, содержащих в названии «XXX», будут обязаны покупать у него лицензию на использование его изобретения или брать название своего сайта у Некрасова напрокат. Люди они не бедные, и Некрасов мог бы очень хорошо на этом заработать.

Формальная поэзия, актуальное искусство легко отчуждаются от автора. Формальная поэзия — почти изобретение, поэтому и могут возникнуть эти разговоры о приоритете, о ворованном месте. Концептуальных поэтов à la Пригов много не бывает — он один вполне способен справиться за всех. Сколько вам надо стихов? 2000? К пятнице будет. Представить себе Некрасова на этом месте я просто не могу.

Но я думаю, что Некрасову нечего опасаться и так уж сильно сетовать на судьбу и на злоумышленников, у него есть собственная роль в русской словесности, и Рубинштейн, насколько я могу судить по его поэтической практике, на место Некрасова и не претендует. Главные достижения Некрасова все-таки не в том, что он придумал чью-то «тьмать» или что другое, а в том, что он дошел до границы минимализма. Его стихи почти не существуют, они почти бессмысленны, они почти не речь. Вот в этом самом «почти» и есть главное достижение Всеволода Некрасова. Он как-то очень быстро отказался от традиционной поэзии и от нетрадиционной, он прошел мимо нормального вяло- или бурнотекущего верлибра, едва ли его заметив, но, выйдя в пограничье абсурда и тишины, он остался в этой области и стал ее обживать и обживает уже почти столетия.

Другое дело, что читателей у Некрасова немного (что ему, конечно, очень обидно по-человечески); но мне кажется, по-другому и быть не может. Некрасов — поэт элитарный, поэт — для поэтов и очень искушенных читателей, а таких во все времена много не наберется. И что может помочь человеку, предпринявшему попытку чтения и осмысления некрасовских стихов, — так это замечательное, едкое остроумие поэта:

Либерте
Эгалите

Декольте

Вот вам и вся Великая французская революция.

Витгенштейн говорил о своем «Логико-философском трактате», что это изюм из кекса. А одного только изюма недостаточно, чтобы кекс испечь. Стихи Всеволода Некрасова — это даже не изюм, а одни только виноградные косточки. Чтобы они дали всходы, нужно их зарыть в теплую землю сознания и сочувствия. И нужно еще терпение и мастерство виноградаря. Людей, которые готовы и способны на это, в принципе, много быть не может, и тем более стихи Некрасова должны стать объектом самого пристального прочтения профессиональных читателей стихов — литературоведов и критиков, которые не только не баловали Всеволода Некрасова своим вниманием, а попросту забыли о нем.

Владимир ГУБАЙЛОВСКИЙ.

*

ЮРСКИЙ В БОРЬБЕ С СОБОЙ

Сергей Юрский. Игра в жизнь. М., «Вагриус», 2002, 380 стр. («Мой XX век»).

Мемуарная серия издательства «Вагриус» пополнилась книгой актера Сергея Юрского. Много в ней противится тому, чтобы причислить издание к жанру воспоминаний. Автору по крайней мере претит бы такая «узкая специализация». Юрский всеми силами старается уйти от банальной мемуаристики с дешевыми разоблачениями и запоздалыми откровениями. Следуя заветам Фаины Раневской, которая не помнила своих воспоминаний, актер нацелен на серьезную

литературу. «Игра в жизнь» — книга о самом себе, позволяющая автору разбираться в своих поступках с дотошностью розановских «Опавших листьев», а читателям — выступать в роли психоаналитиков, пытающихся разгадать тайны души, творчества и судьбы одного из самых ярких актеров России.

Пишущий эти строки — театральный критик, который не осмеливается судить, каков Юрский как писатель. Но смело можно утверждать следующее: «Игра в жизнь» — это не актерские воспоминания, вымученные при содействии какого-нибудь приближенного к актеру литератора. Это настоящие *воспоминания писателя*.

Никакой хроники жизни, никаких этапов творческого пути, никаких эпохальных встреч. Структуру книги подсказывают разнообразные жанры повествования: вот записки путешественника, вот отдельная, независимая глава о Гоге (Товстоногове), вот расплывчатые «сны», вот разрозненные «вспышки», вот прогулка вдоль Фонтанки. Эту изобретательную полижанровость, не дающую читателю скучать и придающую книге привлекательную «рваную» форму, можно признать первым достоинством мемуаров Юрского.

Общее настроение книги, резкие смены ритмов и жанров, возвраты к лейтмотивам, скрешивания тем, хорошая «зацикленность» на себе, — все это не может не напомнить джазовую эстетику, которую так любят шестидесятники. И если продолжать аналогию, книгу легко сравнить с джазовой импровизацией без основной темы, но с множеством побочных. Юрский пишет о самом важном и самом ярком, что случилось за годы его драматичной карьеры. Три темы между прочим занимают его больше всего: а) почему состоялся переезд из Ленинграда в Москву; б) зачем нужно продолжать заниматься режиссурой, если это вызывает кривотолки; и в) в чем была та заветная разница между советским обществом и миром западного человека.

Последняя тема навязчива и откровенно старомодна. Советскую жизнь уже давно, кажется, перестали поминать как самую ужасную, самую застойную, самую «совковую». А вместе с ней и современную перестали величать такой, с которой ни при каких условиях нельзя примириться (см. главу «Сны»). Юрского, что называется, «заносит», когда он с дивной тайной злобой напоминает нам о проблемах приобретения колбасы или со странным пренебрежением вспоминает о системе магазинных заказов. Впрочем, раздражение часто отпускает автора, и тогда читатель получает бесценные наблюдения о жизни вообще — вечно конфликтной, которая *во все времена* редко оборачивается лицом к человеку. И тут справедливо вспоминается «опыт терпения, опыт тайной духовной жизни народа».

Сергей Юрский, бесконечно перебирающий в голове советские мотивы и «ужасы социалистического быта», напоминает, пожалуй, читателю о другой проблеме нашего общества: ближайшее прошлое до конца не осмыслено, успев давным-давно смениться смутным настоящим.

Еще свежи в памяти актера моменты встречи с Западом, очарования им... и пока еще не видно разочарований. В первой главе мерное качание экспресса Москва — Женева передает ощущение великого прорыва, когда прекращает свое действие советский эффект «беспредельности внутреннего пространства и закрытости внешнего». Вместе со штампом «private» в графе «цель поездки» выдается виза на свободу. Герой еще пересекает пять позорных немецко-немецких границ, но уже перемалывает в своей голове тяжелые воспоминания о тоталитарной России с целью расстаться с ними навсегда. И самое интересное из тех воспоминаний: вторжение российских войск в Чехословакию — Юрский случайно оказался там в 1968 году вместе с театроведом Георгием Хайченко, и каждый из них заранее был уверен, что сосед — стукач.

И тут же, рядом: контрастирующие воспоминания с интонациями советской интеллигенции 70-х, верившей в неоскверненный социализм с человеческим лицом. Главы самого искреннего восхищения троцкисткой Ванессой Редгрейв и, ближе к концу книги, левым японским славистом Миядзавой. Восхищает все: как самозабвенно на ночной европейской кухне пели опытелевший «Интернационал», как неханжески выражались о социальной несправедливости, как боролись за свободу гомосексуалистов, как в Троцком увидели гонимого и распятого пророка, а в России — царство истины и — о ужас! — как все они ненавидели капита-

лизм. Тайная зависть сменяется легкой насмешкой, непонимание мешается с самыми дружескими чувствами, и «проносится мимо путаница и мука... и надежда... моего XX века».

Между тем театральная среда ждала от издания самого главного и самого заветного: истинных причин, заставивших Сергея Юрского поменять в конце 70-х города, бросить самый тогда престижный в России театр — БДТ и превратиться на десятилетие из драматического актера в выездного чтеца. Ожидала... и не получила более того, что было сказано ранее.

В главе, остроумно названной «Опасные связи», Юрский в роли одновременно и следователя, и обвиняемого выясняет причины гонений со стороны Комитета госбезопасности. Есть предположения: краткое ли общение с Солженицыным, дружба ли с эмигрантом Симоном Маркишем, вольный ли нрав артиста или чтение стихов Бродского — послужили причиной тотальной опалы. Есть предположения, но выводов нет; догадаться об истинном ходе дел за давностью лет невозможно. Чья-то недобрая рука обрубилась в одночасье все варианты для сносного существования актера в Ленинграде — да так, что всемогущий, неприкосновенный Товстоногов не осмелился помочь. Тайна осталась неразгаданной, но уже сейчас очевидно и нам, и самому Юрскому: эта история сломала его актерскую карьеру. Не переломила навечно, но посеяла нечто озлобленное и опасное, что и сейчас подспудно отзывается в Юрском — в какой-то особой возбужденности письма, приступах раздражения и агрессии, в недоверчивости и нелюдимости. Актер потерял свой театр, своего режиссера, свой город — ни то, ни другое, ни третье уже, вплоть до настоящего времени, не восстановится в судьбе Сергея Юрского, оказавшегося в положении вечного скитальца.

Двадцатилетний труд в БДТ наложил свой отпечаток на характер артиста. Аристократизм Товстоногова, его строгость, придирчивость и избирательность стали чертами нрава Сергея Юрского. Это особый тип интеллигента, презирающего равным образом богему и толпу, привыкшего не доверять любому «мы». Юрский пишет фантастическую главу, где недобрый словом поминает ресторан Центрального Дома актера на Тверской. Пожалуй, эти строки впоследствии окажутся единственным дурным воспоминанием о прославленном месте артистических встреч. «Да у нас Жан Луи Барро был на спектакле, он охерел от того, как я проживаю» — вот вершина «ресторанного» аристократизма в передаче Юрского. У Товстоногова Юрский некогда сыграл Чацкого, и позиция гордого героя, ходящего неприкаянной тенью меж пьяных и веселых столиков, сохранилась, кажется, в душе Юрского и по сей день. Неприкаянность — вот настроение книги и вот то нужное слово, которым можно было бы означить судьбу Сергея Юрского после изгнания из Ленинграда. Актер без театра, актер без коллектива. И все это при том, что Юрский имеет куда больше прав на свой собственный театр, чем те актеры, которые расхватывали в перестройку пустующие помещения и основали скромные театрики своего имени.

Выясняя отношения с КГБ, Юрский обронил нервную фразу: «Я рассказал это столь подробно, чтобы меня больше не спрашивали: а вы уехали тогда из-за Товстоногова? У вас были разногласия? Он не давал вам работать?» Казалось бы, сказано ясно: уход из БДТ — результат политической интриги. Но через десятки страниц выясняем: и с Гогой были разногласия, и Гога не давал работать... Все-таки были произнесены Товстоноговым самые страшные слова в авторитарном БДТ: «Вокруг вас группируются люди. Вы хотите создать театр внутри нашего театра. Я не могу этого допустить». Король защищал свой народ от двоевластия и поступал по-своему правильно, иначе бы и не существовало феномена театра с тридцатилетним стабильным успехом. Один не хотел разрушать устойчивость собственной неограниченной власти, другой не хотел быть бесправным подчиненным. Единственное, за что мог бы Юрский сегодня упрекнуть Товстоногова, — за невмешательство в отношении актера с КГБ. Но Юрский и не упрекает.

Режиссура и мысли о ней стали силовой защитой актера от враждебного мира, средством для восстановления переломленной судьбы. А ее нужно было восстановить вопреки мнению Товстоногова — «учителя, который не признал во мне ученика», и вопреки традициям отечественного театра, который недолюбливает «ак-

терскую режиссуру» и вместе с тем не «поставляет» для актеров уровня Юрского режиссерских гениев, подобных несравненному Гогге.

Клеймо Товстоногова («Сереза замечательно играл у меня в театре, но ему не надо было заниматься режиссурой») осталось с актером навечно, но Юрский работает вопреки клейму. И не может существовать иначе: слишком велики амбиции и слишком крепок аристократизм, воспитанный духом БДТ. Судьба Сергея Юрского — тяжелая драма, в которой актер выстоял, оставшись честным человеком и творчески активным организмом. Юрский — человек XX века: свою судьбу он повторил вслед за страной, которая до сих пор не перестает шататься и сотрясаться...

Павел РУДНЕВ.



СЕБЕСТОИМОСТЬ СТИЛЯ

Самуил Лурье. Успехи ясновидения. (Трактаты для А.). СПб., «Пушкинский фонд», 2002, 255 стр.

«**Н**ет занятия безумней, чем сочинять тексты о текстах, особенно — прозу о стихах». Но как увлекательно это занятие! Автора текстов о текстах (называемых неудобосклоняемым словом *эссе*) в той же мере, что и авторов текстов, волнуют вечные вопросы бытия, и он их, недоуменные, напрасные, с детским упрямством пускает в поднебесье, как бумажных змеев: «Любовь, дружба, счастье — разве не бессильны они перед временем, расстоянием и смертью?..»

Его интересует не столько литература сама по себе (как сделана «Шинель»), сколько человеческий жребий, смысл и устройство обреченной уничтожению жизни, и не заурядные представители вида — их-то жерло вечности пожирает, как пылинки воздуха при дыхании, — и не литературные персонажи, избежавшие тления (те, что попеременно садятся за парту с каждым школьником), а их великие создатели его занимают. Когда он подробнее излагает историю Табели о рангах в связи с Башмачкиным и с коллежским асессором Ковалевым, то это потому, что сам Гоголь (и Белинский, и Герцен, и Фет) зависел от этой Табели.

Жизнь неуклонно соблюдает свои законы, и что — век нынешний, что — век прошлый, да хоть и позапрошлый — обстоятельства вроде бы разные, а человек мучится одинаково; как говорится в одних стихах: «И в кафтане доблесть доблестью и болью боль останутся, / И в потертом темном пиджаке». Наблюдая сюжеты Судьбы, прозреваешь характер самого Автора.

Персонажи и сюжеты книги «Успехи ясновидения» такие разные, что сходство того главного в них, на что обращен взгляд Самуила Лурье, не может потеряться.

Жуковский, Дефо, Чаадаев. Гоголь, Блок, Прево. Зоценко, Вольтер, Андерсен... К примеру, Жуковский. Все знают, какой Василий Андреич был мягкий, нежный, всем помогал. Толерантный (и — не хватало темперамента). О Зоценко даже журналистам известно: сатирик, всех смешил, хотя «по жизни», как они выражаются, был мрачным человеком (правда, и власть советская лично для него постаралась). А еще Сведенборг, Горький, Салтыков-Щедрин, Гончаров, Бродский...

Л. Дубшан то ли восторженно, то ли печально (скорее всего и то и другое) замечает об этих текстах Лурье: «...все оказываются до ужаса похожими», — и составляет в качестве доказательства коллаж из фрагментов эссе: они удивительно легко монтируются; вот и видно: что-то вроде одиссеи человеческой души в разных ее воплощениях разворачивается перед читателем.

Божий замысел необъясним — не просто печален, а издевательски печален, насмешливо-трагичен; человеческие судьбы производятся на каких-то «пирах злоумышленья», не дозволенных людям, но дозволенных зачем-то Провидению. «Как пуста, из каких низких слов и телодвижений состоит жизнь» гоголевского мещанина, но и суетные усилия гения (литература — занятие светское) в контексте общего замысла — не смешны ли? Подобно Гоголю, насылавшему на своих нищих духом бедолаг то непогуду, то грабителя, то ревизора, чтобы сорвать с них иллюзорное благополучие, Высший Координатор назначает одному — депрессию (вообще-

то троим из персонажей Лурье, если уж считать), другому — несчастную любовь, третьему — Дантеса, четвертому — Мартынова (рифмует поэтов, такой организует звуковой повтор, необходимый, сами знаете, в поэзии), пятому — тюрьму и каторгу, ну и так далее, и так далее. На худой конец, удачливым — невнимание потомков, а ведь как для них старались!..

Можно ли остановиться на этом крупном разоблачении? Инерция открытия толкает к дальнейшему расследованию: так ли невинны жертвы, разве они не ведут себя тем же манером, по тому же образу и подобию? Один любил прилгнуть, другой скуповат был, третий (внимание!) наслаждался, истязая насекомых — мух, поджигал им лапки и крылышки на свече «в чаду алкоголя и пошлости». Если «музыка Дельвига» в одноименном эссе звучит чистым, невинным минором, то в качестве второго голоса имеется партия Сергея Баратынского (брата поэта) — слышите глухую угрозу дальнего грома? — увлекался медициной, химик, а пятна на теле Дельвига никто не дал осмотреть врачу, умирающего успокоили, сказали, что скоро все пройдет, и прошло, все исчезло вместе с жизнью, вдова же, не износив башмаков, тайно обвенчалась с этим самым братом, ибо — так она объяснила в письме к приятельнице — он любил ее уже шесть лет (к моменту внезапной смерти мужа).

И если Лурье не верит в злой умысел («лично я не допускаю, что Автор мироздания злопамятен и шекотлив, — и не понимает поэтов, и не любит стихов...»), то ему придется признать деятельное и неотвратимое вмешательство антипода этого Автора. Только кто же из них всесильный, всемогущий и прочая?

Ну, если не к пирам злоумышленья взывает все это, так, во всяком случае, к сарказму; вот почему «без иронии как первородного греха художественной речи — тут не обойтись» (А. Арьев). Ирония вползает в самые даже патетические пассажи, она у Лурье — родная сестра лирики. Слегка видоизменив слова, брошенные им о Гоголе, заменив одно имя собственное другим, скажем: «...самые потрясающие события в прозе Лурье — события слога». Вот послушайте:

«Есть такая реальность, в которой никто из нас не старше двадцати семи, — помните, Чехов в повести „Три года“ писал про это? — и каждый умен, и каждый лежит в долине Дагестана, убитый, как дурак, другим каким-нибудь тоже дураком, — с догорающей в мозгу мыслью о какой-то совсем не дуре далеко за горизонтом — это очень важно, видите ли: заплачет она или нет?

...И другая меланхолическая мечта: от бессмысленной роли в бессмысленном фарсе отказаться — бросить свой текст злomu режиссеру в лицо! — а из театра все-таки не уходить — затаиться в оркестровой яме на всю вечность, любуясь декорацией, — существовать не страдая, бесплатно, и чтобы темный дуб склонялся и шумел».

Есть в этом тексте что-то детски-толстовское, упрямо прущее напролом, наивность человека, идущего до конца в рассуждениях (кстати, обратите внимание на двух «дураков» и одну «не дуру» в первом абзаце: торчат как-то слишком прямо, как случается у Льва Николаевича), и нечто Достоевское тут же мерещится: «бросить... в лицо!.. и затаиться»; и все это окутано мягкой горько-печальной стиховой дымкой: «не страдая, бесплатно, и чтобы...» — да где ж это взять? — и юмором — до чего конкретная оказалась мечта: «затаиться в оркестровой яме». А «яма» с вечностью-то соседствуют как чудно!

Этот текст взят наугад, первая попавшаяся страница. В каком-то отношении он не типичен: Толстовский на самом деле в разговоре о Лурье ни при чем, хотя отзывчивое слово Лурье дает множество обертонов. Совсем другие предшественники поработали в его пользу.

«Женская красота для Толстого должна быть непременно скромной, как фиалка, и прятаться под большими полями шляпы. Красоте в жизни полагается лишь одна минута надежды на счастье, пока шляпа с большими полями и ринсе-пез учебного склоняются над так и не названным грибом. Не удалось — скройся, подурней и оставайся на всю жизнь общей тетушкой, Софи из „Войны и мира“».

Удалось — рожай и корми, корми и рожай.

Музыки даже не слушай, один Бог знает, что еще может из музыки выйти!»

И автор говорит, что убитая за прелюбодеяние, может быть, даже за одно кокетство, жена (в «Крейцеровой сонате», как помните) убитая «главным же образом

и не за прелюбодеяние, и не за кокетство, а за то, что Толстой с молодости не может видеть женского стана, обтянутого джерси».

Это не Лурье, это — Анненский, «Книга отражений».

(Заметим в скобках, что в знаменитой сцене из «Анны Карениной» — сцене несостоявшегося объяснения в любви между Кознышевым и Варенькой, которую имеет в виду Анненский, — нет шляпы с широкими полями (как и пенсне ученого, вместо него — сигара), белая косынка покрывает черные волосы Вареньки, но шляпа все-таки фигурирует — шляпка «так и не названного» (тут нам слышится голос Набокова) гриба. Путаница деталей ситуации характерна для поэтического мышления; вспомним по этому случаю бродячую родинку на лице Альбертины у Пруста: никак не установить ее истинное место, в воображении героя она все время перемещается.)

Подобных цитат из Анненского, избобличающих источник гибкой, подвижной фразы Лурье, можно — и очень хочется — привести множество, жаль, что рамки рецензии этого не позволяют. Но даже по одному отрывку легко увидеть и храбрую мысль, и проворство проникающей в сердце интонации устной речи — эти повелительные наклонения, обращенные к персонажам («скройся, подурней... музыки даже не слушай»), эти домашние разговорные клише («один Бог знает, что еще может... выйти!»). Так и вижу, как на заре туманной юности Лурье выудил из Анненского, радостно схватил то, что нужно, прижал к сердцу, утащил к себе и никогда не отпустил... Молодец!

Обратим внимание на то, что просто «блестящие выражения» в прозе, как известно, «ничему не служат». Нам так нравится приведенная цитата потому, что Анненский «раскусил» Толстого. На высказанную мысль можно сослаться, ее хочется процитировать. Лурье так же раскусил Гоголя, Достоевского, Гончарова, Жуковского, Зощенко, Салтыкова-Щедрина, Горького... В каждом портрете читатель найдет какую-нибудь неожиданность.

Например, Жуковский: «Жуковский вообще невысоко ставил роль личности в поэзии, в истории, в частной жизни» (это при романтизме-то!). «Он с молодых лет проникся уверенностью, что личность, с ее своевольными страстями, с ее себялюбивой тягой к счастью, с ее обидами на судьбу, только сбивает душу с пути... Не примирение с действительностью, а отречение от мнимых прав личности. Самоограничение, самопожертвование. Не пользоваться жизнью, но выполнять ее как долг — или домашнее задание... Жуковский выдержал. Его поэзия надорвалась».

А Гоголь и Башмачкин, оказывается, — астрономические близнецы. Во всяком случае, крестили их в один день, а именно — 22 марта. Мы, конечно, знаем, что Эмма Бовари — это Флобер, а Толстой — и Анна Каренина, и Каренин, и Холстомер, но все же не всякий писатель подарит свой день рождения такому неприглядному персонажу, как Акакий Акакиевич, — одно имя чего стоит!

Про «бедных людей» мы всегда знали, что они, бедные, не могли пожениться, потому что — бедные: денег не было. А Лурье объясняет — и убедительно, — что денег на женитьбу вполне могло хватить, дело не в бедности, а в гордости. Почитайте, почитайте!

В эссе «Сказка о буревестнике» можно узнать совсем неожиданные вещи: «Последние шесть лет он [Горький] служил так старательно [власти], словно не за страх, а за совесть... Горький вообще был не трус... Когда читаешь его переписку, проникаешься подозрением — почти уверенностью, что в какой-то момент — приблизительно под новый, 28-й год — Горького просто-напросто подменили двойником».

Себестоимость стиля высока (ничего не поделаешь), когда за стилем стоит нечто фактически интересное. И мысль, и интерпретация.

Еще об одном источнике стиля Лурье необходимо сказать. Это конечно же Зощенко.

«Поэт даже что-то такое намекает тут насчет призыва на военную службу — что это ему тоже было как будто нипочем. Вообще что-то тут поэт, видимо, затаил в своем уме. Аллегорически выразился насчет военной трубы и сразу затемнил. Наверно, он в свое время словчился-таки от военной службы...» (Зощенко — о Блоке).

Но можно подумать, что и Лурье.

Этому сродству мы с улыбкой всякий раз радуемся, замечая прелестные неправильности устного выражения и яд сарказма, употребленный по делу. И то, что лирическая проза Лурье не живет на ритмическую ренту, не хочет расслабленно покоиться на ритмических волнах («и пусть весь мир подождет!»), а черпает лиризм в юморе и разговорном синтаксисе, — это тоже от Зощенко.

Но вот неприятность — местами ирония вдруг, как нос Ковалева, отделяется и проявляет неслыханную инициативу; ей как женщине кажется, что она очаровательна и все знает о жизни, и она, шумя и сбиваясь с шагу, повсюду следует за автором, — ну вот, к примеру, в эссе о Блоке: «Как тяжело ходить среди людей и притворяться не погибшим в таких условиях. Но именно в этой тональности: надежды нет, и не нужно счастья, и только из гордости терпишь унижительную необходимость отвечать на поцелуи, а заодно и всю мировую чепуху... Долг перед Искусством и Родиной велит идти навстречу Судьбе до конца: в цирк, в ресторан, в дом терпимости. И вечный бой! Покой нам только снится».

Очень смешно. Можно подумать, что автор, подобно советскому мобилизованному фельетонисту, не желает понимать, как это можно утром написать «Что же ты потупилась в смущенье?», а вечером побывать в публичном доме; знать не знает, что сознание человека многоканально — пока работает один канал, выключен другой; они несовместимы, и совмещать их бессовестно, просто глупо, да и было уже — помните: «то монахиня, то блудница»?

Знаменитая фраза из дневника Блока о гибели «Титаника» («есть еще океан!») вовсе не означает радости по поводу гибели людей, даже равнодушия. Не будем углубляться в причины (они есть — см.: Лавров А. В. Этюды о Блоке. СПб., 2000, стр. 194 — 201) — ясно, что многое, если не все, зависит от точки зрения, от модальности. Вот Арьев пишет (сочувственно), что Лурье — человек с уязвленной навсегда душой (тоже, видно, — «надежды нет, и не нужно счастья»), но *не теряет отчаянья*, как было всем нам завещано. Так ведь и Блок не терял — разве только когда умирал от депрессии (такая болезнь: потеря всего, и отчаянья в том числе), но кто же за это бросит в него камень?

Известная театральность Блока не мешала искренности его поэзии — как можно этого не видеть?! Подсмотреть человека в момент упадка, увлечься поникшей фигурой до такой степени, чтобы соорудить из нее монумент... Нельзя попустительствовать иронии! Г-жа Ирония, дослужившись до майорского чина, способна только к насилию. Иронии нужно держать в ежовых рукавицах. Служанка серафима, и никаких разговоров. (Может быть, это все влияние Михаила Михайловича, о котором Лурье сказал: «Дар достался ему как долг обиды»?)

Но нам особенно обидно за Анненского, одно название эссе о котором — «Русалка в сюртуке» — вызывает отчаянный протест. Гимназисты Царскосельского лицея смеялись над ним, но что вызывает смех у литератора следующего века? Боже мой, разве называли бы его своим учителем все наши лучшие поэты («А тот, кого учителем считаю...» — Ахматова; «родная тень в кочующих толпах» — Мандельштам), если б он походил на ту жалкую, бледную, подводную фигуру, которую рисует Лурье? «Этой лирике не хватает энергии. Садятся аккумуляторы, садится голос... Возникает множество помех, избыточных шумов... И стихи тянутся как похороны». Странная здесь происходит путаница: свойства предмета описания характеризуют качество письма. Да, у Анненского упоминаются похороны — например, в «Балладе», одном из самых прекрасных стихотворений в русской лирике. Какая энергия мысли, стиховых сил! Стихи аккумулялировали всю печаль жизни и ужас смерти, душа в них сжата и мысль напряжена — как это «тянутся как похороны»? Этот поэт умел включить в стихи побочные, фоновые явления — зрительные и звуковые, — да, и шорох переворачиваемых страниц, и «шипенье... граммофонной пластинки», и «скрип мела по классной доске». Но это не «множество помех» при чтении, а новое качество стиха, которому у Анненского, оно заставляет бодрствовать все органы чувств вплоть до осязания. Приписывать выражаемое по этому состоянию души самому строю стиха... Как если бы театральный критик об актере, исполнявшем роль Хлестакова, говорил: хвастливый, лживый, глупый, неразвитый...

Кажется, все объяснится, если мы осмелимся высказать предположение, что, при необыкновенной чувствительности Лурье к слову, стиховое слово — а оно другое — ему не то чтобы чуждо, но не вполне родное (ничего страшного — ведь он прозаик). Кое-что в подтверждение находится и в других эссе о поэзии. О Бродском Лурье пишет: «В ранних стихах Бродского поражает черта, у молодых авторов довольно редкая: он занят не собой; почти буквально — не играет никакой человеческой роли; автопортретом пренебрегает; чувств не описывает...» Это все неверно. Бродский — романтик, особенно ранний. Его фигура и облик прорисованы в интонации. Исследователя не должно обманывать второе лицо местоимения в цитируемых им стихах: «...недалеко за цинковой рекой / твои шаги на целый мир звучат». Это его, поэта, шаги звучат на целый мир, и одиночество на мосту — «Останься на нагревшемся мосту», — и театральная жест — «роняй цветы в ночную пустоту» — очень точно подкашивают воображению личность и позу, соответствующие романтической картинке.

«Он создал собственную систему стихосложения (в ней метроном не стучит)». Метроном стучит в автоматизированных, как это называл Тынянов, стихах, где ритм сливается с метром, а система стихосложения тут ни при чем. Можно создать новые ритмы, но не систему стихосложения; в русском языке их всего три (Бродский пользовался двумя — силлабо-тонической и тонической), и они существуют в поэзии с XVII — XVIII веков.

Вообще в эссе «Бог и Бродский» Лурье местами изменяет самому себе, ясности своего видения; например, уверяя, что у этого поэта «синтаксис ума и зрения — не совсем как у людей», потому что Бродский говорит о Пустоте (с большой буквы). «Мироздание работает как невообразимый пылесос...» Но простите — а Баратынский? (Не говоря уж о державинском «жерле вечности» — чем не пылесос нашему?) Нет поэта, который бы не предъявил претензий мирозданию за то, что оно все превращает в Ничто. И можно ли называть статью «Бог и Бродский» — наподобие «Блок и Белый», «Брюсов и Бальмонт» и т. д.?

Такое впечатление, что, устав от сарказма, автор кинулся в другую крайность — возможно, предвидя сопротивление читателя или под влиянием какого-то постороннего взгляда, замутненного потребностью в поклонении — обычно женского. («Вы черные волосы на мрамор бледный...» — сказано самим Дон Гуаном так красиво (да и белокурые на черный — тоже было неплохо), что замороженные этой соблазнительной позой читательницы женского пола легко вырабатывают в себе отношение к автору, соответствующее коленопреклоненному изящному жесту.) Писателю не надо подстраиваться под читателя, в этой паре — писатель и читатель — роли заведомо распределены: ведущий и ведомый (ангел и Товий).

Однако о стихах есть у Лурье удивительно тонкие, чудные в своей неожиданной прелести строчки. И разве способен человек, совсем не слышавший стихов, так глубоко заглянуть в Тютчева? Может быть, можно из наблюдений Лурье сделать иной вывод: поэт прятал свое «я» за кулисами, не выпускал безбоязненно под свет софитов, как, допустим, Лермонтов. Предпочитал отражаться в зеркалах женской любви. Но это не важно. Эссе о Тютчеве — прелестная новелла, в которой сюжет движется строчками — стихами и полустигмами, они зовут друг друга на свидание, местоимения задевают глагол, наклонение спорит с залогом, и возникает (себестоимость стиля!) формула жизни поэта: «Любим — следовательно, существую». И еще: «Любовь женщин заглушала терзавшую Тютчева неусыпно неприязнь к самому себе...»

То, о чем я сейчас, волнуясь, скажу, представляется мне очень важным. Взгляните на порядок слов в этой фразе: «...заглушала терзавшую Тютчева неусыпно неприязнь». Два последних слова как будто толкаются — виновата инверсия. Но дело в том, что инверсия — это способ разбудить спящую интонацию письменной речи (такой же, как в стихах, — пауза в конце строки), благодаря инверсии начинает звучать голос. Отчетливо слышен растрепанный говорок, увлеченный предметом мысли, не стилем (по-другому, чем у Толстого, но тоже обман). Мы слышим живую речь, не о таком ли явлении сказал Мандельштам: «Голосом, голосом работают стихотворцы»? Лирическая проза Лурье конкурирует с поэзией, — она явилась взамен надоевших ритмических качелей, усыпляющих мысль.

И в отличие от весьма распространенной прозы, которая «всегда спешит к цели, находящейся за пределами текста», она никуда из текста не торопится, а

располагается в текстовом пейзаже, в чаще частей речи, меж сорняков и междометий (пренебрегая громоздкими союзами), среди разнообразия глаголов, с отростками тире, с прутиками скобок в кустарнике оговорок и уточнений. О литературе так не говорят; кажется, что серьезность мысли и значительность предмета не позволяют появиться в тексте интимным ноткам, «мешковатым» домашним выражениям — у Лурье это оказывается возможным, и мнимое несоответствие ярко высвечивает оригинальную мысль и пластику разговорной речи — обе предстают неожиданной новостью. Не побоимся сказать — сделано открытие.

Умные подражатели (а они, без сомнения, еще появятся и есть уже) учтут и отрицательный опыт своего «ясновидца»-учителя. Нам уже приходилось прикладывать сказанное Лурье о великих тенях прошлого к нему самому. Сделаем это еще раз: «таких уроков не забывают, такой учитель непобедим...».

Елена НЕВЗГЛЯДОВА.

С.-Петербург.



ЧЕЛОВЕК С МОЛОТОЧКОМ

Борис Тарасов. Куда движется история? Метаморфозы идей и людей в свете христианской традиции. СПб., «Алетейя», 2002, 348 стр.

Надо, чтобы за дверью каждого довольного, счастливого человека стоял кто-нибудь с молоточком и постоянно напоминал бы стуком, что есть несчастные, что, как бы он ни был счастлив, жизнь рано или поздно покажет ему свои когти, стряется беда — болезнь, бедность, потери, и его никто не увидит и не услышит, как теперь он не видит и не слышит других. Но человека с молоточком нет...

А. П. Чехов, «Крыжовник».

«Писатель и литературовед, доктор филологических наук Б. Н. Тарасов широко известен по книгам „Паскаль“ (1979, 1982) и „Чаадаев“ (1986, 1990), изданных в серии „ЖЗЛ“. Большой интерес вызвали также его сборники статей „В мире человека“ (1986), „Непрочитанный Чаадаев, неслышанный Достоевский“ (1999)» — так начинается аннотация к новой книге Бориса Николаевича Тарасова. И сразу хочется возразить — не широко известен. Или, точнее, — недостаточно широко известен. Одна моя знакомая, человек, которого уже несколько поколений¹ московских филологов знают, ценят и любят как свою первую наставницу, всегда говорит: «Если мне надо познакомить человека со здравым взглядом на самые основы русской культуры XIX века — я отсылаю его к книгам Тарасова». Это высказывание дает представление о нескольких качествах книг данного автора.

Во-первых, с них можно *начинать* знакомство с основами русской культуры — то есть они достаточно просты, доходчивы, фундаментальны и *начинают с начала*, не предполагая, что читатель должен быть специально подготовлен для их чтения. Автор не стесняется повторять многие важные положения по многу раз, вполне отдавая себе отчет, что в системе русской культуры то, что он говорит, — банальность, общее место; но это общее место слишком не общеизвестно, а эта банальность зачастую чересчур оригинальна для современного читателя.

Во-вторых, взгляд автора всегда (даже когда с ним приходится спорить по тем или иным частностям) *здрав* — что означает: он исследует то или иное явление русской культуры изнутри этой культуры², извлекая из нее самой принципы исследования и шкалу оценок, будучи плоть от плоти ее в своем мирозерцании, в

¹ Профессиональное поколение сменяется раз в пять-шесть лет: когда вырастают и начинают сами преподавать бывшие первокурсники.

² Еще одна банальность, требующая напоминания: русская культура — культура православная по корням и по почве, вся выросшая из православия, и сколь бы далеко она от него ни отступала в отдельных (или массовых) своих проявлениях — всегда воспринимавшаяся на его фоне, «читавшаяся» адекватно только в его системе.

своей иерархии ценностей, всегда ощущая под ногами *почву*, эту культуру взрастившую и питающую — даже и до сего дня, чему примером — и сам Тарасов. И поскольку почва эта здорова в основе своей, несмотря на все болезни, то человек, в мирозерцании своем на нее опирающийся, видя большое место и *ощущая* боль, не кричит (как многие и часто) от боли и ужаса, но *здрово* ставит диагноз, объясняет причины заболевания и старается указать пути к исцелению.

В-третьих, в любом частном явлении Тарасова занимает именно то, что связывает это явление с *основами* русской культуры, благодаря чему читатель сквозь частность всегда видит целое — и тогда, когда частность это целое выражает, и тогда, когда она его искажает.

Вот почему я и говорю, что Тарасов *не* широко известен: учитывая количество русских людей, не знакомых с русской культурой (причем *искренне* не знакомых — я не беру случай сознательного отторжения), его книги, во всяком случае — по-следняя книга, должны были бы находить гораздо больше читателей.

Несмотря на то что «Куда движется история?» формально представляет собой сборник статей, написанных, очевидно, на протяжении не столь уж короткого времени, перед нами — именно книга, цельная прежде всего благодаря личности автора, его постоянному и пристальному вниманию к нескольким фундаментальным для русской культуры XIX века темам, волновавшим сердца и умы такой мощи и такого масштаба, что следить за разворачивающимся во времени собеседованием невозможно без захватывающего интереса. Интерес при этом возникает вовсе не абстрактный и не теоретический — речь идет о вещах, ставших в последние годы нашей жизни более чем насущными, — они нас не просто окружают, они на нас нападают, они требуют к себе внимания, они агрессивны, они не позволяют уже уклониться от встречи — и оказывается, что об этих вещах русские мыслители: писатели, поэты, философы — думали на протяжении всего — уже позапрошлого — века; а мы-то об этом забыли и не хотим вспоминать — потому что то, *что* они думали, то, *как* они думали, лишает нас ощущения нашей правоты, ощущения истинности происходящего с нами, заставляет нас видеть *лишние* вещи, выводит нас из привычной комфортной поверхностности мысли. Тарасов, «человек с молоточком», стучит и стучит цитатами из Пушкина и Достоевского, Чаадаева и Паскаля, Тютчева и Ясперса, Толстого и Бахтина, Герцена и Леонтьева, а вокруг по возможности стараются делать вид, что его нет...

Ну и действительно, он так же несвоевременен, как чеховский человек, призванный напоминать счастливым, что есть несчастье, сытым — что есть голод, самозабвенно живущим — что смерть не просто есть, но что она неизбежна. Еще хуже — он напоминает тем, кто только начал наедаться, что сытость — это не цель и что даже в качестве средства она более чем сомнительна. Он говорит о вреде гедонизма тем, кто только что высвободился из пут насильственного служения и непрерывного самопожертвования во имя ложных целей (другое дело, что ложные цели были поставлены все тем же материалистическим и гедонистическим мировоззрением). Он говорит тем, кто еще недавно месяцами не получал зарплаты, «что общество со всеми своими прогрессивными конституциями и учреждениями, ставящее во главу угла исключительно материальное процветание и благополучие, незаметно для самого себя морально деградирует», — и он прав, потому, что можно еще не начать получать зарплату вовремя — и уже начать морально деградировать, стоит только в уме и сердце *верховой* ценностью поставить материальное процветание. Он напоминает тем, кто только что с облегчением пережил реабилитацию «естественных» свойств и стремлений человеческой природы, что, в свете памяти о первородном грехе, человеческая природа изначально извращена и всякое ее «естественное» стремление неестественно.

Он убеждает тех, кого с детства приучили мечтать о счастье, что счастье, о котором они мечтают, есть лишь исключительная привязанность к некой поверхностной части бытия³, тленной и преходящей, ограничивающей человека и затягивающей его в ту же бездну небытия, в которой исчезает сама.

³ Этимология слова, которую предлагает Тарасов (счастье — от «часть»), вряд ли убедительна: слово это не только в русском языке связано с указанием *на момент времени* — «сей-

Цитируя Достоевского, он убеждает только что дорвавшихся до «материальных благ», что «осыпанность счастьем и зарытость в материальных благах не только не освобождают сознание человека от повседневных забот для занятий „высшим“, не только не делают его прекрасным и праведным, но, напротив, гасят в нем само представление о нравственном совершенствовании и способствуют превращению лика человеческого в „скотский образ раба“... что полное и скорое утоление „низших“ потребностей снижает духовную высоту человека, невольно и незаметно приковывает его еще сильнее к узкой сфере самоценного умножения чисто внешних форм жизни, ведущих к культивированию многосторонности насладительных ощущений и связанных с ними „бессмысленных и глупых желаний, привычек и нелепейших выдумок“. Все это оборачивается в свою очередь наращиванием самых сугубо материальных потребностей, наркотически насыщаемых разнородными вещами, что делает человека пленником собственных ощущений». При этом, читая как Тарасова, так и тех, чьими цитатами он пытается потрясти и сокрушить наше блаженное забвение, необходимо помнить, что ни он, ни они по большей части не употребляют метафор: так и в данном случае «плен» есть точное указание на состояние человека, отгороженного собственными ощущениями от реальности, запертого ими в своих собственных пределах — и обреченного на одиночество. Солипсизм оказывается не абстрактной философией, но способом существования человека, сосредоточенного на материальном и стремящегося к самоулаждению. Анализу этого способа существования посвящены в книге статьи о повести Л. Н. Толстого «Смерть Ивана Ильича».

Цитируя Паскаля, Тарасов стремится показать людям, не мыслящим себя без телевизора, коварную роль развлечения, «широко понимаемого Паскалем как псевдоактивное и мистифицирующее средство, мешающее личности видеть свое подлинное положение, уменьшающее напряженность между нищетой и величием ее существования, как всякая мнимая активность, ведущая к созданию ложных ценностей и забвению онтологического несовершенства человека. По мнению французского философа, развлечение является основной движущей силой иллюзорно счастливой поверхностной жизни и прикрывает в сознании глубину главных вопросов. Человек, размышляет он, не может оставаться в покое у себя дома, ибо в покое ему пришлось бы задуматься над неизбежными несчастьями, над своим жалким положением, над смертью, мысль о которой невыносима. „Поэтому ищут не тихого и кроткого занятия, которое дает возможность думать о нашем несчастном положении, а той сутолоки, которая отвращает от мыслей о нем и развлекает нас“. Сознание постоянных горестей питает инстинкт, заставляющий человека искать развлечений и занятий вне себя. И важен не результат этих развлечений и занятий, а самый процесс, отвлекающий от размышлений о себе. Так охотник ищет охоты, а не добычи, карьерист — скорее не должности, а волнений и тревог, которые избавили бы от вида окружающих несчастий, игрок — не только выигрыша, но и забавы. „Единственная вещь, утешающая нас в несчастьях, — это развлечение, а между тем оно является самым большим из наших несчастий. Ибо оно главным образом мешает нам размышлять о себе и незаметно губит. Без него мы очутились бы среди тоски, а эта тоска принуждала бы нас искать более действенного средства выйти из нее. Но развлечение забавляет нас и заставляет совершенно незаметно приближаться к смерти“».

Цитируя Толстого, Тарасов, по сути, объясняет тем нашим старикам, кто долгие годы проводит в тесноте и сутолоке поликлиник и больниц в тщетной надежде «вовремя захватить болезнь» — и вылечиться от старости, что вынуждает их к такому бесплодному времяпрепровождению, отрывая от внуков и правнуков, от помо-

час»; во французском языке, например, счастье — однокоренное слово со словом «час», в английском — связано с глаголом «происходить, случаться», и т. д. Счастье, с точки зрения такой этимологии, двойственная категория: с одной стороны, это привязанность к текущему, сейчас происходящему, — скажем, вопреки подготованию о вечном и устремлению к нему, что и имеет в виду Тарасов в своем определении; с другой стороны — это может быть прорыв сквозь временное к вечному, полное присутствие вечности в мгновении, соединение с вечностью через мгновение, полнота бытия в едином миге — что и дает человеку ощутить счастье — сейчас-бытие. Но последний случай Тарасов в виду не имеет.

щи детям, от заботы о вечном: «Толстой записал однажды: „Страх смерти тем больше, чем хуже жизнь, и наоборот. При совсем дурной жизни страх смерти ужасен...”» Вслед за Толстым он напоминает тем, для кого *всякое* упоминание о смерти есть faux pas: «Мысли о смерти нужны только для жизни, поскольку именно то или иное отношение человека к смерти определяет качество его жизни и возможность нахождения ее смысла».

Следуя за мыслью Ап. Григорьева, Тарасов вопреки такому удобному мифу о «вненациональной» науке и политике, цивилизации, создающей внешне «культурные» симулякры, утверждает, что «и социальное творчество, и индивидуальное поведение, и научная деятельность, и художественные открытия незримо несут на себе отпечаток своеобразия той или иной народности».

Можно продолжать бесконечно. Но не лучше ли читателю заглянуть в саму книгу, ведь, напоминает нам ее автор слова Пушкина, «следить за мыслями великого человека есть одно из самых увлекательных и полезных занятий», а здесь нам предлагает вместе пройти путем замечательных мыслителей опытный вожатый.

Заклучая рецензию на книгу Тарасова, можно — для характеристики ее автора — повторить приведенные в ней слова Герцена о Милле: «Он видит, что вырабатываются общие, стадные типы, и, серьезно качая головой, говорит своим современникам: „Остановитесь, одумайтесь! Знаете ли, куда вы идете? Посмотрите — душа убывает”».

Татьяна КАСАТКИНА.

КНИЖНАЯ ПОЛКА АНДРЕЯ ВАСИЛЕВСКОГО

+6

А. Горянин. Мифы о России и дух нации. М., «Pentagraphic», 2002, 356 стр.

«Практически любой миф о России, который сегодня упоминается походя, как нечто само собой разумеющееся, разрушается, если углубиться в историю по-настоящему, — считает автор книги, географ по образованию, доцент Центра по изучению России Российского университета дружбы народов (беседу с ним см.: „Огонек”, 2002, № 26, июнь). — Причем разрушаются и „левые”, и „правые” мифы...»

Горянин методично опровергает общепринятые мнения о том, что у нас никогда не ценили человеческую жизнь, а вот на Западе она всегда была святыней; о том, что человек у нас всегда был беден и бесправен — особенно по сравнению все с тем же благословенным Западом, — что жизнь его всегда была безрадостна и беспросветна, о безмолвии и покорности русского народа. Особенно — о том, что освобождение от коммунизма обернулось для России катастрофой.

Горянин утверждает, что все обстоит ровно наоборот: *на российском информационном поле мы имеем дело с грандиозной мистификацией относительно реального положения дел в стране.* «<...> уже никто не определит, например, сколько молодых семей не завели ребенка (или еще одного ребенка) не потому, что не могли себе это позволить или не хотели, а потому, что каждый день читали и слышали про скорые и неминуемые социальные взрывы, новые чернобыли, грядущий распад страны, угрозу голода и повальной эпидемии СПИДа, близкий коммунистический реванш, возвращение чекистов, нашествие китайцев, пришествие баркашовцев и прочие ужасы».

На деле все гораздо *лучше*, чем пишут. Мы удивительно дешево заплатили за освобождение от коммунизма. Россия обречена на успех: *мы можем все.* Бодрая такая книжка.

А теперь о смешном. Известный Борис Парамонов, комментируя по радио «Свобода» <<http://www.svoboda.org>> в июне с. г. книгу Горянина, сказал буквально

следующее: «<...> Россия, как одна из героинь Платонова: Маша, дочь пространщика. (Я не знаю, что это такое: железнодорожный термин или неологизм гениального писателя.) <...>»

Пространщик — всего лишь работник общественной бани, он выдает простыни и проч.

Это олицетворяемое Парамоновым недоумение просвещенного Запада забавно переключается с рассказами Горянина о том, что баня — явление исконно русское (была в каждом дворе), а «немытая» Европа обходилась без бань, изобретая духи, блохоловки и чесалки для спины.

Как уличили Лжедмитрия? Он не ходил в баню.

С. Кара-Мурза. «Совок» вспоминает... М., «Алгоритм», 2002, 256 стр. («Тропы практического разума»).

Идеологический антипод Горянина, апологет *советского проекта* Сергей Кара-Мурза тоже борется с мифами, но — антисоветскими, антикоммунистическими. А объединяет их стремление обратить читателя от некритически воспринятых умозрений к реальности *как она есть* (или *как она им видится*). «Части нашего народа настолько ослеплены своими „истинами“, что плохо слышат друг друга и не очень-то охотно вникают в логические рассуждения и строгие доводы. И возникает сильное желание <...> рассказать о наблюдениях обычного „совка“, жизнь которого не была отягощена особенными трагедиями, а радости и блага который получал „на общих основаниях“...»

И рассказывает: *военное детство, советская школа, МГУ, целина, Куба*. Воспоминания Кара-Мурзы, а по сути — дополнения к его двухтомной «Советской цивилизации», не менее интересны/оригинальны, чем его общественно-политические воззрения.

Цитата: «К нам ходила портниха — татарка из Крыма. <...> Когда Крым освободили, она плакала, говорила очень взволнованно. Потом успокоилась, все повторяла: „Слава богу! Слава богу!“ Я не очень-то понимал, о чем речь, потом только сопоставил и понял. Портниха боялась за родственников-татар. Думала, что их будут судить за сотрудничество с немцами, а это по законам военного времени была бы верная смерть. Когда стало известно, что лично судить никого не стали, а всех татар выселили из Крыма, она была счастлива».

Лидия Анискович. Роман с веком. Автобиографическая повесть. М., «Вече», 2002, 192 стр.

И эту книжечку я проглотил в один присест. Лидия Анискович — московская предпринимательница (мебель для школ), автор многих стихотворных книг, выпущенных за свой счет (говорить о них не хочу), бард. Автобиографию ее отличает та степень *литературного простодушия*, которая переходит уже в новое эстетическое качество, воспринимается как *прием*.

Цитата: «Когда я поступила в школу, выяснилось, что я не умею ни писать, ни читать. На вопрос училки — что же я умею? — я ответила — играть в карты. В школу меня все равно приняли, так как среднее образование было обязательным. Училась я вначале, естественно, плохо: все палочки были кривые, буквы я путала. Мама расстраивалась, считая меня совсем никудышной, но потом успокаивалась и говорила, что я пойду работать на завод, а туда, как и в школу, берут всех. Я же, чтобы не расстраивать маму, стала переправлять колы на четверки, все-таки я была сообразительной».

Мне нравится.

Кира Ласкари. Applikation. Сто тридцать четыре рекламных ролика. М., 2002, 208 стр. («Птюч-серия»).

И эта книжечка нравится. Почему-то.

Сначала — предисловие автора. Потом — разделы: *Бытовая техника; Еда; Казино; Медицина; Недвижимость; Одежда; Парфюмерия; Питье; Пресса; Радиостан-*

ции; Рекламные агентства; Сбербанк; Социальная реклама; Строительство; Универсальные магазины. Потом — комментарии автора. Потом — послесловие Игоря Шулинского, главного редактора журнала «Птюч connection».

Образчик стиля. Заявка № 32. «Рынок. Толстая, пожилая восточная женщина продает овощи, стоя за прилавком. К прилавку подходит худенький, робкий мужчичка в очках, шляпе, с портфелем.

МУЖЧИНКА (поправляя очки): Извините, пожалуйста, вы не подскажете, где я могу достать свежую зелень?..

Женщина заливается демоническим хохотом, от чего мужчичка прячется под прилавок. Отсмеявшись, грузинка перегибается через прилавок, оказываясь, таким образом, лицом к лицу с покупателем.

ЖЕНЩИНА (вкрадчиво, с кавказским акцентом): Свежую элень ты, дарагой, можешь дастать в казино „ШАНГРИ-ЛА” <...>».

Такую книгу мог бы придумать Владимир Тучков. Но у Ласкари она родилась из жизни, из профессии.

Заявка на рекламный ролик, которая и сама по себе есть прикладной литературный жанр, позиционирована здесь в качестве литературы. Как будто конфетный фантик или обертку туалетного мыла повесили на стену модной галереи в качестве картины.

Получилось, однако. Не то чтобы литература. Но лучше, чем просто реклама.

Да, «Аппликации» — это от англ. *application* — «заявка».

Кира Ласкари — это *он*, а не она.

Книга самурая. [Юдзан Дайдодзи. Будосёсинсю; Ямамото Цунэтомо. Хагакурэ; Юкио Мисима. Хагакурэ Нюмон.] Перевод Р. В. Котенко, А. А. Мищенко. СПб., «Евразия», 2001, 320 стр.

Благодаря Лимонову и Джармушу мы знаем, что путь самурая — путь к смерти.

В «Книгу самурая» входят два наиболее знаменитых трактата о *бусидо*, а также размышления квазисамурая XX века, писателя Юкио Мисимы, который, комментируя «Хагакурэ», настаивает на универсальной ценности бусидо.

Но дело в том, что самурай *служил*. Беспрекословное подчинение господину — его добродетель. И умирал самурай не за идею и не за партию, а за господина. (У Джармуша в фильме про *пса-призрака* так и есть. А кто у Лимонова господин?) Получается, что именно господин дает возможность своему вассалу *быть* самураем. Самурай без господина — личность малопочтенная, *ронин*. Кто смотрел одноименный американский фильм про шпионов, знает.

«Итак, мы не можем умереть за правое дело. Вот почему Дзётё советует нам на распутье между жизнью и смертью выбирать *любую* смерть», — самурайствовал Мисима, но самураем стать не мог и сам выбрал, когда, как и за что ему умирать.

Сергей Куняев. Русский беркут. М., «Наш современник», 2001, 464 стр.

Откликаясь в «Периодике» на журнальную публикацию «Русского беркута», я писал: «Апологетическое/нелицеприятное жизнеописание поэта Павла Васильева: сквозь историю о том, как нерусские люди заравили русского беркута, неумолимо проступает рассказ о том, как упорно он сживал себя со свету (что никак не оправдывает его убийц)».

Сейчас, пользуясь случаем, не могу не привести большую и выразительную цитату на эту тему.

Итак: «В конце июня Павел, еще не отошедший от дикого количества печатных поклепов, был приглашен горячим его поклонником Валерианом Куйбышевым в Кремль на торжества по случаю приема участников челюскинской экспедиции. Не исключено, что Куйбышев пригласил поэта сознательно, именно в пику Горькому, как бы демонстрируя не в меру возмнившему о себе „первому писателю Советского Союза”, что слово последнего не является приговором окончательным и не подлежащим обжалованию и что Васильев пользуется полным доверием

у высшего руководства. Васильев пришел на прием нервный и взвинченный. Почти весь вечер молча пил и со стиснутыми зубами слушал произносимые тосты. А когда ему предложили почитать стихи (стихотворение „Ледовый корабль”, посвященное Отто Юльевичу Шмидту, было опубликовано тремя неделями ранее в „Вечерней Москве”), он, чувствующий себя явно не в своей тарелке среди членов правительства, вождей, Героев Советского Союза, окончателью „слетел с катушек”. Встал, провожаемый одобрительными и любопытными взглядами, посмотрел в упор на Сталина, Молотова, Ворошилова, Кагановича и остальных, сидящих за центральным столом, обвел глазами героических летчиков-полярников — и громко запел тут же сочиненный экспромт на мотив „Мурки”.

Здравствуй, Леваневский, здравствуй, Ляпидевский!
Здравствуй, Водопьянов, и прощай!
Вы зашухарили, „Челюскин” потопили,
А теперь червонцы получай!

За столом воцарилось мертвое молчание. Кто-то хмыкнул, кто-то тихо захохотал, уткнувшись лицом в ладони... К Васильеву быстро подошли люди в форме, аккуратно взяли его под руки, вежливо и быстро вывели из-за стола, проводили за пределы Кремлевского дворца и оставили в покое уже за воротами.

Тут бы — *no comments*.

Но, извините, профессиональный зуд: откуда все это известно? Присутствовали многие, но кто описал — где, как, когда? Как этот очевидец (помните: врет, как очевидец) был настроен по отношению к поэту? Сам Васильев рассказал? Кому? Где? Когда? Из текста это не ясно. Можно подумать, что сам биограф парил в тот момент — незримый — под потолком, а потом вылетел за кремлевские ворота... Но тогда он мог бы немало рассказать о тайнах Кремля.

-3

Эдуард Лимонов. Моя политическая биография. Документальный роман. СПб., «Амфора», 2002, 302 стр.

«В связи с отсутствием оперативной связи между издательством и автором, содержащимся под стражей в СИЗО ФСБ России, книга выходит в авторской редакции, без сверки имен и дат».

Не роман, конечно. Роман — это, пожалуй, преувеличение. Просто рассказы о партии (национал-большевистской).

Книга, написанная в тюрьме *подследственным*, но еще не осужденным, — это особый жанр: надо хорошо выглядеть перед соратниками и в то же время не дать на себя материал следствию.

Лимонов, похоже, справляется. Не знаю, похвала ли это.

«Хвалить книги фашиста, сидящего в тюрьме, — вроде как самому становиться немного фашистом. Ругать — солидаризоваться с „правящей кликой”», — мучается модный литератор Илья Стогоff («Книжное обозрение», 2002, № 27-28), рецензируя также написанную в предварительном заключении лимоновскую «Книгу воды» (М., «Ad Marginem», 2002).

А я, как всегда, читаю периодику.

«Он выбрал свой путь — путь вечной молодости. Кто бы из стареющих писателей (а „подростку Савенко”, между прочим, под 60 лет!), да просто кто бы из стареющих мужиков не захотел стать кумиром пятнадцати-двадцатилетних недорослей и недорослиц? Но за это удовольствие надо платить — а платить-то, кроме Лимонова, не готов никто. <...> Лимонов — надо снять перед ним за это шляпу — и не визжит, терпит, ведет себя достойно своей „статьи”...» — пишет Леонид Радзиховский («Время МН», 2002, № 116, 9 июля).

Ну, неправда ваша. В опубликованном открытом письме из Лефортова к министру культуры Михаилу Швыдкому Лимонов прибег к последнему средству национал-большевика, публично объявив себя гражданином французской республи-

ки¹. Когда я развернул этот номер «Литературки», на моем рабочем столе лежало коллективное письмо к Путину и Патрушеву в защиту Лимонова, которое и мне предлагали подписать. И тут — это. Ах ты <...>, подумал я. Писатель — как мне все уши прожужжали, — наверно, не должен сидеть в тюрьме, а вот *французский гражданин* может и посидеть. Особенно французский гражданин, организующий в России *радикальную* — по признанию самого организатора² — партию из *наших детей*. (За них тоже Ширак заступится?) Мне — гражданину РФ — это очень не нравится.

Ну и не подписал письма.

И книжку эту — в минус, в минус...

Владимир Войнович. Портрет на фоне мифа. М., «ЭКМО», 2002, 192 стр.

Портрет — это портрет Солженицына. На фоне солженицынского же мифа. (Потому что у Войновича мифа нет. Это многое объясняет.)

По сути: автопортрет Войновича на фоне портрета Солженицына на фоне солженицынского мифа. «Это ж надо так себя на другого человека замотивировать, чтобы сделать его главным персонажем на празднике собственной самости!» — удивился Дмитрий Бавильский («Как нам обустроить Солженицына» в «Русском Журнале» <<http://www.russ.ru/krug>>).

Лейтмотив «Портрета...»: Солженицын не так хорош...

Не так — как? Ну, не так хорош...

Стиль Войновича-моралиста: «Арестованный в конце войны офицер Солженицын заставил пленного немца (среди бесправных бесправнейшего) нести свой чемодан. Много лет спустя он вспомнил об этом, написал и покаялся. Но меня удивило: как же не устыдился тогда, немедленно, глядя, как несчастный немец тащит через силу его груз?..»

Позволю себе не согласиться ни с Войновичем, ни с Солженицыным.

Немец в конце войны должен нести чемодан советского офицера, пусть и арестованного. Это правильно, это хорошо.

Юрий Козлов. Реформатор. Роман. М., «Центрполиграф», 2002, 524 стр.

Юрий Козлов — это тот Юрий Козлов, что когда-то, если кто помнит, написал книгу хороших рассказов о подростках «Качели в Пушкинских Горах» (Л., «Детская литература», 1984). Потом с каждым годом он писал все *иначе и иначе*.

У, с каким увлечением я проглотил его мистический триллер «Колодцы предков» (1997): начало XXI века, чекисты, банкиры, бандиты, шпионы, мормоны, все философствуют, *но в меру*, ожидают Антихриста.

С каким напряжением я открыл «Реформатора»: «Он поселился в Богемии (до отделения Моравии нынешнее великое герцогство называлось Чешской Республикой) пятнадцать лет назад, перед самой Великой Антиглобалистской революцией, но так и не научился всерьез относиться к государству, в котором жил, что свидетельствовало (он отдавал себе в этом отчет) о некоей совершенно неуместной в его положении — эмигранта, ЛБГ (лица без гражданства), наконец, „гражданина мира“ — гордыне...»

А с каким трудом я его читал. Читал, читал, прочел: образцовая творческая неудача. Постепенно нарастающая, что было заметно уже в предыдущем романе «Про-

¹ Буквально: «Министру культуры Михаилу Швыдкому. <...> То, что я сижу в тюрьме, — позор правительству, которого Вы, господин Министр, являетесь частью. <...> Помимо всего, я еще гражданин Франции, и в январе о моем аресте стало известно президенту Жаку Шираку. <...>» («Литературная газета», 2002, № 13, 3 — 9 апреля).

² «Вы считаете свою партию экстремистской?» — спрашивает журналистка Ольга Алленова. «Я считаю ее радикальной», — отвечает Лимонов («Коммерсантъ», 2002, № 118, 10 июля).

ситель» (1999 — 2000), *философская интоксикация*³ в «Реформаторе» уничтожила (взорвала, выжрала...) все, что только можно, — сюжет, композицию, стиль. Остались *какие-то тухлые* философские разговоры и *какая-то непроходимая* грамматика.

Оказалось, однако, интоксикация сия заразна.

«Это блестящий ультрасовременный полифоновический мифо-фантастический футур-роман <...> и одновременно удивительно реалистическое произведение: о нас — занятостью покорных; понимающих, но опасующихся; принимающих через отвержение; верой обманываемых; не понимающих собственное». Здесь и далее — цитаты из апологетической статьи Владислава Иванова «На пороге культа. Футур-роман Юрия Козлова» («Литературная Россия», 2002, № 18, 3 мая).

«Энциклопедичность автора выступает главным орудием, обеспечивающим прорыв в подсознание, где всепознающий дельфин и представившийся в альтер-эго языческий бог, половая функция глаз и Верховный Тролль, общение с Богом посредством „*deja vu*” и пунктирные времена, божевание (фрейдовская бездомность) и прочее, прочее, чем перенаселен роман, — это элементы категорий архетипических, но которые проявляются лишь в контексте козловского художественного эксперимента».

«<...> впервые в русской литературе реалистически описано, как образ занимается (-проявляет) любовью с образом. Тройная выдумка: два героя и... любовь!»

«<...> имеет все шансы для того, чтобы стать культовой книгой первого десятилетия XXI века».

Как бы не так.

Но вот что действительно интересно. И у Проханова про гексоген, и у Козлова узнаваемый российский президент (у Проханова — Избранник, у Козлова — Предтечик) исчезает, пропадает неизвестно как и куда. Доживем — проверим.

±1

Роман Багдасаров. *Свастика: священный символ. Этнорелигиоведческие очерки*. М., «Белые альвы», 2001, 432 стр. ISBN: 5-7619-0136-6 <<http://bagdasa-govr.narod.ru/swastika.htm>>

Первая редакция данной работы была помещена под названием «Отверженный символ. Свастика: ее происхождение и место в христианской традиции» в IV — V номерах журнала «Волшебная Гора» за 1996 год.

В этой кни... Нет, на *всякий случай* больше ничего не скажу.

КИНООБОЗРЕНИЕ ИГОРЯ МАНЦОВА

ФАНТАСТИКА

(Я МПОЛЬСКИЙ) «Ранние теоретики единодушно утверждали, что фильм строится как хаотическая эллиптическая цепь мало связанных между собой событий. И в этой хаотичности и эллиптичности они обнаруживали новый, созвучный эпохе тип письма. Передвижение пятна на изобразительной плоскости подчинено совершенно иным законам, нежели законы предложений. Оно не мо-

³ «Термин придумали психиатры, определяя так особые черты „рассуждательства” у душевнобольных. <...> Впрочем, речь идет, конечно, о недуге духовном, накопители которого — громоздкие тексты, по преимуществу именуемые романами, — необязательно вызывают к медицинскому освидетельствованию, а между тем источают ту самую мистическую скуку, ту большую тоску, которую испытывал Иван Федорович в присутствии своего ночного гостя» (Ирина Роднянская, «Гипсовый ветер» — «Новый мир», 1993, № 12).

жет быть описано в категориях причин и следствий. В ранней киномысли мы почти и не имеем таких логизирующих анализов¹.

(МАНЦОВ) Лужков разогнал тучи над юношеской Олимпиадой: жарко. Думаю, у меня есть право на хаотическую эллиптическую цепь. Едва случится сезон дождей, снова меняю манеру, квартиру, может быть, записную книжку, жену. Две-три идеи, однако, останутся неизменными даже в сезон дождей. Даже в ледниковый период.

(ФЛОБЕР) Сходным образом организован «Лексикон прописных истин». Пускай это обстоятельство не вводит читателя в заблуждение: почти все нижеприведенные истины — частного характера и выработаны эмпирическим путем.

(КРОМЕ ЭТОЙ) Разные поколения живут в одно и то же время, но переживают его по-разному. В субъективном плане разные поколения должны жить «в качественно совершенно разные эпохи» (К. Мангейм).

(ПРО НАС ПИШУТ) В газете. Я даже присвистнул. Из известных мне личностей критике одновременно подверглись Манцов, Шаргунов и Акунин. Шаргунова я и сам недавно гвоздил, Акунина, напротив, вознес до небес. То есть мы, Манцов, Шаргунов и Акунин, компания не случайная, лихая. Думаю, мы одной крови. Это подтвердил Андрей Немзер. Он нами недоволен. Акунину ничего вразумительного не предъявлено. Может, много зарабатывает? Шаргунов, этот «красивый, двадцатидвухлетний», понятно, бесит. Я и сам ругал Шаргунова только за это. Мне тридцать с хвостом, нервы ни к черту, жизнь не удалась. Шаргунов — красная тряпка. А кроме того, нас подозревают в недобром завистливом чувстве к людям из «мерседесов».

(ГОРДОН) До последнего времени был известен тем, что без предупреждения наехал на Михалкова Никиту. Матом, в прямом радиозфире. С тех пор не оставляет Михалкова в покое, напоминает Михалкову, что Михалков не бог, не царь и не герой, а хороший, местами выдающийся кинематографический деятель. Профилактика зазнайства и чванства.

Мне нравится такая политика. Будь я чуточку публичнее, я бы и сам пускал кровь народным артистам(-кам), писателям, журналистам и особенно людям из ящика. Гордон отстоял честь поколения в борьбе с зарвавшимися генералами от инфантерии, маршалами и сопутствующей им челядью, но сегодня он интересен не этим.

Во-первых, Гордон придумал одноименную телепередачу в ночном эфире НТВ.

Во-вторых, Гордон снял полнометражную картину по мотивам повести отца, Гарри Гордона, и показал в рамках сочинского «Кинотавра».

(ДЕБЮТ) Название одной из конкурсных программ «Кинотавра». В прошлом году здесь победил Бодров-младший с прекрасной картиной «Сестры» (продюсер, конечно, Сельянов), теперь Алексей Мурадов с фильмом «Змей». Лента Гордона «Пастух своих коров» вроде бы ничего не получила. Я в Сочи не был, оба фильма только что отсмотрел на видео. Кроме Мурадова и Гордона в моем хаотическом кинообзоре участвуют Тарковский, Каурисмяки, Павич, Толстой и другие. Как водится в постперестроечной России, тусовка выступит в качестве массовки.

(МАНГЕЙМ) «Беспрестанное появление новых людей в нашем обществе выступает как компенсация за ограниченный и пристрастный характер индивидуального сознания. Оно, конечно, приводит к некоторым потерям в процессе накопления культуры; но, с другой стороны, только оно и дает возможность, когда это необходимо, сделать свежий выбор; оно же облегчает переоценку „инвентаря“, а также научает нас забывать то, что уже бесполезно, и жаждать того, что надлежит достигнуть»².

(МЕЖДУ ПРОЧИМ) Всем мужчинам до тридцати, кроме части глянцевого истеблишмента, нравится фильм «Брат-2». Почему? Потому что это единственный

¹ Ямпольский М. Видимый мир. Очерки ранней кинофеноменологии. М., 1993, стр. 198.

² Мангейм К. Очерки социологии знания: проблема поколений — состязательность — экономические амбиции. М., 2000, стр. 28 — 29.

русский фильм, где *молодые люди реально совершают поступки*. Забудьте про идеологию: среди поклонников второго «Брата» парни от нищих до состоятельных. Их объединяет нехитрая мысль, они полагают, что имеют право решать судьбу собственной страны. Как правило, против фильма те, кто значительно старше. А все равно придется делиться.

(ГОРДОН-2) Сделал отличную телепередачу. Поначалу я смотрел все подряд. Что привлекало? Вот: собираются умники, богема, книжные черви, специалисты. Некоторые заносчивы, иные милы, но все слишком высокого мнения о своей дисциплине, вроде как остальным без нее не прожить. С чувством превосходства и пафосом говорят узкопрофильную дребедень. Если бы все осталось на этом уровне, ни за что не стал бы смотреть, а позвонил бы на пейджер и обхамил. Но на страже моих интересов в кадре сидит Гордон. Курит, интеллигентно интересуется. Поскольку это ночное шоу — его шоу, специалисты вынуждены отвечать, принимая Гордона за равного. *Вынуждены терпеть*.

Я аплодирую Александру Гордону: он представляет от лица неангажированного мещанства. Он — *хозяин* квалифицированных марионеток, кукловод. Он — один! — поставил на место зарвавшуюся элиту. Тонко и ненавязчиво. Элита не поняла, в чем дело. Думала, что в очередной раз просияла и победила. Нет, победил любимый телеведущий. Правильно *придумал роли*, развел участников по углам: в синем они, в красном мы. Что важно, обе стороны удовлетворены собою. Телепрограмма «Гордон» — модель образцового гражданского общества.

(РАЗДЕЛ ИМУЩЕСТВА) Так сложилось: не видел живьем ни одного «нового русского», ни одного «братка». То есть с этой стороны знаю жизнь опосредованно: по расейским газетам, книгам, фильмам, сериалам. Воспринимаю означенных социальных типов в качестве смыслообразующих героев новорусской культуры, и только. Мои апелляции к ним вроде «браток, заряжай» желательно воспринимать именно как имитацию сопутствующих этой культуре жанровых клише.

Между прочим, пресловутая «культура» зародилась и расцвела при полном попустительстве строгих элитарных критиков, которым, если по совести, следовало еще в 90-е разгрести все это дерьмо, отсортировать, опубликовать рецепты исправления ситуации. Ваша культура, ваша! «Новые русские» и новая эстетика, либеральная элита и братки, все это *Ваше* кислое «сегодня», — для меня вечное «нигде. никогда. ни за что».

(СЕМЬЯ) Знаете, на Московском фестивале в июне, в самую олимпийскую жару, показали картину Аки Каурисмяки «Человек без прошлого», получившую второй по значению приз в Канне-2002. Уже десять лет объясняю всем и каждому, что Аки Каурисмяки — лучший постановщик планеты, уж во всяком случае, *самый важный* кинематографист для постсоветской территории. А вот что произошло.

Рядом со мною, в тесном зале Госкино, где проходили пресс-просмотры, оказались парень и девушка новой генерации. Как и все прочие журналисты, сочли своим долгом ознакомиться с новым каннским героем. Типовая история! Когда Каурисмяки еще не был лауреатом (впрочем, в «Кайе дю синема» финна всегда держали за гения), бегал на все его картины один я. Теперь, к моему искреннему ужасу, Каурисмяки-младший попал в поле зрения богемы: не продыхнешь. Вскоре, однако, я возлюбил тесноту. Придвинулся к соседям, дышал девушке в ухо: разговаривайте, разговаривайте, Каурисмяки погляжу потом, на кассете...

Итак, парень, не умея въехать в социально чуждое пространство картины, попытался ее адаптировать. Когда показывали вагончики-развалюхи, в которых ютятся неунывающие финские пролетарии, он истерически похохатывал: «Ха, и вот эту страну приняли в Евросоюз?!»

Так, так, уже интересно! А дальше? Нет, он и дальше не растерялся. Когда начались упоительно смешные, но тонко организованные диалоги, выдал себя с головою: «Павич, просто Павич!» Ну конечно, «Павич» — это то небольшое, чему научили его либеральные газеты и глянцево-журналы. «Павич» — то, что по разным причинам продается. «Павич» — универсальная отмычка грамотного мальчика из хорошей семьи.

Дальше — больше. Рассуждал о соотношении марки и евро, объяснял спутнице, что «вон видишь корабль — это Хельсинки, кажется, там ресторан, ну а что же еще, нет, мы уже не успевали, было такое ташилово...». Некому отгаскать за уши.

Я ликовал: полуграммотный квазибуржуазный плебс агрессивно, в который раз, предъявил миру себя. Вот они, дети 90-х, дети свободной (от подлинной культуры) прессы и позорного телевизора. Вот их интеллектуальный потолок: описывать Аки Каурисмяки на беспрецедентном жаргоне «Павич — евро — кредитная карта».

Признаете детей добровольно или будем действовать через суд?

(КИТАЙ БЛИЗКО) Не всегда «ранние теоретики» лучше «теоретиков поздних», не всегда «ранние теоретики» правы. Однако я *всегда* за ранних, «двадцатидвухлетних». Хорошо, что Шаргунову уже дали премию, плохо, что это «Дебют». Опять сделали выгородку: тут мы, взрослые, а там ранние, дурачки.

Россия кончится именно на этом, Россия не любит своих детей. В России принято уступать место старшим: в общественном транспорте, в конторе, в Политбюро — везде. Не принято уступать — в Китае. В Китае молодые никогда не встают, сидят и делают Дело. Поэтому китайцев много-много. Страшная сила китайцев в животном уважении к юным.

Я против увеличения пенсий. Против «уважения старших» в каком-то особом, одностороннем режиме. Не нахожу ничего общественно полезного в пресловутой старческой мудрости. Господа, берегите младших, скоро они вымрут как класс. Вынимать судно будете сами: с апломбом, с генеральскими погонами, гордые.

Через столетие, не позже, придут жизнерадостные китайцы, тихой сапой заселят Среднерусскую возвышенность. Научат оставшихся русских любить родину и ее хунвейбинов, надежду нации. Узкие глазами, сильные духом — примут православие, выучат Пушкина и присядку.

Никогда не уступают место старикам. Никогда.

(ИВАНОВ) «...эффективность рецензии зависит уже не от уровня культурной универсальности рецензента, но от того, насколько он способен увязывать свои высказывания с полем собственного — всегда ограниченного! — человеческого опыта. Критикующий как раз и интересен тем, что он чем-то ограничен. Только в этом случае рецензионное высказывание *обоснованно*. Но именно этого сознательного ограничения я не вижу в современных критических текстах — будь то тексты Андрея Немзера или его „антипода“ Вячеслава Курицына. Непроясненность критических оснований не задает никаких границ: в этих опытах нет вектора, рации, жеста, эти тексты безадресны и невменяемы!»

Легкое уточнение: эти тексты все же адресны, их социальный заказчик очевиден. Эти тексты формируют общества взаимного восхищения, тусовку.

До газетной реплики во «Времени новостей» (2002, № 105, 18 июня) меня критиковали *устно*. И всегда — всегда! — претензии сводились к тому же самому. Их раздражает следующее: человек, сознающий свои социопсихологические параметры, границы, отказывается притворяться, что в его собственных силах эти границы превзойти. Отказывается быть «общечеловеком».

Фрагмент Александра Иванова («Ad Marginem», конечно) лежал на моем столе с 28 декабря 2000 года, дождался.

«Очевиднейшая вещь: критик должен всегда ревизовать и если и не выставлять напоказ, то хотя бы *иметь в виду* рациональные пределы своей критической программы» (см. «Ex libris НГ», 2000, № 49, 28 декабря).

Сегодня я кое-что выставлю *напоказ*: все же кинообзор.

(ТЕРПИ) С ровесниками проще: можно подвинуть корпусом, безапелляционно послать на край света. Со всеми остальными приходится изобретать громоздкие политкорректные конструкции, плести какие-то сети, хитрить.

Терпи, парень, терпи.

(ДЕБЮТ-2) Дебютанты не всегда самостоятельны. Так, Мурадов работает в эстетике перестроенного кино, которую уместно обозначить термином «квазидокументальная чернуха». Вот его «Змей», победитель. Провинциальный городок, двухэтажные совковые бараки. Живут тяжело и угрюмо. Первые двенадцать минут (общее время фильма чуть больше часа) напоминают эстрадную миниатюру из передачи «Аншлаг, аншлаг». Алкоголик сражается с бутылкой, декламируя: «Какого х...

ты упала? Я тебя просил падать? Ты думаешь, что у меня много таких, да? Мы так договаривались, а?» Но Мурадов не комикует, а нагнетает, страшит.

Скоро выясняется, что алкоголик — герой второстепенный. В центре семья из трех человек: муж, жена, сын-инвалид. Родители копят деньги на операцию десятилетнего мальчику. Отец работает в тюрьме палачом. После объявления приговора стреляет приговоренному в затылок. Кстати, у нас мораторий на смертную казнь. Неувязочка, однако про это вспоминаешь потом.

Впрочем, автор снимает притчу общечеловеческого значения: чтобы спасти сына, отец вынужден убивать. Кажется, палача вот-вот сократят, в финале он пишет начальству рапорт с просьбой потерпеть еще пару лет: другой такой прибыльной работы в глухом городишке не сыщешь.

Вдобавок муж ругается с женой и дерется с соседом-алкоголиком, а инвалида обижает беспризорный ровесник. Словом, форменное скотство. Все это — один в один конец 80-х. Тогда, чтобы выслужиться перед западным заказчиком, требовавшим незамедлительного демонтажа советского «оптимизма», наши режиссеры бросились лудить кошмары о беспросветном прошлом и настоящем своей страны. Подлость — вот где. Кинематограф — это всегда значительные деньги. Соответственно кинематографисты — это всегда социально успешные люди, истеблишмент. Налицо циничная травестия, *притворство*. Делая вид, что болеют чужою бедой, авторы «Змея» торгуют ею в разлив и навывнос.

Подлог впечатлил жюри и, говорят, западных гостей «Кинотавра». Так вот ты какой, белый медведь, в смысле — русский народ! Фильм обречен кататься по второстепенным западным фестивалям. Я этому успеху не сочувствую.

Добавлю, что «Змей» — дипломная работа Мурадова на Высших режиссерских курсах. Педагог — Алексей Герман, у которого ученик позаимствовал пафос известного рода. Что-то вроде «смерть, смерть пришла в наш далекий, забытый Богом кишлак». Ну, раз пришла, придется жениться.

(ДВОЕ) Даже номинально, по образованию, я не критик, а драматург. Значит, мне интересны сюжет, диалог, столкновение интересов. Двое, лицом к лицу, у каждого своя правда, свои ценности и свой путь.

Драматургу неинтересна спекулятивная «истина», ему нужны персонажи, игроки. Мои тексты в «Новом мире» — поиск персонажей, отрицательных, положительных, любых. Поиск сюжета, конфликта, *не истины, но судьбы*.

(БЕРЕГИСЬ) В конечном счете кино и сопутствующая ему *подлинная* кинокритика — это ни в коем случае не связный дискурс письменного происхождения. Это система смелых, выразительных *жестов*. С первой же рецензии на страницах «Нового мира» я осуществлял сеанс показательной жестикуляции, демонстрируя, как — весомо, грубо и зримо — работает настоящее кино. Пришел литературный критик, встал неподалеку, застрочил что-то в блокнотик.

Ой, берегись, сейчас упадет декорация. Взорвется прожектор. Размахнется пьяный помреж.

Ой, берегись, такие люди: *прописных* истин не понимают.

Приходите на площадку в каске. А лучше не приходите вообще.

(ОППОНЕНТ) Я знал, что где-то на белом свете негодует мой отрицательный герой. Не знал, как зовут, какого чина и рода войск. Оппонент шагнул добровольцем. Помилуйте, мы с вами на разных фронтах...

Поздно. Пристегнув штык-нож, углубился на территорию вероятного противника, а это беда: больно территория велика. Пускай не одна шестая, но уж точно одна седьмая часть суши.

А может, «Манцов» — псевдоним Шаргунова, Сельянова или Мурзенко? Вот было бы смешно.

(ГОРДОН-3) Картина Гордона понравилась, несмотря на то что она изрядно отравлена тарковщиной, перенасыщена рудиментами и атавизмами. Но, в отличие от случая Мурадова, здесь архаизм киноязыка имеет очевидный художественный смысл. К тому же Гордон-режиссер сохраняет социальную идентичность, что укрепляет его позиции в качестве моего положительного героя.

«Пастух своих коров» — тоже притча, навязчивую литературность которой постановщику почти удается преодолеть. Эпоха развитого социализма, Кимрский

район Калининской области, деревня, понаехали московские дачники. Дипломник столичного вуза Колька неожиданно принимает решение остаться в деревне навсегда. Вместе с пожилым отцом, здесь родившимся и закономерно не прижившимся в столице. Вместе с пожилой матерью, которая все же протестует: «Я коренная московская мешанка: чего мне тут...» Вместе с сестрой Наташкой, которая, не найдя после школы счастья в столице, начинает стремительно спиваться, отдается первому попавшемуся дачнику-ублюдку, погибает вслед за отцом...

Колька работает совхозным пастухом, постепенно конкретное историческое время размывается, превращаясь во время мифологическое. Чем-то это время напоминает знаменитое латиноамериканское, только у Гарсиа Маркеса непрерывно трахались и рожали, трахались и рожали, а здесь, в России конца двадцатого столетия, не трахаются, не рожают — мрут, как насекомые.

Колька, одинокий, самодостаточный и запущенный, живет без людей, при коровах. Там, где человек деклассирован, передоношница неизбежна.

— Колька, чего это дребезжит, муха?

— Да нет, это счетчик, мама.

— Нет, муха.

— Это кузнечики, мама.

— Убить бы.

— Да их, мама, много.

Кольку в деревне не любят, коровы засрали округу. Пастух отвечает олимпийским равнодушием: «Бессердечные люди!» Пошел за двадцать километров, в едва открывшийся храм, поставить свечи по отцу и Наташке, но войти не успел: коровы перекрыли автомобильную трассу, пришлось регулировать движение.

Умер вполне благополучно: в одиночку строил какую-то баню, ночевал на стройплощадке, во сне был прибит тяжеленным бревном. Перед смертью принял быка за ангела.

Очень глубокий, точный сюжет. Отец вернулся туда, где сформировалось его социальное тело, — в деревню. «Ну и чего он доказал, Артем твой?!» — ёрничает мужик, управляющий похоронными санями. «Да ничего он не доказывал...» — придерживая гроб с телом отца, защищается Колька. «Ну да, не доказывал!»

Вслед за отцом гибнут такие же неукорененные, межеумочные дети Наташка и Колька: ни счастья, ни любви, ни потомства, полный провал. Крайне важно (!), что выживает в социально чуждой деревне только «коренная московская мешанка», мать, чье сознание — нерасколотое, цельное, как молоко.

Теперь два слова о форме. Для фильма характерны замедленный ритм, длинные планы, вечно движущаяся камера, совмещение в пределах одного план-кадра разных временных пластов, нарочитая, в стиле 50 — 60-х, театральность актерской игры. Вызывающая, декоративная красивость ландшафтов отсылает к Тарковскому, к 60-м в целом и может считаться тонкой метафорой того наивного просвещенческого идеализма, если хотите, руссоизма, которым страдала не слишком пронизательная советская интеллигенция и за который, как за ошибку юности, она сполна расплатилась с «пейзанами», с народом в эпоху перестройки и постперестроечного передела. Именно в этом смысле «тарковщина», архаичный поиск «запечатленного времени», получают у Гордона свое эстетическое оправдание. Итак, «тарковщина» как визуальный эквивалент социопсихологического строя шестидесятников-идеалистов. Ежели Гордон добивался этого сознательно, то по своим потенциям он выдающийся кинематографист. Если же получилось от большой любви к Тарковскому, не беда: всякая земная любовь рано или поздно проходит.

Гораздо больше обещают другие аналогии. «Пастух...» напоминает грандиозные историко-социальные фрески венгерского гения Миклоша Янчо, который, впрочем, архаичен не меньше Тарковского. К тому же собственную эстетику Янчо усовершенствовал до предела, и следовать в его фарватере вполне бессмысленно.

Однако Гордон мог бы при желании стать нашим отечественным Херцогом. С картинками немецкого режиссера «Пастуха...» сближают не столько формальные моменты, сколько содержательная сторона. Вернер Херцог всегда занимался тем, на что намекает в своей дебютной картине Александр Гордон: исследовал природу «гордого человека», волею судеб или по собственной воле оказавшегося по ту сто-

рону добра и зла. Герои Херцога живут по закону персональной этики, в режиме свободы от требований социума, не важно — обоснованных или нет. Один из ранних шедевров Херцога так и назывался «Каждый за себя, а Бог против всех». (Вот и Колька сетует: «Никто в природе ни за что не отвечает».) Херцог выбирает предельные случаи, безупречного конкистадора Агирре или несчастного инвалида Строщека, для того чтобы с начала и до конца картины *заблокировать человеческий диалог*. Ибо предельному человеку — герою или уроду — не о чем говорить с *человеком нормы*. Херцог исследует последствия нарушенной коммуникации.

Наконец, о явном минусе работы Александра Гордона. Это аморфность, недоделанность драматургии, порожденная *внежанровым сознанием*, которое следует считать тяжелой болезнью отечественных художников (критиков тоже). Хорошим тоном до сих пор считается пресловутая «искренность». Это связано именно с тем, что в России никто из «грамотных» не желает признавать свою социопсихологическую *ограниченность*, с вытекающей отсюда *ангажированностью*. Все настаивают на своей *безграничной* духовности. С безграничной духовностью, однако, прямая дорога в скит. В миру такие не выживают.

Не то чтобы ты «искренний», а попросту исправно выполняешь социальный заказ своей группы, сливаясь с нею в творческом экстазе. Сказано же: нельзя жить в обществе и быть от него свободным. Сказано верно. Исключительные случаи в деталях рассматривают Гордон и Херцог. Не надо слишком гордиться собой и своей самостоятельностью. Например, наша самостоятельность теряет смысл перед окошком кассы, где выдают зарплату. Или на супружеском ложе. Полную свободу человек обретает только в гробу.

(ФЕЙЕРВЕРК) Критик обиделся на то, что я подменил анализ картины «Займемся любовью» танцем на костях постановщика: «оттоптался». Это типовое заблуждение логоцентриста, полагающего, что разобрать фильм — значит совершить нечто, противоположное работе литературного критика, то есть описать мерцание света, игру теней, «передвижение пятна на изобразительной плоскости». Однако кинематограф давно выполнил все технологические упражнения. Заниматься сегодня «передвижением пятна», чем грешит, скажем, Сокуров, — значит, впадая в безусловную архаику, эпигонствовать. Невозможно, да и не нужно «двигать пятна» лучше Мурнау, Любича, Ланга, Эйзенштейна или Кассаветиса с Антониони. Сегодня профессионально вмняемый кинематограф технологически унифицирован, и основная работа осуществляется именно на территории сюжета, драматургии, там, где можно плодотворно играть с идеей социального, психологического разнообразия зрительской аудитории, с идентичностью воспринимающего субъекта.

Сегодня все лучшее в мировом кино — социально вмняемо, социально ориентировано. Всем, кроме наших, понятна непреходящая ценность *человеческой общности*, закономерно основанной на *человеческой разности*. Именно это я анализировал у Дениса Евстигнеева, у Константина Мурзенко, у Вирджинии Вагон и Эрика Зонка. Прочее — фейерверк *по большим праздникам*, для сибаритов.

(МАК-СЕННЕТТ) «Киноработники использовали все, что происходило в этот день на улице, они снимали у китайской прачечной или во время бейсбольного матча. Или, если им везло, перед горящим домом. Сеннетт платил всем пожарным частям района, которые тотчас же звонили ему, если где-нибудь начинался пожар. Труппа выезжала немедленно на место происшествия и фотографировала краснокожих комедийных актеров, прыгающих и падающих в повешенные пожарные сети.

Часто актеры принимали участие в масонских или патриотических процессиях и тут разыгрывали сцены погони. А оператор, спрятанный в повозку, развозящую стираное белье, снимал их нелепые трюки...

Но в фильмах Сеннетта никогда не фигурировал воспитанный, элегантный американец...»³

Слышите, никогда!

(АНЕКДОТ) Грамотные (на деле, конечно, полуграмотные) страстно желают откормиться на территории массовой культуры. Это они устроили в свое время

³ Садуль Ж. Всеобщая история кино. Т. 3. М., 1961, стр. 276, 281.

Пятый съезд кинематографистов, в результате чего рухнула самая доходная отрасль народного хозяйства. Они и теперь собираются учить нас, как возрождать массовую культуру. Они, чьи странные книги издаются ничтожными тиражами в две-три тысячи экземпляров, смеют совать нам в лицо Павича и Сорокина, который уже проходит в их газетах по разряду «ведущего кинодраматурга». Ведущего — куда? Не иначе — в очередную финансовую пропасть.

(ДРУГОЙ) По первому образованию я инженер: техническая кибернетика, системы автоматического управления, Тула, оборонка. Не успел выучиться, как оборонку демонтировали. Вот результат: я мигрировал с территории баллистических ракет и систем залпового огня на территорию новорусской культуры. Для противников я — скиф, гунн, стихийное бедствие.

А вы чего ждали, общими усилиями демонтируя *лучшую в мире оборонку*? На что рассчитывали? Думали, сообразительные инженеры-электрики (так — в дипломе) уйдут на подножные корма, в леса, охотиться на выдру и колонка? Нет, мы пришли на медиа-рынок, ибо никакого другого внятного рынка не сохранилось. Мы будем здесь жить. Поверите, когда-то мы запускали баллистические ракеты на любую дальность, с неограниченной точностью поражения.

Я хочу показать, насколько мало в моей мотивации — идеологии. Поймите же: *идеологии — никакой*. Там, где я вырос, попросту нельзя жить и кормиться: ни самому, ни женам с детьми. Поэтому теперь мы будем жить рядом с вами. Кормиться, производить свое кино, свою литературу, свое искусство. *Будете терпеть*.

Когда и если оборонка возродится, с удовольствием мигрирую обратно.

Кстати, вам, конечно, не нравится Проханов? Так вот, с моей точки зрения, Проханов все тот же постсоветский газетчик. Другой — это «Манцов». Никакого почтения ни к вашим ценностям, ни к вашим дискурсам и фуршетам. На все ваши претензии ответ будет один: лучше деньгами. Всё — деньгами, претензии и восторги. Так научили меня — вы. Такое у нас было общее историческое «сегодня». Но вы же старше, вы были публичны, с вас и спросят. Когда всё и окончательно продадут.

Почувствуйте разницу между мной и Прохановым — многое, многое поймете.

(ВСЕ БУДЕТ ХОРОШО) Безусловно, у меня нет никаких личных претензий к тем, кто возмущается моей «оголтелой критикой». Я понимаю социальную обусловленность их реакций.

У меня нет личных претензий даже к Горбачеву, простому, но загадочному человеку, который еще «*вчера*» слез со ставропольского трактора, а уже «*сегодня*» из лучших побуждений сдавал, отправляя под нож, людей моего возраста и сословия.

Моя задача до смешного проста: предъявить грамотной публике Другого. То есть абсолютного Другого. *Лишь иногда* я утрирую, сваливаясь в чистый жанр и комические куплеты.

(ГОГОЛЬ-МОГОЛЬ) В сущности, простая история.

«...взглянув искоса, увидел он, что ведут какого-то приземистого, дюжего, косялапого человека. Весь он был в черной земле..»

„Не гляди!“ — шепнул какой-то внутренний голос философу. Не вытерпел он и глянул.

— Вот он! — закричал Вий и устал на него железный палец. И все, сколько ни было, кинулось на философа. Бездыханный, грянулся он на землю, и тут же вылетел дух из него от страха.

Эту историю понимают неправильно. Вий — образцовый Другой. Философу Бруту Вий и его друзья представляются чертями. Воля ваша, философ, у страха глаза велики. Умеете — молитесь.

Досадная аберрация зрения имеет, однако, далеко идущие последствия. Социальная философия определенного рода объявляет Другого нечистой силой и грозит ему страшным посюсторонним судом.

(КУЗНЕЦОВ)

И приглушенные рыдания
Дошли, как кровь, из-под земли:
— Зачем вам старые преданья,
Когда вы бездну перешли?!

(МОЙ ОТРИЦАТЕЛЬНЫЙ ГЕРОЙ) Сами знаете — кто. Значение отрицательного героя для формирования сюжета трудно переоценить. Написав группу товарищей через запятую, сам того не желая, сформировал *човое поколение*.

Сергей! Шаргунов! Давайте знакомиться, дружить! Немедленно и навсегда. У газетчиков хорошее социальное чутье. Плохо с аналитикой: не умеют просчитать последствия собственной неосторожности.

(ПРИТЧА) Знаете, как праздновали успех футболисты прежних лет? Забив гол в матче мирового чемпионата, они делали на зеленом газоне нелепые, потешные кувырки. *Кувырочки*.

А теперь? Молодые львы двадцать первого века демонстрируют роскошные сальто. В два-три оборота, вперед, назад, да куда угодно. Ловкие, координированные ребята, надежда человечества.

Эти пластические этюды проходят у меня по разряду притчи. Очень хотелось высказаться на тему борьбы поколений. Перебрав десяток аргументов, я выбрал этот, наглядный, убийственный.

(МАНГЕЙМ-2) «„Новизна” молодости... состоит в том, что она ближе к „современным” проблемам (в результате ее „потенциально свежих контактов”...), а также в том, что она драматически осознает процесс дестабилизации и находится на его стороне. Старшее поколение тем временем остается верным той переориентации взглядов, которая составляла драму *его* юности.

...адекватное воспитание или обучение молодого человека встречается с трудно преодолимой сложностью — эмпирические проблемы молодого человека обусловлены иным, нежели у его учителей, набором противоречий»⁴.

(МОЙ ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ ГЕРОЙ) Не иначе Гордон, лучший телеведущий, обещающий кинорежиссер. Хорошо бы мой положительный герой вывел на чистую воду, то бишь на голубой экран, моего отрицательного. Дал бы высказаться, разоблачил нищету корпоративной идеологии.

Хорошо бы. Хочу.

(ТИРАЖ) Менее всего я желал бы превратить этот серьезный текст в коммуналную склоку с уверенным в себе литературным критиком. Мой отрицательный герой — образ собирательный, не г-н Н., а г-н N, разница все-таки есть. Как человека массовой культуры меня интересуют не личности, а типы, не индивидуумы, но тираж. Я стану употреблять мн. ч. вместо ед. ч., но это ничего не меняет. Уходящая натура. В интервале от вчера до позавчера.

(ЛИБЕРАЛ) Почему ни в одной из российских картин, кроме сельяновских и муратовских (не путать Киру Муратову с Мурадовым Алексеем), я не узнаю себя, своих друзей и соседей? Почему я всегда узнаю вас, господа икс, зет, дубль вз, всегда одну и ту же социальную физиономию? Наше новое кино никому в мире не интересно. Герой, победивший собственную страну, не нужен нигде. Снова и снова выдают за «народ» деклассированных алкоголиков. На самом деле за народ сойдут двадцать тысяч праведников. Может, десять тысяч. При определенных обстоятельствах будет достаточно дюжины. Почему про этих, последних, мне рассказывают канские лауреаты Майк Ли, Аббас Киаростами или Аки Каурисмяки, а про деклассированное дерьмо — российский Союз кинематографистов в полном составе? Потому что так удобнее *владеть* страной. Дескать, смотрите, пьют-с. Народ-то с дрянной. Стоит ли пояснять, кто, когда и зачем развратил доверчивых кинематографистов?

На самом деле индивидуалист, либерал — это я. Икс, зет, дубль вз — группа риска, семья, не класс, а добуржуазный клан.

За мною никого-никого. Выжженная земля. Выжженная — не вами?

(МЕСТЬ И ЗАКОН) Вы (мн. ч.) правда не понимаете или притворяетесь?

По пунктам. Сознание человека, а тем более коллективное бессознательное значимой социальной группы крайне инерционно. Устойчивость «среднего класса» определяется не толщиной кошелька, но адекватностью сознания (бессознательно-го). Любимые вами «новые русские», если они действительно существуют, если

⁴ Мангейм К. Очерки социологии знания..., стр. 34.

они не фигура журналистской речи, — это совсем не то, на что вы надеетесь. Вы, грамотные, снова безосновательно судите по себе.

Большие деньги и власть не обязательно развращают, но уж точно — не превращают плебея в аристократа. Ваш либеральный рай будут демонтировать не пенсионеры-зюгановцы, не экстремисты из подворотни, а дети новых являющихся нуворишей и субъектов власти. Причем будут делать это в самом неожиданном, невероятном, самом непрогнозируемом направлении!

Боюсь, именно они через пару десятков лет устроят вселенского масштаба шум-бурм, чтобы нейтрализовать катастрофический разрыв между коллективным бессознательным своей родовой группы (плебс, а что же еще! если угодно, «деревня») и новыми социальными возможностями, которые подарили им лихие отцы. Именно эти детки, получив от отцов лишь особняки, кредитные карточки и места на вершине социальной иерархии, но не получив соответствующих новому статусу социальных привычек и *психологического фона*, станут глубоко мучиться, страдать, испытывая трудно дифференцируемое чувство неполноценности. Мстить отцам? — безусловно, жестоко. Мы не услышим публичных жалоб, мы, кто доживет, увидим очередную российскую бузу.

Вот почему, действительно не испытывая ни малейшего сочувствия к тому, что принято называть «новыми русскими» (закономерная классовая разница — достаточная причина), я искренне желаю этому сословию устоять в будущей битве со своими сыновьями, новыми русскими революционерами. Кто успокоит детей? Детей, которые путают и всегда будут путать Павича с Каурисмяки, литературу с кино, а власть с безответственностью. Разве Передонов органически подл? Нет, Передонов не на своем месте. Роман Сологуба, главный русский роман двадцатого века, сохраняет пугающую актуальность и в двадцать первом. Мы уже проходили «крестьян» в ЦК, Политбюро и Верховном Совете, что, будем закреплять пройденное?

К сожалению, на всякую революцию рано или поздно находится своя контрреволюция. *Очень хочется ошибиться.*

(КУЗНЕЦОВ-2)

— Отец! — кричу. — Ты не принес нам счастья!.. —
Мать в ужасе мне закрывает рот.

Дети победителей, эти умеют ненавидеть.

(И ЕЩЕ) Хватит считать деньги. Бюджет, нефтедоллары, экономический подъем — профанация, полная чушь. Сытый дурак еще опаснее.

(КОРОТКИЕ ВСТРЕЧИ) Я привык отдавать долги. Спасибо Лимонову, это его:

Мой отрицательный герой
Всегда находится со мной.

Правда, в моем случае не глубокая привязанность, как в первоисточнике, а случайная связь. Расстаемся. Вечная любовь — это для романтиков и поэтов.

(ВНИМАНИЕ) Я целенаправленно *стилизую* сознание Другого. Думаю, именно в литературном журнале подобная стратегия письма оправдана и даже необходима. То, что я внутренне *совпадаю* со своим лирическим героем, — вещь в строгом логическом смысле *необязательная*.

(СБРЮД) В телевизоре ликует жизнерадостный корреспондент: россияне не дали себе умереть, в трудные времена поселившись на приусадебных участках, сроднившись с землей, обеспечив семье сносное питание.

Дурак, неподражаемый дурак. Десятки миллионов более-менее городских людей сели на землю. Теперь они недогорожане-недокрестьяне, межеумочный сброд. Межеумочное сознание, никаких «истинных ценностей». Вообще ничего подлинного.

Центральная газета тоже ликует: ведущий инженер питерского судостроительного завода, кандидат наук, построила на крыше многоэтажки теплицу: овощи, фрукты, цветы.

Додумались! Была — питерский инженер, стала — карлсон, если не малыш. Нет ничего опаснее, чем десятки миллионов деклассированных россиян. Ну разве что те, кто им когда-нибудь свистнет, кто поведет их за собою.

(МАНГЕЙМ-3) «...надлежит каждодневно прислушиваться к различиям между голосами разных поколений, каждое из которых озвучивает всякий момент времени на собственный лад»⁵.

(КОРОТКИЕ ВСТРЕЧИ-2) Лучший отечественный фильм лучшего советского режиссера. Социальная точность картины беспрецедентна. Муратова описывает процесс и последствия грандиозных миграций из деревни в город эпохи неразвитого социализма, 50 — 60-х годов. Всего в полтора часа Муратова уместила содержание, которое оказалось неподым академическим институтам и грамотной общественности, коей, известно, тьмы и тьмы. Все, что случилось со страной в последние пятнадцать лет, что случится в ближайшие полстолетия, нельзя внятно объяснить, не осмыслив феномена пресловутых миграций.

Во-первых, за несколько лет до панфиловского «Начала» в картине Муратовой зафиксировано *тотальное поражение мужского*, то есть определенного, внятного и ответственного: героя Владимира Высоцкого перераспределяют между собой две бабы, грамотная и деревенская.

Во-вторых, за этот особо ценный и обаятельный *приз* (все же Высоцкий!), воплощающий естественное удовольствие, грамотная, чиновница, станет впоследствии, в 80 — 90-е, гнобить, выметать с социального поля неадаптированную, деревенскую.

Внимание: люди, переехавшие в город даже в дошкольном возрасте, никогда не становятся горожанами, *никогда*. До конца жизни они воспроизводят растерянность, ужас, *беспринципную податливость* к подкупам, посулам или откровенным угрозам. Именно это неадаптированное сословие, деревенские мигранты в первом поколении, является источником социальной нестабильности, причиной социальных катастроф: в 30-е годы, теперь, в недалеком будущем. Именно эта социальная группа всегда «заказывает» страх и репрессии.

Если бы (конечно, утопия; разве у чиновницы было достаточно терпения? ну как не овладеть «Высоцким» сей же час?!) перестройка и ускорение случились на четверть века позднее, послезавтра, они имели бы дело со вторым поколением, родившимся и выросшим в городе. С поколением, которое было бы надежно прикрито людьми со сходным социальным опытом — своими родителями, первым поколением, полностью сформировавшимся в городском социальном ландшафте. Вот это и был бы реальный (а не виртуальный, как теперь), *антропологически обеспеченный* средний класс, которого так взыскуют «либераль».

Но первому массовому городскому поколению не дали состояться старшие, те, кто поспешил за *удовольствием*. Перекрыли кислород, и поколение не успело эмансипироваться, нормально родить, воспитать. Гордо и тупо нарушили эволюционную цепочку. Что знают об этом наши горе-«экономисты»? Ничего. До сих пор полагают, что человек — механическая заводная игрушка, отрабатывающая принцип «стимул — реакция». На очередных выборах, считая очередную потерю голосов, обиженно фыркают: до чего в России не любят свободу. Фыр-фыр.

Что вы там строите, *с кем?*

(ГОСПОДИ!) Неужели, кроме сексуальной ориентации имярека, в России снова ничего не изменится?

(ДРУГИЕ) Чтобы протестировать телевизионных продюсеров, я предложил им заявку на сериал, где разместил следующую контрольную фразу: «Всем известно (но не все в этом признаются), что женщина не сильна в любви, женщина сильна в своем хаосе. В любви же, напротив, женщина слаба и послушна». Мужчины оживились и заявку одобрили, женщины вежливо заерзали, с редким единодушием отклонили. Что и требовалось доказать: групповые интересы неотчуждаемы.

Посему: не соглашаться даже по мелочам. Согласиться — значит снова уступить инициативу, печатные площади, телеэфир (до которого еще доберемся), рабочие места, премии, прочие атрибуты социальной власти. Думаю, лидеры квазилиберального предела 90-х до сих пор не осознали, *какие* социальные силы унизили и разбудили.

Повторюсь, дело не в «Манцове», «Манцов» — псевдоним, брэнд, игра любви и случая. Забудьте Манцова как кошмарный сон. Будут *другие*, лучше.

⁵ Мангейм К. Очерки социологии знания..., стр. 16.

(ЖАРКО) Дезертировал в Тулу.купаюсь, описываю для киножурнала жизненный путь Каурисмяки. Все-таки пляж — самое честное место на Земле. Все на виду — и приятное, и противное. Где-то здесь купались Лев Толстой и Сельянов. Теперь девчонки, старушки, собачки, два пьяных чудака, целый огромный мир. *Фантастика!*

Р. С. И. Роднянской. Публично поклялась, что никаких маргиналий к Манцову больше не последует. И вот — не удержалась... Силюсь понять, почему все-таки «Манцов» (лирический герой) — Другой. Для меня Другой — «свободный от общества» праведник, который мог бы повторить за Григорием Сковородой: «Мир ловил меня, но не поймал».

CD-ОБОЗРЕНИЕ МИХАИЛА БУТОВА

БЕЛАЯ ДЫРА

Tony Levin, «Pieces of the Sun», Narada, 2002

Деннис Овербай в «Одиноких сердцах космоса», одной из лучших книг, когда-либо написанных о космологии, представляет Бога как космического рокера, который дает толчок к созданию Вселенной, ударяя по своей гитаре с десятимерными суперструнами. (Задумываешься, Бог импровизирует или играет по нотам?)

Д. Хорган, «Конец науки».

Современная музыка пытается заковать время и сделать его выносимым. Но — не убить его, не подменить собой, как делают медиа, в первую очередь — электронно-визуальные медиа. Музыка и медиа свели друг с другом понятная почеловечески звездная болезнь исполнителей и коммерческие интересы менеджеров телевидения и шоу-бизнеса. И свели музыке на погибель. Массовой клипово-телевизионной подаче не исполнилось еще и двадцати лет, однако она успела переработать, извести не станем говорить на что целые музыкальные пласты. Весь нынешний рок-мейнстрим (в диапазоне от сладкоголового брит-попа и романтического «love-металла» до загруженного героинном и очень мрачным восприятием жизни панк-рока, до квазирадикального «стандартного европейского» звучания — такой музыкой любят сопровождать телепередачи про экстремальный спорт), вся, за исключением единичных исполнителей, музыка «черной» линии соул-фанк-рэп сегодня являет собой довольно унылую череду произведенных телевизором симулякров, причем не имеющих вообще никакого собственного существования, что еще было бы как-то занимательно, но полностью подчиненных воле коммерческих продюсеров (представляется, что и скандалы, связанные с личной жизнью поп-звезд, чаще всего тщательно спланированы). Вне всякого сомнения, похожая участь в самое ближайшее время ожидает «мировую музыку» со всем ее этническим пафосом (и, пропагандируя культурные ценности третьего мира, «мировая музыка» без проблем войдет в большой шоу-бизнес, где вращаются титанические деньги, полученные в результате ограбления этого самого третьего мира «золотым миллиардом»), а также расхожую филармоническую музыку. Где-то в начале музыкального видео еще мерещился некий синтез искусств, в котором, возможно, музыкальная составляющая и должна была несколько подсократиться, подвинуться ради целого. Но год от года и видеоряды в музыкальных клипах теряют разнообразие и становятся все более примитивны — новые технические средства не способны затушевать отсутствие интересных концепций или хотя бы желания такие концепции иметь. Между прочим, заставки, видеотбввки на MTV всегда были на порядок интереснее даже самых лучших клипов. И показательно, что более-менее

серьезные исполнители, в восьмидесятые с энтузиазмом окунувшиеся в видеомузыку, — скажем, Питер Гэбриэл, — в девяностые почти совершенно от этого вида деятельности и саморекламы отказались. Можно при желании рассуждать, что такова — в бесконечных повторениях, в массовом тиражировании малоразличимого барахла, в прокустовой подгонке всякого индивидуального начала под манекенные стандарты — единственная доступная форма существования искусства под страшным гнетом многовекового культурного наследия. Мне не то чтобы совсем чужды были подобные мысли — мне просто трудно представить изнывающего под культурным гнетом производителя видеоклипов.

Короче, просто так, сидючи в кресле и переключая телеканалы, без собственного исследовательского интереса, ничего дельного любитель музыки сегодня уже не получит. Хочешь музыки со смыслом и духом — придется из кресла вставать и разыскивать ее за пределами телевизора. И даже за пределами радио, куда более, по сравнению с телевизором, благородного, но, к сожалению, тоже совершенно подчинившегося навязанным MTV порядкам: FM-радиостанции крутят те же самые песни, на которые снимаются клипы, — и практически только их. Во тьме внешней, на разной степени удаления от линии терминатора, остаются джаз (хотя вряд ли джаз еще когда-нибудь порадует нас чем-то действительно будоражащим и актуальным), масса маргинальной рок-музыки — от разномастных металлистов и думстеров, почти всегда глуповатых, но заслуживающих уважения за прямоту, за то, что товар всегда предъявлен лицом, без дураков, до изысканных интеллектуальных стилистик; остаются блюз, современная композиторская музыка. Особая статья — электронщики, которые очень даже не против видеорядов для своей музыки, однако видео здесь мало походит на обычные клипы, а имеет, как правило, абстрактно-психоделический характер: формы, цвета, бесконечное движение — своего рода компьютерный калейдоскоп.

Кто делает музыку MTV-го пошиба — понятно: продюсеры и звукорежиссеры. Для примера попробую пересказать статью из профессионального журнала «Звукорежиссер» — поскольку издание это в руки читателя «Нового мира» скорее всего не попадет¹. Речь идет о записи песни для сборного альбома по случаю футбольного чемпионата мира: каждая страна, участвующая в чемпионате, представляла на диске своего артиста и свою песню. От России представительствоваала некая певица Ариана, а песню под названием «More than the game» — «Больше чем игра» — сочинил композитор и продюсер Матвей Аничкин. Несмотря на то что имя певицы ничего хорошего вроде бы не предвещало, она сумела в первый же день записи приятно удивить звукорежиссеров, поскольку спела свою партию верно, и после записи не пришлось прибегать к компьютерной коррекции чистоты интонации и точности ритма — случай в нашей стране и в наше время откровенно выдающийся. Гитаристов и басиста тоже записали без проблем, однако здесь к первоначальному звуку (тоже сформированному путем подбора звукорежиссерами соответствующих микрофонов, усилителей-комбиков и прочих элементов, моделирующих звучание) уже применялась последующая обработка: то есть звук доводили режиссеры, без участия музыкантов. Затем пришла струнная группа, исполнители с консерваторским образованием, как оказалось, не способные с необходимым качеством играть вовсе: ритм, темп, интонация, просто синхронность — все мимо кассы. Выгнали этих, отыскали других — попримичнее. Из записанного с теми, что попримичнее, материала отобрали несколько фрагментов, которые могли пойти в дело, скопировали несколько раз и расставили в правильном ритме. Так скроили партию струнных. Но затем подмешали к акустическим инструментам синтезированные MIDI-скрипки — для придания звуку большей плотности. Далее наступила очередь подпевок: два голоса — мужской и женский. Мужчина ничего, справился, а запись барышни пришлось переносить в компьютер, чистить и дорабатывать, так что на окончательном сведении голос ее подавался прямо из компьютера. Наконец, ритмические линии исполнили соответствующие синтезаторы-сэмплеры. Таким образом, сведение шло с трех источников: с магнитофонной пленки, куда было записано все, что удалось записать прилично, с компьютерной

¹ Френкель Э. Сотворение песни... — «Звукорежиссер», 2002, № 2.

звуковой станции «Pro Tools», игравшей скорректированные, доведенные партии, и с компьютера, на котором были чисто электронные голоса, не требовавшие живых исполнителей.

Меня отнюдь не пугают подобные триумфы современных технологий (а описанный вариант скорее совсем простенький по сравнению с тем, что и как делают на Западе в действительно серьезных студиях, — ну, все равно что отдел спецэффектов «Мосфильма» против такого же в Голливуде). И я не собираюсь отказывать компьютеру в статусе музыкального инструмента потому лишь, что он не похож на рояль (зато похож на баян). Только вот почему это студийное песенное чудо «More than the game» в свет выходит под именем певицы, а не под именем полностью, от кия до клотика, сотворившего его Матвея Аничкина? Ведь вполне могла неведомая мне Ариана и не иметь столь выдающихся способностей и не выпендриваясь пела бы как все — мимо нот. И что бы изменилось? Да ничего. Ну, на сведении подавался бы ее голос не с «честной» магнитной пленки, а из системы «Pro Tools» — слушателю-то какое дело? Больше того, я почти уверен: недалек день, когда успехи в синтезе звука и в компьютерной визуализации станут настолько велики, что какая-нибудь новая Ариана запоет уже непосредственно из компьютерного сэмплера, а томно прикрывать глазки и крутить выпуклостями в клипах станет соответствующих форм компфетка, не имеющая биологического прототипа². Но все равно — только именами фантомных певцов и певиц размечает, будет размечать это культурное пространство массовое сознание. Из авторов эстрадных песен в России известны публике единицы — да и то по инерции советских времен. Реальные создатели музыки вне узкого профессионального круга не известны вообще никому.

Не очень отличается ситуация и в «непопсовых» областях. Прожектор внимания сфокусирован на фронтменах, лидерах, в первую очередь на певцах. Только изредка в нынешней рок-группе рядом с певцом как-то еще высвечивается гитарист. При том, что и музыку, и тексты, и концепцию звучания определяют, не исключено, вовсе не певец с гитаристом, а басист с барабанщиком, — интересно все одно брать будут не у них. (Электронщики, как всегда, подемократичнее — за счет того, что здесь и технологически, и просто визуально фронтмена в составе не выделишь — все жмут на одинаковые клавиши.) И только продвинутый любитель музыки учится узнавать в захлавленной галерее квазихаризматических лидеров истинных харизматиков, настоящих генераторов новизны, музыкантов, способных отправить действительно свое собственное послание. На гамбургский счет за всю историю того, что я называю современной нефилармонической музыкой, таких едва ли наберется два-три десятка. Следующая ступень в развитии меломана — это когда фамилия продюсера, напечатанная на компакт-диске мелким шрифтом, становится не менее, а то и более важной, чем проставленные крупно и жирно имена исполнителей, когда он начинает чувствовать как эстетическое качество творческое (не психологическое) напряжение, возникающее между музыкантами и продюсером (ради этого напряжения очень маститые исполнители порой приглашают продюсировать свои работы амбициозных молодых музыкантов). И только подлинный меломан-исследователь способен различать и ценить музыкантов как будто второго плана, никогда в лидеры не выходивших и не стремившихся к этому, однако являющихся своего рода «белыми дырами», источниками самой музыкальной материи.

Пожалуй, из всех жанров только в джазе таким людям всегда воздавали по достоинству, понимали, что их вклад в музыку хотя и иной, нежели вклад признанных лидеров и первопроходцев, однако не менее значителен. Мне думается, если составить — в первую очередь по опросам джазменов — список лучших, скажем,

² В России, впрочем, такие виртуальности приживутся не сразу, поскольку наша поп-эстрада имеет отчетливый ресторанный характер, существенная часть денег делается за счет выступлений в кабаках, и вряд ли сможет рассчитывать на успех певица, которую нельзя пощупать хотя бы теоретически. Недаром клипы русских поп-исполнителей снимаются таким образом, чтобы пробуждаемые в потребителе сексуальные стремления сразу же и замыкались на артиста. Напротив, западные исполнители стремятся расшевелить зрителя «вообще», предоставив ему свободу тратить свой эротический пыл где угодно, а сами обычно представлены на экране с уже имеющимся, «готовым» партнером.

контрабасистов, гитаристов, барабанщиков за все время существования джаза, там немало окажется музыкантов, не выпустивших ни одной записи в качестве лидера ансамбля, а будут и такие, что за полвека своей музыкальной карьеры не сыграли ни одного соло. Тони Левин когда-то тоже начинал с джаза. В дальнейшем, большой, наголо бритый и усатый, похожий на персонажа из боевика со Шварценеггером, мастер всех видов электрического баса — от обыкновенной бас-гитары до сложного, дорогого и многострунного «чапменовского стика», — чистого джаза уже не играл, а позиционировал себя скорее как рок-музыкант. От джаза, однако, осталась способность импровизировать и увлекаться импровизацией.

Рассчитывая найти какое-нибудь интервью с Левиным по поводу выхода его альбома, я покопался в Интернете; интервью никакого не отыскал, зато на домашней страничке Левина (www.tonylevin.com) наткнулся на перечень, который сам по себе выглядит произведением искусства. Это дискография под простым заголовком «Альбомы, на которых я сыграл».

Левин — принципиально «не лидер». Его «вес», авторитет, которым он обладает среди продвинутых рок-музыкантов самых разных стилей, настолько велик, что басист мог бы последние лет пятнадцать регулярно выпускать по собственной пластинке в год, привлекая для записи исключительно суперзвезд ранга, например, Питера Гэбриэла. Между тем на сегодняшний день Левин, словно через не хочу, сделал всего три альбома под собственным именем (то есть на обложках написано просто: Tony Levin; нужно отметить, что выступает тот же самый, записанный на этих альбомах состав и с тем же материалом уже как Tony Levin Band — главному герою очень не хочется оставаться в одиночестве). Есть еще пять альбомов, где имя Левина стоит на обложке в ряду с именами других музыкантов, лидерство в таких составах не выражено. Кроме того, существует или существовало девять разных групп, где Левин считает себя полноправным участником. В общей сложности по этой категории указано 28 альбомов, из коих 19 (4 полновесных студийных, остальное — сборники, версии и концертные записи) — знаменитой группы «King Crimson», пожалуй, самой постоянной из левинских работ. А вот в составах Питера Гэбриэла, с которым тоже записывается и гастролирует постоянно, причем не один десяток лет, Левин уже считает себя лишь нанятым музыкантом, сайдменом, видимо, оценивая соотношение, сколько при создании музыки он привносит своего, а на сколько — просто выполняет указания. Так вот, в качестве такого приглашенного гостя басовые орудия Левина можно услышать более чем на четырехстах альбомах у лидеров, между которыми нет вообще ничего общего. Левин работал с джазовыми вибрафонистами Гари Бертоном и Майком Майниери, с флейтистом Хэрби Мэнном — с середине семидесятых, на великолепных пластинках забойного танцевального джаз-рока; с бразильским аранжировщиком Эумиром Деодато и джазовой певицей Натали Коул; с Элисом Купером — «ужасным» раскрашенным рокером, ездившим по сцене на мотоцикле и крутившим над головой живым боа-констриктором; с Джоном Ленноном и Йоко Оно, с авангардистами Лу Ридом и Лори Андерсон; с сентиментальным Полом Саймоном, а заодно и с его давним партнером Артом Гарфанклом; с манерным Брайаном Ферри и грубым Томом Уэйтсом; с блюзовыми дивами Джоан Арматрейддинг и Трэйси Чэпмен; с «Dire Straits», «Yes» и «Pink Floyd»; с поп-певицей Шер, даже с оркестром Джеймса Ласта и Лайзой Минелли. Я столько перечисляю, чтобы дать хотя бы приблизительное представление об объеме и стилистическом разноебе списка. Причем перечисляю лишь громкие имена — сотни остальных я встречаю впервые, и скорее всего большая их часть — начинающие коллективы и исполнители, записавшие единственный диск, затем канувшие в безвестность. Левин сотрудничал с такими в семидесятые, не отказывает им и сегодня. Вряд ли это вопрос денег, при желании музыкант его класса мог бы найти ангажемент и получше. Судя по всему, ему просто так нравится извлекать звуки из своих инструментов, что он с удовольствием соглашается проделывать это всякий раз, когда предоставляется возможность³.

³ Мне было приятно узнать, что Левин — еще и фотограф, продает через Интернет выставочного качества отпечатки — портреты музыкантов. На момент написания статьи было представлено к продаже изображение лидера «King Crimson» Роберта Фриппа — с гитарой, в углу какого-то пестро раскрашенного помещения. Хорошая фотография. А на отдель-

Обыкновенно, если подобные Тони Левину мастера на все руки и все стили начинают делать что-то свое, это бывает в большей или меньшей степени импровизационное смешение стилей в общем джаз-роковом духе, сегодня часто еще и с этнической компонентой. Что и не удивительно — в таком сплаве легче всего проявить весь спектр своих многообразных возможностей. Левин идет параллельным, но все же другим путем. Все его как сольные, так и коллаборационистские проекты выполняются особым способом — назовем его джем. Слово «джем» в музыке известно прежде всего из джазовой практики. Джем-сейшн — в джазе особая музыкальная ситуация: джазмены, не сыгранные друг с другом, без предварительной подготовки, комбинируясь случайно, импровизируют на ту или иную выбранную тему. Иное — джем в рок-музыке. Здесь это способ создания композиций. Композиции не существует, пока музыканты не взялись за инструменты — в лучшем случае имеется предуготовленным какой-то элементарный рифф и ритм. Из этих «эмбрионов» музыканты и должны, чутко взаимодействуя и практически в реальном времени исполнения, по крайней мере каждой отдельной части, «вырастить» вещь. Джемовые пьески имеют место у разных рок-музыкантов: у «Rolling Stones», например, или у «Police», — однако чаще всего ими просто заполняют место на альбоме, когда не придумалось ничего получше. Из тех, кто довел джем до совершенства и превратил его в настоящий творческий метод, следует назвать немецких авангардистов «Can» в семидесятые, а в восьмидесятые — тот самый «King Crimson» второго созыва, куда был привлечен и Тони Левин. Джем, конечно, — импровизация, однако он существенно отличается и от джазовой импровизации, и от концертных инструментальных рок-эксplikаций даже случайно объединившихся музыкантов, имеет другие цели, другое соотношение между временем и предзаданной темой. Исходная точка для джазовой импровизации — тема, форма в не проявленной полноте, время — ноль. Нужно запустить время и исчерпать, проявив во времени, тему. Исходная точка джема: форма виртуальна, неуловима в шуме, в мерцающем становлении, в дурной бесконечности, время — можно сказать, космическое, не человеческое, максимально отчуждено и максимально отчуждает, давит своим равнодушным ходом; время надо поймать, зациклить, «остановить мгновение», «заморозить» становление и так вытащить к бытию какую-то одну из бесконечного числа возможных форм. Это предопределяет темпоритмические структуры, используемые играющими джем музыкантами. Конфигурация здесь выдерживается обыкновенно традиционная для рок-групп: гитара, бас, клавиши, барабаны. По звучанию и ритмически все, как правило, довольно тяжело. Левин открыто и неравнодушен к тяжелой музыке: недаром один из лучших проектов, где он участвовал, был с музыкантами виртуозной металлической группы «Dream Theatre». Такого рода тяжелого гитарно-барабанного джема я слышу год от года все больше — намечается новый стиль, новый аттрактор, притягивающий к себе все больше музыкантов из тех, что не снимаются в видеоклипах и не хотят, чтобы за них играла система «Pro Tools» (хотя, конечно, могут использовать ее в своих целях, система сама по себе хороша). Тони Левин вполне может претендовать здесь на роль отца основателя.

Джем требует от музыканта тех же качеств, что и работа сайдмена, который желает, чтобы его много, интересно и выгодно ангажировали. Умения с ходу предлагать свои идеи и на лету схватывать едва наметившиеся идеи партнера; умения работать на целое, а не тянуть одеяло на себя; наконец, выдающихся технических, исполнительских данных. Джем — специальная музыка «не лидеров». Лидерство — это организация, волевое структурирование, идеология (между прочим, всё слабые, неубедительные места в современной музыке и вообще в современной культуре). «Не лидерство» — сама порождающая стихия, «белая дыра», удовольствие от самого процесса извлечения звука. Джем как оформляющийся музыкальный стиль отменяет крепкую в большинстве других стилей установку на разницу в значимости,

ном сайте Tony Levin Band (www.tonylevinband.com) тронул специальный разделчик, посвященный тому, когда и как следует с наибольшей для себя безопасностью просить у членов группы автографы.

в «эстетическом вкладе» лидеров и «не лидеров». Соответственно на коммерческие успехи тут рассчитывать не приходится. Но только джем и хочется сегодня, наряду с электронной музыкой, назвать направлением перспективным и обладающим потенциями к развитию.

WWW-ОБОЗРЕНИЕ СЕРГЕЯ КОСТЫРКО

О прозе и поэзии весеннего «Улова-2002», об уфимской «Квартире X», самарских «Майских чтениях» и о Павле Улитине в Интернете

1

В одном из предыдущих обзоров я написал, что использую итоги сетевого конкурса «Улов» для, так сказать, замера текущего состояния сетевой литературы. Так можно было сказать еще года два-три назад. Сегодня же говорить о собственно «сетевой литературе» бессмысленно. Как таковой ее уже нет. Есть состоявшиеся литературные произведения и не состоявшиеся. Первое появление текста в качестве сетевой публикации — это стартовая ситуация, а никак не эстетическая, поколенческая, тематическая или еще какая-то характеристика текста. Год назад, обзревая итоги весеннего «Улова» 2001 года, я разбирал две интернетовские литературные новинки — «Фэст фуд» Сергея Соколовского и «Великую страну» Леонида Костюкова. Сегодня же «Великая страна» значится в списках номинантов Букеровской премии, попала туда по публикации в «Дружбе народов», а «Фэст фуд» издан книгой. И мы уже привыкли, что первые рецензии на журнальные публикации и вышедшие книги появляются на сайте «Круга чтения» «Русского Журнала», что литературные дискуссии сегодня наиболее бурно идут именно в Интернете; последний пример (к моменту написания обзора) — обсуждение ситуации с литературной премией «Национальный бестселлер». Иными словами, Интернет стал еще одним инструментом литературной жизни — мобильным, демократичным, свободным. Литература приватизировала сеть.

Соответственно чтение выставленного на конкурсе «Улова» было для меня как бы некой инвентаризацией уже прочитанного и частично отрецензированного.

И тем не менее у сетевого «Улова» (<http://rating.rinet.ru/ulov>) остается, на мой взгляд, своя ниша. Это не такой амбициозный (в хорошем смысле слова) проект, как конкурс «Тенёта» ([://teneta.rinet.ru/](http://teneta.rinet.ru/)) с огромным количеством произведений по 19 номинациям. «Улов» более компактен — всего две номинации: «Проза» и «Поэзия», где сходятся тексты молодых и среднего возраста писателей, уже прочно занимающих свое место в литературе, и молодых, по большей части публикующихся еще только в Интернете авторов — так сказать, нашего литературного будущего. Грань условная, но тем не менее ощутимая, и я попробую воспользоваться этим разделением в разговоре об итогах последнего «Улова».

Итак, в сетевом конкурсе весеннего «Улова-2002» приняли участие:

в прозе — 26 авторов (порядок имен в списке соответствует месту, которое автор занял после подведения итогов голосования жюри): Анатолий Гаврилов, Андрей Геласимов, Станислав Львовский, Денис Осокин, Вадим Калинин, Дан Маркович, Георгий Балл, Аркадий Бабченко, Сергей Киروشка, Алексей Лукьянов, Ольга Санина, Владимир Березин, Ирина Денежкина, Андрей Краснящих, Владимир Пузий, Юрий Малецкий, Мария Галина, Елизавета Мнацаканова, Сергей Палий, Денис Хер-Рувим, Дмитрий Константинов, Анатолий Ливри, Михаил Бару, Татьяна Тайганова, Рустам Нуриев, Шоб Вовекиканало;

в поэзии — 23 участника: Бахыт Кенжеев, Светлана Кекова, Кирилл Медведев, Николай Байтов, Татьяна Ризденко, Михаил Гронас, Александр Ожиганов, Марианна Гейде, Ирина Машинская, Владимир Салимон, Аркадий Штыпель, Дарья Суховей, Юрий Серебряник, Борис Шифрин, Антон Сурнин, Олег Дозмор, Влади-

мир Купянский, Евгения Изварина, Виктор Куллэ, Андрей Гайворонский, Анатолий Яковлев, Яна Юзвак, Анатолий Головатенко.

Относительно небольшое количество участников конкурса не должно вводить в заблуждение — претендентов было гораздо больше. Приведенные списки — это результат двойного «отцеживания»: специальное жюри сайта **«Рейтинг литературных сайтов»** (<http://rating.rinet.ru/>) отобрало лучшие литературные сайты в Интернете, предоставив им право выдвигать свои тексты, а держатели сайтов, проведя уже свой отбор, предложили вот эти кандидатуры.

Жюри самого конкурса «Улов» лучшими признало следующие тексты: в номинации «Проза»:

1. **«Берлинская флейта»** Анатолия Гаврилова — сайт «Журнальный зал»;
2. **«Нежный возраст»** Андрея Геласимова — сайт «Журнальный зал»;
3. **«По воде»** Станислава Львовского — сайт «Вавилон»;
3. **«Наркоматы»** Дениса Осокина — сайт «Vernitskii Literature: Молодая русская литература»;

в номинации «Поэзия»:

1. **«Стихи»** Бахыга Кенжеева — сайт «Квартира X»;
2. **«Тень тоски и торжества»** Светланы Кековой — сайт «Журнальный зал»;
3. **Из книги «Все плохо»** Кирилла Медведева — сайт «Вавилон».

«Берлинскую флейту» Гаврилова (см. «Октябрь», 2002, № 2) оценивали в критике по-разному, мне, например, «Флейта» кажется одним из самых замечательных текстов, прочитанных за последнее время. Канва ее незатейлива: русский музыкант, приехавший в Германию в творческую командировку, живет оговоренный срок, в конце срока сочиняет новую музыку и уезжает домой. Тут все дело в том, как распоряжается Гаврилов этим сюжетом. Как записывает его. Записывает, как записывают нотными знаками музыку. Только вместо нот слова, словосочетания и фразы, произносимые героем, точнее, произносящиеся в нем. Это даже не монолог, монолог всегда к кому-то обращен, хотя бы к самому себе. Монолог «Флейты» ни к кому не обращен. Он похож на рефлекторное говорение — произвольная констатация места, времени, физического и психического состояния, мелькнувшего воспоминания.

Изображаемый в повести поток сознания (и подсознания) оформлен не только физической жизнью героя, но и той музыкой, которая пока еще только начинается в нем. Мы наблюдаем и одновременно переживаем вместе с героем его сокровенное: жизнь того душевного органа, в чьем ведении творчество. Музыка живет в герое с самого начала как мучительный и сладостный процесс очередного соединения с миром.

Для меня, например, лидерство этого текста было очевидным, и очень приятно, что члены жюри «Улова» пришли к такому же выводу.

Далее в списке — **«Нежный возраст»** Андрея Геласимова, рассказ, написанный в форме дневника современного подростка¹. Еще одна «сэлинджеровская» модификация «романа воспитания»: герой в первых своих дневниковых записях предстает как человек, еще не вполне родившийся, как слепок с незнакомого нам мира сегодняшних городских подростков. Писатель изображает его в тот ответственный момент жизни, когда мальчик начинает «тормозить», обнаруживая в себе индивидуальное, — бездумное скольжение по течению для него заканчивается. Образ героя и образ его мира написаны Геласимовым жестко, убедительно, без сюсюканья и произвольного заигрывания с новым поколением. Читателя может даже обескуражить, скажем, душевная глухота героя, с которой тот воспринимает развод родителей. И мать и отец, каждый по отдельности, сообщают мальчику о своем несчастье, как бы рассчитывая на душевный отклик сына, но подросток, образно говоря, поворачивается спиной к обоим — он слишком оглушен самим собой, да и нечем ему еще мерить переживания окружающих. Ну а самое главное здесь — «новорусский» мир, в котором герой растет, напоминает выжженную пустыню, свидетельство этому — та степень потрясенности, которую испытывает герой, обнаружив существование нормальных, «человеческих» людей (старая учительница музы-

¹ См. об этом рассказе в заметках Марии Ремизовой «Свежая кровь» («Новый мир», 2002, № 6). (Примеч. ред.)

ки), искусства и красоты (актриса из «старинного» кино Одри Хэпберн); возможно, в этом и есть внутренний драматизм нынешнего поколения.

Пользуясь предложенной выше оппозицией, этих двух уже достаточно известных — первая же книга Геласимова «Фокс Мадлер похож на свинью» (М., О.Г.И., 2001) попала в «шорт-лист» премии имени Белкина — авторов я бы отнес к писателям «сегодняшним». Попытку же писать «завтрашнюю» прозу делают, на мой взгляд, разместившиеся на третьем месте Станислав Львовский и Денис Осокин. И тот и другой демонстрируют обращение к новым прозаическим дискурсам.

Но что касается рассказа Станислава Львовского «По воде», то я, например, с интересом и сочувствием наблюдаю за работой автора со словом, с интонацией, стилистическими жестами, паузами (там много удачных находок), как целое этот рассказ не почувствовал. (Причиной может быть моя эстетическая «недотянутость» — но литература тем и прекрасна, что тексты, с которыми все ясно с самого начала, по большому счету ей вообще не нужны, а может быть, «недобродил» все-таки этот рассказ у самого автора.) Читая, я понимал, что предо мной нечто лирически-исповедальное, но не в плане проживания жизни как таковой, а в плане соотношения слова с бытом и бытием. Автор предлагает мне, читателю, «просто» жизнь слова и образа в слове, которые как бы по касательной воспроизводят отсутствующие здесь классические элементы прозаического произведения — скажем, психологические состояния или сюжет. Я приведу два отрывка, точнее, не отрывка даже, а два вполне законченных прозаических фрагмента — текст рассказа как раз и состоит из таких вот «микросюжетов», связанных не героями, личностью автора или фабулой, а скорее звучанием голоса и выбором некоего «стилистического дискурса»:

«Выпуская изо рта радужные, разноцветные шарики бубльгума, выдувая по фразе в пятнадцать минут, по стишку раз в полгода, — однажды почувствовать, что воздуха не бесконечно много, а емкость легких вызывает серьезные и оставляет желать, — выйти на балкон, надуть пару облачков водяного дыма — и отпустить. Скосить глаза налево, куда, наверное, они гуляют ходить и дышать непрочными своими шагами. Отсюда не видно, и ладно...»

«Кабельные каналы, не зацементированные еще до времени, утро нескоро, снег уже долго, Новый год с девяноста шести на девяноста семь, с пятого на десятое, электрическое содержимое корейского телевизора и разные способы зарабатывать небольшие деньги. Шампанское, которое вовсе не хочется пить, а только смотреть, как на иллюминацию и гирлянды».

По сравнению с рассказом Львовского «Наркоматы. (Вятка 1918)» Дениса Осокина выглядят вполне законченным произведением². Это что-то вроде джазовой импровизации в прозе на темы мифического — несуществующего, но как бы подразумеваемого — советского фольклора. Музыкальной темой здесь становятся звучание и ассоциативные ряды, которые вызывают у автора (или у современников автора) названия наркоматов: «наркомудел», «наркомнац», «наркомпуть» и т. д. (всего восемнадцать наркоматов). Автор идет от игры с фонемой и морфемой, отдаленно напоминающей велимир-хлебниковские игры со словом, и от игры в историческое воспоминание. Поэтическое мифотворчество Осокина в «Наркоматах», на мой взгляд, продуктивно — в конечном счете моделируется как бы образ ментальности сегодняшнего культурного или «околокультурного» человека. Поскольку текст, о котором я здесь говорю, для большинства читателей будет выглядеть действительно экзотичным, он также требует развернутого цитирования:

«наркомзем

семь кусков земли вырезанные семью лопатами подняты нами за волосы положены на телегу э-э-э теперь поедем э-э-э теперь помолчим-ка поедем и помолчим. сорок горстей земли подняты на дороге двадцать горстей земли подняты с десяти могил э-э-э теперь поя поедем э-э-э теперь поя поедем э-э-э теперь поем едем и поем. красивого мужчину закопаем по пояс... на вершине холма, высокого мужчину закапываем на спуске холма э-э на спуске одна голова торчит и земля во рту. <...>

² О другом тексте Дениса Осокина см. в статье Ольги Славниковой «К кому едет реви-зор?» — «Новый мир», 2002, № 9. (Примеч. ред.)

наркомфин

это тир, друзья. приходите, здесь весло. можно с девушкой или двумя, посмеяться, отдохнуть, заработать денег. и поесть мороженое. и купить канарейку. там стоит пугало с погонами белогвардейца — стреляйте в него и получайте свои деньги: все зависит от вашей меткости. красным командирам сюда вход закрыт. ведь они свалят пугало с шеста при первых же выстрелах. что же им всем давать миллион? у красных командиров и так хватает денег. в наркомате финансов больше любят молодежь, и музыка там играет. а влюбленным парочкам дарят котят».

Что же касается авторов, работающих в более привычных нам стилистиках, то мне, например, досадно, что два замечательных, на мой взгляд, текста оказались в рейтинговом списке «Улова» на дальних местах — я имею в виду **«Копченое пиво» Юрия Малецкого** и **«Алхан-Юрт» Аркадия Бабченко**.

Отдаленности Малецкого от первых позиций в итоговом списке есть, возможно, простое объяснение: выставить на конкурс весь рассказ было невозможно — по объему это скорее повесть. А фрагмент, появившийся на «Улове», как бы выразителен он ни был, не способен представить содержание рассказа во всей его полноте. С рассказом этим можно познакомиться в сетевой версии «Вестника Европы» (<http://magazines.russ.ru/vestnik/2001/3/mal.html>), там представлен журнальный вариант, а в полном объеме — на авторской странице Малецкого в сетевом «Новом мире» (http://magazines.russ.ru/novyi_mi/redkol/malec/pivo.htm). Повествование его построено как внутренний монолог русского эмигранта в Германии, нелегально подрабатывающего экскурсоводом, — он возит на автобусные экскурсии таких же малоимущих русских эмигрантов из Германии во Францию, Италию, Австрию, Голландию и т. д. «Экскурсовод-дальнобойщик» — это, так сказать, социально-психологическое самоопределение героя, но социально-психологический пласт повествования, «самоощущение эмигранта» здесь — только фон, на котором строится основной сюжет, я бы назвал его «сюжетом последнего европейца». Свою Европу герой привез из России. «...кто бы мог подумать: мальчик, начитавшийся когда-то Бодлера в рабочем квартале рабочего города-миллионера, в ночи нагледевшись эстампов, лет через 30, перейдя от Ситэ по мосту Турнель на остров Сен Луи, пройдет с хвостом туристов мимо отеля герцога де Лозэн на Анжуйской набережной, 17, где Теофиль Готье открыл „Клуб любителей гашиша“ и жил там вместе с Бодлером...»

Однако, оказавшись наконец в странах, о которых мечтал, герой постепенно начинает ощущать себя Летучим Голландцем, вечным странником, хранителем уходящей культуры. Удивительно, но изгоем, призраком для современной Европы делает героя сама его верность духу ее культуры. Монолог героя «Копченого пива» с вплетенными в него голосами соотечественников-экскурсантов, с голосами близких, голосами из прошлого — это как бы его прощальная экскурсия по Вене, Парижу, Вероне, Амстердаму; имена архитекторов, музыкантов, писателей, сюжеты и микросюжеты их историй, строки поэтов и философов образуют в этом монологе некий метасюжет Европы. Герой перебирает слагаемые этого метасюжета, как скупой рыцарь, которому, в отличие от пушкинского, уже не дышит в спину нетерпеливый наследник, — никому, кроме него, эти сокровища, похоже, уже не нужны. Та европейская культура, хранителем и представителем которой он чувствует себя, уплощается на его глазах, постепенно переходя в пресловутое состояние «цивилизации».

«Алхан-Юрт» Аркадия Бабченко — это первая полноценная художественная проза о чеченской войне, с жестко и убедительно (автор был на ней дважды) прописанным пейзажем этой войны, с его психомоторикой — страх, злора, возбуждение боя, смертельная усталость, и с метафизическим ужасом вопроса: что же происходит с человеком на войне, когда он становится убийцей (а в чем еще состоит ремесло солдата?). Герой повести Бабченко как человек умирает, рождается — «солдат. Хороший солдат — пустой и бездумный, с холодом внутри и ненавистью на весь мир. Без прошлого и будущего».

После беглого обзора прозы к поэзии весеннего «Улова» я подхожу с некоторой опаской. О плохих стихах еще можно сказать что-то внятное — продемонст-

ривать версификационную беспомощность автора или очевидные провалы вкуса, да и то надеясь на совпадение твоих вкусов со вкусами читателя. Но что можно сказать в полуаннотационных заметках про хорошие стихи кроме того, что они хорошие? Как показать их отличие от просто умелых, «грамотных стихов»? Это как раз ситуация с поэзией нынешнего «Улова» — плохих стихов здесь мало. Тут даже стихи **Виктора Куллэ**, на мой взгляд, несомненно талантливые, обладающие неожиданным сочетанием формальной изысканности питерской школы с вполне «московской» открытостью и силой лирического чувства, — стихи эти стоят аж на восемнадцатой позиции. Несправедливо, но это, повторю, — на мой взгляд. У «опередивших» в списке Куллэ авторов есть свои достоинства. Тут уже дело вкуса. Я, например, читая стихи **Светланы Кековой**, занявшей вторую лауреатскую строчку, всегда испытывал определенное стеснение, — отдавая должное культуре ее стиха, я никогда не мог притвориться к тому чувству, которым эти стихи рождены, — для меня слишком много здесь знаков культуры, уже отработанных интонационных ходов и слишком мало «дикого мяса». Но оспаривать высокую оценку, которую получила ее подборка на «Улове», я не собираюсь. Неожиданной для меня стала подборка **Бахыта Кенжеева**. Казалось бы, в далеко не новой уже для нашей поэзии стилистике написанные — сочетание горчащей (соцартовской) иронии с открытым лирическим чувством, — стихи Кенжеева завораживают и эмоциональным, и интеллектуальным напором, и — свежестью.

Новый для меня голос зазвучал в стихах **Кирилла Медведева**. Странная, «непоэтическая» логика, по которой из вполне бытовых, заурядных деталей выстраивается поэтический образ, наличие в стихе автора-повествователя (образа, отсылающего нас то ли к прозе Гришковца, то ли вообще — к Зошечко) — и в результате рождается поэзия. Я рискну процитировать отрывок одного стихотворения, отдавая себе отчет в том, что, возможно, дело это безнадежное, у Медведева важна протяженность говорения и интонация: «вчера вечером, / возвращаясь из гостей домой, / я заснул, проехал свою станцию проспект вернадского и доехал до конечной станции; / там / меня разбудила женщина в синей форме: / я вышел из вагона / и поехал обратно; / когда я приехал на свою станцию и вышел из вагона, / я подумал о том, / что было бы интересно узнать, как часто / этой женщине и таким, как она, / приходится / будить мертвых / на конечных станциях / и в пустых вагонах метро». Удивительно, как подчеркнуто элементарное, функциональное слово в абсолютно непоэтических, корявых, даже с «ненужными» повторами конструкциях, без какого-либо авторского усилия вдруг обнаруживает неожиданное для нас пространство — все эти «будить мертвых», «пустые вагоны», «женщина в синей форме» создают образ, уже не исчерпывающийся той вполне бытовой картинкой, которую рисует Медведев. Вот здесь, возвращаясь к предложенной выше оппозиции, я могу предположить, что в подобных поэтических практиках и вызревает завтрашняя эстетика нашей поэзии.

Разговор о стихах «Улова» можно продолжить, а можно и остановиться. Трудно будет объяснить, почему для разговора выбраны стихи, скажем, **Михаила Гронаса**, или **Марианны Гейде**, или **Ирины Машинской**, а не соседствующих с ними в конкурсном рейтинговом списке поэтов. Тут опять-таки дело вкусовое. Если у вас есть возможность, откройте весь список и перелистайте постранично. Вот адрес: <http://rating.rinet.ru/ulov/2002v/poetry.html>

2

Составляя этот обзор, я, естественно, заходил в Интернет, открывал для себя разные интересные страницы и ставил на них ссылки в свое «Избранное». Тремя из этих ссылок я и хочу здесь поделиться с читателем.

Первая — на сайт «Квартира X» (<http://kvartx.on.ufanet.ru/>), о которой следовало написать уже давно. Место для меня хорошо знакомое, обжитое, можно сказать. Поводом для очередного посещения «Квартиры X» стала лауреатская подборка стихов Кенжеева, выставленная на «Улов» именно этим сайтом.

Прежде всего это сайт авторский. Хозяин квартиры — уфимский литератор **Александр Касымов**, решивший вместо авторской страницы обустроить в Интернете просторное помещение, где можно принимать друзей и гостей.

Обустроена квартира просто и стильно — в дизайне использован план квартиры, вычерченный с помощью стандартных символов обычной клавиатуры, и, даже скачивая страницу сайта в формате *txt*, вы сохраняете практически всю графику сайта. Оформитель — **Игорь Мадьямов**. Квартира двухкомнатная: коридор, кухня, гостиная, кабинет, балкон.

Кенжеева с его стихами я обнаружил в **Гостиной** (<http://kvartx.on.ufanet.ru/gostinaya/index.htm>). Компанию ему составляли Татьяна Бек, Дмитрий Воденников, Иосиф Гальперин, Елена Забелина, Наиль Загидуллин, Аркадий Застырец, Виталий Кальпиди, Рустам Нуриев, Айдар Хусаинов, Андрей Юдин и другие.

Из гостиной можно выйти на **Балкон** (<http://kvartx.on.ufanet.ru/gostinaya/balkon/index.htm>), тут топчется молодежь: Максим Балобанов, Максим Вавилов, Алексей Касымов, Филипп Новгородов, Дарья Уральцева и некто, укрывшийся именем SAVA. Симпатичные ребята: «Вечереет. Уж над лесом / Желтый месяц кажет рожки; / Смотрит с легким интересом / На тропинки и дорожки...» (Дарья Уральцева); «Не дыши мне утром в ухо, / Лучше песню спой тихонько. / Не жужи настырной мухой — / У меня есть мухобойка» (Максим Балобанов).

Сам хозяин обитает, естественно, в **Кабинете** (<http://kvartx.on.ufanet.ru/kabinet/index.htm>). Большую часть времени, судя по всему, он проводит у **Окна**, рассматривает открывающийся ему сверху мир, результатом этого времяпрепровождения стали вывешенные здесь регулярные обозрения событий литературной и общественной жизни. Тут же, в доступном каждому посетителю сейфе, библиография сочинений Касымова.

Проходя по **Коридору**, можно заглянуть в **Зеркало** (<http://kvartx.on.ufanet.ru/zerkalo/index.htm>), почитать эссеистику и публицистику Александра Агеева, Роберта Давляева, Бахыта Кенжеева, Александра Кустарева и Юрия Юдина.

Можно еще зайти на **Кухню** (<http://kvartx.on.ufanet.ru/kuhnya/index.htm>), где предлагается «духовно-кулинарный пир», состоящий из старинных кулинарных рецептов, пародий, «очень правильных советов», рифмованных афоризмов и т. д.

Иными словами, квартира гостеприимная, компания там хорошая — заходите.

Вторая ссылка — на новую страницу сайта «Вавилон». На «Вавилон» я зашел посмотреть страницу **Кирилла Медведева** (<http://www.vavilon.ru/texts/medvedev0.html>) и в перечне обновлений сайта обнаружил страницу умершего в 1986 году замечательного прозаика **Павла Улитина**, которого большинство из нас открывает только сейчас, после выхода его книги «Разговор о рыбе» (книга вышла в этом году в издательстве О.Г.И., более подробно ее и автора представляющие см.: «Библиографические листки. Книги» — «Новый мир», 2002, № 7). На странице Улитина (<http://www.vavilon.ru/texts/ulitin0.html>) фото писателя, краткая биографическая справка, текст книги «Разговор о рыбе», а также — «Ворота Кавказа» и «Милость победителя». Здесь же эссе о прозе Улитина, написанное **Станиславом Львовским** для «Литературного дневника» «Вавилона» (<http://www.vavilon.ru/diary/020415.html>):

«Первый опубликованный текст Улитина в журнале „Московский наблюдатель“, случайно купленном, произвел на меня (и, подозреваю, не только на меня) впечатление, сравнимое чуть ли не с открытием процесса чтения вообще. <...>

Ощущение, что держишь в руках не книгу, не текст, а живое существо — вроде кошки или собаки, только сложнее и гораздо лучше. И понятно, в общем, откуда это ощущение берется. Из открытости письма Улитина. При том, что, конечно, это „Кроссворд. Проза-ребус. Шифровка“. Непонятно, как держится конструкция. Чем эти маленькие мемуары, выписки и иноязычные вставки соединены. Не видно ниток и крепежа, только знаешь, что он есть, раз gadget не рассыпается на винтики и мелкие детали. И чувствуешь из зазоров сквознячок, тянет ветерком из другого места, которое Улитин только обозначает словами, провешивает, как в „Пикнике на обочине“ провешивали комариную плешь забинтованными гайками. Открытость — это когда ты понимаешь, что кроме места здесь есть еще какое-то там. Его не описать, туда не попасть, но все, дверь больше не заложена кирпичом, окно открыто, есть небо, а в небе птица».

В свою очередь указанный на странице Улитина в «Вавилоне» его текст «Милость победителя. (Рядом с Наводнением На Неглинной)» привел меня на сайт

альманаха «Майские чтения» (<http://may-almanac.chat.ru/>) — адрес этого сайта и будет третьей рекомендованной мною в этом обзоре ссылкой. Сайт небольшой — на титульной странице значатся всего два выставленных альманаха. Главный редактор — Вячеслав Смирнов, редакционная коллегия — Сергей Лейбград, Павел Руднев и Вадим Леванов. Открылся сайт в 1999 году, в настоящее время не обновляется, но поддерживается, и это замечательно, потому что ресурс его, на мой взгляд, может оказаться кому-то очень полезным.

Первый выпуск альманаха «Майские чтения» посвящен современной драматургии. В предисловии «Прорыв» Павла Руднева (<http://may-almanac.chat.ru/num1/rudnev.htm>) утверждается, что нынешний кризис нашего театра может быть преодолен только благодаря эстетике новой драматургии. В качестве таковой предлагаются тексты пьес Елены Греминой «Глаза дня», Ольги Михайловой «Чистое сердце», Михаила Угарова «Зеленые щеки апреля», Вадима Леванова «Ах, Йозеф Мадершпрегер — изобретатель швейной машинки», Ксении Драгунской «Все мальчишки — дураки» и Максима Курочкина «Истребитель класса „Медея”».

Содержание второго выпуска представляет его составитель **Сергей Лейбград**: «В ноябре 1995 года в Самаре вышел в свет первый номер вестника современного искусства „Цирк 'Олимп'”. Вскоре для всей пристрастно читающей публики стало очевидно, что в России (не в Москве и не в Петербурге) появилось первое серьезное издание, посвященное актуальной поставангардной литературе, а также аналитической живописи и музыке, авторскому кино, теории и психологии художественной культуры. То обстоятельство, что весьма убедительная версия противоречивого искусства конца XX века исходила из провинциальной Самары, стало симптомом (до конца так, к сожалению, и не подтвердившимся) завершения „имперской эпохи русской культуры”». «Настоящее издание избранного „Цирка 'Олимп'”, я надеюсь, будет и своеобразным издательским памятником независимому русскому искусству, и одновременно остросюжетной историей живой, отчаянной, блестящей, ёрнической и грешной нашей постмодернистской словесности последнего десятилетия второго тысячелетия. В предлагаемом вам „изборнике” собраны как опубликованные на страницах вестника в течение трех лет его существования, так и предоставленные специально для этого альманаха оригинальные тексты» (<http://may-almanac.chat.ru/num2/00vstupl.htm>). Во втором выпуске «Майских чтений» присутствуют: Геннадий Айги, Виктор Кривулин, Александр Левин, Тимур Кибиров, Дм. А. Пригов, Михаил Сухотин, Сергей Лейбград, Нина Искренко, Станислав Красовицкий, Андрей Сергеев, Ежи Чех, Владимир Строчков, Павел Улитин, Владимир Тучков, Нина Садур, Юлия Кисина, Руслан Надреев и другие (<http://may-almanac.chat.ru/num2/index.htm>).

К сказанному надо добавить, что «Цирк „Олимп”» в настоящее время уже не выходит; а Сергей Лейбград заведует отделом современного искусства и литературной критики в ежеквартальном самарском журнале «Performance».



ИЗ РЕДАКЦИОННОЙ ПОЧТЫ

ПЕРЕЧИТЫВАЯ «ХАДЖИ-МУРАТА»: ЧЕЧНЯ, ГОРЦЫ, ПОГРАНИЧЬЕ

В последнее время с регулярностью примерно раз в год достаю толстовского «Хаджи-Мурата» и погружаюсь в него, находя все новые и новые прелести в этом чтении...

Не мне, конечно, первому кажется эта кавказская повесть одной из лучших вещей великого старца: по предельной простоте, ясности, прозрачной «горской» чистоте всего изображенного. Предполагаю, что Льву Николаевичу очень близки были по духу такие вот, как Хаджи-Мурат, типы людей, у которых и честь, и жизнь, и достоинство, и порывы, и глубинные душевные тайны — все было четко и прямо, можно даже сказать, первобытно прямо (безо всякого уничижительного смысла этого понятия). Именно так, так и желательно жить человеку, не издерганному в современных цивилизационных переделках мелких мотивов и ничтожных желаний.

Менялось со временем и у меня отношение к этой простой и мудрой горской истории: сначала был чисто юношеский интерес к самой фэбуле; потом пришло восхищение блеском слитой только из самых нужных слов прозы, и наконец, после долгих лет работы в разных горах и с разными горцами, после осознания того, насколько это необычные, дикие и условия, и люди, теперь вот приходит понимание истинной глубины великого писателя (той глубины, что достигнута минимумом средств, и это, конечно, по силам только гению), той сути, пойми которую хоть чуть наши начальствующие головотяпы... ну сколько же жизней было бы сбережено в той же Чечне, а до того — в Афганистане...

Итак, достаю томик старенького, пожелтевшего издания (приложение к «Огоньку» 1948 года). На многих страницах наблюдаю свои пометки школьных еще времен, когда нас учителя дрессировали на так называемых «образах» — образ Николая I, образ Элдара, ну и т. д. Смотрю на собственные пометки на полях — «Х-М», «мюриды», «солдаты», и подчеркнут текст, где речь идет об облике, одежде, характере героев, ну, в общем, все то, что требовали в те поры учителя. Увидел, что пометки-то мои заканчиваются где-то в первой трети повести, — поднахватался на первых страницах и слепил «образы». Ну что ж, «учились понемногу»...

Представьте-ка себе, что волею судеб именно в нашем классе оказался прямой потомок знаменитого мятежного имама Чечни и Дагестана! Да, да! И фамилию носил ту самую, и внешне был — джигит-горец, плечистый и статный, узкий в талии, нос с горбинкой, сухопарый, ну просто пиши с него картинку к любой из кавказских повестей наших знаменитостей!.. Я не был в близких приятелях, но несколько раз приходилось бывать у них дома — отец, как помню, преуспевающий крупный инженер, достаток в семье полный, отдельная большая квартира (что в те годы уже редкость чрезвычайная), все уютно, порядок. Но вот беда: годы-то сороковые, идеология лепилась жуткими мерами и хлестала по людям не пойми с какого бока! Вот и для этих потомков былого кавказского героя случались перемены неожиданные. Помню, когда мы еще учились в младших классах, тот самый мятежный имам из XIX века (мы, конечно, по молодости тогда имели о нем весьма смутное представление) фигурировал как герой национально-освободительного движения горских народов против свирепого царизма и его тупых сатрапов. Наш знатный одноклассник в ту пору на детских утренниках являлся в белой черкеске с черными газырями, с детским, но вполне всамделишным кинжальчиком в серебряном узоре у пояса; в доме же у них висел во всю стену портрет знаменитого предка, ну в точности как описано у Толстого, — рыжебородый, гордо-суровый, в коричневой, крытой сукном шубе. Словом, национальная героика в лучшем виде... Но вот советские идеологические установки вдруг резко шарахнулись совсем в

другую сторону (и по каким таким мотивам? будто смогли что-то новое унюхать и нарыть в архивах пронырливые служки коммунистических вождей!). Имам и духовный вождь горцев обратился в жалкого наймита британских империалистов, хищно и подло нацеленных на проникновение в зону национальных интересов любимого Отечества. Что же могли противопоставить новой госдоктрине потомки бесстрашных воинов — с прадедовской шашкой в атаку на райком?.. Конечно, сникли, сняли парадные портреты, упрятали фамильные кинжалы... стали рядовыми советскими гражданами. Мы, мальчишки того времени, многого не понимали, разумеется, наши привязанности и антипатии были случайными и неглубокими — забылось, растворилось многое, и после школы я полностью потерял следы Шефки, как мы его звали, наследника фамилии, которая до сей поры будоражит пол-Кавказа... Это отступление дает хоть какое-то представление о том, сколько же позорно-злобного с давних пор исходило от наших правителей, так что гнилые ростки старого все еще отравляют нашу жизнь...

Так вот, собственно, о самом «Хаджи-Мурате» и в первую очередь, конечно, о том, что же он нам навевает ныне. Первей всего хотелось бы обратить внимание на поразительную достоверность изображенного: буквально во всем, что касается исторических личностей и событий, можно довериться автору полностью. Совсем недавно установили, что даже отметины на черепе главного героя (череп, к позору нашему, добавленному к безобразию мавзолейному, почему-то хранился в музее!), эти шрамы и рубцы, абсолютно идентичны тексту. Но кроме исторической правды есть еще и правда человеческая, она всегда личностная, но она важна не меньше, ибо в конечном итоге все события в истории происходят по воле, интересам, устремлениям, желаниям, мучениям отдельных людей, и что же, как не чаяния людей, должны быть объектом внимания всех нас. И от этой правды Толстой не отступал никогда!

Читая Толстого, очень легко заметить, что в той самой многолетней кавказской войне он не принимает ни ту, ни другую сторону, но... одновременно он и на той, и на другой стороне — на стороне простых участников конфликта, волею судеб подвергшихся этому тяжкому испытанию. Известно, что Толстой всегда был в стане страдающих, подвергающихся насилию и против тех, чьи действия это насилие инициировали. Разумеется, он против и Николая, и Шамиля, главарей, с его точки зрения, той заварухи, и оба они в равной степени вызывают у него антипатию. Мотивы, чувства этих верховных вдохновителей кровавых событий — в стороне от простых, нормальных, таких естественных чувств, что свойственны, с одной стороны, и Хаджи-Мурату, и рядовому Авдееву, и даже Лорис-Меликову (живо интересующемуся историей этого знаменитого горца). Толстой однозначно определяет, что человеческая (глубинная) правда, конечно же, не за теми, кто войной руководит...

Для всякого, кто внимательно читал повесть, должно быть очевидно, что личные симпатии писателя явно отданы Хаджи-Мурату. Тут, собственно, и не нужны доказательства, поскольку невозможно найти ни фразы, ни слова, что могли бы быть истолкованы не в пользу этого героя, прирожденного бойца, с детской улыбкой и стальным сердцем. А предложенное в начале повести сравнение с репьем-татарником — это лишь яркая, но, как кажется, не главная характеристика горца, действительно так отчаянно сражавшегося и дорого отдавшего свою жизнь. Ведь это только одна сторона образа героя повести! А вообще-то он достаточно неоднозначен, этот местный князек, с биографией весьма извилистой. Давайте-ка вспомним историю. В юности, как верноподданный царского наместника, он не принимает газавата. Затем, после общения с русскими, с одной стороны, и по совету им же смертельно раненного мюрида — с другой, он решает все же встать на сторону имама Гамзата. Но совершенное этим Гамзатом в сообществе с Шамилем подлое предательство и убийство близких заставляет, по всем горским представлениям, мстить им. От генерала Розена получен офицерский чин и назначение главой Аварии. Затем — наветы горских князей, арест, бегство и вынужденный переход к Шамилю, после чего следует масса смелых и успешных дел против русских войск. Но старая вражда и кровь между ним и имамом привели к тому, что Хаджи-Мурат опять переходит к русским, надеясь при их поддержке выручить затем и семью. Надежды не сбываются, и вот — побег в горы и гибель... Вообще-то человек

с такой судьбой и многократными перебежками из стана в стан, казалось бы, и не заслужил доброго слова в свой адрес! Но ведь надо понимать, в какой среде все это происходило, что это за обстановка межплеменных клановых взаимоотношений в диких горах, при глухой изоляции, жестких обычаях, нормах жизни, закрепленных шариадом... Если вы видели знаменитые боевые башни в горах Кавказа (не важно, где именно, — православные Сванетия и Хевсуретия тут мало отличимы от исламских Чечни и Дагестана), то вы должны проникнуться пониманием, что в них выражены сама суть и смысл горского существования. Да, это древность, разумеется, история, некий символ, ныне лишенный непосредственного жизненного смысла, все так! Но в этих-то башнях под их влиянием жило, воспитывалось, из корня в корень перекачивалось стойкое, трудноистребимое представление о смысле, значении, общем устройстве жизни именно здесь, в горах. Эти сооружения — родовые, персональные крепости, и даже там, где, казалось бы, практика подсказывала объединиться и создать коллективные укрепления, все равно стоят во множестве эти башни, друг против друга, лоб в лоб, род на род, семья на семью! И вы, родившиеся на равнинных пространствах и жившие испокон веков какими-то коллективами, никогда не поймете этой стихии! (Башни, построенные доморощенными архитекторами, надо сказать, вызывают восхищение стилем, пропорциями, полной гармонией с ландшафтом, наконец, просто сейсмостойкостью.)

Так, спрашивается, что же при бесконечных внутренних распрях, при том, что недруг, кровник — вот он, близко, рядом; что при всем этом означает переход от одного большого покровителя к другому? Да ничего... во всяком случае, по горским нормам того времени. Внутри того разобщенного мирка так все зыбко, неустойчиво, так сильно завязано на личность, так мало единых установлений, что именно ты, джигит и мужчина, в конце концов сам себе и законник, и опора, и защитник близких...

Хаджи-Мурат изображен Толстым как человек чести и мужества, причем именно в обстоятельствах среды, весьма специфичной и не очень понятной для человека другой культуры, другого стиля мышления. Истинное величие Толстого как писателя в том и состоит, что, будучи достаточно далек от той горской стихии, он не только понял ее, проникся ею, но и показал, как важно не перебарывать, не ломать эти нормы, традиции, заветы. Ну что же тогда делать? Не дает он рецептов — и не должен давать. Его правда — целиком художественная; правда в том, например, состоит, что Хаджи-Мурат, дружески принятый русскими и, очевидно, в целом расположенный к русскому начальству, твердо решив бежать, без тени колебания жестоко расправляется с рядовым и неповинным казацким конвоем (их бьют, рубят с азартом). Правда и в том, что патриархальные русские крестьяне, одетые в солдатские шинели и брошенные против горцев, колют штыками жителей немирного аула, жгут и пакостят. Это — правда ненависти, войны, всегда страшная и всегда несущая обоюдную жестокость...

В наши дни становится все понятней, что та самая многолетняя кавказская война XIX века, лишь часть которой видел, понял и изобразил Л. Н. Толстой, не была событием исключительным, а всего лишь отражала какие-то общие процессы, быть может, весьма важные для мира и цивилизации в целом. Получается, что Чечня, Дагестан, весь Северный Кавказ совсем не уникальны в своей вековой борьбе, волнениях, смутах и в своем единении с исламскими движениями.

Курды, чеченцы, пуштуны, албанцы — как много общего в судьбах, традициях, истории этих и многих других народов! Что тут общее? Конечно же, прежде всего горы! Это и есть главное; они предопределяют существование этих народов. А что такое горы? Это стык, пограничье разных государств, народов, культур. Жизнь на стыке сообществ, да еще там, где для развития собственной цивилизации условия мало подходящие, где природа враждебна предельно, где даже внутри одной народности чисто природная изоляция ставит барьеры тяжелейшие: говор такой, что одна долина не понимает рядом расположенную другую; кланы, тейпы, роды, племена со своими собственными порядками и т. д. Лишенные государственности, постоянно терзаемые свирепой междоусобной сварой, эти люди выжили только в силу того, что запрягивались в недоступные ущелья, жили в условиях,

другие пришлые народы ничем не соблазнявших... И еще: они сами себе определили некоторые правила, принципы, выходявшие за пределы норм, принятых у соседей. Так они и продолжали жить в горах! И это при том, что чрезвычайно много выходцев с гор сумели очень удачно вписаться в совсем другой, непохожий мир, демонстрируя и деловые качества, и умение жить по чужим правилам...

Достаточно далеко от Чечни есть еще одна весьма горячая точка. Как непосредственный участник и свидетель вспоминаю то далекое время... В 1973 году группа наша занималась изучением территории в пограничье между Афганистаном и Пакистаном. Собственно, это была вроде бы афганская провинция, но на всех картах поближе к Пакистану был обрыв без обозначения границы, без названия государства. Просто вот обозначены горы, ущелья, дороги, прорисованы горизонталь, а потом — все кончается, пустота... незнамо что... Естественно, наш молодой интерес шибко всем этим подогревался, мы чувствовали себя прямо-таки европейскими первопроходцами. Едем себе на двух «уазиках»-«козлах» (агрегатах беспредельной стойкости и в любых руках сохраняющих какой-то шанс к перемещению; ну, положим, на соплях, веревочках, привязанных к карбюратору, проволочках, накрученных на свечи... но едем, одним словом). Дорога, которая обрывается вместе с картой, кажется, должна продолжаться и дальше... а потому мы движемся, хотя и не очень представляем, где мы и что нас ожидает. Вот возникает кишлячок, весь в лесах, что так необычно в этой стране, но здесь, в Сулеймановых горах, это не диковинка. Прохлада, тень, бегут чистейшие ручейки, пахнет хвоей и свежестью (вместо устойчивого аромата азиатской пыли, навоза и дыма кизячных очагов, таких привычных в северной части страны). Из-за поворота, в голубовато-хвойном обрамлении елочек (ну точно такие стоят рядом с Мавзолеем!) вдруг являются какие-то допотопные и жалкие лачужки. Выбравшая публика очумело взирает на нас, наши чудо-машины, понять не может, кто мы такие, предлагая изъясняться на пяти популярных здешних языках (включая, помимо урду, фарси, пушту, хинди, разумеется, и английский, правда, с акцентом, требующим дополнительного перевода). Ушлый народец, помимо изъяснения по-всячески, готов еще и к обмену всех валют мира на все, что угодно. Мы, естественно, были ошарашены приемом (с этой стороны, как выяснилось, европейцы в полосу независимых племен, или попросту Пуштунистан, никогда ранее и не проникали!). Ну да ладно, дело было под вечер, и мы были обеспокоены в основном тем, где же здесь получше переночевать. Нам было заявлено, что лучшего места, чем вот эта утопанная вековечным базаром площадь посреди поселка, — не найти. На этой самой площади, вероятно, со времен шаха Абдурахмана никто не ведал, что значит убирать мусор, а оправляться привыкли просто в том самом месте, где душа возжелала. Ну уж нет — одурманенный окружающей лесной прелестью (столь непривычной в этой стране), когда вот рядышком и голубые ели, гималайские кедры, остролистые дубы, я, воспитанный сибирской полевой практикой, заявил совершенно четко (как мне показалось при собственном переводе на дари), что нам нужен лишь хороший источник (вода) и ничего более. Где есть источник, кто-то нам вызвался тут же показать. Но едва мы остановились действительно в замечательном местечке, как примчалась компания, которая бросилась бурно что-то объяснять нашим коллегам-афганцам. После сложнейших словопрений от урду-пушту к фарси-дари до меня, чужеземного неуча, наконец дошло-таки, почему здесь, у этого замечательного источника, под пушистой южной сосной становиться лагерем на ночь никак не стоит. Здесь ведь нет государства, законов, ну ничего нет, никто понятия не имеет, чья это территория. Вот здесь, в стороне от поселка, вас укукошит любой набравший абрек, или там бей, или пуштунский хан, черный Абдулла, одним словом, и никто ни за что не в ответе! А внутри поселка, оказывается, совсем другая ситуация. Тут долг и честь жителей (именно так!) охранять нас как гостей. Ну, тут уж мои попутчики дружно возопили, и деться было некуда. Поставив палатки посреди заплеванной базарной площади, мы и заночевали... окруженные, между прочим, сплошным кольцом воинов-добровольцев, которые спали прямо в древней пыли, укрывшись хилыми накидками, а то и просто полой рубахи и подложив под головы почти антикварные карабины времен, быть может, самой первой из трех знаменитых войн с англичанами!.. Но главное-то, что они честно и от души

выполнили свой долг — защитили гостей (с которыми и объясниться-то толком не могли!). Так нас встречали в одной из самых беспокойных и коварных областей планеты, где и сейчас далеко до полной благодати...

И вот в такие стихии вторгается мир совсем иной. Он чужд горской жизни по многим обстоятельствам. Это мир с четко и давно отстроенной государственностью, регулярной армией, порядками, по которым мужчина — не вольный орел, влекомый в полет лишь традициями предков и горячей кровью, а прежде всего гражданин, слуга Отечеству или, попросту говоря, несущий какие-то обязательства не только перед семьей, родом, кланом, но и существенно шире...

Афгано-пакистанская граница — место совершенно особое. Это полоса независимых племен (иногда называют ее Вазиристаном), зона, где была ранее (в 1893 году) прочерчена знаменитая «линия Дюранда». В советском понимании это была коварная британская акция для увековечения раздоров в этом месте и поддержания напряженности. Ведь линия проходила как раз через места обитания пуштунских племен во времена, когда Россия и Британия пытались как-то определить именно здесь сферы влияния. Так и возникла неопределенная «зона». Мы вольны, конечно, укорять английского дипломата Г. М. Дюранда в каких угодно происках, но думаю, что основная идея этой линии — не вторгаться в дела, разрешить которые такие мудрые и великие государства все же не в состоянии! И впрямь те, кто в свое время оседлал Сулеймановы горы, — это особые люди; на протяжении тысячелетий пять — семь миллионов из них привыкли, например, дважды в год кочевать из Пакистана в Афганистан и обратно, совершенно не подозревая, что при этом пересекается какая-то граница. Невооруженного мужчину там в принципе представить себе невозможно, а если и найдется такой, то цена ему — грош. Дюранд, выпестованный английской колониальной службой, видимо, неплохо разобрался в таких вот непростых пограничных делах. Ведь предложенный вариант урегулирования не задевал за живое местные нравы, традиции, привычки. Да, там, в Сулеймановых горах, как бы консервировалось азиатское средневековье (всякий, кто бывал там, это подтвердит). Но так или иначе, подпираемая с обоих склонов пусть не грандиозными культурами, но все же чем-то большим, чем племенные скотоводческие традиции, она, эта затхлая, хотя по-своему и экзотичная дикость, тихо-мирно вымирала и в конечном итоге вымерла бы. Загнулась бы, просто убедившись в бесперспективности своей упорной воинственности, поняв невозможность противостоять общим схемам современной (пусть и не слишком совершенной) жизни, которая постоянно и неуклонно проникает из пространств как севернее, так и южнее их родных гор. Все шло, конечно, в весьма замедленном темпе, но все же шло, как и положено идти на Востоке... и, кстати, пусть американцы не тешат себя иллюзиями по поводу того, как быстро они и технологично все разрешили. Наши ведь тоже хоть и действовали дураковато, но технически-то все же превосходили многократно! А результат? Всем самым сильным пора бы понять, что простой интервенцией в этих делах пограничья ничего не решается...

А теперь снова о Чечне. Когда-то, в XIX веке, пятьдесят лет кровавой войны людей неглупых в чем-то, выходит, надоумили, если, взяв главного вожака-имам, эти самые имперские мракобесы почему-то его не уничтожили, а предоставили какую-то возможность вмонтироваться в новый для него мир, так что мы и далеких преуспевающих его потомков застали. Но имам имамом (да и «шамили», как мы узнали, разные бывают), а традиции так прямо не ликвидируются. И просто невозможно взять и одним махом повернуть вспять все то, что столетиями течет... по сильно изрезанному рельефу меж весьма возвышенных хребтов. Горы продолжают рождать свое, что бы нам ни толковали сейчас, например, весьма просвещенные представители чеченского народа (а таковых в самом деле очень немало, умных, образованных, толковых во всех отношениях людей). Но дело-то в том, что они — здесь, а воюют — там, и совсем другие люди, от которых эти самые просвещенные отъехали, образовав вполне благополучную диаспору...

Вот и возникает вопрос: а не нужна ли и нам своя линия Дюранда? Она ведь, собственно, и существовала раньше... в виде той знаменитой пограничной, укрепленной линии по Северному Кавказу, где и названия постов-станций сами говорят за себя: Упорная, Исправная, Преградная, Грозная, наконец. И совсем не в пустых

головах явилась недавняя идея (нашими большезвездными фельдфебелями отмеченная) создания некоей пограничной полосы типа буферной зоны (северная, или «мирная», Чечня). Что же тут было плохого, нелогичного?.. кроме того, что это, разумеется, не отвечало чьим-то интересам, упертым в продолжение войны!

Ну что ж поделаться, горы, плюс исламский фактор, плюс изломанная история так и будут, вероятно, рождать бунтарей и воинов. Чечня в силу ряда обстоятельств (в которых и местные нравы сыграли немалую роль — достаточно полюбоваться на боевые пляски опоясанных кинжалами старцев под воинственное уханье окружающих) оказалась особо болевым узлом. А тупые и свирепые правители с севера немало потрудились, чтоб такая устрашающая самодеятельность продолжалась.

Но нет, по-видимому, иного пути, как медленно, постепенно давать возможность горцам (или, сказать шире, — людям, оказавшимся на пограничье культур) подпитываться, что ли, равнинной цивилизацией (нисколько при этом не умаляя горскую культуру и их право выбрать, что приемлемо, а что — нет). Только при свободном выборе они смогут понять и оценить, что изоляция, замыкание внутри своей локальной среды обитания, да еще при внедрении архаичных идеологий, — есть вырождение и в конечном итоге погибель.

И теперь, даже если армия, тяжело вооруженная государством-неучем, переломит ситуацию в свою пользу, где гарантии, что в ближайшем будущем там, у Больших Хребтов, не возродятся новые Хаджи-Мураты, такие, что сравниваются в начале повести с колючим рельефом у дороги? «Точно вырвали у него кусок тела, вывернули внутренности, оторвали руку, выкололи глаз, но он все стоит и не сдается человеку, уничтожившему всех его братьев кругом его...»

Вот такие соображения вызывает прочтение повести Толстого в наши дни...

Г. ДРУЖИН.

ПОСЛЕДНИЙ ЧЕЛОВЕК...

21 — 23 января с. г. в Воронеже прошла Всероссийская научно-практическая конференция по вопросам детской одаренности. У меня, участницы и слушательницы этого форума, невольно сложилось впечатление, что наши психологи и педагоги как бы не замечают тех перемен, которые произошли в стране за последние десять лет, не замечают тех тенденций в социокультурной сфере, которые в корне меняют наши старые представления об общественной значимости таланта и ставят под сомнение возможность развития природной одаренности.

Решаюсь поделиться с читателями «Нового мира» рядом соображений на сей счет, которые легли в основу моего выступления.

Казалось бы, сегодня российское общество объективно заинтересовано в создании условий для раскрытия и развития детской одаренности, поскольку интеллектуальный потенциал нации есть условие ее исторического выживания.

Однако ни для кого не секрет, что уже достаточно долгое время последовательно уничтожается тот культурный пласт, который необходим для раскрытия природных дарований. Традиции высокой русской культуры буквально выкорчевываются, а насаждаемый взамен масскульт американского производства (или отечественные поделки, состряпанные по худшим западным образцам) пропагандирует новые нормы. Суть этой «новизны» — спекуляция на понижение во всех сферах человеческой жизни: духовно-нравственной, интеллектуальной, гражданской.

Лидирующую роль здесь, понятно, играют электронные СМИ. Наступление ведется по трем основным направлениям.

1. Идеи сексуальной революции широко пропагандируются с телеэкрана и со страниц прессы, увлекая «прогрессивных» деятелей от педагогики, которые стремятся ввести сексологию в школьные программы. Консервативная общественность протестует, но похоже, что наши «западники» не намерены сдавать позиций.

Какая связь между этической проблемой сексуального поведения и уровнем интеллектуального развития подрастающего поколения? Самая прямая. Зигмунд Фрейд (который, как известно, не был апологетом христианской морали) утверж-

дал: «потеря стыда — признак дебилизма». «Сексуально озабоченные» подростки, ориентированные на культ секса, не способны проявить интерес к интеллектуальным занятиям — по Фрейдю, «сублимировать свое либидо». Попросту говоря, не тем голова занята.

2. Второе направление — это внедрение идей нью-эйджа. Черная мистика, оккультизм, эзотерика, которые обрушиваются на детей и подростков с экранов ТВ, размывают научно-позитивное знание о мире видимом (материальном). Нью-эйджевская режиссура, в отличие от традиционных жанров фантастики, стремится к эффекту достоверности, соединяя обыденную реальность с мистицизмом и псевдонаучными теориями. После такой промывки мозгов интерес к естествознанию, к физике одаренных в этой области детей легко перемещается в сторону нью-эйджевской «метафизики». Астрономия исчезла из школьной программы, зато астрология, широко рекламируемая СМИ, в обыденном сознании обретает статус «новой науки», которая возродила и «научно» интерпретировала «древнюю мудрость Востока». Эта «древняя мудрость» (оккультная эзотерика) проникла и в систему народного образования. Откройте учебное пособие к курсу «Валеология» для учащихся 5 — 7 классов¹. Информация к серьезному размышлению: чем занимался Государственный университет педагогического мастерства Санкт-Петербурга, создавший специальный факультет экологического и валеологического образования, где доцент Татарникова Л. Г. успела защитить докторскую диссертацию, выпустить монографию и без помех приступить к изданию школьных учебников по новому предмету, который официально переводится с латыни как «наука о здоровье»? Читаем текст учебного пособия: «Вот чему учит нас древняя Мудрость Востока. Наша планета, как и всякая другая, состоит из трех миров. Первый из них — это физическая часть планеты: наш земной шар. Он называется Миром Плотным, или физическим. Второй мир — это „тонкая часть” планеты: мир чувств, желаний, эмоций. Этот мир называется Миром Тонким, или астральным. И третий мир — это мир мысли: он называется Миром Огненным. Все три мира совмещаются концентрически один в другом, образуя сложное тело планеты. Такое строение напоминает русскую матрешку... Все три сферы планеты, все три Мира ее — населены. Живущие в одном мире не видят других Миров и не ощущают их. Но они переходят из одного Мира в другой — умирая в одном, они нарождаются в другом. В каждом из этих миров человек имеет свое тело. Во время сна тонкое тело отделяется от физического и уходит в Тонкий Мир. То же самое происходит и в момент смерти человека». Этот эзотерический пассаж завершается вопросом к ученику: «А ты что думаешь по этому поводу?» Не знаю, что тут должен думать ученик, но я лично думаю, что если просвещение и дальше так пойдет, то Российская земля определенно не сможет рождать «быстрых разумом Невтонов». Место Ньютонов займут теософы и антропософы с учеными степенями.

3. Третье направление в деятельности наших ультралиберальных СМИ — переоценка ценностей, предполагающая внедрение новых моделей поведения уже не только в «вопросах пола», но и в более широком смысле.

Первоначальный шаг — уничтожение начиная с раннего детского возраста традиционной для нас символики добра и зла, с тем чтобы нравственные понятия, стоящие за символами, постепенно утрачивали однозначность, становились относительными.

Так, дракон в христианской культуре — символ абсолютного зла. «И низвержен был великий дракон, древний змий, называемый диаволом и сатаной, обольщающий всю вселенную, низвержен на землю, и ангелы его низвержены с ним» (Откр. 12: 9). В средневековой литературной традиции христианского Востока и Запада символ духовного зла воплощается в образе злобного чудовища — огнедышащего дракона (сказание о Георгии Победоносце, «Чудо святого Георгия о змие»; чудовищный дракон Грендель в древнеанглийском сказании о Беовульфе; в русских сказках — Змей Горыныч). Но вот появляется «милый дракоша». Он, ко-

¹ Татарникова Л. Г., Поздеева М. В. Валеология подростка. Пособие к курсу «Валеология» для учащихся 5 — 7 классов. СПб., 1997, стр. 87 — 88.

нечно, изрыгает, как водится, пламя, но подружиться с ним можно, и в нужный момент дракоша поддержит друга своим огненным дыханием.

Вампиры и безобразные привидения — персонажи сатанинского мира. Но в «постхристианском» обществе кардинально меняются духовные и эстетические представления: inferнальный мир условен, не так уж страшен и не являет собой абсолютное зло. Не все вампиры — исчадия ада, в чем убеждает маленького зрителя мультсериал о приключениях вампиреньша, а подросткам американские режиссеры предлагают «Баффи» — лирическую повесть о том, что и вампирам «ничто человеческое не чуждо»; влюбленный вампир готов вступить в борьбу со своими сородичами за любимую девушку и за неотъемлемые права человека: питаться гамбургерами и пить кока-колу, а не человеческую кровь.

Что касается привидений, то и они поддаются перевоспитанию, главное — найти в древних манускриптах необходимые педагогические технологии. В сущности, нет бездны, отделяющей нечистых духов от «полезных» человеку, надо лишь знать, как нечистых подчинить себе и направить их деятельность в нужное русло.

Допускаю возражение: «Ведь это сказки, разве в классических сказках не присутствуют персонажи, заимствованные из времен древнего язычества? Здесь и гномы, и феи, и колдуны, и Баба Яга, и Кощей Бессмертный». Да, присутствуют, но обычно сказочный сюжет развивается по строго заданным нравственным координатам; мифические персонажи — это образы либо зла, либо добра. Кощей Бессмертный не может стать великодушным, Баба Яга — красавицей, феи бывают либо добрыми, либо злыми, «перевоспитать» последних невозможно, ибо природа духовного Зла неизменна.

«Сказка — ложь, да в ней намек, добрым молодцам урок». В традиции классической литературы сказка преподавала ребенку первый урок «испытания духов» — от Бога ли они». Зло безобразно и пагубно, заигрывать с эмиссарами Зла смертельно опасно для человека.

Какой же намек содержится в сегодняшних телесказках и какой урок извлекает для себя наши добры молодцы? Намек весьма прозрачен: бабушкины сказки — анахронизм, поскольку они отражают «догматические» понятия о добре и зле. Урок же для добрых молодцев один: любой союзник пригоден для достижения желанной цели. Продукция американской масскультуры, заполнившая телеэкран, отражает и утверждает ценности общества, которое социологи последовательно именовали «обществом потребления», «обществом вседозволенности» (неудачный русский перевод с английского «permissive society»), и, наконец, найдено, на мой взгляд, всеобъемлющее и точное определение западной цивилизации новейшего времени — «постхристианский мир».

Разумеется, в масскультуре этого мира должны быть не только переосмыслены символы и образы, восходящие к христианскому мировоззрению, но и — это второй шаг — отражены новые представления о целевых установках и желательном поведении человека «новой формации».

Поскольку человек этот несерьезен (ему внушили, что «надо жить играючи»), природа его души раскрывается в играх. В последнее время практически все каналы ТВ охвачены эпидемией игровых телешоу, «ноу-хау» приобретено у западных телекомпаний.

Еженедельно прайм-тайм занимают телешоу «Алчность», «Кто хочет стать миллионером», «Слабое звено». Под видом состязания эрудитов зрителю исподволь внушается соблазнительная мысль: «деньги решают все» и надо стремиться к быстрым и легким деньгам — «здесь и сейчас».

Степень аморальности режиссуры этих игр различна. От вполне приличного поведения игрока и ведущего в телешоу «Кто хочет стать миллионером» — до откровенного душевного стриптиза в «Слабом звене». Эта телеигра не только демонстрирует «новые модели поведения», но и утверждает их как норму. Партнеры придерживают «умника»-эрудита, способного ответить на большинство предлагаемых вопросов, в течение первых раундов, чтобы увеличить сумму выигрыша, — а в предпоследнем, когда остаются трое, выбрасывают более сильного соперника. Ведущая играет роль Мефистофеля в юбке, вопрошая игроков, почему они путем открытого голосования исключают того или иного партнера. Соответственно и ис-

ключенному из игры предоставлена возможность высказать свое мнение об остальных участниках («тупоумные, подлые» и т. п.). Зритель имеет возможность убедиться, что «сильным звеном» оказывается тот, кто сумеет быстро оценить ситуацию, выбрать выгодного партнера и избавиться от него в финале. Одним словом, выигрывает, если повезет в финале, тот, кто лишен шепетильности. По сути, эта «новинка» — трансформированная в подлую психодраму некогда популярная интеллектуальная телеигра «Что? Где? Когда?».

Реклама телешоу «Алчность» демонстрирует образец «нового мышления»: «Дай выход своей алчности» — ибо в современном мире алчность не грех и не порок, она — естественное желание человека максимально удовлетворить свои потребности. А чего стоит реплика ведущего, обращенная к игрокам: «Мы знаем, что за деньги можно купить и дружбу, и любовь», — реплика как бы шутивная, но это «как бы» — фиговый листок.

В самом грандиозном и дорогостоящем шоу «Последний герой» обошлись без фигового листка. Игра в туземцев на необитаемом острове, соревнования, интрижки и лирические отступления по предложенному сценарию отдают скукой дурного вкуса. Однако изюминкой в этом проекте был куш в три миллиона, ради которого шестнадцать отобранных участников готовы на все: есть гусениц, валяться в грязи, стоять под проливным дождем на жердочке (упоминаю лишь самые «яркие» затеи сценаристов), интриговать, заискивать перед «соплеменниками», людьми чужими и малосимпатичными, чтобы продержаться до финала — авось повезет. И комментарий Бодрова, наблюдавшего за островитянами, как натуралист, изучающий жизнь насекомых.

Знаковым стало название телешоу — «Последний герой». Невольно возникает ассоциация с «последним человеком», о котором говорит у Фридриха Ницше его пророк Заратустра.

«Приближается время самого презренного человека, который уже не может презирать самого себя. Смотрите! Я показываю вам последнего человека.

„Что такое любовь? Что такое творение? Устремление? Что такое звезда?“ — так вопрошает последний человек и моргает... „Счастье найдено нами“, — говорят последние люди и моргают...

Земля стала маленькой, и по ней прыгает последний человек, делающий все маленьким».

Это безумному философу, мечтавшему о юберменше, европейский обыватель начала прошлого века казался «последним человеком». Обыватель, который еще как-то держался за христианскую мораль, столь ненавистную ницшеанскому «сверхчеловеку». В постхристианском обществе с христианской моралью, похоже, распрощались, однако «сверхчеловек» не объявился. Нам демонстрируют «последнего героя» нашего времени, который как две капли воды похож на «последнего человека», они прямо-таки близнецы-братья.

Итак, новые ценности и новые модели поведения все глубже пускают корни в нашей жизни (ведь желающих стать «последним героем» оказалось пять тысяч).

Но тогда поневоле задаешься вопросом, а стоит ли государству пестовать одаренных детей (тех, чьи природные способности не сгнули в вихрях сексуальной революции или в «астральных мирах»)? В лучшем случае российские таланты будут служить зарубежной науке. В худшем — отечественному криминальному миру. Ведь не бедари разрабатывают новые наркотики в подпольных лабораториях наркобизнеса и не неучи становятся хакерами, которые уводят миллионы из зарубежных банков, тихо и мирно пребывая у себя дома.

Для самого существования российского общества существенно понять, что в новом миропорядке гений и злодейство оказываются совместимы, и сознательно предпочесть ему устои иного миропорядка, где гражданскими доблестями, по толковому словарю Вл. Даля, почитались «честь, любовь и правда». Тогда есть смысл обсуждать проблему воспитания одаренных детей.

Юлия УШАКОВА,
кандидат филологических наук,
преподаватель Воронежской духовной семинарии.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЕ ЛИСТКИ

КНИГИ



Николас Блинкоу. Наркосвященник. Роман. Перевод с английского Шамиля Валиева. М., «Иностранка», 2002, 319 стр., 5000 экз.

Авантюрное повествование современного американского писателя, действие которого происходит в Израиле и Палестинской автономии: в Раммале, Вифлееме, Иерусалиме, Тель-Авиве. Детективный сюжет завязан на сугубо бытовых взаимоотношениях арабов и израильтян — проблемы недвижимости, столкновения палестинского и израильского законодательства, мешанина языков и менталитетов, переплавляемая современным Израилем (среди героев есть и выходцы из России). Персонажи — семейный клан состоятельных палестинцев, их друг англичанин, скрывающийся от Интерпола как бывший наркоторговец, работники израильских спецслужб, монахи, бизнесмены, радиожурналисты, контрабандисты и т. д. Неожиданная точка обзора, выбранная автором для описания современного Израиля, наделяет этот — отчасти иронический, отчасти лирический и при этом вполне серьезный — роман достоинствами «страноведческой» литературы.

Елена Долгопят. Тонкие стекла. Повести и рассказы. Предисловие Олега Арансона. Екатеринбург. «У-Фактория», 2001, 368 стр., 3000 экз.

Проза молодой писательницы, написанная на материале «обыкновенного» течения жизни, всегда драматичного изнутри. Автор обращается к элементам детективной фабулы, используя остросюжетность как способ выявления остроты психологических коллизий.

Николай Климонтович. Далее — везде. М., «Вагриус», 2002, 416 стр., 5000 экз.

Автобиографическая книга писателя, дебютировавшего в начале 70-х вполне укладывавшейся в эстетические и идеологические рамки советской молодежной прозы книгой «Ранние берега», но впоследствии выбравшего запретные для тогдашней цензурной литературы темы и стилистики, соответственно — выпавшего из поля зрения широкого читателя и сумевшего вернуться к нему только в годы перестройки; одна из центральных фигур московского литературного андерграунда 70 — 80-х годов, отмеченная даже властями: Климонтович вместе с Евгением Поповым, Филиппом Бергманом, Евгением Харитоновым и другими участниками создававшегося в 1980-м независимого клуба «Беллетрист» и автор сам-, а через короткое время — и тамиздатского альманаха «Каталог» проходил по заведенному КГБ делу. Вот о тех годах — о персонажах и сюжетах, об атмосфере литературной андерграундной Москвы — новая проза известного писателя. Главы из этой книги печатались в журнале «Октябрь» (2000, № 11; 2002, № 2).

Хулио Кортасар. Я играю всерьез... Эссе. Рассказы. Интервью. Составление Э. Брагинской. Предисловие Б. Дубина. М., «Академический проект», 2002, 400 стр., 1500 экз.

Основу книги составили еще не известные нашему читателю (копирайт на переводы помечен 2002 годом) тексты Хулио Кортасара — эссеистика, отнесенная издателями серии «Концепции» в раздел «Культурология». Размышления о литературе и культуре, о писателях (Артюр Рембо, Луис Сернуда, Октавио Пас, Антонен Арто, Виктория Окампо и другие), о себе, о ремесле и о культуре писателя. В последний из разделов книги «О Хулио Кортасаре» вошли очерки Амаду, Борхеса, Гарсиа Маркеса, Бенедетти и других современников и коллег Кортасара. Завершает книгу хронология жизни писателя, составленная Борисом Дубиным.

Харуки Мураками. Хроники заводной птицы. Роман. Перевод с японского И. и С. Логачевых. М., Издательство «Независимая газета», 2002, 768 стр.

Один из главных романов Мураками, сочинение которого писатель считал «шагом к эталону Достоевского» (Достоевский — любимый писатель Мураками, а «Братьев Карамазовых» он считает «абсолютным романом»). Впервые на русском языке главы из «Хроники заводной птицы» публиковались в журнале «Новая Юность» (№ 46, 47).

Дмитрий Полищук. Гиппогриф и сборно/изборно все предыдущие, последующие и сопутствующие химеры. М., ИД «Грааль», 2002, 88 стр.

Третья книга стихов московского поэта (о предыдущей, «Страннику городскому. Семисложники» (1999), см. в «Книжной полке Ирины Роднянской» — «Новый мир»,

2000, № 4). «Ценно лишь то, что тленно... / то, что напрасно, — прекрасно, / то, что тревожно, — надежно; / Все, что невольно, так больно! / Но то, что беспечно, — вечно». Журнал намерен отрецензировать новую книгу Полищука.

Хорхе Семпрун. Нечаев вернулся. Роман. Перевод с французского Ирины Кузнецовой, Георгия Зингера. М., «Иностранка». «Б.С.Г.-Пресс», 2002, 415 стр., 5000 экз.

Роман французского писателя испанского происхождения — художественное исследование типа современного европейского интеллектуала — левого радикала, ушедшего в революцию (организации «ЭТА», «Прямое действие» и т. п.). В качестве одного из эпиграфов автор использовал цитату из «Бесов» Достоевского; для отечественного читателя отдаленным аналогом этого романа, написанного на материале политической жизни Франции 80-х годов, может служить «Нетерпение» Юрия Трифонова.

Дмитрий Сухарев. Холмы. Иерусалим, «Библиотека Иерусалимского журнала»; Издательство «Скопус», 2001, 156 стр.

Книга стихов и песен известного барда — избранные стихи 70 — 80-х годов и в разделе «Кто знает...» стихи последнего десятилетия. «Нежный и ироничный лирик, гений „авторской песни“... стихотворец с загадочной и трудноопределимой метой непохожести — ...особый мир в русской поэзии XX века...» (Татьяна Бек).

Пол Теру. Моя другая жизнь. Роман. Перевод с английского С. Белова, О. Варшавер, И. Стам, Г. Швейник, И. Янской. М., «Иностранка», «Б.С.Г.-Пресс», 2002, 733 стр., 5000 экз.

Роман современного американского прозаика — лирико-философское повествование о становлении личности и формировании писателя, замаскированное под автобиографическое повествование в семнадцати повестях-эпизодах из жизни условного Пола Теру. Действие романа происходит в американской провинции, в африканской деревне для прокаженных, в Сингапуре, Лондоне, снова — США и т. д. Внешне непритязательная, чуть ли не бытописательская, скрашенная юмором и лирической интонацией, манера повествователя вбирает в себя опыт, накопленный прозой XX века от Хаксли до Беккета.

Маргарита Шарапова. Криминальная жизнь. Повести и рассказы. Екатеринбург, «У-Фактория», 2002, 400 стр., 3000 экз.

Первая книга «серьезной» прозы московского прозаика, более известного в качестве автора криминальных романов. «Шарапова из тех счастливых писателей... кто входит в литературу медленно, постепенно, но... безоговорочно» (из предисловия к книге Евгения Лесина).



П. Волкова. Арсений Тарковский. Жизнь, семья, история рода. М., «Подкова», «ЭКСМО-Пресс», 2002, 224 стр., 5100 экз.; **Андрей Тарковский.** Архивы, документы, воспоминания. Автор-составитель П. Волкова. М., «Подкова», «ЭКСМО-Пресс», 2002, 224 стр., 7100 экз.

Духотмник, посвященный семье Тарковских, отцу и сыну. Основу первой книги составили главы из работы Паолы Волковой «Арсений и Андрей» и «Сибирские очерки» Арсения Тарковского. Второй том целиком посвящен Андрею Тарковскому — очерк Волковой, записи и высказывания Андрея Тарковского, воспоминания близких и друзей и другие материалы.

Лидия Гинзбург. Записные книжки. Воспоминания. Эссе. Предисловие А. С. Кушнера. СПб., «Искусство-СПб.», 2002, 768 стр.

Подготовленное Александром Кушнером издание, включившее собрание «Записей» (с 1920-го по 80-е годы, часть записей публикуется впервые), а также книгу «Четыре повествования» («Возвращение домой», «Мысль, описавшая круг», «Заблуждение воли», «Записки блокадного человека») и книгу «Воспоминания и эссе» (ее персонажи — Эйхенбаум, Тынянов, Ахматова, Багрицкий, Заболоцкий, Олейников, Мандельштам, Пастернак и другие) — самое полное на сегодня представление философской и мемуарной прозы Лидии Яковлевны Гинзбург (1902 — 1990), давшее повод рецензенту «НГ Ex libris» Илье Кукулину поставить ее имя рядом с властителями дум XX столетия, такими, как Симона Вейль, Жорж Батай, Ролан Барт (сильно польстив, на мой взгляд, двум последним).

Н. Громова. Все в чужое глядят окно. М., «Коллекция „Совершенно секретно“», 2002, 288 стр., 7000 экз.

Документальное повествование о войне и ташкентской жизни в эвакуации художественной элиты СССР.

Давид Карапетян. Владимир Высоцкий. Между словом и славой. М., «Захаров», 2002, 288 стр., 15 000 экз.

Воспоминания друга Высоцкого, переводчика с итальянского, «книга о поколении, родившемся при Сталине, расцветшем во времена хрущевской „оттепели“ и растерявшемся во время застоя... Самые интересные и прочувствованные главы — те, что непосредственно рассказывают о встречах с Высоцким, разговорах с ним об искусстве, истории и просто жизни, совместных поездках в Ялту, Минск, Ереван, Сочи...» («Книжное обозрение»).

Книжный шкаф Кирилла Кобрина. М., «Языки славянской культуры», 2002, 144 стр.

Сто коротких рецензий составили «лирический дневник, поводом к написанию которого стали прочитанные книги». «Лучшее чтение бессистемно; за исследованием о риторике эпохи поздних египетских фараонов следует австрийский роман о Первой мировой, за ним — стихи некоего паренька из Екатеринбурга. Хаос чтения не заканчиваем разумом; он сам есть порождение некоего потустороннего Разума, который, кажется, и надиктовал все книги на свете» (от автора). Жанр этих коротких рецензий и их стилистика (доверительных реплик-замечаний, как бы необязательных, но «вкусных», информативных и по большей части точных, выстраивающих образ книги) — плод сотрудничества с редакцией «Нового мира», предложившей Кобрину вести в нечетных номерах 2000 года авторский раздел «Книжная полка»: десять коротких рецензий — выбор книг и манеры повествования свободный. Эксперимент, на наш взгляд, оказался удачным — жанр, порожденный Кобриным, прижился, первооткрыватель «Книжной полки» соответственно стал лауреатом журнала за 2000 год; ну а выход этой книги можно считать еще и предварительным подведением итогов двухлетней работы.

Владимир Купченко. Труды и дни Максимилиана Волошина. Летопись жизни и творчества. 1877 — 1916. СПб., «Алетейя», 2002, 512 стр., 1000 экз.

Работа ведущего специалиста по жизни и творчеству Волошина, знаменитого хранителя Дома-музея Волошина в Коктебеле.

Дж. Легман, Г. Ли. История тамплиеров. Перевод с английского Н. Кудашевой. М., «ОЛМА-Пресс», 2002, 383 стр., 5000 экз.

В одном из самых загадочных и притягательных эпизодов европейской истории, ставшем легендой, — в истории рыцарского ордена храмовников (тамплиеров) — разбираются два американских исследователя: идеология, обряды, деятельность и особенно подробно — крушение ордена.

Леонид Ляшенко. Александр II, или История трех одиночеств. М., «Молодая гвардия», 2002, 357 стр., 7000 экз.

Первое в послереволюционной России жизнеописание Александра II, предназначенное для широкого читателя, представляет царя реформатором, не понятным его современниками. Книга вышла в серии «Жизнь замечательных людей», содержит три раздела: «Одиночество первое. Путь» (о детстве, юности, о формировании личности Александра), «Одиночество второе. Бегство» (семья и ближайшее окружение), «Одиночество третье» (государственная деятельность царя, конфликт с обществом, гибель).

Борис Панкин. Пресловутая эпоха в лицах, масках, событиях и казусах. М., «Воскресенье», 2002, 560 стр., 3000 экз.

Об эпохе развитого социализма, ее идеологах и властителях из, так сказать, первых рук — мемуары бывшего главного редактора «Комсомольской правды».

Составитель **Сергей Костырко.**

ПЕРИОДИКА



«Время MN», «Время новостей», «Globalrus.ru», «Газета», «День литературы», «Егупец», «За русское дело», «Завтра», «Известия», «Интеллектуальный Форум», «Книжное обозрение», «Коммерсантъ», «Лебедь», «Лимонка», «Литературная газета», «Литературная Россия», «Мир Паустовского», «Мировые Дискуссии/World Discussion», «Москва», «Московские новости», «Наш современник», «НГ Ex libris», «Нева», «Независимая газета», «Новая газета», «Новое время», «Новый век XXI», «Новый Журнал», «Огонек», «Подъем», «Посев», «Performance/Представление», «Русский Журнал», «Русский переплет», «Toronto Slavic Quarterly», «Топос», «Труд», «Урал», «Эра России»

Сергей Аверинцев. Опыт советских лет: солидарность в Боге гонимом. — «Егупец». Художественно-публицистический альманах. Киев, 2001, № 8 <<http://judaica.kiev.ua>>

«Генрих Бёльль упомянул однажды, до чего тягостно было ему видеть в гитлеровское время эсэсовцев в униформах, которые подходили в католической церкви к причастию. Мы, благодарение Богу, были довольно надежно защищены от подобных переживаний. У нас профессиональные людоеды представляли не как причастники у Чаши, а, что было много честнее, именно как „безбожники“».

Александр Бабенышев (Бостон). «Государство должно исчезнуть». Беседу вел Алексей Поликовский. — «Новая газета», 2002, № 45, 27 июня <<http://www.novayagazeta.ru>>

«Государство — это временная политическая единица, мешающая человечеству реализовать себя», — говорит участник диссидентского движения 70 — 80-х годов, живущий ныне в США.

Дмитрий Бавильский. Конец истории. Катахреза № 15: фундаментальный инфантилизм в действии. — «Русский Журнал» <<http://www.russ.ru/krug>>

«„Внеклассное чтение“ [Бориса Акунина] следует читать бегло, на ходу схватывая авторские концепты. <...> События и стили, которыми умело (умно) манипулирует автор, не самостоятельны — они отсылают к готовым информационным блокам, существующим в читательском сознании, их расшифровка и узнавание — единственное подлинное событие в тексте такого рода. То есть все самое существенное выносится за рамки сцены текста и разыгрывается в кулисах».

Дмитрий Бавильский. Период полураспада. Катахреза № 16: судьба семьи в судьбе страны. — «Русский Журнал» <<http://www.russ.ru/krug>>

О романе Евгения Попова «Мастер Хаос: «Шестидесятничество (?! — А. В.) — вот что мешает Попову воспарить над окружающей его конкретностью, социальная заморозка, активная жизненная позиция, требующая отклика на каждый чих страны и мира. Это очень интересная картина — наблюдать, как шестидесятники, кто как, приспособляются к нынешним временам, как пытаются (или не пытаются) стянуть с себя шагреновую кожу общественно-политической проблематики».

Ср.: «А шестидесятники — это люди убеждений, гуманисты и идеалисты. Такие профессиональные альпинисты во всех жизненных ситуациях („Туда, мой друг, пешком, и только с рюкзаком, и лишь в сопровождении отваги“). Они служили делу социализма и антикоммунизма, а иногда и верили в коммунизм <...> Шестидесятники появились отнюдь не в 50-е годы. Раньше, много раньше. Я не верю, что шестидесятники могут вымереть. Вымирают отжившие свое, бесполезные мамонты и динозавры. А без шестидесятников корабль современности далеко не уплывет. Ведь только они умеют прокладывать курс» — так Валерия Новодворская скорбит о *егоро-яковлевской* «Общей газете» («Новое время», 2002, № 2953, 30 июня <<http://www.newtimes.ru>>).

«Да, мне предложили возглавить редакционный совет [„Общей газеты“], но я решения еще не приняла. <...> я не понимаю, чего жалуется Егор Яковлев, ведь ему никто руки не крутил! Он сам все продал после полугода торговли! Как девушка, которая сама уступила мужчине, а потом кричит об изнасиловании», — говорит Людмила Нарусова («Новая газета», 2002, № 44, 24 июня).

См. также: «„ОГ“ была убыточной. Те, кто ее финансировал, рассчитывали, что газета будет иметь влияние. Но оказалось, влияния нет — круг читателей мал. И они пе-

рестали ее финансировать. Здесь нет закулисных интриг — просто не сумели газету продвинуть», — говорит **Владимир Познер** («Известия», 2002, № 119, 11 июля).

Андрей Баженов. От петербуржца Дубровского к провинциалу Гриневу. — «Москва», 2002, № 6 <<http://www.moskvam.ru>>

«Вместо Бога образованным молодым дворянам, по сути, предлагалась [в Лицее] мечта о Боге и демагогия о Боге».

Дмитрий Бак. [Стихи]. — «*Toronto Slavic Quarterly*». *Academic Electronic Journal in Slavic Studies*. 2002, № 1 <<http://www.utoronto.ca/slavic/tsq/012002>>

«По-украински думаю, вижу и осязаю мир — и с этим уже ничего не поделать». Стихи пишет *на украинском* («Чолом схололим зимної пожежі...»). Статьи в «Новом мире» — на русском.

Петр Балакшин. Лица памятных встреч. Предисловие и публикация Амира Хисамутдинова (Гонолулу). — «Новый Журнал», Нью-Йорк, 2002, № 227 <<http://magazines.russ.ru/nj>>

Александр Вертинский. Леонид Зуров.

Андрей Балдин. Поход на букву «О». Берег Тихого океана как геопоэтический предел. — «НГ Ex libris», 2002, № 20, 20 июня <<http://exlibris.ng.ru>>

«Зачатие Руси в Крыму, и вздутие затем Москвобрюха, и жестокие роды при Грозном, первом русском писателе. Новое „соитие“ в устье Невы, на сей раз с регулярной Европой: слово было переписано, алфавит, генетический код, изменен. Петр-кесарь вывалил на простыню Сибири следующую (после Руси — Россию) новорожденную страну. Это был пространственный жест: ребенку надлежало искупаться в Океане».

Костяк литературного проекта «Путевой Журнал» — это географ Дмитрий Замятин (ведущий раздела «География» в «НГ Ex libris»), художник и главный редактор проекта Андрей Балдин и три литератора — Владимир Березин, Василий Голованов и Рустам Рахматуллин. Другие материалы «Путевого Журнала» см.: «Октябрь», 2002, № 4, 6 <<http://magazines.russ.ru/October>>

В. С. Барышенко. О преступной иммиграционной политике. — «За русское дело». Общественно-политическая газета. Санкт-Петербург, 2002, № 6 (98) <<http://www.meganet.spb.ru/zrd>>

«Мы требуем: <...> 3. Создания этнически чистых государств. Каждый народ имеет право на свой национальный дом. <...> 4. Привлекать к уголовной ответственности всех тех, кто занимается пропагандой интернационализма <...>». И далее: «Пусть Ваши дети будут похожи на Вас, на Ваших отцов и матерей. <...> Пусть грузин женится на грузинке! Татарин женится на татарке! Еврей женится на еврейке. А русский должен жениться только на русской, славянке или арийке». *Любопытно, что в предпоследней фразе отсутствует ожидаемый восклицательный знак.*

См. также сайт движения против нелегальной иммиграции (г. Красноармейск Московской области): <http://voiru.hotbox.ru>

Наталья Белинкова-Яблокова. Учителя и ученик. — «Егупец», Киев, 2002, № 9 <<http://judaica.kiev.ua>>

Аркадий Белинков и — Шкловский, Оксман, Чуковский, Сельвинский.

Игорь Бестужев-Лада. От Содомы к Гоморре. Необходим культ родительской семьи, чтобы спасти человечество от вырождения. — «Литературная газета», 2002, № 27, 3 — 9 июля <<http://www.lgz.ru>>

Порнонаркотики.

Виталий Бианки. Журавушка. Очерк. Публикация и пояснения Е. Бианки и Ф. Штильмарка. — «Литературная Россия», 2002, № 25, 21 июня <<http://www.litrossia.ru>>

Северо-Уральский заповедник, 1930 год. Печатается впервые. В бумажной газете очерк называется «Журавушка», в электронной версии газеты — «ТОР-САБЛЬ-ЮХ».

Валерий Бондаренко. «О замужних женщинах, внутренних волшебниках и оскудизме символических ресурсов». Беседовала Алена Семькина. — «Performance/Представление». Издается с 2000 года. Выходит четыре раза в год. Главный редактор Татьяна Самойлова. Тираж 2000 экз. Самара, 2002, № 1-2 <<http://www.lifeart.narod.ru>>

«Если человек пятнадцать в нашем городе [Самаре] завтра соберутся, упакуют чемоданы и уедут на какой-нибудь остров, культурная жизнь у нас закончится. И этого никто не заметит!» — считает самарский кинокритик **Валерий Бондаренко.**

Сергей Боровиков. Евгений Иванович. — «Время новостей», 2002, № 106, 19 июня <<http://www.vremya.ru>>

«<...> Ресторан закрывался, и я пригласил [Евгения] Носова и [Георгия] Семенова к себе. Сидели довольно долго, я помалкивал, потому что уже вскоре встреча приняла характер довольно ожесточенного спора Носова и Семенова о войне. О том, почему мы победили. Точка зрения Носова сводилась к тому, что победил издревле защищавший отчизну пахарь, „шлемоносец“, движимый высоким патриотическим духом. Семенов же держался того, что немцев одолел новый, укрепленный Сталиным режим жесточайшей дисциплины, когда в считанные недели гигантские заводы эвакуировались и начинали работать на новом месте. В выражениях оба не стеснялись, свою правду держали крепко. На поношения Носовым вождя и его системы управления страной Семенов отвечал, что оснований любить Сталина у него не больше, чем у Носова, но только диктатор и партийная система могли заставить так яростно трудиться и воевать пахаря и богносеца».

Владимир Бушин. Прозрачность. — «Завтра», 2002, № 24, 11 июня <<http://www.zavtra.ru>>

Как всегда — издевается. В этот раз — над Искандером.

Василь Быков. «Поражение бывает дороже победы». Спрашивал Дмитрий Назаров. — «Огонек», 2002, № 25, июнь <<http://www.ropnet.ru/ogonyok>>

«Действительно, на немецкой стороне тоже было множество достойных героев, не меньше, чем у нас. Все эти летчики, подводники, танкисты... Их успехи и победы внушают уважение. Я преклоняюсь перед их солдатским мужеством. Только главное нельзя забывать — их дело было неправым». *В настоящее время Василь Быков живет в Германии.*

Лариса Ванеева. Монастырский дневник. — «Урал», Екатеринбург, 2002, № 3, 4, 5 <<http://magazines.russ.ru/ural>>

«Постмодернизм - это не течение, а характер. Это когда ты по-человечески, а тебе — по-хамски. Поэтому даже в таком консервативном заведении, как монастырь, можно встретить постмодерниста...» Автор живет при Пюхтицком Свято-Успенском женском монастыре.

Алексей Варламов. Звездочка. Повесть. — «Москва», 2002, № 6.

Звездочка — октябрятская. Повесть — хорошая.

Величие державы поддается измерению. На вопросы читателей «Труда» отвечает [председатель Комитета по международным делам Государственной Думы] Дмитрий Rogozin. — «Труд», 2002, № 103, 19 июня <<http://www.trud.ru>>

«Что касается Южно-Курильских островов, то лично моя позиция очень простая. Я считаю, что стране, которая приняла акты о полной и безоговорочной, я подчеркиваю, не почетной, не обычной, а именно полной и безоговорочной капитуляции со стороны Италии, Германии и Японии, мирный договор с этими государствами не нужен. Поскольку такая капитуляция предполагает передачу всей полноты собственного суверенитета на милость победителей».

Евгений Верлин. Иллюзии постиндустриальной эпохи. — «Независимая газета», 2002, № 120, 20 июня <<http://www.ng.ru>>

Говорит экономист **Владислав Иноземцев:** «<...> мы скорее сталкиваемся с замыканием, можно даже сказать, „самоизоляции“ западного мира (подкрепляемой его стремлением сделать внешний мир менее агрессивным и более управляемым), но отнюдь не с повышением внутренней целостности и единства человечества».

Александра Веселова. «Слово о полку Игореве» как памятник наивной литературы [XII века]. — «Русский Журнал» <<http://www.russ.ru/krug/razbor>>

«В большинстве „древнерусских“ случаев мы совсем не знаем контекста...»

Андрей Вознесенский. «Поэт должен разделять иллюзии своего народа». Публикацию подготовила Юлия Рахаева. — «Известия», 2002, № 104, 20 июня <<http://www.izvestia.ru>>

Телефонный звонок читателя: «Как обстоят дела с вашей смелой, дерзкой, не знаю, какое слово подобрать, попросту говоря, гениальной идеей спроектировать православный храм в современном авангардном стиле?»

Гость «Прямой линии» «Известий» Андрей Вознесенский: «Вы знаете, пока руки не дошли».

Юрий Вронский. Либералиссимус всех времен. — «Независимая газета», 2002, № 121, 21 июня.

«[В России] налицо новейшая форма крепостного рабства — крохотный земельный участок, с которого кормится крепостной, и барщина в виде работы на современных предприятиях».

«Галковского бьют — он плачет. Гладят — у него рот до ушей». Беседовал Евгений Лесин. — «Книжное обозрение», 2002, № 25-26, 17 июня.

«Мечта Галковского очень простая. Я хочу писать книги. И чтобы люди эти книги читали и говорили: „Дмитрий Евгеньевич, да вы волшебник“...» (Д. Е. Галковский). См. также: Дмитрий Галковский, «Друг Утяг» — «Новый мир», 2002, № 8. См. также две рецензии — Юрия Кублановского и Андрея Василевского — на антологию советской поэзии «Уткоречь» (Псков, 2002), составленную Дмитрием Галковским, — «Новый мир», 2002, № 7.

Сергей Гандлевский. Недоволенная любовь — испытанный литературный двигатель. — «Русский Журнал» <<http://www.russ.ru/krug>>

Гандлевский цитирует Льва Лосева — мол, писатель подзаряжается не от так называемой «жизни», а от литературы — и присоединяется к этому мнению.

Владимир Голдин. Узорщики слова и проба пера. Документальная повесть. — «Урал», Екатеринбург, 2002, № 4, 5.

Уральские писатели 30-х годов. Трагедии, нравы.

Василий Голованов. Ночевка в Мордоре. — «Огонек», 2002, № 26, июнь.

«<...> а поначалу-то просто было изумление: как это мы из тайги за пару часов долетели до отрогов Гоби. Я развернул карту — пески Боорат-Делийн-эль. <...> сомнений больше не было: мы очутились в Мордоре, вернее, в одной из полуразрушенных крепостей Мордора — Кирит-Унголе или Минас-Моргуле, покинутых своими властителями и воинствами темных, едва разумеющих друг друга языков, сами названия которых уцелели только в древних китайских летописях: Кара-Чигат, Дубо, Вэйхо, Паегу, Тунло, Фулико, Гулигань...» См. также: Василий Голованов, «Видение Азии. Тывинский дневник» — «Новый мир», 2002, № 11.

Владимир Губайловский. Двор чудес. — «Русский Журнал» <<http://www.russ.ru/krug>>

«О стихах Бахыта Кенжеева хочется сказать: они чудесные. Так же, как говорят „чудесное утро“ или „чудесная погода“...»

Владимир Губайловский. Александр Еременко: пример деконструкции. — «Русский Журнал» <<http://www.russ.ru/krug>>

«Дело не в том, хорошо или плохо писать так, как написано это стихотворение [Александра] Еременко. Дело в том, что в результате достигается. А достигается аннигиляция. Все превращается в ничто. Еременко ничего особенно крамольного не делает, он только задает вектор спуска — направление с горки, — и мы катимся, да так быстро, что дух захватывает...»

Владимир Гулиев. Право жить и право убивать. В России смертная казнь для умышленных убийц и террористов является условием необходимой самообороны социума. — «Независимая газета», 2002, № 126, 27 июня.

«<...> введение моратория на казнь привело к росту годового среднестатистического числа убийств в России приблизительно с 20 тыс. в год до 32 тыс.». См. также: Михаил Веллер, «40 тезисов в осуждение убийцы» — «Огонек», 2002, № 6, февраль.

См. также: «Человек, лишаящий другого жизни, лишает жизни себя. <...> Кант формулировал это так, что право на жизнь не защищено до тех пор, пока каждый, посягающий на жизнь другого, будет считать, что его право на жизнь сохранится. <...> Я признаю смертную казнь как необходимость защиты права человека на жизнь», — говорит участник диссидентского движения 70 — 80-х годов, живущий ныне в Бостоне, Александр Бабеньшев («Новая газета», 2002, № 45, 27 июня).

Михаил Денисов. Моральные основы политических проблем европейских левых. — «Русский Журнал» <<http://www.russ.ru/politics>>

«<...> на протяжении десятилетий европейские левые считали советский строй вполне подходящим для советского населения, но вполне отвратительным для своих стран».

Саша Денисова. Большая бука. Записки о грязном старикашке Чарлзе Буковски. — «Огонек», 2002, № 23, июнь.

«В отличие от угрюмых, трагичных и мучительно сомневающихся русских, [Чарлз] Буковски в своем бунте абсолютно счастлив и умиротворен».

Гейдар Джемаль. «Почва и судьба». Мир на пути к новой биполярности. — «Завтра», 2002, № 24, 11 июня.

«<...> помимо национальных администраций, не исключая и самую могущественную из них — американскую, в мире существует симбиоз сверхвлиятельных наднациональных сил. <...> Проблема в том, что правительство Соединенных Штатов хоть и избрано гражданами собственной страны, также претендует на то, чтобы быть правительством всего мира. <...> Понятно, что двум мировым правительствам на одном земном шаре тесно».

Тодд Джитлин (Todd Gitlin). Зверь возвращается. Перевод Ольги Юрченко. — «Русский Журнал» <www.russ.ru/ist_sovr/other_lang>

Университеты США: «воинствующий антисемитизм возвращается».

Михаил Дмитриев. Человек Православный и *Homo Catholicus*. — «Интеллектуальный Форум», 2002, № 9 <<http://if.russ.ru>>

«Наши примеры позволяют предположить, что быть православным [в средневековой Руси и дореволюционной России] значило думать о человеке, грехе, смерти, спасении, конце света, о том, что должно и не должно, о мире и обществе иначе, чем об этом думали католики и протестанты...»

Священник Дмитрий Дудко. Во славу Отечества нашего. — «Завтра», 2002, № 24, 11 июня.

Письмо Геннадия Зюганову: «Желаю Вам выдержать все трудности и остаться настоящим коммунистом и христианином. За союз партийных с беспартийными! Да процветает наша Святая Русь и несет всем народам свет разума, освобождение от тьмы капиталистической». См. также: **Дмитрий Дудко**, «Праведник Достоевский» — «День литературы», 2002, № 6 <<http://www.zavtra.ru>> См. также стихи **Дмитрия Дудко** — «Наш современник», 2002, № 6 <<http://read.at/nashsovr>>

Валентин Жилиев. Яков Сталин не был в плену. — «Огонек», 2002, № 27, июль.

Вся история пленения Якова Джугашвили и его жизни в плену была скорее всего мистификацией германских спецслужб с целью оказания психологического давления на Сталина.

Александр Жолковский. Виньетки. — «Toronto Slavic Quarterly». *Academic Electronic Journal in Slavic Studies*. 2002, № 1 <<http://www.utoronto.ca/slavic/tsq/012002>>

«Неясно различая свои роли редактора и мыслителя (что типично для редакторов вообще, а для редакторов-бытийственников в особенности), Серго [Ломинадзе] придирался к нашим структуралистским сочинениям с гораздо большей страстью, чем то диктовалось законами империи зла и размером его редакторской зарплаты...»

Дмитрий Жуков (Опричное Братство Св. Преп. Иосифа Волоцкого). Православие и национал-социализм. — «Эра России». Всероссийская общественно-политическая газета. Тираж 2000 экз. 2002, № 12 (80). [В выходных данных читаем: «Этот номер газеты очищен от приставки „БЕС“»].

«Так после разгрома Польши, в которой Православие подвергалось жесточайшим гонениям (в 1938 году было закрыто 114 храмов), немцы возвратили русскому населению все отобранное поляками церковное имущество».

В этом же номере газеты — редакционный материал «Наша справка»: «<...> Иисус Христос знал о настоящем происхождении болотных обезьян. <...>».

Борис Зайцев. С. С. Юшкевич. Вступительная статья и публикация Е. К. Дейч. — «Егупец», Киев, 2002, № 9 <<http://judaica.kiev.ua>>

«Да, Юшкевич был писатель „региональный“...» Публикуемый ниже очерк о прозаике и драматурге С. Юшкевиче (1869 — 1927) написан вскоре после его кончины и напечатан в журнале «Современные записки» (1927, № 31).

Сергей Земляной. Агент Охранки или провокатор по призванию? Нечаевские методы в политическом арсенале Иосифа Сталина. — «Независимая газета», 2002, № 131, 3 июля.

«Никаких прямых дефинитивных доказательств службы Иосифа Сталина в Охранном отделении сегодня не существует».

Михаил Золотоносов. Сто лет «На дне». Самая знаменитая пьеса Максима Горького сегодня кажется предсказанием всего XX века в России. — «Московские новости», 2002, № 22, 11 июня <<http://www.mn.ru>>

«Иными словами, если пьеса „На дне“ какая-то „анти-“, то, конечно, антисоциалистическая, а никак не антихристианская».

Михаил Золотоносов. Старик Булгарин нас заметил... — «Московские новости», 2002, № 24, 25 июня.

Автор знаменитого романа «Иван Выжигин» (1829), переизданного ныне издательством «Захаров», *верил в добро*.

См. также: Алла Марченко, «Фаддей (Тадеуш): суперагент»; В. Э. Вацуро, «„Видок Фиглярин“. Заметки на полях „Писем и записок“» — «Новый мир», 1999, № 7.

Андрей Зубов. Между «западниками» и «почвенниками». — «Посев», 2002, № 5, 6 <<http://posev.ru>>

«И у нас бесконечно ослабла не власть, а общество ослабло, и ослабло не 12 лет назад, а лет 100 — 150 назад, а возможно, начиная с петровских реформ. Именно тогда мы (кто именно? — А. В.) избрали неправильную парадигму — парадигму модернизации одного класса за счет всего общества, то есть модернизацию дворянства за счет народа».

Из эпистолярного наследия М. О. Гершензона. Переписка с П. Е. Щеголевым. Предисловие, публикация и комментарии Е. Ю. Литвин. — «Toronto Slavic Quarterly». *Academic Electronic Journal in Slavic Studies*. 2002, № 1 <<http://www.utoronto.ca/slavic/tsq/012002>>

Шесть из семидесяти пяти писем 1906 — 1917 годов. См. также: Евгений Рашковский, «Историк Михаил Гершензон» — «Новый мир», 2001, № 10.

Юрий Каграманов. Призрак Аламута. — «Интеллектуальный Форум», 2002, № 9 <<http://if.russ.ru>>

«Принято говорить, что идеология исламских террористов представляет собою грубое искажение ислама. <...> Но здесь можно поставить ударение и на последнем слове: искажение *ислама*, а не чего-то другого».

Альбер Камю. Ирония; Смерть в душе; Изнанка и лицо. Эссе из сборника «Изнанка и лицо». Перевод М. Калужской. — «Урал», 2002, № 6.

«Эссе, вошедшие в этот сборник, были написаны в 1935 и 1936 годах (мне было тогда 22 года) и опубликованы год спустя в Алжире в очень малом количестве экземпляров» (из «Предисловия к переизданию 1954 года»).

Маруся Климова. Моя история русской литературы. Писатель и читатель. — «Топос». Литературно-философский журнал. 2002, 18 июня <<http://www.topos.ru>>

«Только недавно до меня, кажется, дошло, почему именно роман „Преступление и наказание“ входил в программу советских школ. Думаю, главной причиной здесь было желание воспитать советских людей так, чтобы они всегда и во всем признавались».

Сергей Костырко. Обзорение С. К. № 111. «Ура!» как манифест «юной литературы» — о повести Сергея Шаргунова в «Новом мире» [2002, № 6]. — «Русский Журнал» <<http://www.russ.ru/krug/period>>

Поругал Шаргунова. Потом подумал и еще — см. обзорение № 112 — поругал.

Геннадий Костырченко. Расовые инструкции Берии. — «Лебедь». Независимый альманах. Бостон, 2002, № 276, 16 июня <<http://www.lebed.com>>

Статья из московского журнала «Лехаим» (2002, № 5, май). О том, что секретные инструкции Берии 1938 — 1939 годов («Об основных критериях при отборе кадров для прохождения службы в органах НКВД СССР» и «О проведении негласного медицинского и психофизиологического обследования заключенных под стражу и осужденных граждан») суть *фальшивки*. О них, напомню, с полным доверием писал Юрий Бобылов («Расовый отбор в НКВД» — «Независимое военное обозрение», 2001, № 46, 14 — 21 декабря <<http://nvo.ng.ru>>), его статья была соответственно отмечена в нашей «Периодике». Источником же сомнительных инструкций был, как выясняется, сборник «Расовый смысл русской идеи» (М., «Белые альвы», 2000. Изд. 2. Вып. 1).

Михаил Кралин. «Двух голосов переключка». Иван Бунин и Анна Ахматова. — «Наш современник», 2002, № 6 <<http://read.at/nashsovr>>

«Отказывая Бунину в самоценности его поэзии („Сокровищ в них не ищите“), сама Ахматова отнюдь не гнушается не только искать в бунинских стихах „сокровища“, но и вставлять драгоценные находки в свои стихи».

Андрей Кротков, Дмитрий Стахов. Антипоттер — последний и решительный бой. — «Огонек», 2002, № 25, июнь.

Черт Горшечник = Гарри Поттер.

Константин Крылов. Европа и ее европейцы. — «Русский Журнал» <<http://www.russ.ru/politics>>

«<...> образцовый житель единой Европы может получиться именно из „негра“».

Константин Крылов. Знайки и буратины. — «*Globalrus.ru*». Информационно-аналитический портал Гражданского клуба. Главный редактор А. А. Тимофеевский <<http://www.globalrus.ru>>

«<...> никакая [экономическая] амнистия не достигнет своей цели, пока все в этой стране — и ограбленные, и ограбившие — знают, что произошло».

Владимир Кутырев. Сумерки любви. Судьба пола в техническом мире. — «Москва», 2002, № 6.

Сексуальная энтропия. Парасексуальная революция. Гендер против пола. Клонирование угрожает *Homo sapiens*. «<...> Н. Федоров нигде не пишет о воскрешении женщин».

Эдуард Кучеренко (Харьков). Адам и Ева Браун. Последний партизан. — «Лимонка». Газета прямого действия. 2002, № 199, июль.

Рубрика «Стихи в „Лимонке“»:

Он на домах листовки страстные
Клеил слезами солеными
/соплями зелеными/

В июле с. г. газета «Лимонка» была закрыта по иску Минпечати.

Сергей Левицкий. О духовной генеалогии солидаризма. — «Посев», 2002, № 6.

«Солидаризм же по духу своему идеал-реалистичен <...>». Текст печатается по: «Посев», 1949, № 22. Рядом — **Сергей Левицкий**, «О духовных основах солидаризма» (печатается по: «Посев», 1952, № 43).

Эдуард Лимонов. «Путь к себе». Беседу вела Лиза Новикова. — «Коммерсантъ», 2002, № 109, 27 июня <<http://www.kommersant.ru>>

«Я прочел много умных французских и английских книг. Это пошло мне на пользу. <...> Кумиры? Я многих догнал. Догнал Пазолини, Селина, Жана Жене, Мисиму. Теперь я с ними вровень. А был сзади».

Ср.: «Тюрьма в этом смысле пошла на пользу если не гражданину Савенко, то уж писателю Лимонову точно» (**Илья Стогофф**, «Новый клип демиурга» — «Книжное обозрение», 2002, № 27-28, 1 июля).

Ср.: «Еще забавнее выглядит ситуация с изд-вом «*Ad Marginem*». Вместо того чтобы позволить ему прикормить и нейтрализовать Лимонова и Проханова, дебилы из „демократической общественности“ подняли такой хай, что адмарганцы сами с отворачиванием переметнулись к „красно-коричневым“...» — пишет **Лев Пирогов** («Топос», 2002, 11 июля <<http://www.topos.ru>>).

Майкл Линд (*Wilson Quarterly*). Второе падение Рима. Перевод Леонида Мотылева. — «Интеллектуальный Форум», 2002, № 9 <<http://if.russ.ru>>

«Предубеждение против римской цивилизации — это предубеждение не столько против Рима, сколько против цивилизации вообще».

Академик Дмитрий Сергеевич Лихачев. Соловки 1928 — 31. Записал С. Кафельский. — «Посев», 2002, № 6.

«Нравы Соловков поражали своей контрастностью, особенно это касалось пьянства. Трезвому не прощалось ничего, пьяному прощалось все».

О. М. История Восьмого квартета. — «Московские новости», 2002, № 23.

«Не знаю, каков Михаил Ардов пастырь (его основная профессия), но мемуарист он отменный: его, так сказать, опосредованные воспоминания о Шостаковиче („Новый мир“, 2002, № 5, 6. — А. В.) не только лучшее, что появилось в „Новом мире“ за долгие годы, но и само по себе увлекательное и достоверное чтение, оторваться от которого невозможно».

Кто-то из новомирцев пошутил на редакционной летучке: мол, за инициалами О. М. скрывается сам отец Михаил.

Сергей Макин. Священная война: момент истины. — «Литературная Россия», 2002, № 24, 14 июня.

«Вставай, страна огромная...» Слова — *все-таки* — Лебедева-Кумача.

Александр Мелихов. Из глубины. Гимн во славу низости. — «Новое время», 2002, № 2950, 10 июня.

Издавается — заслуженно — над Жаном Жене.

Дан Михаэль. Наши дети уже будут жить при антисемитизме. — «Лебедь». Независимый альманах. Бостон, 2002, № 277, 23 июня <<http://www.lebed.com>>

«Экономическая оценка рынка антисемитизма выходит за рамки данной статьи».

Татьяна Москвина. Про Ивана и Джона. О фильме Балабанова «Война». — «Globalrus.ru». Информационно-аналитический портал Гражданского клуба. 2002, 17 июня <<http://www.globalrus.ru>>

«Из „Войны“ Балабанова ясно, что Россия выиграет не только чеченскую войну, но любые другие войны. Вопреки безобразному состоянию армии и закона — выиграет. В ней вывелась особенная порода автономных людей, ничем в жизни не прельщенных — ни религией, ни государственностью, ни частной жизнью. Они абсолютно непобедимы. Они воюют не „за или против“ — они просто воюют». См. также новомирское «Кинообозрение Натальи Сиривли» (2002, № 7).

Сергей Небольсин. Пушкин и Россия. — «Наш современник», 2002, № 6.

«Мы не шовинисты. Поэтом и русский человек может, на наш взгляд, заниматься тем, что в Пушкине русского».

Андрей Немзер. Скованные одной цепью. — «Время новостей», 2002, № 113, 28 июня.

«Как [Владимиру] Сорокину нужны „Идущие...“, так „Идущим...“ нужен Сорокин».

Ср: «<...> Еще неизвестно, что шире и что погибельнее — путь т. Якеменко и его последователей [из „Идущих вместе“] или неисповедимый путь современной литературной моды, — читаем в субботнем фельетоне **Максима Соколова** («Известия», 2002, № 116, 6 июля).

См. также: «Сперва государство в лице Минкультуры дает певцу копрофагии заказ на сочинение оперы для императорских театров, а затем оно же в лице правоохранительных органов возбуждает против певца уголовное дело. Значительно проще было бы не делать ни того, ни другого <...>», — возвращается к теме **Максим Соколов** неделю спустя («Известия», 2002, № 121, 13 июля).

Александр Никонов. Руки прочь от сумасшедших! — «Огонек», 2002, № 23, июнь.

Говорит старший научный сотрудник Института истории естествознания и техники РАН **Гелий Салахутдинов**: «<...> Циолковский — идеолог русского фашизма, который наши философы советской школы назвали почему-то научным космизмом. <...> Циолковский пишет: для полного счастья нужно уничтожить не только на Земле, но и во всем космосе всю несчастную жизнь. Низшие расы, больные, калеки, сумасшедшие и даже дикие и домашние животные — все должно быть уничтожено. Фашисты хотя бы на животных не покушались... <...> Правда, уничтожить калек и расово неполноценных он предлагает гуманно — просто запретив неполноценным размножаться».

См. также статью «Циолковский» в 5 томе «Философской энциклопедии» (М., 1970).

Александр Никонов, Дмитрий Назаров, Дмитрий Аксенов. 7 мифов о наркотиках. — «Огонек», 2002, № 27, июль.

Спрос нельзя ликвидировать, его можно только удовлетворить. «Я убежден в том, что Америка без наркотиков — утопическая мечта. Те или иные формы пристрастия к наркотикам или злоупотребления различными веществами эндемичны для большинства стран...» (Дж. Сорос).

Владимир Нилов. Отряхните их прах... Отзыв на статью В. Бондаренко «Три лика русского патриотизма». — «День литературы», 2002, № 6, июнь <<http://www.zavtra.ru>>

«<...> никаких трех ликов у патриотизма нет. Есть один-единственный: *right or wrong, my country* и *Russland über alles in der Welt*, все равно, какой в ней политический режим».

О последних днях поэта. 28 июня исполняется 80 лет со дня смерти Велимира Хлебникова. Публикация Александра Парниса. — «Время МН», 2002, № 109, 28 июня <<http://www.vremyamn.ru>>

Поэт скончался в деревне Санталово Крестецкого уезда Новгородской губернии. Письмо душеприказчика Хлебникова художника П. В. Митурича и его первой жены Н. К. Митурич к матери поэта Е. Н. Хлебниковой было написано в день похорон — 29 июня. Публикуется впервые. «<...> В. В. впал в невменяемое душевное состояние. Состояние капризного семилетнего ребенка <...>». Публикация сопровождается интересным комментарием А. Парниса об отношениях Хлебникова и Маяковского (в связи с тем, что Митурич написал в 1922 году «Открытое письмо Маяковскому», в котором необоснованно обвинил его в укрывательстве рукописей Хлебникова и даже в плагиате).

Валерий Окулов. Научная фантастика — термин русский! — «Литературная Россия», 2002, № 24, 14 июня <<http://www.litrossia.ru>>

«<...> я прочел (в который раз), что „научная фантастика“ — калька с английского термина „*science fiction*“, введенного в обиход Хьюго Гернсбеком в 1926 — 1928 годах. <...> Зачем же так вот просто отдавать приоритет?! Ведь среди произведений классика

советской фантастики А. Р. Беляева уже в 1925 году печатается „Голова профессора Доуэля” с подзаголовком „научно-фантастический рассказ”, а в 1926 году появляются рассказы „Ни жизнь, ни смерть” и научно-фантастический роман „Властелин мира”. А еще в 1924 году публикуются „научные фантазии” Г. Арельского „Обсерватория профессора Дагина” и „Два мира”. И т. д. и т. п. <...> А выдающийся русский популяризатор науки Я. И. Перельман свой „Завтрак в невесомой кухне” (1914) обозначил как „научно-фантастический рассказ”, и факт этот неоднократно подчеркивался в советской печати! <...> Даже в провинциальнейшем еженедельном журнальчике „Иваново-Вознесенская жизнь” в 1911 году появляются „научно-фантастические арабески” „Под микроскопом” некоего „профессора Сер-Са” <...>.

Дмитрий Ольшанский. Речь не о себе. — «День литературы», 2002, № 6, июнь. Бродский — русский поэт.

Осторожно, скинхеды! — «Пионер» [интернет-проект], 2002, 13 июня <<http://nationalism.org/pioneer>>

«Утрачены идеалы русской Интеллигенции. Еще вчера, когда бесстрашные благородные люди выступали в защиту чеченских моджахедов, их, гуманистических идеалов, было море разливанное, и вдруг иссякли. Русскому скинхеду не досталось ни капли гуманитарной помощи, ни слезинки правозащитника».

Олег Павлов. Новые лица русской прозы. — «Москва», 2002, № 6. Михаил Тарковский. Александр Вяльцев. Виктор Никитин.

«Патриотизм — умное чувство». Беседовал Владимир Поляков. — «Литературная газета», 2002, № 27, 3 — 9 июля.

Говорит *либеральный консерватор* профессор **Леонид Поляков:** «...чтобы иметь возможность продолжения спора о России, нужно согласиться, что все произошедшее было и все настоящее есть».

Константин Паустовский. Письма к Нине Николаевне Грин [1936 — 1961 гг.]. — «Мир Паустовского». Культурно-просветительный, литературно-художественный и научно-популярный журнал. Издается с 1992 года. Главный редактор Галина Корнилова. 2002, № 19 <<http://www.city-kgp.nm.ru>>

Здесь же: **Письма Н. Н. Грин к С[ергею] Ш[етровичу] Наумову** [1949 — 1959]. А также: **Дело Нины Грин.** Заключение Прокуратуры Автономной Республики Крым в отношении Грин Нины Николаевны [1997 г.]. По материалам архивного уголовного дела № 9645. *Многие материалы этого номера журнала связаны с жизнью и творчеством Александра Грина.*

Йоханан Петровский-Штерн. Одиссей среди кентавров. — «Егупец», Киев, 2002, № 9 <<http://judaica.kiev.ua>>

«<...>Революционная конармейская тачанка и разоренные гражданской войной местечки — не более чем бутафорские аксессуары, и по сей день успешно заслоняющие от нас основную бабелевскую „сшибку идей”...»

См. также: **Фатех Вергасов,** «Смертельные игры Исаака Бабеля» — «Лебедь». Независимый альманах. Бостон, 2002, № 277, 23 июня.

Письма Марины Цветаевой к Наталии Гайдукевич. Публикация Льва Мнухина. Вступительная заметка Владислава Завистовского. — «Toronto Slavic Quarterly». *Academic Electronic Journal in Slavic Studies.* 2002, № 1 <<http://www.utoronto.ca/slavic/tsq/012002>>

Четыре письма из двенадцати, обнаруженные в Вильнюсе в 2001 году. «<...> поражает не столько сам факт обнаружения неизвестной корреспонденции великой поэтессы, сколько личность ее адресата — скромной учительницы провинциального тогда Вильнюса, не имеющей никакого отношения к литературной жизни, не известной ни в Москве, ни в Париже и тем не менее в течение нескольких предвоенных лет [1934 — 1939] занимавшей определенное место в переписке и в жизни поэтессы» (В. Завистовский).

Цитата: «А если уж поэты — так, то чего же ждать от вообще-мужчины?» (Из письма от 9 мая 1934 года).

Поза Модильяни, лицо Тышлера. Непубликовавшиеся воспоминания Любови Большинцовой об Анне Ахматовой. Вступительное слово Наталии Ивановой-Гладильщиковой. — «Известия», 2002, № 106, 22 июня.

«Комарово, 1962 г. Как-то вечером в Комарово к нам никто не пришел. У меня было два томика Агаты Кристи, один я дала А. А. на ночь. Зачиталась. Когда уже мы потушили свет и я думала, что она уснула, вдруг она сказала: „Удивительно — вообще это все вопреки логике. Да, да, сейчас уже поздно, но она не утруждает себя никакой»

психологией. Перечисляет просто возможных убийц — и совсем непонятно, почему под конец убил тот, а не предыдущий, — в этом нет ни логики, ни психологии. А вот пугает, и страшно потом”...»

Поиск смысла в разреженном пространстве. [Беседуют член попечительского совета конкурса «Российский сюжет» Ольга Славникова и председатель жюри Валерий Попов]. — «Время MN», 2002, № 104, 21 июня.

«Вчера на книжной ярмарке в „Олимпийском“ наблюдала, как интеллигентная женщина мучилась перед „Гарри Поттером“: „Вроде некому детскую книжку, но почему мне так хочется его купить?“ Потому, что слышит со всех сторон. Между тем есть такой писатель Владислав Крапивин, который делает то же, что раскрученная англичанка, только лучше. <...> Я думаю, что у нас не кризис литературы, а кризис ее оценочности» (О. Славникова).

Конкурс «Российский сюжет» объявлен журналами «Знамя», «Новый мир» и издательством «Пальмира», все подробности: <http://konkurs.palmira.ru>

Александр Покровский. В ней жили их голоса. Умерла Эмма Григорьевна Герштейн. — «Новая газета», 2002, № 47, 4 июля.

«Она их всех пережила, наверное, для того, чтобы навести порядок в доме, а в той комнате, которая называется „Манделштам“, правильно расставить стулья. Надежда Яковлевна ее построила, а Эмма Григорьевна правильно все расставила».

«Она говорила про Ахматову: „Ее тянуло к евреям“. Про Гумилева: „Он был антисемит“. — „Яростный?“ — спрашивал я. — „Кажется, да“».

«Она любила смеяться».

См. также: Владимир Глоцер, «Памяти Эммы Герштейн» — «Литературная газета», 2002, № 27, 3 — 9 июля <<http://www.lgz.ru>>; Андрей Немзер, «Неповторимый голос» — «Время новостей», 2002, № 118, 5 июля <<http://www.vremya.ru>>

«Политтехнолог тайного закулисья». Беседу вел Игорь Шевелев. — «Время MN», 2002, № 112, 3 июня.

Говорит Марат Гельман: «Прочитал „Господина Гексогена“ Проханова. Так как, с одной стороны, люблю его как публициста, а с другой стороны, была положительная рецензия Курицына, то ждал многого. Тем сильнее было разочарование. Плохая литература, плохая драматургия, плохое понимание реальных процессов в обществе».

«Главная рациональная идея конспирологического романа Проханова — все контролируется (планируется, просчитывается, провоцируется и т. п.). <...> Роман его мне видится клеветой на мир, пребывающий в Божественной воле. Это клевета на жизнь всякого человека, наделенного свободой выбора, свободным самоопределением, но и знающим личного Бога, не посягающим на свою полную автономию от Него», — пишет Капитолина Кокшенёва («Я уцелел, но без всего» — «Русский переплет» <<http://www.pereplet.ru>>).

См. также: Александр Вальцев, «Безумный бронепоезд борьбы». — «Дружба народов», 2002, № 7; Мария Ремизова, «Гексоген + пиар = осетрина» — «Новый мир», 2002, № 10.

Людмила Потапова. Самая легкая смерть. — «Огонек», 2002, № 23, июнь.

«Отчасти наша тяга к нему [телевидению] объясняется врожденным свойством — так называемым исследовательским рефлексом. Впервые он был описан академиком И. П. Павловым в 1927 году. <...> Это часть нашего эволюционного наследия, встроенная в сознание чувствительность к движению и возможному нападению хищников. Типичная исследовательская реакция включает замедление сердцебиения, расширение кровеносных сосудов мозга и сужение тех сосудов, которые ведут к главным группам мышц. Мозг как бы сосредоточивается на сборе информации, в то время как все остальное тело „отдыхает“. <...> Телевидение, таким образом, уникально не столько содержанием, сколько формой. В рекламных роликах, музыкальных клипах, фильмах „экшн“ планы и ракурсы меняются со средней скоростью один объект в секунду, раздражая исследовательский рефлекс безостановочно. <...> самая убедительная параллель между телевидением и наркотиком — что люди, потребляющие то и другое, испытывают симптомы абстиненции (ломки), когда их отлучают от любимого занятия».

Олег Проскурин. «Сказка о Золотом петушке» и русская непристойная поэзия. — «Русский Журнал» <www.russ.ru/krug/razbor>

«Речь идет о традиции барковианы — не предназначенных для печати поэтических текстов, которые традиция связывала почти исключительно с именем И. С. Баркова, но которые в действительности были плодом творчества ряда авторов XVIII века <...>».

«<...> игра с барковскими текстами не исчезнет у Пушкина и в позднейших сочинениях, рассчитанных на широкою публику».

«Простите, но ваша душа только что умерла». Подготовила Иванна Скробат по материалам «The Guardian». — «Мировые Дискуссии/World Discussion». Информационно-аналитический журнал. 2002, 20 мая, 27 мая <<http://www.wdi.ru>>

«...К чему могут привести медицинские препараты типа *Prozac* и *Ritalin*, действующие на настроение человека?» Фрагменты новой книги Фрэнсиса Фукуямы «Наше постчеловеческое будущее».

Вадим Пшеничников (Анжеро-Судженск). Гарри Поттер. — «Лимонка». Газета прямого действия. 2002, № 199, июль.

«Главная мысль этого кина — что <...> каждая отдельная англосаксонская личность — в душе своей волшебник, и только дайте ей волю, чтобы она натворила разных чудес». *Овечка Долли*.

Леонид Радзиховский. Лимонов и Солженицын. — «Время MN», 2002, № 116, 9 июля.

«<...> То, что они оба — зеки, один в прошлом, другой — в настоящем. То, что оба старались быть „больше, чем писателями“. <...> Кажется, кроме них, в России — вопреки нашим славным традициям — не осталось писателей с внелитературными мифами».

Расплата за благополучие. Беседовала Юнна Чупринина. — «Время MN», 2002, № 108, 27 июня.

Говорит **Нина Горланова**: «У меня случился микроинсульт, и я испугалась: ничего больше в жизни не успею. Писала [роман] бешено, быстро, всего 7 раз переделывала. <...> Сейчас я вообще уверена, что инсульты необходимы. Вон у Шнитке какая музыка написалась после инсульта!»

Станислав Рассадин. Не наше всё. 6 июня Пушкину исполнилось 203 года. Он по-прежнему царь и живет один. — «Новая газета», 2002, № 41, 10 июня.

«<...> А пока самое дорогое, что Пушкин может нам дать, — это отрезвляющее презрение: „К чему стадам дары свободы? Их должно резать или стричь. Наследство их из рода в роды ярмо с гремушками да бич“. Спасибо за диагноз, Александр Сергеевич... Конечно, очень хочется быть о себе более лестного мнения. Хочется верить в лучшее. В самом деле, к примеру, как заразителен оптимизм дневниковой записи Елены Сергеевны Булгаковой: „Дай Бог, чтобы 1937 год был счастливее прошедшего!“»

Григорий Ревзин. О нарушении норм гигиены. — «Коммерсантъ», 2002, № 118, 10 июля <<http://www.kommersant.ru>>

«Искать и давать деньги на культуру — достойно. Но когда люди занимаются тем, что ищут деньги на юбилей певца палачей, это значит, что с ними что-то совсем не в порядке». *Певец палачей* — это Маяковский, чье 109-летие отмечают люди, то есть организаторы «Фестиваля Маяковского» (Москва, 7 — 19 июля). См. сайт фестиваля: <http://www.futurism.ru>

Михаил Ремизов. Анестезиолог. — «Русский Журнал» <www.russ.ru/politics>

«„Мнение“ — это третий термин, бесцеремонно вторгшийся в великий схоластический спор „веры“ и „знания“ и одержавший в нем политическую победу <...> Не предполагая никакой компетенции на формирование позиции (в отличие от „знания“), а также никакой ответственности и никакого вовлечения в нее (в отличие от „веры“), „мнение“ предстает тем не менее основным коммуникативным оператором „массовых обществ“...»

Александр Ройфе. Мода на бунт. Детская болезнь левизны в отечественной критике. — «Книжное обозрение», 2002, № 25-26, 17 июня.

«Именно масскульт, честный, беспримесный масскульт, который весь стоит на консервативных ценностях (Бог, семья, собственность, патриотизм — порядок произвольный), сражается сегодня с леваками за власть над умами сограждан».

Является ли в таком случае шоу-бизнес частью масскульта? — удивился А. В.

Геннадий Сапронов. «Мы ужасаемся этой правде...» Последнее интервью Виктора Астафьева. — «Московские новости», 2002, № 22, 11 июня.

«Ни при каком застое никто не лгал так беззастенчиво и самозабвенно, никогда не было столько агрессивности и злобы, как в журнальных и газетных статьях конца 80-х — начала 90-х годов», — говорил **Виктор Астафьев**.

См. также: «Я же все-все на машинке набирала, все пятнадцать томов. От рукописи до последнего варианта. А „Папушку“ он восемь раз переделывал, „Царь-рыбу“ — тринадцать. Сам говорил, что я его избаловала. Василий Иванович Белов вообще удивлялся: „Перепечатай мне жена хотя бы рукопись, я б на колени перед ней встал“. <...> Вот только „Прокляты и убиты“, особенно „Чертову яму“, очень медленно печатала:

там же мат на мате, а я этого не переношу», — вспоминает **Мария Семеновна Астафьева-Карякина** («Огонек», 2002, № 27, июль).

Виктор Серж. Годы без пощады. Роман. Перевод и вступительная статья Владимира Бабинцева. — «Урал», Екатеринбург, 2002, № 6.

«Годы без пощады» — итоговое произведение троцкиста Виктора Львовича Кибальчича (1890 — 1947), более известного по литературному псевдониму Виктор Серж. Печатается первая часть — «Секретный агент». См. также: **Виктор Серж**, «Дело Тулаева». Перевела с французского Элен Грей. — «Урал», 1989, № 1, 2, 3.

Вадим Скуратовский. К загадке еврейского феномена (всего лишь гипотеза). — «Егупец», Киев, 2002, № 9 <<http://judaica.kiev.ua>>

«Современный антисемитизм, — собственно, миф о мировом владычестве евреев, замороживший полунинтеллигентную, — это возмездие современности за более чем 75-летнее отсутствие в ней В. В. Розанова, может быть, самого глубокого в истории знатока и толкователя феномена еврея».

Ср.: «Розанов, Ницше и Шестов для этих гуманистов — даже не „цветы зла“, а необъяснимые мутанты на грядке всепобеждающего человеческого духа, которые нужно как можно быстрее вылопать», — пишет **Алексей Зензинов** («Не на том боку. Розанов и журналистика» — «Русский Журнал» <<http://www.russ.ru/culture>>).

Средняя для среднего. Борис Дубин: «Идея литературы как главной составляющей русской культуры изрядно потускнела». Беседовал Сергей Шаповал. — «НГ Эк libris», 2002, № 20, 20 июня.

Говорит литератор и социолог **Борис Дубин**: «В социологическом плане очень важно, что из культурного поля исчезла фигура так называемого первого читателя. Это тот, кто по собственному наитию читает первым и говорит другим, что стоит читать. Это не литературный критик, это отчасти знаток, отчасти библиофил, отчасти „чайник“ и неофит, интересующийся литературой больше всего на свете, — „семейство“ первых читателей складывалось из многих фигур. Его исчезновение создает проблему в коммуникации между разными слоями читающей публики, писателями, издателями и т. д.»

«Должны возникнуть <...> системы магнитных полей — читательско-писательские. Для этого надо перестать себя успокаивать, что у нас все хорошо: есть читатели, мы держим планку хорошей литературы и так далее. Ситуация очень проблематичная, даже критическая: с пониманием литературы, с ролью писателя, с представлением о читателе», — говорит **Борис Дубин** («Известия», 2002, № 119, 11 июля).

Тайны, соединенные в слове. Историк и философ Михаил Яковлевич Гефтер (1918 — 1995) был одной из самых значительных фигур интеллектуального ландшафта 60 — 70-х годов прошлого века. Публикация Елены Высочинной. — «Время МН», 2002, № 107, 26 июня.

«Природа этой тайны, как мне кажется, общая и у Пушкина, и у Твардовского. <...> Она приходит как некая архитектурная трудность, как страдание формы, как странное ощущение исчерпанности или близкого исчерпания формы. Притом не заданной, так сказать, наследственно, не заданной поэтическими предками и предшествующими поколениями. Нет, формы, казалось бы, только недавно им найденной, в которой он свободно двигается, по отношению к которой мы еще долгие годы, десятилетия (а то и века) будем чувствовать себя людьми, прикасающимися к чему-то очень важному и нужному. Он же, переживший тоску сковавшей его „формы“, пошел дальше, а тем самым совершил открытие, указав путь возобновления, сохраняющее и величие, и теплоту» (М. Гефтер).

Лев Утевский (Израиль). Тора и современность. Попытка понимания арабо-израильского конфликта в рамках книги Второзаконие. — «Новый век XXI». Международный еврейский журнал. Главный редактор Иосиф Бегун. 2002, № 1.

«Мы [израильтяне] обязаны понять, за что Господь наказывает нас и почему именно палестинцами».

Егор Холмогоров. Когда бы грек увидел наши игры... — «Globalrus.ru». Информационно-аналитический портал Гражданского клуба. 2002, 14 июня <<http://www.globalrus.ru>>

«Спорт — это не национальная идея России и не имеет к ней по большому счету никакого отношения. <...> Развивающаяся по нарастающей в последние полгода околоспортивная истерика должна быть остановлена. Остановлена сейчас, пока она не превратилась в один из мощных факторов общественной дестабилизации».

Ср.: «Классическое право „толпы” на восстание является ответом на вопиющую неадекватность „элиты”. И не может быть сомнений, что постклассическое право „толпы” на погром определено в точности тем же. <...> Судите сами: если адекватная реакция „элиты” на футбольный матч состоит в том, чтобы, послав к черту пленарные заседания и скучковавшись где-то между телекамерой и телеэкраном, визжать, фамильярничать, делать ручкой торжествующий жест по поводу забитого Тунису гола — мол, „все у нас получится” — или, наоборот, пускать скупую слезу и делать отчаянный жест по поводу гола пропущенного, то какова, спрашивается, должна быть адекватная реакция „толпы”? Да, погром... И вот в следующий миг „элита” визжит уже не по поводу забитого гола, а по поводу разбитой витрины. Что само по себе неплохо, ибо маркирует иную степень приближения к реальности, о восстановлении которой в правах пришлось позаботиться „озверевшей толпе”. Толпа, вообще говоря, затем и существует. Реактивная и лишенная субъективной воли, она не может ошибаться. Как не может ошибаться дождь, когда свидетельствует об облаках, или дым, когда свидетельствует об огне», — пишет Михаил Ремизов («Вперед, Россия!» — «Русский Журнал» <<http://www.russ.ru/politics>>).

Ср.: «<...> 9 июня происходило спровоцированное начало межпоколенческой гражданской войны, когда упертая в потолок перспектив молодежь сначала немотивированно, а затем все более организованно начинает выстраиваться в армии и партизанские соединения против пожилой номенклатуры, которая в свою очередь, имея на своей стороне госаппарат и спецслужбы, возможность выстраивать репрессивное законодательство, надеется заморозить молодежь, заковать ее, как Неву в гранит», — пишет председатель общественного объединения «Партия России» Юрий Крупнов («Русский переплет» <<http://www.pereplet.ru>>).

Ср.: «Власти числосредне не понимают, что загнали свою молодежь в невыносимую несвободу. Что это был эмоциональный всплеск, вздрог, озноб, знак нервного истощения русской молодежи. <...> Молодежь служит основной целью, мишенью для насилия государства. Молодой — значит, опасный, значит, почти как чеченский боевик, значит, бандит; призывник, покажи руки — не наркоман ли ты, покажи документы — есть ли у тебя регистрация, не пора ли тебе идти в армию, есть ли у тебя отсрочка?.. На футбол — сквозь строй ментов, из метро — тоже... <...> Это была здоровая реакция на бесчинства государства! Нервный срыв — в ответ на режим крепостного права и издевательства, ибо молодежь в России — самый угнетенный класс общества», — читаем в письме Эдуарда Лимонова Александру Проханову из Лефортова («Завтра», 2002, № 27 2 июля <<http://www.zavtra.ru>>).

Ср.: «Молодежь, громившая Манежную площадь, — это все, что угодно, но только не „совок”...» (Максим Соколов, «Похороны „совка”» — «Известия», 2002, № 104, 20 июня <<http://www.izvestia.ru>>).

Ноам Хомски. Новый мировой порядок. Перевод Исраэля Шамира. — «Лебедь». Независимый альманах. Бостон, 2002, № 276, 16 июня <<http://www.lebed.com>>

«Новый мировой порядок, провозглашенный после дезинтеграции СССР, основан на старых принципах, выраженных еще Уинстоном Черчиллем: „Управление миром должно быть в руках материально благополучных народов, богатых людей, мирно живущих у себя дома, а не голодных народов, стремящихся улучшить свое положение”...»

Арон Черняк. Еврейский вопрос в России: глазами Александра Солженицына. По страницам книги «Двести лет вместе». — «Нева», Санкт-Петербург, 2002, № 4.

«Мы не можем поставить Солженицына рядом с Достоевским с его патологической ненавистью к еврейству — это было бы несправедливо. Но мы можем и должны говорить о близости Солженицына к Достоевскому — в плане тенденции признания равной (и даже большей) вины еврейства в русско-еврейском противостоянии...»

Ср.: «Настаиваю категорически: на пятистах страницах плотного книжного текста я не нашел ни единого прямого повода заподозрить писателя в антисемитских пристрастиях», — утверждает Валентин Оскоцкий («Еврейский вопрос» по Александру Солженицыну — «Посев», 2002, № 5).

См. также: Яков Шаус, «Уравнение без неизвестных» — «Зеркало», Тель-Авив, № 17-18; Валерий Каджая, «„Дело Бейлиса” и Александр Солженицын» — «Новое время», 2002, № 2936, 24 февраля; Лазарь Шерешевский, «Еврейские глаза Петра Чаадаева» — «Общая газета», 2002, № 11, 14 марта; Петр Калитин, «О русско-еврейском тождестве или абсурде» — «День литературы», 2002, № 3; Валерий Каджая, «Те, которые во всем виноваты» — «Общая газета», 2002, № 13, 28 марта; Юрий Арабов, «Место, где нет еврейской проблемы» — «Общая газета», 2002, № 13, 28 марта; Валентина Твардовская, «За и против истории» — «Общая газета», 2002, № 14, 4 апреля; Александр Мелихов, «Двести лет спустя» — «Нева», Санкт-Петербург, 2002, № 5; Борис Альтшулер, «О книге А. И. Солженицына „Двести лет вместе”» — «Русский переплет» <<http://www.pereplet.ru>>

www.pereplet.ru; «„200 лет вместе“. Каков же итог?» (Лев Аннинский, Борис Бергельсон, Валентин Оскоцкий) — «Новый век XXI», 2002, № 1; Генрих Иоффе, «А. И. Солженицын. Двести лет вместе» — «Новый Журнал», Нью-Йорк, 2002, № 227; Семен Резник, «Вместе или врозь?» — «Вестник», Вашингтон, 2002, № 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, продолжение следует <<http://www.vestnik.com>>

Владимир Чивилихин. «Моя мечта — стать писателем». Из дневников 1941 — 1974 гг. Подготовлено к публикации Е. В. Чивилихиной. Вступительное слово Станислава Куняева. — «Наш современник», 2002, № 6.

«3 июня 1957 г., понедельник. Сегодня познакомился с Леонидом Леоновым. <...> Не верит, что будет война. Говорит, что война холодная сменится экономической, а экономическая — культурной. Война пойдет за души людей. Мы, при нашем состоянии искусства, проиграем эту войну, если не поправим дела в искусстве».

Игорь Чубайс. Обратная сторона свободы. Абсолютизация демократических начал может привести к разрушению социальности. — «Независимая газета», 2002, 19 июня.

«<...> Единственное, что мне представляется вообще неприемлемым, — продолжать делать вид, будто выше и лучше свободы ничего нет и что никаких проблем она не порождает».

Георгий Шенгели. Сальери. Драматическая поэма. Вступительная статья и публикация Вадима Перельмутера. — «Toronto Slavic Quarterly». *Academic Electronic Journal in Slavic Studies*. 2002, № 1 <<http://www.utoronto.ca/slavic/tsq/012002>>

Изора заказывает Сальери убийство Моцарта. Сальери убеждает Моцарта отравиться. «МОЦАРТ: Я не могу, нет! / САЛЬЕРИ: Можешь, Моцарт, можешь!» Таки смог.

Как сообщает публикатор, у Шенгели *не изданы* — четыре поэмы, беллетризованные мемуары «Черный погон», неоконченный роман «Жизнь Адрика Маллисино», несколько отличных переводов из Бодлера, четыре десятка рубайят Хайяма, семисотстраничный трактат «Русское стихосложение», несколько завершенных теоретических работ, в частности, «Свободный стих», дневники и записные книжки, за малым исключением переписка; *не разысканы* — «Стихи о Гумилеве», поэмы «В дежурке» и «Каменный гусь»; *не собрано* — изрядное число стихов, расплывшихся в периодике рубежа десятых — двадцатых годов.

Алексей Шорохов. На пороге дурной бесконечности. — «Литературная газета», 2002, № 26, 26 июня — 2 июля.

«Помилуйте, о какой литературе можно говорить, о какой „потере интереса к первичному тексту жизни“, когда сам этот „первичный текст“ все меньше интересуется собой, с головой уйдя во „вторичное“ и „третичное“?! Ведь не может же человек сидеть и спокойно смотреть, как у него от обморожения отпадают пальцы на руках и ногах, — если он так сидит и не делает ничего, чтобы спасти себя, значит, он чем-то в гораздо большей степени увлечен, чем собой. Настолько, что даже не видит себя и погибели своей не чувствует...»

Александр Щеглов. «Голубая» зараза. Мерзость перед Богом и людьми. — «Завтра», 2002, № 26, 25 июня.

«Не все политики являются законченными содомитами, но все имеют тенденцию к этому».

Андрей Юрганов. Правда и ложь: табуированный опыт России. — «Интеллектуальный Форум», 2002, № 9 <<http://if.russ.ru>>

«В старославянском языке X — XI веков мы видим своеобразное разделение сфер между словами „блуд“ и „блядь“. „Блядь“ (мужского рода) означало „болтуна“, „пустомелью“; женского — „пустую болтовню“, заблуждение, ересь...»

Составитель Андрей Василевский (www.avas.da.ru).

«Арион», «Вопросы литературы», «Вопросы философии», «Звезда», «Наше наследие», «Октябрь», «Отечественные записки», «Памятники отечества»

Андрей Арьев. Не теряя отчаяния. К 60-летию Самуила Лурье. — «Звезда», 2002, № 5 <<http://magazines.russ.ru/zvezda>>

«За громоздким обозом с грудой опозоренных учений и неудавшихся их реформ, с хламом всех наших вольных и невольных предрассудков, как в сказке, тянется в текстах

Самуила Лурье рассып спасительных зернышек — русских слов, в простодушном порядке оброненных забывшей страх рукой. Обратная тропа в лоно русской словесности.

Оттого и играет так волюн Самуил Лурье со словом чужим, что твердо уверен в своем. Авторская, блистательная, прямая, собственная, себе доверяющая русская речь и есть его главный герой. В ней же и вся насущная мораль: „Если бы население России в своем большинстве научилось использовать русский язык как орудие мышления — жить здесь было бы не так страшно и не так странно”. Ирония в том, что странные ситуации — любимые ситуации автора, собирающего с миру по страничке для необитаемого острова».

Вслед за Арьевым публикуются и три сочинения **Самуила Лурье**, объединенные заголовком «Поступки, побуждения, слова» и подзаголовком *Из цикла «Книги необитаемого острова»*.

Рецензию **Елены Невзглядовой** на книгу С. Лурье «Успехи ясновидения» читайте в настоящем номере «Нового мира».

А. С. Ахизер, А. П. Давыдов, М. А. Шуровский, И. Г. Яковенко, Е. Н. Яркова. Большевизм — социокультурный феномен. (Опыт исследования. 2). — «Вопросы философии», 2002, № 5.

«Изучение большевизма не может не породить как нравственного негодования, так и недоумения. Для этого достаточно обнаружения сегодня могил безымянных людей, погибших от государственного террора по обвинениям, которые подчас они не могли даже понять. Это, однако, не отменяет необходимости понять историю большевизма, прежде всего через критику того мышления, которое составляло необходимый элемент его абсурдного мира. Нравственное негодование — один из движущих стимулов исследования. Однако оно не может быть беспристрастным судьей». *В одиночку тут не справишься*.

Дмитрий Бак. Революция в одной отдельно взятой поэзии, или Бесплотность ожиданий. — «Арион», 2002, № 2 <<http://magazines.russ.ru/arion>>

«Главное же состоит в том, что сами по себе ничего не гарантируют ни „постконцептуалистская” стратегия двойного отрицания, ни установка на новую-старую архаику. Все, как всегда, зависит от индивидуальных родимых пятен творчества, а не от принадлежности к клану и школе. Потому-то я убежден, что „традиционалист” Татьяна Бек — хороший поэт (как бы ни возмущался Д. Кузьмин положительными отзывами Игоря Шайтанова о ее стихах), а Е. Костылева — ну ровно-таки никакой, пусть у нее и светят во лбу все путеводные звезды постконцептуализма. И наоборот, опубликованные недавно в „Литературке” традиционно „гладкие” стихи А. Дементьева под скромным титулом „Помогите президенту” — просто смехотворны, позорны. Такого даже в брежневские времена Чаковский не печатал — должно быть, передавал в дружественный журнал „Корея” с заменой всех „Леонид Ильичей” на „Ким Ирсенычей” (цитировать просто не решаюсь, это похлеще песен Шиша Брянского)».

Константин Бальмонт и Иван Шмелев. Письма К. Д. Бальмонта И. С. Шмелеву. Вступительная статья, примечания и публикация К. М. Азадовского и Г. М. Бонгард-Левина. — «Наше наследие», 2002, № 61.

История дружбы и творческого сотрудничества, сложившихся во время жизни на юге Франции, в местечке Капбретон (конец 20-х — начало 30-х годов). В неопубликованной статье «Русские в Капбретоне» Бальмонт писал: «Боле всего я люблю Ив. Серг. Шмелева. Это — пламенное сердце и тончайший знаток русского языка. Утробного, земного, земельного и надземного языка, также и все разнообразия русской речи ему ведомы как волшебнику. Он истинно русский человек, и каждый раз, как с ним поговоришь, расстаешься с ним обогащенный — и вновь найдя самого себя, лучшее, что есть в душе. <...> Шмелев, на мой взгляд, самый ценный писатель из всех нынешних, живущих за границей или там, в этом Чертовом болоте. Там, впрочем, почти никого и нет. А из зарубежных он один воистину горит неугасимым огнем жертвенности и воссоздания в образах истинной Руси». «И солнечный Поэт пошел со мною», — сказал в 1936 году о Бальмонте — на вечере, посвященном пятидесятилетию его творческой деятельности, «бытовик-прозаик».

Письма, стихи-посвящения, редчайшие фотографии: еще один осколок достославной Атлантиды.

Даниел Белл. Возобновление истории в новом столетии. (Предисловие к новому изданию книги «Конец идеологии»). — «Вопросы философии», 2002, № 5.

Перевод авторского предисловия к знаменитой книге, вышедшей в 1960 году, сделан по изданию 2000 года (Cambridge (Ma.) — London, «Harvard University Press»).

«Главный факт, открывающийся при рассмотрении истории как истории *народов* (а не только институтов или структур), заключается в росте требований народами всего мира культурной (если не политической) автономии. Они выдвигаются жителями канадской провинции Квебек, индейцами чьяпас, басками, ломбардцами, корсиканцами, косоварами, курдами, чеченцами, кашмирцами, тамилами, тибетцами, палестинцами, жителями Восточного Тимора и еще несколькими народами Индонезийского архипелага. Достижимо ли это? Европейская хартия о местных наречиях и языках меньшинств, принятая представляющим сорок стран Советом Европы и вступившая в силу в марте 1998 года, утверждает „неотъемлемое право“ использования подобных языков в частной и общественной жизни, определяя их как „традиционно используемые“ гражданами, составляющими меньшинство населения той или иной страны. Как бы красиво это ни выглядело в теории, лишь *восемь* (курсив мой. — П. К.) стран ратифицировали договор, причем Франция отказалась это сделать, ссылаясь на некую угрозу чистоте родного языка. Здесь мы имеем дело не со столкновениями цивилизаций, составляющими Историю с большой буквы, а с конфликтами внутри стран и народов, составляющими историю с маленькой буквы, но при этом гораздо более непосредственно затрагивающими людские страсти.

В завершение я скажу: „конец идеологии“ как гигантская историческая смена убеждений и ориентиров, на мой взгляд, исчерпал себя. И теперь вновь начинается история».

В этом же номере см.: В. Л. Иноземцев, «Социология Даниела Белла и контуры современной постиндустриальной цивилизации» — о личности и трудах выдающегося социолога второй половины XX века, родившегося в 1919 году и оказавшего огромное влияние на планирование будущего развития Америки. «Портреты» трех главных книг: «Конец идеологии» (1960), «Грядущее постиндустриальное общество» (1973) и «Культурные противоречия капитализма» (1976). «<...> Культура постмодернизма, сформировавшаяся в 60-е годы, породила ряд противоречивых последствий, которые Белл представляет в виде кратких тезисов: „дезинтеграция искусства“, „демократизация гения“ и „утрата индивидуальности“, „трансформация театра“. <...> Традиционные литературные произведения, особенно романы, всегда концентрировались на личности и ее поведении. В современных романах личность исчезла, и на замену ей пришло то, что Белл называет „безумием“. Романы стали нигилистичными, гнетущими, апокалиптическими...»

С. Боровиков. Время, назад! В русском жанре-21. — «Вопросы литературы», 2002, № 2, март — апрель <<http://magazines.russ.ru/voplit>>

Такой отрывочек:

«,— Карпушка, а ты знаешь, что такое пейзаж? ...

— Ну, матерком что-нибудь...»

И. А. Бунин. Дневник 1911 г.

„— Ну, Кулик, скажи — перпендикуляр.

— Совестно, Семен Семенович”.

А. Н. Толстой. Незаконч. роман „Егор Абзов“, 1915 г.

Во мне подобные ощущения вызывают слова *дискурс*, *дефолт* и множество других благоприятных нашего несчастного словаря».

То-то компьютер их красным подчеркивает.

Очередное эссе С. Боровикова из того же цикла см. в следующем номере «Нового мира».

А. В. Бузгалин. «Постиндустриальное общество» — тупиковая ветвь социального развития? (Критика практики тотальной гегемонии капитала и теорий постиндустриализма). — «Вопросы философии», 2002, № 5.

Очевидно, это — для «равновесия» господам Беллам и Иноземцевым. Профессор, возглавляющий Центр по изучению информационного общества при председателе Комитета по образованию и науке Государственной Думы РФ, заканчивает свою *критику* туманным образом некоего *идушего каравана*.

«<...> *История*, как бы о том ни мечтали фукуямы, *не заканчивается*. Да, сегодня мы оказались в полосе исторического реванша неолиберализма. Но она не вечна, свидетельств чему — бездна, начиная с теоретических волнений „элиты“, пытающейся в лице Блэра и К° искать „третий путь“, и заканчивая практикой массовых акций протеста против глобальной гегемонии капитала последних лет в Сизтле, Праге, Ницце и мн. др., в противоречивых, но постоянных попытках найти путь к иному обществу на Кубе, протестном рабочем движении в России — всего не перечислить. В мире был и ныне вновь набирает силу иной путь иного каравана, ищущего более достойный ответ на вызовы глобальных проблем XXI века. Существует ли этот ответ? Автор, его предшественники и коллеги делали и делают все возможное, чтобы доказать теоретически и практически: да, существует».

Светлана Васильева. Пустячок, идиома. — «Октябрь», 2002, № 6 <<http://magazines.russ.ru/October>>

О Чехове в интерпретации Камы Гинкаса. Название статьи — это строчка из стихотворения Семена Липкина. «Я сижу на ступеньках / Деревянного дома, / Между мною и смертью — / Пустячок, идиома...» «В данном случае, — пишет С. Васильева, — „идиома” — „Дама с собачкой”. О разлученности двух очень близких людей».

Леонид Воронин. «Услышать... для поэта — уже ответить». (Марина Цветаева и Владимир Луговской. Версия). — «Вопросы литературы», 2002, № 2, март — апрель. По-моему, доказательно. В общем, было, было.

Василий Голованов. Тотальная география Каспийского моря. Вступление и заключение ведущего рубрики «Путевой Журнал» Андрея Балдина. — «Октябрь», 2002, № 6.

В этот проект включены: эссе «Путешествие на родину предков, или Пошехонская сторона», извлечения из «Записок о городе Весьегонске» ученого-агронома П. А. Сиверцева и большое повествование «Хлебников и птицы».

«Заряжая свежую пленку в фотоаппарат, я сделал три контрольных спуска и так случайно уловил в объектив цвет земли Азии: желтый с голубым. Табачные листья, высыхая на вешалах, приобретают цвет глины, которой обмазаны (с примесью золы) стены тростниковых построек аула, бурый с желтыми и тускло-зелеными прожилками цвет бескрайней степи, цвет сухого кизяка, которым теплится печь во дворе, курясь стружкой терпкого дыма. Череп коровы белеет на изгороди, девушка с лицом террактового цвета с охапкой желтых прожилковатых листьев в густом аромате сушилини; пресс, листья табака, словно сланцевые плиты, вырубленные из палящего времени... У Хлебникова та же цветовая гамма передана двумя строками:

Как скатерть желтая был гол
От бури синей сирый край...»

См. эссе **Василия Голованова** «Видение Азии. Тывинский дневник» в № 11 «Нового мира» за этот год.

Владимир Губайловский. Орел и ястреб. — «Арион», 2002, № 2.

О гумилевском «Орле» (1909) и бродском «Осеннем крике ястреба» (1973). Короткий разговор не столько о параллелизме и перекличках, сколько о постоянстве совершенства, на которое не может повлиять даже время.

Ирина Ермакова. Никаких трагедий. Стихи. — «Арион», 2002, № 2.

Отсутствие метафор видит Бог.
Он всякое безрыбье примечает.
Листая, Он скучает между строк,
А то и вовсе строк не различает.

Но если лыком шитая строка
Нечаянно прозрачно-глубока,
Ныряет Бог и говорит: «Спасибо».
Он как Читатель ей сулит века
И понимает автора как Рыба.

Наталья Зарубина. Этика предпринимательства в русской культуре. — «Отечественные записки», 2002, № 4-5 <<http://magazines.russ.ru/oz>>

«Деловой мир часто предстает в русской литературе как конфликтная и конкурентная среда, по своей природе, по своим законам располагающая человека к нарушению нравственных норм (см., например, поэму Некрасова «Современники»). Хозяйственная деятельность, в особенности предпринимательство, являются своего рода „зоной риска”, где мирская суета, погоня за прибылью, страстная погруженность в дела легко приводят к забвению подлинных духовных добродетелей. Богатство всегда таит опасность гибели. (Впрочем, эти ценностные установки не менее ярко выражены и в фольклоре: „Богатому черти деньги куют”, „Пусти душу в ад, будешь богат”, „Копил-копил, да черта купил”.)».

Из архива Юрия Домбровского. Вступительная заметка и публикация К. Турумовой (Домбровской). — «Вопросы литературы», 2002, № 2, март — апрель.

Теплые письма Бориса Зайцева и Георгия Адамовича.

С. В. Илларионов. К вопросу о достоверности и полноте исторического знания (критические замечания о концепции хронологии и истории Н. А. Морозова — А. Т. Фоменко). — «Вопросы философии», 2002, № 6.

Статью скончавшегося в прошлом году ученого редакция журнала представляет как важный методологический текст, в котором «спокойно и обстоятельно обсуждаются те

идей, которые в последние годы вызвали большой шум в наших СМИ, при этом накал страстей вокруг этих идей нередко обратно пропорционален убедительности выдвигаемых аргументов».

«До сих пор я в основном говорил о концепции А. Т. Фоменко как о гипотезе, заслуживающей научного обсуждения и критики. А теперь хочу отметить такие моменты произведений Фоменко, которые, с моей точки зрения, делают их (произведения) не заслуживающими даже названия гипотезы <...> и которые можно охарактеризовать как грубую (и даже наглую) ложь. <...> Я не намерен извинять эти „промахи“ и „ошибки“. Это не промахи и не ошибки, а ложные утверждения. Промах — это описка или неисправленная опечатка. Ошибки могут быть у любого ученого. Нильс Бор дважды в своей научной деятельности выдвигал ошибочную гипотезу о нарушении закона сохранения энергии, но от этого никто не перестал считать его одним из величайших ученых. Но когда автор делает утверждения, ложность которых можно проверить по любому справочнику, то это говорит либо о крайней некомпетентности, либо о сознательном желании ввести читателя в заблуждение. Что лучше, а что хуже — я предоставлю судить самим читателям. Но для меня наличие таких утверждений в произведениях Фоменко означает, что все эти произведения не заслуживают научного доверия».

Владимир Кантор. Кого и зачем искушал черт? (Иван Карамазов: соблазны «русского пути»). — «Вопросы литературы», 2002, № 2, март — апрель.

«Достоевский призывал к идеальному пути, но нарисовал на самом деле опасность реального. И указал интеллигенции, что несет она ответственность не за слово свое (за историю человечества много разных слов произносилось), а за умение разделить свое слово от чужого поступка, не освящать своим словом чужое зло. Поэтому так важно ему растождествление Ивана с чертом. Ибо он понимал, что от успеха этого растождествления зависит и судьба России. Если эти *духовно высшие* (на которых ориентируется входящий в историю малообразованный пока смерд) припишут себе зло, то тем самым совратят всю страну, весь народ, который и не будет искать *спрятанный где-то идеал* и *тех праведников, которые хранят его*. Тогда народ скажет: раз эти духовно высшие — с чертом, ну тогда, стало быть, и в самом деле все позволено».

Светлана Кекова. «А стихи — тонкая материя...». Беседу вела Инга Кузнецова. — «Вопросы литературы», 2002, № 2, март — апрель.

Кажется, это *первая* столь подробная беседа с поэтом. Тут и рассказы о родителях, о детстве, Сахалине и Саратове, воде и воздухе, логике развития поэтического сюжета, собратях и учителях... обо всем. Самая «тонкая материя» начинается после вопроса: «Для вас самой ваше стихотворение скорее разговор с Богом — или разговор о Боге с людьми?» Очень интересно — о «векторах рассуждения»: что прощается и что *не* прощается *дару*, о совпадении и несовпадении *души* и *человека*. Цитировать — трудно, да и не хочется: беседа ценна своим ритмом и цельностью композиции, когда давно передуманное сливается с рассуждением *по ходу*.

См. также рецензию **Нatalьи Ивановой** «Циклотимия. Жертвенник сердца» на подборку стихов С. Кековой в № 2 «Нового мира» за 2002 год. («Арион», 2002, № 2):

«Что такое — этот цикл Кековой?

Это — ответ на без-образии окружившего и душящего нас пространства, усеянного обломками смыслов и объедками культур. Ответ — не грозной и едкой полемикой с проводниками и агентами его, а созиданием, упрочением, поминовением. <...> Она филологична, но в стихах ее нет, слава Богу, привкуса филологии. Она находится внутри традиции, и это не поза, а образ жизни. Именно здесь у Кековой сходятся *modus vivendi* и *modus scribendi*. Н. Иванова пишет и об опасностях, по ее мнению, подстерегающих Кекову — «именно на осмысленно избранном пути». Правда, по поводу деликатнейшей из них (настойчивое, как она пишет, обращение к религиозной символике) сама с собой немножечко спорит.

Олег Клинг. Борис Пастернак и символизм. — «Вопросы литературы», 2002, № 2, март — апрель.

Прослежено весьма тщательно.

И. В. Кондаков. «По ту сторону» Европы. — «Вопросы философии», 2002, № 6.

Эпиграфы, главы. Названия глав: «Граница», «Авось», «Окно». Об «открытости» и «закрытости», одним словом. Забавно, что в разговоре о том, чем представляется Европа — России, употребляется выражение «за оконным стеклом» (курсив мой. — П. К.). Еще чуть-чуть — и образ вошел бы в образ.

Юрий Крелин. И один в поле воин. — «Вопросы литературы», 2002, № 2, март — апрель.

Продолжение мемуарно-эссеистической прозы писателя и врача (см. «Вопросы литературы», 1995, № 5; 1998, № 2; 1999, № 5). Здесь: Мариэтта Шагинян, сестры Суок,

Елена Боннэр, Владимир Максимов, Фазиль Искандер, Тамара Владимировна Иванова и сын ее Кома (Вяч. Вс. Иванов), встречи ветеранов войны.

«Кардин. Кончил военную академию. „И хорошо, что не было у вас современных карт! По ним бы не вывели из окружения никого. Все наши карты, из-за постоянной борьбы со шпионами и врагами, печатались со смещением, были неправильны. И мы во время боев пользовались немецкими, сделанными с аэрофотосъемок. Вот они-то и были абсолютно точными”... Никогда нам не познать до конца свою родную и любимую сторонку!...»

Александр Ласкин. Гор и мир. — «Звезда», 2002, № 5.

О легендарном прозаике и поэте Геннадии Горе (1907 — 1981), последователе и продолжателе обэриутской линии в литературе, авторе романа «Корова».

«Именно радикальность больше всего удивляет в этих текстах (стихах Гора. — Л. К.). Сложившийся тридцатипятилетний автор вдруг отбрасывает накопленный им опыт и выбирает традицию Хармса и Вагинова. По сути, речь идет не только о стилистике, но об ином варианте судьбы. Кажется, он ничего не боится. За исключением, конечно, жизни и смерти. Никогда ни прежде, ни после он не писал с такой поистине ошарашивающей безысходностью и отчаянием. Он не столько рассказывает о своем страхе, сколько дает возможность высказаться ему самому. Именно так и должен говорить ужас — сбивчиво, нелогично, вступающими в самые неожиданные сочетания словами <...> Эти стихи есть прямая, ничем не сдерживаемая речь подсознания».

Тут же представлена большая подборка этих невообразимых стихотворных текстов. Все они написаны в 1942 году.

Геннадий Лебедев. Сколько стоят обещания государства, или Как решить проблему неплатежей. — «Отечественные записки», 2002, № 4-5.

Первые две фразы из небольшой статьи под рубрикой «Позиция» в специальном номере «ОЗ», посвященном теме налогообложения: «Начать стоит с этики. В обычаи делового оборота в нашей стране входит целый ряд совершенно естественных норм, связанных с уступкой прав требования к должнику и зачетом встречных требований».

И две последние: «Одна надежда на Президента. Да и ее нет».

См. в том же номере «ОЗ»:

Налоги собрать просто. Надо только захотеть. На вопросы **Татьяны Малкиной** отвечает **Леонид Рабинович** — руководитель департамента информационных технологий крупного нефтеперерабатывающего концерна.

«Налоги — это насилие. Точнее, насильственный отъем части доходов граждан элементом компромисса. В том, что этот насильственный компромисс продиктован заботой о благе общества, нет никаких сомнений, и в этом смысле насилие, о котором я говорю, — особенное. Насилие такого рода мы часто совершаем над собой сами: когда бегаем, чтобы похудеть, когда не едим то, что нам нравится, потому что это вредно, ну и так далее. Именно в этом смысле налоги — это насилие. Главное, чтобы оно не превращалось в издевательство. А в России налоговая система и практика пока выглядят как издевательство».

См. там же: **Налоги Российской Федерации.** Справка. — Хорошая вещь. Издать бы листовкой и в книжный магазин — по рублю. Народ, ей-богу, брал бы. Простая таблица: вид налога, ставка налога, сумма поступлений в бюджет расширенного правительства.

Весь сдвоенный номер «ОЗ» посвящен этой теме. В редакционной статье пишут, что, когда готовили номер, столкнулись с новым отрядным явлением: все большим стремлением богатых граждан стать «белыми» (честно платить налоги), «потому что так правильно». Но пока «белый бизнес» — недоступная роскошь. В журнале собраны в высшей степени различные мнения специалистов о том, каким должно быть наше налоговое будущее. Два материала: манифест **Геннадия Лебедева** и интервью **Леонида Рабиновича** — это, по сути, «открытые письма» заинтересованным ведомствам. Редакция «ОЗ» очень гордится первыми публикациями по-русски статей нобелевского лауреата **Джеймса Бьюкенена** (вводные главы из книги «Государственные финансы в условиях демократии») и **Ганса Германа Хоппе** («Экономическая и социологическая теория налогообложения»).

Что же до прекрасно зарекомендовавшего себя жанра *справки*, то в номере также имеются: **Структура налоговых органов РФ, Система налогообложения в США, История налогов, Что такое НДС, Офшор, Налоговая оптимизация, Офшорные зоны, Теоретические сведения о практических налогах и Налогообложение малого бизнеса.**

Яков Лотовский. О последних днях Леопольда Авербаха, генерального секретаря РАПП. — «Вопросы литературы», 2002, № 2, март — апрель.

Его не расстреливали, и в пролет лестницы он не бросался. Он умер в лагере — от истощения и побоев. Лотовский приводит (сохраняя орфографию оригинала)

письменное свидетельство солагерника Авербаха, закрывшего генеральному секретарю РАППа глаза, и рассказывает о практике укрывательства смертей заключенных ради получения пайки за умерших. Подобной «мертвой душой» был после своей кончины и Авербах.

Игорь Меламед. Стихи. — «Арион», 2002, № 2.

Нежные, горькие стихотворения тяжело хворающего московского поэта. Читал последнее стихотворение подборки — об участковом враче «Евароновне» — и вспоминал свою «Дорусоломонову». Где она сейчас?

Ах, Ева Ароновна, если ты только жива,
склонись надо мной, сиротою, во тьме полуночной.
В больничном аду повтори дорогие слова:
— Ты скоро поправишься с травмой своей позвоночной.

Попей со мной чаю, а если ты тоже в раю,
явись мне, как в детстве, во сне посети меня, словно
ликующий ангел, где чайную ложку твою
приму, как причастье, восторженно, беспрекословно.

О создании электронного каталога журнала «Вопросы философии» (1947 — 2001 гг.). — «Вопросы философии», 2002, № 5.

Структура и возможности. Ищите на сервере Института системного анализа РАН: <http://systes.isa.ru/vf/index.htm>

О философии, философском факультете и философах (интервью с доктором философских наук, профессором Владимиром Васильевичем Мионовым, деканом философского факультета МГУ). — «Вопросы философии», 2002, № 5.

Беседа по случаю «60-летия со дня воссоздания философского факультета в составе МГУ». «Отчет за прошедший период», теоретический ликбез (последовательный и полезный), планы на будущее, исторический дискурс.

«Проблемами марксизма учеба на философском факультете никогда не ограничивалась. Именно здесь мы читали запретных для многих в советские времена Хайдеггера и Сартра, изучали Библию, слушали лекции о современных философах, чьи имена еще было не принято упоминать вслух даже на „продвинутых“ московских вечеринках. Один из парадоксов этого времени в том, что огромное количество действующих сегодня священнослужителей окончили кафедру истории и теории атеизма и религии. Человек хотел читать Библию, богословские тексты в оригинале. Куда ему оставалось идти? Действительно, куда, бедному? Ну не в церковь же. — П. К.) Масса литературы тогда была закрыта, не предназначалась для свободного чтения. А у нас на факультете позволялось читать практически все.<...> Сегодня *по-прежнему модно* (курсив здесь и ниже мой. — П. К.) говорить о существовавшей раньше жесткой Системе. Да, *иногда трудно было опубликоваться*, обнародовать новую идею (в рамках марксистско-ленинской философии, видимо. — П. К.). Но дискуссий на факультете велось больше, чем сегодня! Внутренняя свобода философа не зависит напрямую от силы внешнего давления».

Конечно, напрямую не зависит. Она лишь время от времени фильтруется парткомами, замами по идеологии, казачками из ГБ, осведомителями из числа студентов и преподавателей, — не напрямую же! И вообще пора бы забыть эти разговоры о «самом консервативном факультете МГУ», пусть их на истфаке изучают.

Вадим Перельмутер. Записки без комментариев. — «Арион», 2002, № 2.

Цитаты, практическое стиховедение, глоссарий читателя. И — как всегда у В. П. — ценные открытия.

«Само слово „концепт“ в теорию-практику российского постмодернизма взято прямо из немецкого, то есть от тех самых славистов, которые постмодернизм и сотворили, получив под свой „концепт“ деньги (Konzept — то, под что дают деньги)».

А я все думаю: что их так в Германии любят-то?

Подробные сведения о последних днях Константина Николаевича Батюшкова. Публикация Т. Л. Латыповой. — «Наше наследие», 2002, № 61.

Редкое свидетельство принадлежит директору Вологодской гимназии — А. В. Власову в ответ на запрос неустановленного лица.

«Батюшков изъявил желание войти в храм; компаньон его согласился на это, прикупив, что он должен вести себя там как следует и ничего не говорить. „Хорошо, хорошо, — отвечал Константин Николаевич, — будьте покойны, я ничего не сделаю; мне только хочется взглянуть, как они там молятся мне“. Войдя в церковь, Батюшков встал на место и чрез несколько секунд надел шляпу на голову; его провожатый при-

нужден был увести его из церкви. Впрочем, в последние годы идея его о том, что он бог, не была уже в нем заметна, как и все идеи его помешательства».

Здесь же зафиксировано стихотворение «Подражание Горацию», написанное в альбом племяннице:

Царицы царствуйте и Ты Императрица!
 Не царствуйте Цари: я сам на Пинде Царь!
 Венера мне сестра и ты моя сестрица
 А Кесарь мой Святой Косарь.

Поленово. Составитель Л. Е. Долгина. — Альманах «Памятники Отечества», 2001, № 52.

Выпуск альманаха посвящен Государственному музею-заповеднику В. Д. Поленова, все 176 страниц. Прошлое и настоящее одного из лучших русских музеев, «философия хозяйства» (воспользуемся формулой С. Булгакова) которого заслуживает, думаю, всестороннего научного и — даже — художественного исследования. «Надо просто ощутить, что Поленово — не игрушка для горстки прирученных сотрудников и друзей. Это отдушина для человечества, это дом воплощенной мечты и это — дом твоей веры. И место это надо хранить, но хранить развивая, стремясь не испортить, более того — пытаюсь угадать, понять, осмыслить, что бы сделал сам Василий Дмитриевич Поленов» (из вступительной статьи директора музея Натальи Грамолиной).

В этом «поленовском выпуске» много семейной хроники: письма, свидетельства, воспоминания, вчерашняя и сегодняшняя история поленовского театра и, конечно, репродукции уникальных картин и фотографии. В общем-то, это — книга, замаскированная под альманах. Хорошо, что она наконец вышла.

Валерий Попов. Век такой, какой напишешь. — «Октябрь», 2002, № 6.

Называется «Каменный гость». Маленькая.

«Путем хитрых карьеристских ухищрений мне удалось следующее: я живу в квартире, в которой жила и умерла Ирина Одоевцева после переезда к нам из Парижа. Кроме того, мне удалось прожить несколько лет в будке Ахматовой в Комарове — правда, она там теснилась одна, а теперь ютятся две семьи, восемь человек. Единственное, что меня пугает, что возникнет вдруг передо мной Николай Гумилев и гаркнет:

— Отстань от моих баб!»

Очень понимаю вас, Валерий Георгиевич. Я снимаю дачу, в которой квартировала Надежда Мандельштам в то самое время, когда она заканчивала свою «Вторую книгу», и еженедельно вожу экскурсантов в комнату писательницы (Лидии Чуковской), подвешенной это сочинение беспощадному разгрому (с которым я, между нами говоря, согласен). Какой же *мраморной мухи* ждать мне по этому случаю?

Алексей Пурин. Стихи. — «Звезда», 2002, № 5.

Подборка известного петербургского поэта начинается с десятичастного *венка* «На смерть Б. Р.».

Там, где Батюшков нежный
 и Давыдов лихой,
 ты обрел безнадежный
 вечнодышащий зыбкий покой?

Светлым тающим илом
 вот летит ваш отряд —
 от могил, во главе с Михаилом —
 на последний парад.

(VIII)

См. также: **Алексей Пурин**, «Ледяной улов» — «Новый мир», 2002, № 9.

Россия и Китай: проблема понимания. Беседа с профессором Народного университета Пекина Ань Цинянем. — «Вопросы философии», 2002, № 6.

Невероятное чтение.

«Наши чиновники, если они выступают в газетах и других средствах массовой информации, обязаны произносить соответствующие „правильные формулы“. Но это всеми, в том числе ими самими, воспринимается именно как ритуал, ни к чему не обязывающий в реальной жизни. А на конференциях, в аудиториях можно самовыражаться совершенно свободно. Сейчас в Китае ни у кого нет права считать себя единственным настоящим марксистом. Понимание марксизма различно. У нас есть четыре основных принципа, официально не подлежащих критике. Первое — руководство Коммунистической партии. Второе — диктатура пролетариата. Третье — марксизм-ленинизм. Четвертое — социализм. Если вы открыто критикуете, выступаете против этих четырех

принципов, это недопустимо. В этом случае вы будете восприниматься в качестве противника государственного строя <...>.

Сейчас, по-моему, для иностранцев адекватно понимать Китай трудно. Потому что, как и раньше, вы понимаете Китай главным образом по официальным лозунгам и публикациям, так сказать, „высоко поднятому знамени“, а не по реальным настроениям тех, кто под этим знаменем идет. Однако в Китае сложилась очень интересная ситуация. Допустим, по улице едет машина. Когда она поворачивает направо, надо сигналить правой лампочкой, когда налево — левой. В Китае сигналит левая лампочка, а поворачивают направо. „Левая лампочка“ — это левые лозунги, ортодоксальные взгляды, приверженность марксизму-ленинизму. Направо — значит, в сторону рыночной экономики, капитализма и т. п. Под левыми лозунгами и красными знаменами в Китае сейчас реализуется правый образ действий. Лозунги, выступления правительства марксистские, как и публикации в печати. А на самом деле — повсеместная плюрализация, гуманизация. Эта ситуация существует у нас во всех областях, в частности, и в области философии. Вот почему Китай понять трудно, если судить только по выступлениям в политическом пространстве. Такой ситуации в России нет. <...> Наши ведущие политики дисциплинированно поняли, что программа Дэн Сяопина — это правильно».

Наталья Семенова. Алхимия цвета. — «Наше наследие», 2002, № 61.

О жизни и художественной судьбе Бориса Анисфельда (1878 — 1973), театрального художника, сделавшего в послеоктябрьское время фантастическую карьеру в США. Публикация появилась по следам выставки, прошедшей год назад в Московском центре искусств. Текст сопровождают репродукции полотен и графических работ, выполненных после 1928 года, когда Анисфельд покинул театр и переехал из Нью-Йорка в Чикаго.

Алексей Смирнов. Лазарь и бес. Рассказ. — «Звезда», 2002, № 5.

Странно-гадливые чувства испытываешь при знакомстве с поучительной историей об изобретательности нечистого: восставший из смерти некий господин Лазарь посвятил себя *сладострастному* унижению и уничтожению гнездящихся в нем бесов. Сие легко интерпретируется и как благородный вклад в борьбу с *одержимостью* и гордыней, и как издевка над православием. Было бы любопытно узнать у автора: зачем же это писалось? Плосковатый привет господам Андрееву и Сологубу или просто *вступил* сюжетец литинститутского масштаба?

Леон Тоом. Вступительное слово и публикация Анны Тоом. — «Арион», 2002, № 2.

Памяти московского поэта, трудолюбивого переводчика с эстонского, романтика, автора единственного поэтического сборника, вышедшего только после гибели (1969). Бывая на переделкинском кладбище, я часто прохожу мимо его могилы — квадратного камня с грубыми буквами. А на поездку в любой подмосковной электричке «ложится» теперь его маленький шедевр «В поезде», публикуемый здесь же.

Ж. Тошенко. Кентавр-проблема как особый случай парадоксальности общественного сознания. — «Вопросы философии», 2002, № 6.

Об *особой* форме проявления парадоксов сознания и поведения (и о методах их решения). В частности, о конвергенции, консенсусе и компромиссе.

Виктор Файбисович. Трофей русского ампира. Оружие средневековой Руси в памятниках александровского классицизма. — «Наше наследие», 2002, № 61.

Все эти топоры и мечи в диванных спинках, воины на фасадах и шлемы в барельефах. Примеры — в основном питерские. Главный герой — А. Н. Оленин, кардинально повлиявший в первой половине XIX века на облик города. Он был президентом Академии художеств и влиятельнейшим членом комиссий по сооружению Нарвских триумфальных ворот и Исаакиевского собора. Именно под влиянием художественно-археологической деятельности Оленина «в национальном искусстве сложилась своеобразная традиция изображения русского средневекового оружия, надолго пережившая своего основоположника».

Борис Фрезинский. Эренбург и Ахматова (взаимоотношения, встречи, письма, автографы, суждения). — «Вопросы литературы», 2002, № 2, март — апрель.

Большой обзор, но и только, ибо «тема этой статьи не является биографически ключевой не только к Ахматовой (что очевидно), но и к Эренбургу (Ахматова никогда не была его самым любимым поэтом)». Автор обзора, между прочим, беспокоится, как бы читатель книг «эккерманов и эккерманш» Ахматовой не попал в зависимость от «канонизированных» авторитетами и тиражами многих *запальчивых реплик* А. А. о воспоминаниях Эренбурга. А то ведь «А. А. могла высказанное раз мнение автоматически повторять разным эккерманам, но, подумав, могла потом и уточнить его, однако в уже сделанные гостями записи уточнения не попадали». Ну, во-первых, и «эккерманы» дей-

ствительно были *разные*, а во-вторых, у заинтересованного читателя появился наконец-таки настоящий обзор. Ура.

Игорь Шайтанов. «Бытовая» история. — «Вопросы литературы», 2002, № 2, март — апрель.

«Литература взаимодействует с бытом *по речевой линии*, но она сама не есть бытовое явление, она противопоставлена бытовому факту как *факт литературный*. Она отталкивается от него, выступает по отношению к нему, если воспользоваться выражением А. Н. Веселовского, *как форма идеализации*: „Худо там, где содержание идеала вполне покрывается содержанием жизни”».

«Я считаю, что все это должно быть в РГАЛИ...». Беседу вел А. Маньковский. — «Наше наследие», 2002, № 61.

Беседа с **Натальей Борисовной Волковой**, возглавлявшей архив с 1963 года, вдовой Ильи Зильберштейна. Рассказала она много и подробно. Поразительна история архивного спецхрана, кстати, РГАЛИ (бывший ЦГЛА и ЦГАЛИ) входил, оказывается, в систему НКВД — МВД. Чего стоит история с укрывшимся в архиве С. М. Эйзенштейна (переданном в ЦГАЛИ в 1948 году) — архивом В. Э. Мейерхольда! Много о материалах, закрытых для использования «волеизъявлением фондообразователей и их правопреемников», — архивах М. И. Цветаевой, М. А. Осоргина, Н. И. Харджиева. Отдельная часть беседы посвящена проблеме спорных материалов из архива Б. Л. Пастернака (в том числе переданных в ЦГАЛИ из КГБ в 1961 и 1991 годах).

Уйдя с директорского поста, Н. Б. Волкова надеется разобрать и систематизировать архив своего покойного мужа, накопленный в течение 60 лет, и передать его в РГАЛИ. Именно туда, а не в Музей частных коллекций, основанный И. С. Зильберштейном. Особая песня — это иллюстрации к интервью. Очень мил листок из ученической тетради Коли Чернышевского («Бога любви паче всего. Бога любви паче всего. Бога любви паче всего»). И письмо Достоевского жене: «...Аня, я не подлец, а только страстный игрок... Аня, Аня, зачем я поехал!..» Впрочем, «нансеновский паспорт», выданный в 1945 году Бердяеву, тоже ничего себе вещь.

Составитель Павел Крючков.



АЛИБИ: «Редакция, главный редактор, журналист не несут ответственности за распространение сведений, не соответствующих действительности и порочащих честь и достоинство граждан и организаций, либо ущемляющих права и законные интересы граждан, либо представляющих собой злоупотребление свободой массовой информации и (или) правами журналиста: <...> если они являются дословным воспроизведением сообщений и материалов или их фрагментов, распространенных другим средством массовой информации, которое может быть установлено и привлечено к ответственности за данное нарушение законодательства Российской Федерации о средствах массовой информации» (статья 57 «Закона РФ о СМИ»).



ДАТЫ: 6 (18) октября исполняется 130 лет со дня рождения Михаила Алексеевича Кузмина (1872 — 1936); 26 сентября (8 октября) исполняется 110 лет со дня рождения Марины Ивановны Цветаевой (1892 — 1941).



ИЗ ЛЕТОПИСИ «НОВОГО МИРА»

Октябрь

10 лет назад — в № 10, 11, 12 за 1992 год напечатана первая книга романа Виктора Астафьева «Прокляты и убиты».

40 лет назад — в № 10 за 1962 год напечатана повесть Вениамина Каверина «Косой дождь».

65 лет назад — в № 10 за 1937 год напечатан роман Ал. Малышкина «Люди из захолустья».

SUMMARY



This issue contains the ending of «The Events Horizon», a novel by Irina Polyanskaya, stories by Boris Yekimov as well as «a narration in short stories» «A Ghost amidst Ruins» by Yevgeny Rein. The poetry section offers new poems by Aleksander Kushner, Yevgeny Karasyov, Lyudmila Abayeva and Yury Kazarin.

The sectional offerings of this issue are as follows:

Time and Morals section contains an article by Maksim Krongauz «My Language Is My Enemy, Isn't It?»

Literary Critique section publishes an article by Vladimir Novikov «Alexia — a Decade Latter» on the problems of readers-text communication.

As the Text Goes, a permanent section, presents an article by Maria Remizova «Hexagen + PR = Sturgeon» dedicated to the latest novel by Aleksander Prokhanov.



«Редакция не обязана отвечать на письма граждан и пересылать эти письма тем органам, организациям и должностным лицам, в чью компетенцию входит их рассмотрение» (Закон РФ «О средствах массовой информации», ст. 42).

Рукописи не рецензируются и не возвращаются.

Словесное сочетание «НОВЫЙ МИР» зарегистрировано ЗАО «Редакция журнала „Новый мир“» в качестве товарного знака по классам МКТУ 16, 38, 41, 42.

Редакция журнала «Новый мир» не имеет никакого отношения к деятельности одноименных компаний в Москве и за ее пределами.

Общественный совет: С. С. Аверинцев, А. Г. Битов, С. Г. Бочаров,
А. Г. Волос, Д. А. Гранин, Б. П. Екимов, Ф. А. Искандер, Ю. М. Каграманов, А. А. Ким,
А. С. Кушнер, Б. Н. Любимов, А. М. Марченко, В. С. Непомнящий,
П. А. Николаев, О. А. Славникова, Т. В. Чередниченко, М. О. Чудакова

Главный редактор А. В. Василевский

Редакционная коллегия: М. В. Бутов, Р. Т. Киреев, С. П. Костырко,
П. М. Крючков, Ю. М. Кублановский, О. И. Новикова, И. Б. Роднянская,
О. Г. Чухонцев

Корректоры Н. Н. Замятина, Т. И. Филиппова

Редактор-библиограф А. И. Фрумкина

Компьютерная верстка — И. Н. Колесникова

Компьютерный набор — Т. В. Дорофеева

Адрес редакции: 127994, ГСП-4, Москва, К-6, Малый Путинковский пер., д. 1/2.

Телефоны: главный редактор — 209-57-02, ответственный секретарь — 209-91-81,

отдел прозы — 200-54-96, отдел поэзии — 229-56-92, отдел критики — 209-05-88,

зав. редакцией (хозяйственные вопросы) — 209-62-68,

для справок, продажа журналов — 200-08-29.

Факс: 200-08-29. Электронная почта: newworld@newtimes.ru;

по вопросам зарубежной подписки: novy-mir@mtu-net.ru

Сетевой журнал «Новый мир»: http://magazines.russ.ru/novyi_mi

Свидетельство Государственного комитета Российской Федерации по печати № 138 от 9 января 1998 г.

Учредитель и издатель — ЗАО «Редакция журнала „Новый мир“».

Сдано в набор 20.05.2002 г. Подписано к печати 29.08.2002 г. Формат бумаги 70x108¹/₁₆. Бумага кн.-журн.

Высокая печать. Объем 15,0 печ. л., 21,0 усл. печ. л., 27,0 уч.-изд. л.

Тираж 9 450 экз. Зак. 2373. Цена договорная.

Отпечатано с оригинал-макета в ФГУП Издательство «Известия» Управления делами Президента РФ,
101999, ГСП-9, Москва, К-6, Пушкинская пл., д. 5.

ЛИТЕРАТУРНАЯ ПРЕМИЯ ИМЕНИ ЮРИЯ КАЗАКОВА

Премия имени Юрия Казакова присуждается с 2000 года автору, живущему и работающему в России, за рассказ на русском языке, впервые напечатанный в текущем году на территории России (циклы и сборники рассказов, рукописи и сетевые публикации не рассматриваются).

Правом выдвижения произведений на премию обладают критики, издатели и творческие организации.

Выдвигаемые произведения направляются в редакцию журнала «Новый мир» с пометкой «На премию» до 1 декабря 2002 года.

Состав жюри:

ВЛАДИМИР ГУБАЙЛОВСКИЙ, поэт,
литературный критик, интернет-обозреватель;

ВИКТОР КУЛЛЭ, поэт, главный редактор
журнала «Старое литературное обозрение»;

АЛЕКСАНДР ЛЕБЕДЕВ,
президент АКБ «Национальный Резервный банк»,
президент Благотворительного Резервного фонда;

ОЛЬГА НОВИКОВА, председатель жюри,
прозаик, зам. зав. отделом прозы «Нового мира»;

МАРИЯ РЕМИЗОВА, литературный критик,
сотрудник журнала «Континент»;

АНТОН УТКИН, прозаик.

Координаторы премии:

главный редактор журнала «Новый мир»
АНДРЕЙ ВАСИЛЕВСКИЙ;

генеральный директор Благотворительного Резервного фонда
ТАТЬЯНА ЧЕРЕДНИЧЕНКО.

Сумма премии — 3000 \$.

Объявление лауреата и торжественное вручение премии
состоится в начале 2003 года.

Контактные телефоны: (095) 209-57-02, 200-54-96.
E-mail: newworld@newtimes.ru